

ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:



Юм



Кант



Гегель



Шопенгауэр



Конт

Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт / Сост. «ЛИО Редактор». — СПб: «ЛИО Редактор» и др., 1998. — 496 с. (Жизнь замечательных людей).

ISBN 5-7058-0317-6

Переиздание книг о жизни и деятельности знаменитых европейских философов из биографической библиотеки Ф. Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей», выпускавшейся в России в конце XIX — начале XX века. Текст печатается в новой орфографии. В необходимых случаях изменены написания имен и географических названий.

Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВ 1839—1900 ... На его совести не лежит ни одной книги, за которую он не мог бы пред Богом и людьми принять на себя ответственности, как человек, заботившийся только о просвещении родины...

... Русское общество в лице Павленкова лишилось деятеля, знавшего лишь одну страсть, лишь одну думу, — приносить родине посильную пользу, служить ей до полного забвения собственной личности. «Нива». 1900, № 6

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

- **ДЭВИД ЮМ**
- **ИММАНУИЛ КАНТ**
- **ГЕОРГ ГЕГЕЛЬ**
- **АРТУР ШОПЕНГАУЭР**
- **ОГЮСТ КОНТ**

ББК 63.3(0) Д 94

Знаменитая биографическая библиотека «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» известного российского книгоиздателя Флорентия ПАВЛЕНКОВА открывает современному читателю огромный пласт отечественной и зарубежной истории во всех ее проявлениях. Это двести увлекательных повестей, посвященных жизни и деятельности великих мыслителей, философов, императоров, царей и военачальников, религиозных деятелей, ученых, географов и путешественников, артистов, художников и композиторов, классиков мировой и отечественной литературы.

© «ЛИО Редактор», состав, подготовка текста, художественное оформление, 1998 г.
© «Кристалл». Оформление обложки, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

❖ ДЭВИД ЮМ

Введение..... 7

Глава I. Родители и семейная обстановка Юма. — Его школьные занятия и юношеские склонности. — Первые шаги на практическом поприще..... 10

Глава II. Первая поездка во Францию; философские занятия Юма и плод их — «Трактат о человеческой природе». Первоначальная судьба этого произведения; авторское самолюбие Юма. — Второе произведение Юма — «Опыты моральные, политические и литературные», — Жизнь в доме лордов Анненделей. — Процесс с ними. 21

Глава III. Военная экспедиция генерала Сен-Клера. — Путешествие Юма по Европе. — Издание «Философских опытов о человеческом уме». — Смерть госпожи Юм. — Жизнь Юма в Эдинбурге. — Издание «Исследования принципов нравственности» и «Политических речей». — Избрание Юма на должность библиотекаря общества адвокатов в Эдинбурге, — Исторические труды Юма. — Издание первых томов «Истории Англии». — Переезд в Лондон и возвращение в Эдинбург..... 28

Глава IV. Жизнь Юма в Париже в качестве секретаря посольства. — Знакомство с Ж. Ж. Руссо. — Возвращение на родину. — Новый административный пост, предоставленный Юму. — Последние годы жизни в Эдинбурге. — Болезнь и смерть Юма..... 40

Глава V. Влияние Локка, Бэкона, древних скептиков и Ньютона на философию Юма. — Учение Юма о происхождении познания. — Этика Юма, — Его политико-экономические взгляды. — Характеристика исторических трудов Юма. — Характеристика личности Юма..... 51

❖ КАНТ

Глава I. Происхождение. — Детство. — Пиетизм. — Школьные учителя и товарищи. — Раннее развитие характера. 71

Глава II. Университетские годы. — Влияние Кнутцена. — Самоотвержение матери Канта. — Ее смерть. — Богословская подготовка и другие занятия..... 82

Глава III. Смерть отца. — Башмачник Рихтер издает первое сочинение Канта. — Первый вызов метафизикам.. 86

Глава IV. Кант в роли домашнего учителя. — Гюльзены и Кайзерлинги. — Защита трех диссертаций. — Физическая монадология. — Пятнадцать лет приват-доцентства. — Кант — русский подданный. — Прошение на имя императрицы Елизаветы. — Разные неудачи. — Кант получает кафедру..... 89

Глава V. Профессорская и литературная деятельность Канта. — Космическая гипотеза. — Защита оптимизма и борьба с мистицизмом. — Сведенборг. — Сновидения духовидца..... 98

Глава VI. Обыденная жизнь и характер Канта. — Гигиена. — Общительность. — Взгляд на женщину. — Почему Кант не женился. — Домашняя обстановка. — Дружба после вызова на дуэль. — Слуга великого человека. — Правила Канта. — Его правдивость..... 115

Глава VII. Главные философские труды Канта, их история. — Кант подвергается преследованию со стороны придворных ханжей. — Последние годы жизни Канта.... 130

Глава VIII. Характер и значение философии Канта. — Синтетические априорные суждения. — Априорные формы чувственности: пространство и время. — Различия между трансцендентальным и трансцендентным. — Феномены и нумены. — Антиномия. — Свобода воли. — Нравственность и религия чистого разума..... 151

❖ ГЕГЕЛЬ

Введение..... 169

Глава I. Детство и отрочество..... 174

Глава II. Юность. — Тюбингенский университет. — Дружба с Гёльдерлином. — Sturm und Drang..... 185

Глава III. Берн. — Франкфурт-на-Майне. — Занятия политикой. — Переезд в Йену..... 202

Глава IV. Йена. — Гегель и романтики..... 209

Глава V. Йена. — Профессорская деятельность. — Отношения к Шеллингу..... 216

Глава VI. Философия и публицистика..... 230

Глава VII. Берлин..... 252

Глава VIII. Заключение. — Личность Гегеля..... 260

Глава IX. Значение биографии для понимания метафизической системы. — Метафизика и наука. — Философско-исторические взгляды Гегеля. — Безличная эволюция. — Пренебрежение к личности. — Связь с реакцией. — Гегель в России.....

❖ ШОПЕНГАУЭР

Введение..... 287

Глава I. Предки Шопенгауэра. — Родители его. — Характеристика отца и матери Шопенгауэра. — Детские годы Шопенгауэра. — Воспитание его. Многочисленные странствования его в детстве и отрочестве. — Шопенгауэр не желает сделаться купцом. — Смерть Шопенгауэра-отца. 290

Глава II. Артур Шопенгауэр поступает в университет. — Раннее проявление шопенгауэровского пессимизма. — Университетские годы Шопенгауэра. — Его литературные знакомства. — Охлаждение отношений между Шопенгауэром и его матерью..... 302

Глава III. Появление в свет первых научных трудов Шопенгауэра. — Путешествие его по Италии. — Шопенгауэр добивается университетской кафедры. — Прием, оказанный критикой его сочинениям. — Шопенгауэр как профессор. — Шопенгауэр покидает профессию и снова отправляется странствовать. — Процесс Шопенгауэра с госпожой Маркет. — Жизнь Шопенгауэра в Дрездене. — Вторичная попытка Шопенгауэра выступить на профессорской кафедре. — Шопенгауэр окончательно отказывается от профессорской деятельности и поселяется во Франкфурте-на-Майне..... 310

Глава IV. Наружность и манеры Шопенгауэра. — Его любимые ответы. — Письмо его к наборщику. — Переписка его с Брокгаузом. — Шопенгауэр о столоверчении. — Взгляд его на самоубийств. — Образ жизни его. — Болезнь и смерть Шопенгауэра. — Похороны его. — Надгробная речь Гвиннера. — Памятник на могиле Шопенгауэра. — Размеры черепа Шопенгауэра..... 321

Глава V. Отличительные свойства философского мировоззрения Шопенгауэра. — Что понимает Шопенгауэр под словом «воля» — Воля и разум. — Три основные свойства воли: тождественность, неизменность, свобода. — Воля как представление. — «Воля в природе». — Опыт как основа философии. — Значение и роль метафизики. — Взгляд Шопенгауэра на психологию..... 334

Глава VI. Характер и смысл Шопенгауэрова пессимизма. — Отношение Шопенгауэра к истории. — Его политические и социальные взгляды. — Его равнодушие к национальным интересам..... 343

Глава VII. Взгляды на женщин и на любовь. — Манера творить Шопенгауэра. — Парадоксальность его..... 356

❖ ОГЮСТ КОНТ

Введение..... 367

Глава I. Ученичество. Семья. — Мать. — В лицее. — Политехническая школа. — Чтение. — Серьезность не по летам. — История в Политехникуме. — Исключение и высылка на родину. — Возвращение в Париж. — Поиски работы. — Умственные

занятия. — Знакомство с Сен-Симоном. — Учение Сен-Симона. — Влияние Сен-Симона на Конта. — Юношеские произведения Конта. — Раздор с Сен-Симоном. — Содержание статьи «План научных трудов» и других. — Связь юношеских произведений Конта с последующими. — Предшественники Конта..... 371

Глава II. Борьба за средства существования. Материальная необеспеченность. — Лекции по философии. — Болезнь. — Возобновление лекций. — Место репетитора и экзаменатора в Политехнической школе. — Верх материального благополучия. — Неудачные попытки получить профессорскую кафедру. — Гизо. — Конт как экзаменатор. — Процесс с издателем. — Материальный кризис — «Мозговая гигиена». — Как Конт работал. — Однообразие внешней жизни. — Первая оценка «Курса положительной философии» в Англии. — Брюстер. — Милль. — Переписка с Миллем. — Помощь трех англичан. — Обращение к Западу. — Подписка в пользу основателя позитивизма. — Более чем скромная жизнь..... 387

Глава III. Каролина Массин и Клотильда де Во. Несчастье и счастье Конта в любви. — Каролина Массин. — Женитьба. — Побег жены. — Окончательное расхождение. — Письмо Конта по этому поводу к Миллю и Литтре. — Взгляд Конта на брак. — Пенсия жене. — Завещание. — На холостом положении. — Настоящая любовь. — Клотильда де Во. — Переписка. — Смерть Клотильды. — Превращение платонической любви в культ женщины..... 408

Глава IV. Участие Конта в общественной и политической жизни своего времени. Адрес к Луи-Филиппу. — Отказ от поступления в национальную гвардию. — Трехдневный арест. — Бесплатные лекции по астрономии. — Защита Армана Марра. — Конт и февральская революция. — Свободная ассоциация для распространения позитивных знаний. — Примирение с Араго. — Позитивистическое общество. — Три комиссии: труда, образования, правительства. — Общество принимает религиозный характер. — Публичные лекции по всеобщей истории человечества. — «Позитивный катехизис». — Позитивная библиотека. — Отношение к декабрьскому перевороту. — Письмо к Николаю I. — Письмо к Решид-Паше. — Сношения с генералом иезуитов. — Конт в качестве жреца человечества. — Позитивистский календарь..... 429

Глава V. Позитивная философия. Единство двух половин жизни Конта и двух его капитальных трудов. — Что такое положительная философия? — Относительный характер позитивной философии. — Метод. — Содержание «Курса положительной философии». — Классификация наук. — Основной закон трех состояний. — Науки. — Социология. — Социальная статика: индивид, семья, общество. — Социальная динамика: фетишизм, политеизм, монотеизм.. 451

Глава VI. Конт как социальный реформатор. Отрицательное значение принципов великой французской революции. — Анархия. — Что такое религия по Конту. — Культ. — Социократия. — Личность. — Семья. — Правительство. — Жречество..... 470

Глава VII. Заключение..... 484

ДАВИДЪ ЮМЪ ЕГО ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ М. В. Сабининой 1893

ВВЕДЕНИЕ

Во всей истории борьбы различных философских школ между собой, быть может, наиболее ярко и резко выражались несогласия и различия взглядов у последователей школ догматических и скептической. В самом деле, трудно вообразить себе более несходные учения. Если в этом случае, с одной стороны, представителями философии являются люди, отправляющиеся от какого-либо положения (догмы), признавая его несомненно истинным, непреложным; если, допустив это положение, они затем прямо строят на нем свои теории, подчас весьма красивые и увлекательные, каковы были, например, теории эпикурейцев и стоиков, то, с другой стороны, мы имеем дело с философами, начинающими свои рассуждения сомнением (скепсисом), с которым они относятся к предшествовавшим им догматическим школам. Самыми древними представителями скептиков считаются те философы поаристотелева периода, которые в III веке до Р. Х. основали школы, названные академическими, и которые восстали против догматических предположений стоиков и эпикурейцев.

Как бы возрождением этой древней борьбы в сравнительно близкое к нам время,—но, прибавим, борьбы гораздо более оригинальной, блестящей и утонченной,—является философская деятельность англичанина Дэвида Юма, жившего в XVIII веке. Большинство его сочинений, замечательных и по содержанию, и по изящной литературной форме, проникнуто одним желанием: рассеять все заблуждения, все предрассудки, ошибки и пристрастия тех мыслителей, которые и задолго до него, и непосредственно перед ним были руководителями умственного развития в современном им обществе. Оружием для этой борьбы Юм выбрал древний скепсис, обострив его удивительной способностью тонкой критики и умением с замечательной последовательностью развивать свои мысли, не отступая перед слишком смелым, порой отчаянным заключением, к которому приводила его предпринятая работа.

Интересной кажется нам следующая характерная черта, резко отличающая древних скептиков от Юма. Древние скептики, сказали мы, были противниками эпикурейцев и стоиков; надо заметить, что обе эти догматические школы преследовали в своих исканиях чисто эгоистическую цель: доставление счастья единичному человеку; причем одни (эпикурейцы) видели это счастье в пользовании всевозможными удовольствиями, наслаждениями, так как в этом-то, по их мнению, и состоит благо, указанное нам природой; другие же (стоики) требовали от человека вполне бесстрастного, апатичного отношения ко всему внешнему, для того чтобы он тем успешнее мог углубиться в самого себя и при помощи своей добродетели найти верное понимание добра и зла; укрепленная же воля поможет ему окончательно побороть все зло в виде неразумных природных влечений, пожеланий, страстей и т. д. и стать вполне счастливым. Обе эти теории отправлялись от того положения, что сущность добра, наслаждения им или, наоборот, зла, страдания есть нечто доступное человеческому уму. Против этих

учений скептики возразили, что всего человеческого познания недостаточно для того, чтобы определить сущность добра и зла, чтобы узнать абсолютную истину. Поэтому недостижимое стремление познать сущность вещей не может дать счастья человеку; напротив, оно тревожит его, волнует, приводит в состояние вечного беспокойства. Истинное же счастье доступно лишь тому человеку, который, отказавшись от знания абсолютной истины, смотрит на все внешнее с полным равнодушием, с душевным спокойствием, не нарушаемым никакими пожеланиями.

Счастье, возможность счастья, цена, которую выгодно заплатить за достижение его, — таковы основы и побудительные мотивы философствования древних догматиков, равно как и скептиков... Как далек новый скептик, Юм, от этого эгоизма, этой корысти своих древних предшественников. Рассеять тьму заблуждений и предрассудков, расчистить путь правде и насладиться ее светом, хотя бы то был такой ослепительный свет, от которого сильно пострадают непривычные глаза, — вот все, чего добивался знаменитый скептик XVIII века. При дальнейшем изложении философии Юма мы увидим, что опустошительные результаты смелой критики действительно привели его к глубокому отчаянию; но прямой и стойкий ум философа и его сильный характер не допускали ни компромиссов, ни недомолвок. Юм геройски выдержал и презрительное негодование современников, и собственные душевные терзания — словом, вынес все, чего боялись древние скептики. Это-то и составляет интересную черту в учении и в характере Юма, этого замечательного и смелого анализатора.

ГЛАВА I Родители и семейная обстановка Юма. — Его школьные занятия и юношеские склонности. — Первые шаги на практическом поприще

Род Юмов происходит из известной шотландской фамилии графов Юмов, и уже во времена Иакова I и Иакова II Стюартов представители его отличались в войнах с Францией. Отец Дэвида Юма, Иосиф Юм, был небогатый шотландский помещик, владевший небольшой фермой, расположенной в Бервикширском графстве. Это родовое поместье Юмов носило название Ninewells («Девять ключей»), благодаря довольно значительному источнику, орошавшему покатым лугом перед домом и впадавшему в ближайшую реку Уайтадцер. Мать Юма, дочь президента Юридической коллегии, сэра Фольконера, характеризуется и своими детьми, и знавшими ее современниками как женщина замечательная и как лучшая из матерей.

26 апреля 1711 года у Иосифа Юма и жены его, гостивших в Эдинбурге, родился третий ребенок, Дэвид; вскоре за тем скончался сам отец семейства, оставив на руках своей жены двух малолетних сыновей и дочь.

В автобиографии Дэвид Юм рассказывает о своих родных следующее: «Моя семья была небогата; а так как я был меньшим братом, то моя доля в отцовском наследстве была, разумеется, очень незначительна. Отец мой, имевший репутацию талантливого человека, умер во время моего детства, оставив меня, старшего брата и сестру на попечение матери, женщины, обладавшей замечательными

достоинствами, — будучи еще молодой и красивой, она вполне посвятила себя уходу за своими детьми и воспитанию их».

Талантливый биограф Д. Юма, Бертон, говорит, что, судя по портрету, наружность госпожи Юм была очень приятна и обнаруживала большую тонкость ума. Проницательная и очень добрая, домовитая и практичная во всех своих поступках, женщина эта передала младшему сыну главные черты своей нравственной личности, и некоторые биографы (например, Гексли), быть может, не без основания предполагают, что Дэвид Юм унаследовал от своей матери те качества, которыми главным образом обуславливались его успехи на поприще философской деятельности. Интересно, что в данном случае наследственность проявилась и в физической организации, одинаковой у матери и у сына: оба умерли от одной и той же болезни. Таким образом, в лице Д. Юма мы имеем еще одним примером больше для сторонников той теории, что сын унаследует от матери ее способности и что у многих замечательных и талантливых деятелей отцы были самыми обыкновенными, посредственными людьми, а матери отличались замечательными умственными дарованиями и выдавались из среды современных им женщин.

Интересен сохранившийся рассказ о том, как охарактеризовала госпожа Юм своего меньшего сына в дни его юности: «У нашего Дэви, — сказала она, — превосходный характер, но он удивительно слаб умом». Первая часть этого суждения блестяще оправдалась во всей последующей жизни «Дэви», но откуда вывела проницательная мать-воспитательница свое второе заключение? Вот вопрос интересный и загадочный... Не говоря о том, что Дэвид Юм в своей ученой деятельности обнаружил способности настоящего умственного атлета, мы должны признать за ним большой дар практической мудрости и замечательную выдержку в исполнении принятых им решений. По всей вероятности, проявлением «слабоумия» в своем сыне госпожа Юм считала то, что он выбрал себе ненадежную и невыгодную карьеру научного деятеля. Может быть также, что резкое суждение матери в данном случае было вызвано рано обнаружившейся склонностью Юма никогда не увлекаться ни в какую сторону; во всех своих мнениях и поступках он проявлял обыкновенно ту сдержанную умеренность, которая хоть и зовется «золотой» серединой, но, тем не менее, внушает невысокую оценку как способностей, так и стремлений подобного «посредственного деятеля».

О первоначальном воспитании и образовании Юма до нас дошли очень скудные сведения: известно, что двенадцатилетним мальчиком он был отдан в греческий класс Эдинбургского университета, где и оставался около трех лет, то есть до окончания курса, который в то время был ограничен тремя или четырьмя зимними семестрами, по шести месяцев каждый. Вероятно, именно к этому школьному периоду жизни Юма относятся следующие слова его: «С успехом прошел я обычный курс учения и очень рано почувствовал влечение к наукам, которое было главной страстью моей жизни и высшим источником моих удовольствий».

Следующие шесть-семь лет своей жизни Юм употребил как бы на подготовку к той работе, которая должна была затем сосредоточить на себе все его способности, выразить все его взгляды и убеждения и сделаться его первым видным шагом на пути общественной деятельности. Станным может показаться такое раннее, как бы преждевременное развитие ума будущего философа, а между тем так было на самом деле: шестнадцатилетний юноша в своих письмах высказывает те мысли, которые служат прямыми намеками на суть его будущих замечательных теорий; в своих занятиях неопытный школьник сразу берется за то, что впоследствии служит ему основанием для дальнейших исследований, и кладет

заметный отпечаток и на внешнюю, и на внутреннюю стороны его сочинений. Удивительная определенность стремлений и устойчивость намеченного образа действий отличали Юма с первых лет его сознательной жизни и были, конечно, главной причиной того, что вся личность его в глазах биографов получила яркую окраску сильного характера, стойкой натуры.

Период от шестнадцати до двадцати двух лет в жизни каждого человека сопровождается формированием его духовной личности. Правда, интеллектуальная жизнь свойственна в известной степени каждому возрасту, начиная с младенческого; но правда также и то, что лишь в эпоху юношества, то есть именно пятнадцати-шестнадцати лет эта умственная жизнь начинает выбиваться из-под оков чужих понятий и убеждений, внушаемых как воспитателями, так и другими близкими людьми; лишь в эту пору юноша начинает рассуждать «по-своему», и увлекаться «своими» интересами и критиковать то, что раньше принимал на веру из окружающего мира.

Посмотрим же, чем ознаменовался в жизни Юма важный период юношества. Предоставленный самому себе по окончании университетского курса, он сосредоточенно и уединенно прожил шесть лет, проводя зимы в Эдинбурге, а летние месяцы в своем поместье. Любознательный ум и жажда ученья, лишь возбужденная, но не удовлетворенная прохождением университетского курса, сразу определили род занятий Юма: он принялся за чтение, остановив свой выбор на древних классиках и на тех представителях философии и поэзии, которые нашлись в небольшой семейной библиотеке Юмов. Есть полное основание заключить, что главным источником мудрости для Юма послужили в ту пору сочинения римских стоиков. Быстро усвоил себе Юм суть их систем и те философские вопросы о нравственности и о познании, которые ставились и решались в произведениях стоиков. Эти занятия не прошли бесследно для будущей деятельности Юма: если его философию и можно считать развившейся из учения Локка, все же несомненно, что в первоначальном своем фазисе философские взгляды Юма возникали и развивались главным образом благодаря изучению греческих и римских писателей. Влияние Цицерона, Сенеки и Плутарха сильно проявляется и в постановке различных философских проблем, и в самом слоге многих произведений Юма.

Поглощенный книжными занятиями, юный Дэвид относился довольно безучастно к тому, что составляло обстановку его жизни в родовом имении, а между тем эта обстановка была далеко не безынтересна: графство, в котором жил Юм, богато самыми интересными преданиями о набегах и разбоях семнадцатого столетия; таинственными и красноречивыми свидетелями этих приключений и по сию пору остаются башни и крепости, рассеянные по берегам рек Твид и Яррау. Странно, что даже в те годы, когда все необыкновенное и романтическое возбуждает и разгорячает юное воображение, — даже в эти годы Юм не был ни на йоту романтиком и не заплатил обычной дани юношескому энтузиазму. Все, на что обращал Юм свое внимание и на чем он сосредоточивал свой интерес, — это польза; с этой лишь точки зрения он обсуждал те предметы и явления, на которых останавливался его проницательный взгляд. Трудно представить себе более бесстрастный темперамент, менее увлекающуюся натуру. В своей прозаичности Юм доходил до полного непонимания красоты и до неумения наслаждаться ею. Живопись, скульптура и музыка решительно не существовали для этого сухого и строгого мыслителя; а в своих суждениях о крупнейших литературных произведениях он обнаруживал такое отсутствие художественного чутья, такую пристрастную и несправедливую оценку, какие решительно трудно понять

и допустить в человеке, способном к самым остроумным и метким суждениям, раз дело касалось социальной и политической философии. Но именно эта односторонность и кажущееся несовершенство дарований Юма и составляли силу этого философа: они-то главным образом и придали цельность, определенность и законченность его теориям.

Итак, юноша Юм, погруженный в изучение древних поэтов и философов, с увлечением продолжал развивать свой ум и пополнять пробелы рано законченного школьного образования. Плоды своих самостоятельных размышлений, оригинальных и глубоких уже в эту раннюю пору жизни, Юм излагал в красноречивых посланиях к своим друзьям; так, например, в одном из писем, адресованных Михаилу Рамзею, шестнадцатилетний Юм пишет между прочим следующее: «Я живу по-царски, главным образом для самого себя, в бездействии и вне каких-либо волнений. Я предвижу, впрочем, что это состояние не будет продолжительным. Мир души моей недостаточно гарантирован философией от ударов судьбы. Истинное величие и возвышенность духа можно найти только в изучении и в созерцании; только они могут научить нас презирать случайности человеческой жизни. Вы понимаете, конечно, что, рассуждая подобным образом, я говорю как философ; об этом предмете я много размышляю и мог бы толковать о нем целый день».

Воздавая должное и серьезным мыслям, и возвышенному тону этого письма, мы должны прибавить, впрочем, что пренебрежительное отношение к материальным благам и практическим интересам нередко встречается у юношей, ведущих уединенную, созерцательную жизнь и много читающих; в письме же Юма особенно характерно то место, где он выражает свое влечение к философии. Слова «об этом предмете я много размышляю» отнюдь не были преувеличением. Занятия Юма в это время не ограничивались одним чтением знаменитых мыслителей; способность и склонность к критике пробудились в нем при первом же ознакомлении с верованиями прежних времен; он смело развенчал все авторитеты и заглянул в глубину их учений, несколько не ослепляясь ни славой, ни общепризнанным величием этих творений. Найдя все высказанное прежними философами недостаточно определенным и плохо обоснованным, Юм со всем пылом юности, на какой был способен, пошел навстречу тем открытиям, которые оставалось сделать в области мысли. Поэтому-то, наряду с чтением, семнадцати- и восемнадцатилетний Юм берется и за перо; он изводит массу бумаги на самые разнообразные заметки и даже пытается написать нечто законченное в виде «Очерков», «Опытов» и т. д. Как бы ни были несовершенны и мало отделаны эти писательские попытки юноши, все же в них можно найти зачатки тех мыслей и даже того метода, которые впоследствии составили славу Юма.

Мирные и любимые занятия Юма в эпоху его юности два раза нарушались резкими и неудачными попытками его родных направить Дэвида на практическое поприще. Семнадцатилетнего Юма задумали сделать законоводителем и заставили его изучать юридические науки. Нет сомнения, что из Юма мог выйти замечательный юрист. По мнению Бертоне, он обладал всеми необходимыми для того качествами — ясностью суждения, способностью быстро осваиваться с сущностью дела, неутомимой деятельностью и замечательной диалектикой. Но Дэвид был слишком поглощен другими идеями для того, чтобы он мог отдаться изучению познаний чересчур профессионального характера: Юм мечтал о великом литературном творении, которое произведет переворот в области философии и создаст ему

мировую известность; понятно, как жалки казались ему в сравнении с этим успехи среди английских адвокатов или членов парламента. «В то время как мои родные думали, что я изучаю Вета и Винния, я тайком пожирал Цицерона и Вергилия», — говорит о себе Юм.

Это подневольное приготовление Юма к юридической деятельности продолжалось всего год, а затем он снова был предоставлен самому себе и без помехи принялся за своих любимых писателей. Но чересчур напряженная умственная деятельность юного философа не прошла для него даром. На восемнадцатом году здоровье Юма сильно пошатнулось; появились упадок духа и вялое отношение даже к тому, чем раньше он занимался с таким жаром. Дэвид понял, что ему необходимо хорошенько отдохнуть и укрепнуть телесно и умственно прежде, чем приняться за то серьезное сочинение, которое он задумал. Это привело его к решению послушаться советов своих родственников и круто переменить образ жизни: в 1734 году, заручившись важными рекомендательными письмами, Юм отправился в Бристоль, надеясь устроиться в конторе одного из тамошних коммерсантов. «Через несколько месяцев, — говорит Юм в своей корреспонденции, — я нашел, что этот род деятельности совершенно неподходяще для меня». Так и следовало ожидать. Жизнь и коммерческие занятия в Бристолье не оказали никакого влияния на Юма, и эпизод этот можно было бы совсем обойти молчанием, если бы он еще ярче не оттенял того, что никакие временные уклонения не могли заставить Юма забыть намеченную им цель, не могли отвлечь от его великих дум и стремлений, всецело овладевших его юным существом.

Сколько времени провел Юм в Бристолье, это вопрос, на который трудно ответить с точностью. В автобиографии Юма есть намек на то, что пребывание его в Бристолье ограничилось всего двумя месяцами; в других же сочинениях, между прочим в «Мемуарах» Анны Мор, говорится, что бристольский торговец бельем, Пич, пользовался общением с Юмом в течение двух лет. Как бы то ни было, первый выбор практической деятельности был сделан неудачно; Юм резко порвал сношения с чуждым ему кружком коммерсантов и уехал из Бристоля во Францию, ища вдали от родины такого уединения, в котором он без помехи мог бы предаться своим ученым занятиям.

Чтобы покончить с юношеским периодом жизни Юма, нам следует упомянуть об одном замечательном письме этого философа — письме, написанном им в Лондоне, где он останавливался на пути из Шотландии в Бристоль. Неизвестно, кому предназначалось это послание; в бумагах Юма оно сохранилось под обозначением «Письмо к врачу». Сам автор письма называет его «Нечто вроде истории моей жизни», и уже по одной этой причине оно имеет право на наше внимание; искренний и сердечный тон письма лучше всего будет виден, если мы приведем целиком главные места его.

«Я должен сказать Вам, — пишет Юм, — что с самого раннего детства у меня было сильное влечение к книгам и письмам. Так как наше классическое образование в Шотландии, — не идущее, впрочем, далее изучения языков, — обыкновенно оканчивается в четырнадцати или пятнадцатилетнем возрасте, то по окончании курса мне представлялась полная свобода в выборе чтения; скоро я убедился, что меня в равной степени влекут к себе как философские книги, так и произведения поэтические и словесные. Тот, кто изучал философию или критику, знает, что ни в одной из этих областей нет ничего прочно установленного и что они, даже в самых существенных частях своих, заключают главным образом бесконечные

диспуты. Изучив их, я почувствовал, что во мне зарождается и крепнет смелость духа, не располагающая меня склоняться перед тем или другим авторитетом, а, напротив, побуждающая искать какого-либо нового средства для восстановления истины. После целого ряда занятий и долгих размышлений об этом предмете, когда я достиг восемнадцатилетнего возраста, мне стало наконец казаться, что передо мной открылась совершенно новая арена мысли; это сознание безмерно обрадовало меня, и с жаром, свойственным молодым людям, я отклонял всякое удовольствие, всякое другое занятие, решившись всецело отдаться своим размышлениям. Карьера, которую я намеревался было избрать, — юриспруденция, мне опротивела, и я начал думать, что единственный путь, на котором для меня возможен успех, — это стать ученым (scholar) и философом. Этот образ жизни доставлял мне бесконечное счастье в течение нескольких месяцев, но в сентябре 1729 года я почувствовал, что мой первоначальный пыл остывает и что я не могу более поддерживать свой дух на той высоте, на которой до сих пор он испытывал величайшие наслаждения».

Сперва Юм приписал этот упадок духа проявлению лени и в течение девяти месяцев работал с удвоенным старанием, но так как это не поправило дела, то он пришел к другому заключению: на него произвели сильное впечатление чудные образы добродетели, собранные в произведениях Цицерона, Сенеки и Плутарха, и юноша не щадил себя, усиливаясь дисциплинировать свой нрав, свою волю и подчинить их разуму.

«Я старался, — говорит далее Юм, — укрепить свой дух размышлениями о смерти, о бедности, о бесчестии, о страдании и прочих жизненных бедствиях. Без сомнения, все эти размышления очень полезны, когда присоединяются к деятельной жизни, потому что в этом случае представляется возможность действовать согласно с нашими мыслями, и тогда эти мысли проникают в нашу душу, оставляя в ней глубокий след. Зато в уединенной, бездеятельной жизни они только рассеивают и изнуряют ум, потому что душевные силы наши, не встречая никакого сопротивления извне, как бы теряются в пространстве — ощущение, подобное тому, какое мы испытываем, когда наша рука производит удар в пустоте». Далее Юм говорит в том же письме: «Я заметил, что нравственная философия древних отличалась тем же недостатком, что и их философия природы, а именно: она была совершенно гипотетична, основывалась более на выдумках, нежели на опыте. Каждый философ обращался только к помощи своего воображения для того, чтобы установить учение о добродетели и о счастье, но не изучал при этом человеческой природы, а между тем на этом-то изучении и должны основываться все теории нравственности».

Любопытный психологический кризис переживался Юмом в ту эпоху, о которой он так просто и вместе красноречиво рассказывает в приведенном нами письме. Юноша, одаренный смелым полетом мысли и замечательной способностью критики, подметил слабые стороны разбираемых им философских учений; объединить свои замечания и составить из них систематическое опровержение прежних верований — на это у юного философа нашлись и умение, и достаточная уверенность в своих силах. Но разрушенные старые здания при своем падении открыли широкий горизонт, и отважный мыслитель рвался на эту «новую арену мысли», пытаясь заложить на ней основание такой самостоятельной работы, которая своей прочностью превзошла бы все предшествовавшие. Но тут и сказалась вся рассудительность Юма, вся неспособность его увлекаться до

самозабвения. Критически относясь к другим, он не щадил и себя; он прекрасно понимал, что, ведя уединенную созерцательную жизнь и не обладая при этом достаточными познаниями в области экспериментальных наук, он не сможет создать таких нравственных теорий, которые основывались бы на изучении человеческой природы. Приходилось еще многое узнать и многому научиться, а юношеское воображение уже предвкушало всю прелесть творческой работы мысли... При таком настроении понятно и разочарование в своих качествах, умственных и нравственных, понятно и вялое, индифферентное отношение к той работе, результат которой так обманул Юма.

Найт характеризует это настроение молодого Юма «умственной хилостью»; мне кажется, что в этом случае правда на стороне Гексли, который называет апатию и ненормальное душевное состояние нашего философа «кризисом». Да, кризис, после которого в организме больного совершился благодетельный перелом и началось быстрое и уже безостановочное развитие замечательных способностей Юма.

ГЛАВА II

Первая поездка во Францию; философские занятия Юма и плод их — «Трактат о человеческой природе». Первоначальная судьба этого произведения; авторское самолюбие Юма. — Второе произведение Юма — «Опыты моральные, политические и литературные». — Жизнь в доме лордов Анненделей. — Процесс с ними

Направившись из Бристоля во Францию, Юм посетил прежде всего Париж, затем провел некоторое время в Реймсе и наконец поселился в небольшом местечке La Fleche, где и оставался два года из числа трех лет своего пребывания во Франции. По-видимому, Юм был очень доволен тем образом жизни, который он вел в избранном им уединенном селении. По его словам, здесь ему удалось устроить себе тот режим, которого он давно и упорно добивался. «Я старался, — говорит Юм, — только о том, чтобы сохранить свою независимость, и не обращал внимания ни на что, кроме усовершенствования моих литературных способностей». Впрочем, из своего убежища Юм, очевидно, следил и за событиями современной жизни, так как в его первом философском труде и в позднейших «Опытах» мы находим мысли относительно сущности чудес и возможности совершения их. Рассуждения эти были вызваны тем, что во время пребывания Юма в Ляфлеше общественное мнение Франции было сильно возбуждено рассказами о чудесах, совершившихся в Париже на могиле янсенистского¹ аббата.

Разумеется, Юм оспаривал как возможность, так и реальность этих чудес. К сожалению, мы не имеем никаких дальнейших сведений о том, как проводил время Юм в течение своего двухлетнего пребывания в Ляфлеше. Известно только, что двадцати пяти лет Юм окончил большое сочинение «Трактат о человеческой природе» («Treatise on Human Nature»), составляющее главный и наиболее ценный вклад Юма в философскую литературу. Так как, по словам самого автора, он задумал и начал этот труд еще живя в Шотландии, а затем продолжал его в Реймсе, то мы не ошибемся, предположив, что в Ляфлеше Юм занялся лишь окончательной обработкой своего «Трактата», то есть систематизированием материала,

¹ Янсенизм — религиозное течение внутри католицизма, близкое к кальвинизму. — Ред.

литературной отделкой его и т. д. Не без похвальбы говорит Юм в одном из своих писем, что «Трактат о человеческой природе» он написал в возрасте от двадцати одного года до двадцати пяти лет, — факт тем более удивительный, что помянутое сочинение отличается замечательными достоинствами: превосходной литературной формой, несравненной простотой и ясностью выражений, соединенными с глубиной мысли. Решительно ни одно философское сочинение, настолько зрелое, обдуманное и превосходное во всех своих деталях, не было написано таким юным автором. Замечательно, что в этом произведении Юм высказал наиболее глубокие, наиболее оригинальные мысли, так что позднейшие его труды, быть может, более совершенные по форме и по строению, представляют по содержанию лишь бледные копии с того мощного произведения, которым Юм дебютировал на поприще философской литературы.

В сентябре 1737 года Юм отправился в Лондон для того, чтобы хлопотать там об издании своего «Трактата». Прежде всего, однако, он занялся пересмотром и переделкой своего сочинения; некоторые части его он совсем выпустил, другие сильно изменил, делая все это для того, чтобы подготовить возможно лучший прием для своего детища. Своему родственнику, Генри Гому, он писал об этом следующее: «В настоящее время я занимаюсь кастрированием моей книги, то есть урезыванием ее лучших частей, стараясь сделать ее как можно менее оскорбительной». В другом письме к тому же Генри он говорит: «Я не могу доверять своему мнению (о «Трактате») как потому, что оно слишком близко касается меня самого, так и потому, что оно крайне изменчиво, и я никак не могу установить его: иногда я возношусь выше облаков, иногда же терзаюсь сомнениями и страхами».

Наконец Юм заключил формальное условие с издателем Джоном Куном и передал ему свою рукопись, а сам в сентябре 1738 года удалился в свое родовое имение, чтобы там, в деревенской тиши, ожидать новостей о своем успехе или падении. Два первых тома сочинения Юма были изданы в январе 1739 года, а через несколько месяцев уже можно было констатировать полный неуспех, которым сопровождалось появление на свет его первого философского труда. Об этом факте Юм отзывается следующим образом в своей автобиографии: «Никогда еще не было такого несчастного литературного предприятия, каким оказалось мое сочинение «Трактат о человеческой природе», оно погибло при самом появлении своем на свет; на его долю не выпало даже чести возбуждения против себя ропота изуверов. Но так как по своей натуре я был склонен к веселью и надежде, то скоро оправился от этого первого удара и, живя в деревне, с новым жаром принялся за свои занятия».

Есть, однако, основание думать, что Юм вовсе не так легко примирился с неудачей своего первого опубликованного труда. В письме от 1 июня 1739 года он говорит: «Я вовсе не расположен более к тому, чтобы писать подобные сочинения, так как из Лондона получил известия о посредственном успехе моей философии — весьма посредственном, если судить о нем по продаже книги и если мой издатель заслуживает доверия». Особенно огорчало Юма равнодушное и пренебрежительное отношение общества к «Трактату о человеческой природе». Автор понимал, как много смелых и новых мыслей заключало в себе его сочинение; он ожидал, что они произведут целую революцию в мире умственных интересов; он приготовился к негодованию обскурантов и заблаговременно придумывал средства и орудия для борьбы с ними. Ничего этого не дождался самолюбивый философ, задумавший

сразу произвести переворот в области мысли. Тихая, вялая продажа вышедших частей «Трактата», полное равнодушие читателей, замалчивание критиков... Юму горьким опытом пришлось убедиться в том, что новизна его мыслей и взглядов чересчур опередила развитие его современников и что большинство их не находит ничего общего, никакой связи между рассуждениями нового философа и своими убеждениями и взглядами. Все это так разочаровало Юма и так расхолодило его философский пыл, что он решил на время переменить род занятий и обратился к изучению истории и к социальным вопросам.

Впрочем, «Трактат» Юма не был совершенно обойден молчанием. В издании, называвшемся «История трудов ученых» («History of the Works of the Learned»), за ноябрь 1739 года, появилась критическая статья о сочинении Юма, в которой к этому произведению отнеслись внимательно и с большим уважением. Автор этой заметки неизвестен, но, вероятно, он был человек знающий и проницательный; труд Юма он оценил следующим образом: «Произведение это отмечено несомненным и большим талантом; оно обнаруживает вдохновение гения, но гения еще молодого и недостаточно опытного». Юм был очень недоволен такой оценкой и в письме к Хатчесону жалуется на приведенный критический отзыв, называя его «оскорбительным».

В истории первоначальных неудач «Трактата о человеческой природе» всего печальнее не то, что это произведение было непонято современниками и критикой, — удивительно и обидно подметить в Юме жажду славы, очевидное желание добиться одобрения публики, хотя бы то было одобрение невежественного большинства, а не избранного меньшинства. В своем желании быть понятым и одобренным Юм, как мы видели, решился даже на «уродование» своего труда. Первые изменения в нем он сделал еще в 1737 году, отсылая манускрипт своего «Трактата» на просмотр епископу Бетлеру. Об этих изменениях он упоминает в письме к Генри Гому и прибавляет: «В этом есть доля малодушия, за которое я себя порицаю; но я решил не быть энтузиастом в философии, тем более что сам порицаю других энтузиастов». В конце концов Юм убедился, что все его уловки и старания в этом направлении тщетны и что успех его философского произведения остается пока несбывшейся мечтой. В 1739 году он писал из своего имения: «Теперь я недоволен собой, но, без сомнения, скоро буду недоволен всем миром, подобно другим авторам-неудачникам».

Следующие шесть лет (1739—1745 годы) Юм провел в поместье Ninewells в обществе своих родных. Предаваясь обычным научным занятиям, Юм изменил область своих исследований: из чисто интеллектуальной сферы, к которой относились два изданных им тома «Трактата», он обратился теперь к этике и занялся решением нравственных проблем. Плодом этих занятий был третий том «Трактата», изданный в 1740 году. По интересу самого сюжета и по талантливой обработке его наиболее замечательна глава, в которой Юм говорит о справедливости и несправедливости, выясняя при этом происхождение понятий закона и собственности.

Едва закончив издание трехтомного трактата, Юм снова выступает перед публикой в качестве автора первого тома «Опытов нравственных и политических» («Essays, Moral and Political»), вышедшего в 1741 году; через год за первым томом последовал и второй. Интересно, что издание это долго оставалось анонимным: Юм не хотел давать своему новому труду имя, которое всякому напоминало бы об авторе

«Трактата», так неудачно начавшем свое литературное поприще. «Опыты» Юма имели большой успех; уже в июне 1742 года первое издание их разошлось, а спрос все увеличивался, так что в 1748 году появилось второе издание этого сочинения, причем две главы были выпущены и прибавлены три новых. Во втором издании Юм назвал свой труд: «Опыты нравственные, политические и литературные» («Essays Moral, Political and Literary»), и под этим заглавием новое произведение Юма выдержало несколько последовательных изданий. Итак, настойчивый автор добился желанного успеха, который выразился на этот раз и в быстрой распродаже изданий, и в одобрении друзей и знакомых Юма. Епископ Бетлер, обошедший молчанием «Трактат о человеческой природе», горячо рекомендовал новый труд Юма как образцовое литературное произведение, написанное «ясно, сильно и полное блеска, интереса и остроумия». Действительно, нельзя не признать больших достоинств за «Опытами» Юма: в некоторых из них он высказывает такие веские экономические суждения и так удачно соединяет их с мудро разрешаемыми политическими вопросами, что этими размышлениями подготавливает путь к тому сочинению Адама Смита («О народном богатстве»), которое считается главным вкладом в экономическую литературу восемнадцатого века. Но зато как философское сочинение «Опыты» далеко уступают «Трактату», и современные Юму философы оказались плохими критиками, не угадав того серьезного значения, которое имел его первый философский труд, и предпочтя ему «Опыты» за их литературные достоинства и меньшую резкость взглядов.

Издав свое второе литературное произведение, Юм прожил два-три года в Ninewells, занимаясь чтением и совершенствуясь в греческом языке, который, по его признанию, он знал недостаточно хорошо. В это время Юма окружали самые блестящие представители современной ему шотландской интеллигенции; между его друзьями было немало людей, пользовавшихся крупной известностью в мире литературном и политическом, и Дэвид Юм с удовольствием посвящал свои досуги непосредственному общению или же переписке с новыми друзьями. Однако же в положении Юма было кое-что, заставлявшее его сильно призадуматься: несмотря на успех «Опытов», он все еще не обладал таким определенным доходом, который обеспечивал бы ему скромную, но независимую жизнь. Хлопоты друзей Юма о предоставлении ему вакантной кафедры нравственной философии в Эдинбургском университете окончились неудачей, и в 1745 году Юм принял предложение юного маркиза Анненделя жить с ним в качестве наставника и руководителя его образованием. Странная и тяжелая жизнь выпала на долю Юма в течение года, проведенного им в поместьях семьи Анненделей. Воспитанник Юма был жалким, полупомешанным юношей, которого, разумеется, нельзя было ни учить, ни развивать так серьезно, как этого желал бы воспитатель-философ. Кроме того, дядя молодого маркиза, заведовавший всеми делами лордов Анненделей, оказался очень дурным человеком, и Юму пришлось перенести от него много несправедливых обид. Без сомнения, одна материальная нужда и необходимость заработка заставляли Юма в течение целого года вести такой тяжелый образ жизни, но, к сожалению, его труды и терпение не были вознаграждены ни в каком смысле: Аннендели не заплатили Юму условленного жалованья, и ему пришлось вести длинный процесс, чтобы получить свой заработок с богачей, имущества которых оценивались миллионами. Интересно, что Юм вел этот процесс с такой настойчивостью, которая, по-видимому, плохо мотивировалась незначительной суммой, составлявшей жалованье Юма у Анненделей. Это тем более удивляло друзей Юма, что процесс затянулся до 1761 года, а в это время наш философ был уже хорошо обеспеченным человеком, и всякий другой на его месте давно махнул

бы рукой на такую ничтожную тяжбу. Но у Юма было высоко развито чувство законности и справедливости — то чувство, которое удерживает человека от посягательства на все ему не принадлежащее, но зато и побуждает неуклонно отстаивать свои законные права. Относительно тяжбы с Анненделями неизвестно даже, получил ли Юм следуемые ему деньги; но он выиграл свой процесс, то есть отстоял перед законом свои права, что и было его главной целью.

ГЛАВА III

Военная экспедиция генерала Сен-Клера. — Путешествие Юма по Европе. — Издание «Философских опытов о человеческом уме». — Смерть госпожи Юм. — Жизнь Юма в Эдинбурге. — Издание «Исследования принципов нравственности» и «Политических речей». — Избрание Юма на должность библиотекаря общества адвокатов в Эдинбурге. — Исторические труды Юма. — Издание первых томов «Истории Англии». — Переезд в Лондон и возвращение в Эдинбург

В 1746 году генерал Сен-Клер, начальник военной экспедиции, отправлявшейся из Англии в Канаду (но ограничившейся на деле крейсированием вокруг берегов Франции), пригласил Юма занять при нем место секретаря и юрисконсульта. Юм почти без раздумья принял предложение Сен-Клера и таким образом вступил в состав экспедиции, преследовавшей, в сущности, бесчестные цели: набеги на мирных прибрежных жителей и разорение их деревень. Единственная выгода, которую мог извлечь Юм из своего участия в таком предприятии, было приобретение опытности в делах юридических и политических, что впоследствии очень пригодилось ему как историку. В своих письмах к сестре и брату Юм выражает удовольствие по поводу того, что ему приходится видеть настоящую «кампанию»; но скоро философ заскучал в новой для него обстановке, и его сильно потянуло вернуться к дорогим друзьям-книгам, к сельскому досугу и уединению.

По окончании экспедиции Юм вернулся к своим родным, которые с большим радушием встретили самого младшего члена своей семьи, предоставив ему полную возможность отдыха и свободного занятия любимыми трудами.

В 1748 году мирная деревенская жизнь Юма была вторично нарушена приглашением Сен-Клера. На этот раз генерал получил важную военную миссию при дворах венском и туринском; сохранив самые хорошие воспоминания об Юме как умном и деятельном секретаре, Сен-Клер настоятельно просил его снова занять эту должность. Сначала Юм колебался: приходилось опять расставаться с тихим убежищем и с любимыми книгами; но скоро взяло верх то соображение, что для задуманных исторических трудов будет в высшей степени полезно ознакомиться с тем, что происходит в сферах придворной и дипломатической, и Юм еще раз отвлекается от научных трудов для того, чтобы занять официальное положение при военном посольстве. Так как Сен-Клер скоро назначил Юма своим адъютантом, то философу пришлось надеть военную форму, которая, по словам современников, совсем не шла к его неуклюжей, тучной фигуре.

Путешествие Юма с генералом Сен-Клером продолжалось около года, причем им удалось побывать в Голландии, проехать по Рейну, посетить Франкфурт, Вену и затем через Тироль проехать в Турин. В дневнике и письмах, которые Юм присылал из-за границы своему брату, философ остается верным себе: ни красоты

природы, ни величавые остатки средневековой культуры, ни чудные произведения искусства не привлекали внимания Юма, который нигде не обмолвился ни одним словом о виденных им чудесах. Зато он делает меткие и верные наблюдения над бытом и жизнью тех государств, через которые лежал его путь. Так, например, о Германии он сказал: «Если она когда-либо объединится, то станет самой могущественной державой». Мнение это оказалось настоящим предвидением событий современной нам истории. На историко-критические взгляды Юма его поездка с Сен-Клером имела несомненное и притом полезное влияние. Сношения с чужими дворами и ознакомление с реальной политической жизнью показали Юму, как много значат в жизни народа его внутренние силы; он убедился в том, что именно эти силы, а не случайные успехи на поле брани, создают истинное развитие и прогресс в государственной жизни.

Во время пребывания Юма в Италии, в 1748 году, были изданы его «Философские опыты о человеческом уме» («Philosophical Essays concerning Human Understanding»), получившие впоследствии (в третьем издании) заглавие «Исследование о человеческом уме» («An Inquiry concerning Human Understanding»), под которым они и известны до сих пор. Первое издание этого сочинения было анонимное; во втором издании Юм сообщил свое имя, а позднее прибавил к этому произведению предисловие, в котором выразил желание, чтобы читатели только на это «Исследование» смотрели как на сочинение, выражающее чувства и философские принципы автора, и чтобы оно совершенно заступило место «Трактата», который, таким образом, самым автором обрекался на полное забвение. Здесь мы встречаемся с очень странным, но часто повторяющимся явлением: автор обнаруживает как непонимание истинных достоинств своего лучшего труда, так и необъяснимое предпочтение, которое он оказывает другому труду, несравненно более слабому. «Исследование о человеческом уме» представляет собой извлечение из «Трактата», сделанное Юмом с целью большей популярности своих идей. Правда, по литературной, общедоступной и даже изящной форме «Исследование» превосходит «Трактат»; но в этом и все преимущество первого перед последним. В письмах к своему другу Гилберту Эллиоту Юм говорит: «Я думаю, что «Философские опыты» содержат все важнейшие наблюдения, которые вы могли найти в «Трактате». Поэтому я просил бы вас не читать этого последнего. Сокращая и упрощая рассуждения в нем, я, в сущности, делаю их более полными. «Addo dum minuo» («сокращая, прибавляю»). Философские же принципы одни и те же в обеих книгах».

Юм был тысячу раз неправ в этом пренебрежении к «Трактату» и в желании заменить его «Исследованием», которое именно как философское сочинение существенно уступает юношескому произведению Юма. Разумеется, оно выражает и чувства, и философские принципы Юма, но это произведение лишено того методического и научного характера, который так строго выдержан в «Трактате». Мысли Юма в «Исследовании» выражены в разбросанных отрывках; они страдают бедностью и неполнотой развития; вся важность их почувствуется лишь по прочтении «Трактата», который запечатлен всей искренностью, всей оригинальностью и глубиной первого труда. «Философские опыты» были написаны Юмом для того, чтобы сделать как можно доступнее для понимания свою философскую систему, то есть чтобы вульгаризировать ее, а при таком приспособлении к умственному уровню большинства читателей приходится жертвовать многими, иногда лучшими, чертами научного труда. Вот почему, по мнению Пиллона, «Философские опыты» Юма никак не могут служить заменой его

«Трактата»; их следует рассматривать лишь как дополнение к нему — дополнение, правда, очень ценное в некоторых отношениях.

Участь нового философского произведения Юма была немногим лучше печальной судьбы его «Трактата», и автор с сожалением должен был убедиться в том, что ему не удалось изгладить памяти об его первом труде. Так потерпели крушение планы Юма произвести переворот в мире мысли; так плохо были оценены современниками Юма гениальные труды, доставившие ему впоследствии и всемирную славу, и крупное значение в истории философии.

По возвращении своем из заграничной поездки в 1749 году Юм поселился было в Лондоне, но неожиданное известие о смерти матери заставило его покинуть столицу Англии и снова переехать в свое имение. Карлейль и Бойль, бывшие свидетелями того впечатления, которое произвела на Юма смерть матери, рассказывают, что горе философа было очень велико и что они застали его «проливающим потоки слез». Как видно, научные занятия не иссушили сердца Юма, не сделали его черствым и неспособным к нежным чувствам; философу был только чужд тот экспансивный лиризм, который заставляет человека разбираться в своих ощущениях, вникать в мельчайшие оттенки их и пространно толковать о каждом из этих наблюдений. Юм был, вероятно, другого мнения о таком обнарождении своих интимных чувствований; оно должно было казаться ему и бесполезным, и неуместным; вот почему в автобиографии он упоминает о своей тяжелой утрате лишь в следующих кратких словах: «В 1749 году, по случаю смерти моей матери, я переехал в имение моего брата и прожил там два года».

Все это время Юм вел оживленную и крайне интересную переписку со своими друзьями, самым замечательным из которых был Гилберт Эллиот; несмотря на различие философских взглядов, Юм и Эллиот были очень дружны, и обмен их мыслей в письмах составляет образчик замечательно интересной корреспонденции. Живя в деревне, Юм не терял времени; пользуясь представившейся ему свободой и досугом, он написал три замечательных сочинения: «Исследование о принципах нравственности», «Политические речи» и «Диалоги о естественной религии» («Inquiry concerning the Principles of Morals», «Political Discourses», «Dialogues concerning Natural Religion»); два первых произведения вышли в 1751 году, а последнее было издано лишь после смерти автора.

Двухлетнее пребывание в деревне на этот раз привело Юма к тому убеждению, что город есть настоящая арена деятельности для ученого, вследствие чего философ окончательно покинул деревню и переехал в Эдинбург. Здесь он поселился на Лонмаркете, наняв квартиру в одном из тех старинных многоэтажных домов, которые и по сию пору возвышаются по обеим сторонам улиц старого Эдинбурга и своим оригинальным видом привлекают внимание туристов.

Самым бодрым, светлым настроением духа сопровождался этот переезд Юма на жительство в столицу Шотландии. Вот что писал он в это время Рамзею:

«Пожалуй, и я мог бы, подобно другим, жаловаться на свою судьбу, но я этого не сделаю, а если бы и сделал, то считал бы себя очень неблагоприятным. Если мой

доход не изменится, то я буду располагать 500 рублями² в год; кроме того, у меня есть библиотека ценностью в 1000 рублей, большой запас белья и платья и около 1000 рублей в моем бумажнике. Прибавьте сюда порядок, воздержанность, дух независимости, хорошее здоровье, прекрасное настроение и ненасытную любовь кучению. Благодаря всему этому, я могу причислить себя к счастливым и баловням судьбы; таким образом, я далек от желания вынуть другой билет в жизненной лотерее, ибо мало есть таких жребиев, на которые я согласился бы променять свой собственный».

Первая же зима, проведенная Юмом в Эдинбурге, ознаменовалась новым поражением его кандидатуры на профессорскую кафедру. В университете в Глазго освободилась кафедра логики вследствие того, что Адам Смит был назначен профессором этики. Юм выступил претендентом на освободившееся место, но снова не был выбран, вероятно, потому, что такому отъявленному атеисту и скептику не считали возможным поручить образование юношества. В этом же, то есть 1751 году, Юм издал два сочинения, написанные им уже в деревне: «Исследование о принципах нравственности» и «Политические речи». О первом из них автор выразился следующим образом: «По моему мнению, это самое лучшее из всех моих произведений исторических, философских или литературных». Труд этот не был оценен современниками Юма, которые не разделяли взглядов философа на пользу как на мерило нравственных деяний, а именно этой защите пользы и посвящено «Исследование о принципах нравственности». Не такова была участь «Политических речей» — это сочинение получило быструю и широкую известность; появилось несколько переводов его на французский язык, которые и были изданы в Амстердаме, Берлине и Париже. Вообще, в Европе «Политические речи» произвели большую сенсацию и даже вызвали своим появлением другие сочинения, между прочим книгу Мирабо «Друг людей». Бертон говорит, что «Политические речи» Юма по справедливости можно назвать «колыбелью политической экономии» и что они содержат первое, самое простое и самое краткое изложение принципов этой науки.

В 1752 году Общество эдинбургских адвокатов избрало Юма своим библиотекарем; звание это, охотно принятое Юмом, не представляло значительных материальных выгод, так как оплачивалось всего 400 рублями годовичного жалованья; но зато теперь в распоряжение Юма поступала обширная библиотека (около 30 000 томов), особенно богатая книгами исторического содержания, — обстоятельство крайне важное для Юма, задумавшего писать историю Англии и действительно занимавшегося этим трудом в течение одиннадцати лет. Интересны обстоятельства, которыми сопровождалось избрание Юма на должность библиотекаря. Едва разнесся слух о возможности предоставления Юму этого скромного положения, как в Эдинбургском обществе поднялись негодующие возгласы против кандидатуры такого нечестивого человека. Тем не менее Юм был избран громадным большинством. Вот что писал он об этом доктору Клефену в письме от 4 февраля 1752 года: «Всего удивительнее то, что обвинение меня в нечисти не помешало дамам решительно высказаться за меня; их ходатайству я в значительной степени обязан своим успехом... Со всех сторон твердили, что происходит состязание между деистами и христианами; когда же первая весть о моем успехе разнеслась в театре, то все зашептали о том, что христиане потерпели поражение». Противники Юма, недовольные успехом, выпавшим на его

² Здесь употреблена русская денежная единица как эквивалент шотландской по существовавшему тогда (1893 год) валютному курсу. — Ред.

долю, начали злословить, обвиняя его в корысти, которая будто бы единственно побудила его принять должность библиотекаря; Юм в высшей степени великодушно опроверг это обвинение, пожертвовав все свое жалованье в пользу слепорожденного поэта Блеклока.

Окончательно устроившись в Эдинбурге, разделяя свои труды между занятиями, связанными с новой должностью, чтением и обработкой истории Великобритании, Юм находил время и для общения со своими друзьями, которые составляли около него тесный и весьма избранный круг. Одним из самых замечательных людей между ними был, без сомнения, Адам Смит. Знакомство его с Юмом возникло еще в школьном возрасте знаменитого впоследствии политико-эконома, в то время когда ему было не более семнадцати лет. Профессор университета в Глазго Хатчесон обратил внимание на А. Смита, как на самого выдающегося ученика в его классе, и рассказал о нем Юму, говоря, что он хорошо сделает, если пошлет этому талантливому юноше экземпляр своего «Трактата»; Юм послушался этого совета, и таким образом завязалось сначала знакомство, а затем и дружба между двумя замечательными мыслителями XVIII века.

Очень интересную характеристику своей жизненной обстановки и своих стремлений в описываемую пору дает сам Юм в письме к доктору Клефену. «Вот уже семь месяцев, как я завел свой собственный очаг и организовал семью, состоящую из ее главы, то есть меня, и двух подчиненных членов — служанки и кошки. Ко мне присоединилась моя сестра, и теперь мы живем вместе. Будучи умеренным, я могу пользоваться чистотой, теплом и светом, достатком и удовольствиями. Чего хотите вы еще? Независимости? Я обладаю ею в высшей степени. Славы? Но она совсем нежелательна. Хорошего приема? Он придет со временем. Жены? Это не есть необходимая жизненная потребность. Книг? Вот они действительно необходимы; но у меня их больше, чем сколько я могу прочесть. Говоря короче, нет такого существенного блага, которым я не обладал бы в большей или меньшей степени; поэтому без особых философских усилий я могу быть покойным и довольным...

Так как нет счастья без занятий, то я начал труд, которому должен буду посвятить несколько лет и который доставляет мне большое удовольствие. Это «Британская (шотландские предрассудки не позволяли Юму сказать английская. — М. С.) история», начиная от соединения королевств до настоящего времени. Я уже окончил царствование короля Иакова. Мои друзья уверяют, что моя работа успешна. Вы знаете, конечно, что на английском Парнасе самое вакантное место, это — место истории. Слог, оценка, беспристрастие, старательность — всего этого оставляют желать наши историки; что до меня, то я пишу мое сочинение очень сжато, по образцу древних историков...»

В автобиографии Юм говорит о своих исторических трудах следующее: «Я вознамерился писать английскую историю, но был утрачен мыслью писать такую историю, которая начинается за 1700 лет; поэтому я начал ее с восшествия на престол дома Стюартов, то есть с такого времени, когда, казалось мне, склонность к возмущени-36

ям особенно способствовала уничтожению предрассудков и заблуждений. Признаюсь, что я был полон надеждой об успехах этого труда, думая быть таким историком, который не обращает внимания ни на силу, ни на шум народных предрассудков. А так как эти намерения могли быть понятны каждому, то я и

рассчитывал, что мое сочинение будет одобрено всеми людьми. Но в этих надеждах я был бесчеловечным образом обманут, так как против меня поднялась общенародная молва, порочащая мое сочинение».

Обе приведенные выписки крайне характерны. Из них видно, что, за какие бы труды ни принимался Юм, все его старания направлялись к одной цели — к возможности такого благотворного воздействия на умы читателей, которым достигалось бы искоренение предубеждений, неправильных взглядов, предвзятых мнений и суеверий — словом, всего, чем тормозится правильное развитие мысли, чем омрачаются здравый смысл и ясные понятия. Ради этой цели Юм начал свою историю именно с той эпохи, которая, по его мнению, характеризовалась первыми волнениями и возбуждениями против умственной рутины; из-за этих же соображений он закончил третий и последний том истории восшествием на престол ганноверской династии. «Я не смею подходить ближе к настоящему времени», — говорит Юм. Разумеется, дальнейшее приближение было опасно и даже невозможно для историка, который не ограничивался простым изложением фактов, но с беспощадной строгостью проницательного критика указывал на темные стороны государственной и общественной жизни. Интересно и то замечание Юма, которое относится, собственно, к форме его исторического труда: «Я пишу сжато, по образцу древних историков». Как сказались здесь те юношеские восторги, с которыми шестнадцатилетний Юм зачитывался Плутархом и Тацитом... Авторы, выбранных им своими руководителями в ту раннюю эпоху, Юм считает образцами и в зрелом возрасте, при полном развитии своих богатых умственных способностей. Не знаешь, чему тут больше удивляться: умению ли юноши остановить свой выбор именно на самом подходящем и пригодном материале для будущих самостоятельных трудов; или постоянству философа, остающегося десятки лет верным тем влечениям, которые возникли в нем с первых лет его сознательной умственной жизни!

Первый том «Истории Великобритании», содержащий царствование Иакова I и Карла I, был издан Юмом в 1754 году. Продажа этой книги, особенно в Эдинбурге, шла недурно, и если бы единственным желанием автора было приобретение все большей и большей известности, то он мог бы считать свою цель достигнутой. Но Юму этого было мало: как мы уже видели, он желал быть понятым и одобренным, и в этом отношении его постигло горькое разочарование. В автобиографии Юма мы находим следующие, относящиеся сюда, строки: «Меня встретили криками порицания, гнева и даже ненависти; англичане, шотландцы и ирландцы, виги и тори³, духовные лица и сектанты, свободные мыслители и святоши, патриоты и придворные льстецы — все соединились в своей ярости против человека, который не побоялся пролить слезу сожаления над смертью Карла I и графа Страффорда. Когда же остыл первый пыл их гнева, то произошло нечто еще более убийственное: книга была предана забвению. Миллер (издатель) уведомляет меня, что в течение двенадцати месяцев он продал всего 45 экземпляров. Право, не знаю, найдется ли во всех трех королевствах хотя один человек, видный по положению или по научному образованию, который отнесся бы к моей книге с терпимостью. Впрочем, я должен сделать исключения в пользу примасов Англии, доктора Герринга, и Ирландии, доктора Стоуна, — исключения изумительные. Эти высокопоставленные духовные особы удостоили меня посланиями далеко не обескураживающего характера».

³ Имеются в виду политические партии — виги и тори, на основе которых в XIX веке образовались соответственно Либеральная и Консервативная партии. — Ред.

Действительно может показаться странным, что Дэвид Юм получил одобрение и похвалу со стороны двух епископов. Однако факт этот не так непонятен, каким он представляется с первого взгляда; дело объясняется тем, что Юм не был таким беспристрастным, объективным историком, каким характеризует себя, говоря:

«Я имею дерзость думать, что не принадлежу ни к какой партии и не провожу никакой тенденции». Именно тенденция-то у него и была: придя к тому убеждению, что демократия менее интеллигентна, чем аристократия, и что народные начинания, коренясь лишь на приходящем энтузиазме, часто не согласуются ни с природой вещей, ни требованиями разума, Юм стал постепенно отдавать свои симпатии партии аристократов и наконец сделался явным роялистом. Вот мнение знаменитого Маколея о Юме как об историке: «В исторических картинах Юма, несмотря на то что они представляют восхитительное произведение мастерской руки, все светлые краски относятся к ториям, а все тени — к вигам».

В 1756 году Юм издал второй том своей «Истории», а через год приступил к работе над ее третьим томом. Извещая своего издателя Миллера об этих занятиях, Юм радуется тому, что наконец дошел до царствования Генриха VII, с которого, собственно говоря, и начинается новая история. «Жаль, — говорит он, — что я не начал своего труда именно с этой эпохи: тогда я избежал бы многих нареканий, раздавшихся по поводу двух первых ее томов. В этом же (1757) году Юмом были напечатаны четыре рассуждения: «Естественная история религии, страстей, трагедии, образцов вкуса» («Four Dissertations: the Natural History of Religion, of the Passions, of Tragedy, of the Standard of Taste»).

Вскоре за тем Юм написал довольно лаконичное письмо декану Общества эдинбургских адвокатов, уведомляя его, что должность библиотекаря не настолько соответствует его привычкам и вкусам, чтобы он мог оставаться в ней; притом она доставила ему если не врагов, то противников в обществе адвокатов.

Освободившись от занятий библиотекаря, Юм стал хлопотать о том, чтобы покинуть Эдинбург и переехать в Лондон, «вероятно, навсегда», — писал он своему другу Клефену. Довольно трудно понять, какие причины побуждали Юма расстаться с любимой родиной и променять ее на Англию, к которой он чувствовал сильную антипатию. Из переписки Юма с Робертсоном, относящейся к этому времени, видно, что отъезд философа из Шотландии имел большую связь со свадьбой его брата и что, несмотря на все желание избежать поездки в Лондон, Юм не мог остаться у себя дома. Однако недолго, не больше года, прожил он в столице Англии; вероятно, время взяло свое, причины, вызвавшие отъезд Юма из Эдинбурга, мало-помалу потеряли свою силу, а любовь к родине и тоска по ней окончательно побудили его к возвращению домой. В ноябре 1759 года мы видим Юма снова в Эдинбурге, занятого пересмотром и исправлением первых томов своей «Истории». Между тем, последние сочинения шотландского философа, главным же образом его исторические труды, приобретали все большую и большую популярность за границей. Во Франции они появлялись в нескольких переводах и находили себе тонких ценителей среди образованных представителей и представительниц парижских салонов. Одной из горячих почитательниц Юма сделалась госпожа Буффле, имевшая славу первой красавицы Парижа. Прочтя написанную Юмом историю дома Стюартов, эта парижская львица пришла в такой восторг, что написала автору пламенное послание, в котором характеризовала

книгу Юма как «terra fecunda⁴ морали и поучений». Юм ответил своей почитательнице очень любезно, но сдержанно; на просьбу же госпожи Буффле приехать в Париж выразил надежду, что со временем воспользуется этим приглашением. Главным занятием в эту пору пребывания Юма на родине было исправление и продолжение исторических трудов; в марте 1763 года он сообщил Гилберту Эллиоту, что ему удалось снять с Иакова I обвинение в преследовании пуритан и что он восстановил репутацию Иакова II и английской судебной палаты. В том же месяце Юм известил Миллера, что он не оставляет намерения продолжать свою «Историю».

ГЛАВА IV

Жизнь Юма в Париже в качестве секретаря посольства. — Знакомство с Ж. Ж. Руссо. — Возвращение на родину. — Новый административный пост, предоставленный Юму. — Последние годы жизни в Эдинбурге. — Болезнь и смерть Юма

В 1763 году новая и весьма важная перемена произошла в судьбе Юма: от маркиза Гертфорда, назначенного на пост английского посланника во Франции, он получил приглашение занять место секретаря посольства. Не знакомый с Юмом лично, маркиз много слышал о его административных способностях от генерала Сен-Клера; да и прочный, хотя медленный, успех философских и исторических трудов Юма сделал к этому времени его имя известным повсюду в Англии; тем не менее, приглашение маркиза не столько обрадовало, сколько удивило Юма: «Решительно непонятно, как случилось, что подобный пост был предложен философу, писателю, человеку никоим образом не придворному и с самым независимым духом», — писал Юм в одном из писем. Сначала он отклонил почетное предложение посланника, но потом передумал: для философа с нелестной репутацией безбожника и нечестивца было очень важно вступить в тесные сношения с маркизом Гертфордом, который слыл за человека добродетельного и благочестивого. Кроме того, с местом секретаря посольства, обещанным Юму, были связаны значительные денежные выгоды. Приняв все во внимание, философ согласился на предложение Гертфорда и в сентябре 1763 года выражал Адаму Смиту то искреннее сожаление, с которым он меняет спокойствие, уединение и независимость на жизнь тревожную, шумную и полную новых обязанностей. «Я пустил такие глубокие корни в Шотландии, что с большим трудом могу представить себя перенесенным куда-либо», — говорит Юм. На деле оказалось, что шотландского философа ожидал в Париже такой блестящий прием, такое чествование, благодаря которым серьезный мыслитель вообразил себя среди людей, родных ему по духу и убеждениям. Без конца восхищаясь умом, развитием и тонким литературным вкусом парижан, Юм одно время мечтал даже окончательно променять свою родину на гостеприимную Францию. Вот что пишет он об этом в автобиографии: «Живя в Париже, испытываешь большое удовольствие от сообщества с разумными, учеными и вежливыми людьми, которых здесь больше, чем где-либо в целом свете. Поэтому одно время я намеревался остаться жить там до моей смерти». Это решение философа, по-видимому, слишком опрометчивое и не свойственное его рассудительной натуре, не должно удивлять нас: давно известно,

⁴ Плодородная почва (лат.). — Ред.

что «наша родина там, где нас понимают и любят». Кому же было и ценить каждое проявление единомыслия и сочувствия, как не Юму, которого соотечественники так долго и упорно терзали всем, что можно придумать обидного и горького для человека и для писателя, — несправедливой критикой, равнодушием, забвением, обвинением в самых безнравственных намерениях, наконец, просто мелочными сплетнями и наговорами. Посмотрим же, чем обуславливалось совершенно противоположное отношение французов к Юму.

Во второй половине XVIII века высшее общество Парижа представляло оригинальную и характерную смесь самых разнородных элементов. Наиболее заметными, выдающимися людьми в нем были невежественные куртизанки наряду с такими представителями ума и гениальности, как д'Аламбер, Монтескье, Дидро, Кондорсе и другие. Интерес дня сосредоточивался на том лице, которое успевало обратить на себя внимание чем-либо новым, до того невиданным, все равно, было ли это из ряда вон хорошее или дурное отличие. Аристократические салоны служили приютом учености и роскоши, таланта и пошлости, блестящей холодной светскости и христианского человеколюбия... Все это непостижимым образом сплеталось и ютилось под сенью кодекса самой распушенной нравственности. Новых ощущений, интересных забав — вот все, чего жаждали французские аристократы того времени; на этой арене пустоты и тщеславия появляется новый философ, отмеченный уважением самых ученых и знаменитых парижан (с д'Аламбером и Гельвецием Юм еще до приезда во Францию вел деятельную переписку); в Европу уже успела проникнуть молва о новизне и смелости его воззрений; английские пиетисты аттестовали его как распространителя вредных атеистических учений — всего этого было больше чем довольно для возбуждения энтузиазма той нации, которая, по меткому выражению Юма, «вследствие постоянно живущего в ней мятежного духа все доводит до крайности в ту или другую сторону».

Шотландскому философу пришлось на собственной особе испытать эту способность французов увлекаться до крайности. Появление его в Париже ознаменовалось целым рядом самых неожиданных оаций. Литераторы, аристократы, придворные, наконец, сам дофин (сын Людовика XV) соперничали друг перед другом в чествовании чужестранца-философа. Самые знатные дамы наперерыв приглашали Юма на свои приемы и торжествовали, если им удавалось показаться публично в сопровождении новой знаменитости. Один из очевидцев этих триумфов Юма, лорд Чарлемонт, рассказывает, что «зачастую в ложе Оперы широкое незначительное лицо толстяка Дэвида выставлялось между двумя прелестными женскими личиками». Но напрасны были все ухаживания и заискивания парижан и парижанок: Юму, с его холодным темпераментом и никогда не оставлявшей его рассудительностью, ничто не могло вскружить голову. В письмах на родину он отзывается о первом времени своего пребывания в Париже следующим образом: «В продолжение двух дней, проведенных в Фонтенбло, я вытерпел столько лести, сколько вряд ли выпадало на чью-либо долю за такой промежуток времени... Я питаюсь теперь только амброзией, упиваюсь только нектаром, вдыхаю в себя только фимиам и попираю ногами только цветы... Роскошь и развлечения, окружающие меня, доставляют мне больше неприятностей, чем удовольствия».

Как и следовало ожидать, однако, триумфам Юма скоро настал конец; приезжий успел потерять интерес новизны, его оставили в покое, и тут, собственно говоря, наступил для него тот период интересных знакомств и дружеских сношений

с людьми действительно замечательными, который доставил Юму такое полное удовлетворение и даже внушил ему желание сделать Францию своим вторым отечеством. Как нарочно, случилось так, что, и живя в Париже, Юм имел полное основание негодовать на неблагодарность и несправедливость к нему английского правительства. Дело в том, что место секретаря посольства, на которое пригласили Юма, в сущности не было вакантным: официально оно числилось за мистером Борнби, человеком очень неспособным и ленивым, который, оставаясь в Лондоне, даром получал значительное жалование (12 тысяч рублей в год), между тем как Юм в Париже исполнял все обязанности секретаря посольства. Единственно, что удалось Гертфорду выхлопотать для Юма как вознаграждение, это временную пенсию по 2000 руб. в год и обещание предоставить ему место секретаря, как только оно освободится. Но так как с этим назначением очень медлили, то Юм не раз выражал негодование и сожаление по поводу своих обманутых надежд. Гилберту Эллиоту он писал об этом следующее: «Я привык получать от моей родины только оскорбления и неприятности, но если это будет так продолжаться, то *ingrata patria ne ossa quidem habebis* (неблагодарное отечество, ты даже и костей моих иметь не будешь)».

Вообще за время своего пребывания в Париже Юм высказывал такое предпочтение французов своим соотечественникам и так резко нападал на англичан за их варварское отношение к литературе и за холодный темперамент, что иногда вызывал отпор в своих старых друзьях на родине. Так, Эллиот писал ему: «Любите французов, сколько хотите, но прежде всего продолжайте быть англичанином». Совет этот Юм не оставил без возражений: «Можете ли вы серьезно говорить таким образом? Разве я или вы англичане? Я — космополит, но если бы мне пришлось избирать себе отечество, я остановился бы на той стране, в которой живу теперь». Несколько лет спустя Юм изменил свое мнение о Париже, находя жизнь в нем чересчур тревожной и неподходящей для пожилого человека, так что шотландский философ без сожаления променял впоследствии блестящий парижский свет на скромный кружок своих эдинбургских друзей; но антипатия, вернее, какая-то ненависть к англичанам, и в особенности к жителям Лондона, осталась в нем на всю жизнь. Трудно даже объяснить это чувство; отчасти оно могло быть вызвано обидой, затаенной, но не забытой самолюбивым автором после плохого приема его сочинений; но несомненно, что значительная доля горечи в данном случае должна быть отнесена к провинциализму Юма, к тому, что он и воспитывался, и жил в условиях простых, свободных от тех приличий и стеснений, которыми так изобилует кодекс лондонской светскости. Вот почему он всегда неловко чувствовал себя среди жителей английской столицы и почему, наоборот, ему пришлось по душе свобода и непринужденность в обращении парижан.

В 1765 году Юм был наконец утвержден секретарем посольства и вслед за тем заменял даже посланника, так как лорд Гертфорд получил другое назначение и уехал в Англию. Искренне полюбив своего секретаря и оценив его способности, бывший посланник выхлопотал ему место очень выгодное и очень спокойное; но, к чести своей, Юм наотрез отказался от принятия подобной синекуры, «отзывающейся жадностью и хищничеством». Пробыв в Париже до начала 1766 года, Юм уехал на родину, которую уже не покидал до самой смерти.

Нельзя обойти молчанием эпизод, относящийся к описываемому нами времени в жизни Юма, — именно его знакомство с Жан Жаком Руссо. Еще в 1761 году лорд Маршалл, встретившись с Руссо в Невшателе, посоветовал ему переменить место

его изгнания на Англию и просил Юма принять участие в бедном эмигранте. Госпожа Буффле со своей стороны писала Юму о Руссо как о человеке замечательном. Следуя этим просьбам, равно как и побуждению собственного доброго сердца, Юм написал Руссо, радушно приглашая его в свое отечество и предлагая ему приют у себя. Но переезд Руссо в Англию совершился лишь через несколько лет. В 1766 году Юм познакомился с Руссо во Франции и, уезжая оттуда по окончании своей службы в посольстве, увез с собой французского философа. Первое время Юм был совсем очарован своим новым другом и сравнивал его с Сократом, находя при этом, что Руссо еще более гениален, чем древний греческий философ. В феврале 1766 года Юм писал своему брату: «Руссо самый скромный, кроткий, благовоспитанный, великодушный и сердечный человек, какого я когда-либо встречал в моей жизни». Далее он характеризовал Руссо как самого замечательного человека в мире и прибавлял, что «очень любит его». Но скоро Юм понял, с кем имеет дело. При несомненной талантливости Руссо далеко не был ни скромным, ни благовоспитанным, ни великодушным человеком. Станным образом в нем сочетались оригинальность ума и вспышки настоящего безумия, блестящие способности и мелочное тщеславие, тонкая проницательность и напыщенная высокомерность взглядов. Все это далеко не соответствовало идеальному представлению о нем Юма.

По приезде в Англию Юм принялся хлопотать об устройстве приюта для своего нового друга и наконец нашел ему убежище в одном из городов Дербишира. Недолго, однако, довольствовался Руссо предоставленными ему удобствами и покоем. В сущности, он искал в Англии не мирного уединения, а славы, торжественного приема, возможности стать героем дня. Убедившись, наконец, что все это тщетные, неосуществимые надежды, Руссо со всей запальчивостью раздражительного человека напал на Юма, этого виновника его неудачного переселения в Англию. Руссо обвинял Юма и во враждебном к нему отношении, и даже в заговоре с другими лицами, будто бы составленном с целью разорения беззащитного эмигранта. Юм с удивительным терпением переносил все эти выходки тщеславного француза, считая его скорее ненормальным, чем негодным человеком. Позднее Руссо делал попытку слабого оправдания, но какую? — вместо раскаяния в своем поведении, он объяснял его влиянием туманного климата Англии. Так печально окончилась дружба этих двух мыслителей, бывших слишком различными и по темпераменту, и по убеждениям, чтобы рано или поздно между ними не произошло столкновения и даже полного разрыва. Но нельзя не признать, что лучшая роль в этой грустной истории выпала на долю добродушного, рассудительного, честного и уступчивого в своих симпатиях шотландца, а худшая — на долю тщеславного, раздражительного и взбалмошного француза.

По возвращении Юма из Франции его ожидало новое приглашение на видный административный пост в Лондоне: философу было предложено место помощника государственного секретаря Шотландии. Около двух лет прослужил Юм в этой новой должности, с которой были соединены не особенно обременительные обязанности; вот что писал он об этих занятиях: «Мой образ жизни очень однообразен, но вовсе не неприятен. От десяти до трех часов я бываю в секретариате; в это время получают депеши, сообщающие мне все тайны не только нашего королевства, но и Европы, Азии, Африки и Америки. Спешных дел у меня почти не бывает, и я всегда имею достаточно свободного времени для того, чтобы взяться за книгу, написать письмо или поболтать с навестившим меня другом; наконец, начиная с обеда и до самой ночи, я полный хозяин своего времени.

Если вы прибавите к этому, что лицо, с которым мне приходится главным образом, если не исключительно, иметь дело, — человек самый рассудительный, какого только можно себе представить, то вы поймете, конечно, что у меня нет повода жаловаться. Тем не менее я не буду жалеть, когда эта служба придет к концу, потому что мое высшее счастье, мое полное удовлетворение состоит в том, чтобы читать, гулять, мечтать, думать».

Служба Юма скоро пришла к концу, и в 1769 году мы видим его снова в Эдинбурге, счастливого своим возвращением на родину и намеревающегося провести остаток жизни в спокойном и приятном довольстве, пользуясь всеми благами, которые могло ему доставить значительное состояние (10 000 рублей годового дохода), приобретенное им к этому времени. Поселившись в Эдинбурге и окончательно решив дожить здесь до самой смерти, Юм занялся постройкой для себя дома по своему вкусу. Здание это было воздвигнуто в едва застраиваемой части города и пришлось как раз в начале новой улицы; одна остроумная эдинбургская барышня начертала на доме Юма слова: «улица Св. Давида», таким образом была окрещена эта до тех пор безымянная улица. Говорят, что когда служанка Юма жаловалась своему господину на эту проделку ветреной мисс, то философ ответил: «Не беда, моя милая, впрежнее время многих хороших людей делали святыми». В продолжение следующих шести лет дом на улице Св. Давида служил центром единения самого изысканного и блестящего эдинбургского общества. Если мы вспомним, что членами этого кружка были, между прочим, Адам Смит, Гилберт Эллиот, Маккензи, Генри Гом и другие истинные и просвещенные друзья знаменитого шотландского философа, то нам станет понятным, почему он без сожаления вспоминал о более блестящих, но менее тесных и дружных кружках Лондона и Парижа.

Тихо, но в то же время радостно протекали последние годы жизни Юма, и незаметно подкралась к нему смертельная болезнь. В 1775 году философ почувствовал, что его здоровье сильно пошатнулось и что от овладевшего им недуга ему уже не избавиться. С полным самообладанием принялся он за те дела, которыми должен был закончить свои земные расчеты. Прежде всего Юм написал духовное завещание, которым главную часть своего состояния (60 000 рублей) отказывал брату, сестре и племянникам; кроме того, он оставил значительные суммы своим друзьям: Адаму Смиту, Фергюсону и д'Аламберу; Адама Смита он назначил своим литературным душеприказчиком, поручив ему издать «Диалоги о естественной религии». Покончив с завещанием, Юм принялся за осуществление своего давнишнего намерения — за автобиографию. Любопытный документ вышел на этот раз из-под пера философа: это произведение носит на себе печать такой объективности, какую вряд ли можно встретить в сообщении автора о самом себе. Юм все время ограничивается строгой и очень сжатой передачей фактов, изредка лаконически объясняя их смысл; но о чувствах, о лирических отступлениях, словом, о чем-либо исключительно субъективном, нет и помина во всем этом произведении. Юму кажется даже непростительной претензией и тщеславием самое желание писать свою автобиографию, и он в самом же начале ее объясняет читателям причины, вызвавшие ее появление на свет. «Трудно говорить о себе долгое время без хвастовства, поэтому я описываю свою жизнь только вкратце. Правда, можно принять за известного рода тщеславие самое намерение писать свою автобиографию, но эта повесть будет содержать в себе не что иное, как историю моих писаний. В самом деле, почти вся жизнь моя прошла в научных трудах и занятиях». Как сказался в этом Юм, ставивший высшим

интересом и главной целью своей жизни именно служение науке. Только потому и отваживается он рассказывать вкратце о себе, что все его силы, вся жизнь были посвящены обществу, составляют его собственность, и потому «история писаний» Юма, по мнению самого автора, имеет интерес и для современников, и для потомства. Есть что-то трогательное и величественное в этом рассуждении замечательного мыслителя, который сознательно затеняет личное я, выставляя на вид свой крупный вклад в науку, да и это делает лишь потому, что ясно понимает всю пользу, какую принесет обществу напоминание о замечательных философских и литературных трудах умирающего писателя.

Не менее интересен и характерен конец Комовой автобиографии, представляющий самое рассудительное и философски спокойное прощание с жизнью, какое когда-либо приходится читать. «Несмотря на очевидное изнурение моего организма, — пишет Юм, — никогда, ни на одну минуту не чувствовал я уныния в душе своей; таким образом, если бы мне надлежало сказать, какое время я считаю за лучшее в моей жизни, то я указал бы именно на этот последний период... В самом деле, никогда не испытывал я большего жара в занятиях, ни большей веселости в приятном мне обществе. Тем не менее я нахожу, что человек, умирающий 65-ти лет, только освобождается от нескольких лет дряхлости; и хотя по некоторым обстоятельствам я мог бы надеяться, что увижу ученую славу свою в большем блеске, чем это было до сих пор, но зато я знаю, что недолго пользовался бы этим счастьем, почему и трудно найти человека, который был бы привязан к жизни меньше меня».

Между тем недуг Юма усиливался, и эдинбургские врачи решили, что ему следует переменить образ жизни и испытать действие минеральных вод. Юм послушался этого совета и отправился в местечко Бад (Bath), лежащее недалеко от Лондона и славящееся целебными источниками. Однако лечение не помогло, и в июне 1776 года Юм писал из Бада: «Через несколько дней я уезжаю отсюда, так как воды не принесли мне облегчения... Настоящая причина моей болезни теперь открыта — это моя печень». Вскоре Юм вернулся в Эдинбург, собрал в последний раз своих лучших друзей к себе на вечер и написал брату следующее письмо: «Дорогой брат, доктор Блек сказал мне с сожалением, — как и подобает человеку чувствительному, — что я скоро умру; это не было для меня неприятной новостью». Адам Смит и доктора Келен и Блек свидетельствуют, что Юм говорил о смерти спокойно, даже весело, и не обнаруживал ни малейшего нетерпения или ропота. Юм скончался 25 августа 1776 года, а несколько дней спустя его тело, сопровождаемое громадной толпой, привлеченной отчасти любопытством, отчасти глубокой симпатией к покойному, было похоронено на старом кладбище, расположенном по южному склону холма, вершины которого открывается замечательный вид на Эдинбург и его окрестности. На востоке протекает река Форт, а дальше за ней синеют хребты шотландских гор. С запада выступают смелые очертания скалы Кестл со старой частью Эдинбурга, а к подножью холма, из лабиринта тесных улиц, доносится глухой шум: отклик деятельного городского населения. Почувствовав приближение смерти, Юм сам выбрал это кладбище как место своего погребения; вряд ли его выбор был случайным, — нам кажутся справедливыми догадки Гексли о том, что гениальный философ и историк намеренно выбрал для вечного успокоения то место, где так удивительно сближены и сопоставлены царство природы и царство человека, составляющие нечто единое, — весь здешний мир, в котором все подчинено одним и тем же законам, и все в своей сущности остается тайной, несмотря на смелые попытки человеческого ума проникнуть в нее.

На своей могильной плите Юм завещал сделать следующую надпись: «Дэвид Юм. Родился 26 апреля 1711 года, умер 25 августа 1776 года». «Предоставляю потомству, — сказал он, — прибавить остальное». Замечательный мыслитель и безусловно нравственный человек — вот как дополнили бы мы скромную эпитафию на памятнике великого шотландца.

ГЛАВА V

Влияние Локка, Бэкона, древних скептиков и Ньютона на философию Юма. — Учение Юма о происхождении познания. — Этика Юма. — Его политико-экономические взгляды. — Характеристика исторических трудов Юма. — Характеристика личности Юма

В XVII и особенно XVIII веке одним из любимейших философских вопросов был вопрос о происхождении идей, а затем о происхождении и значении познания. Много потрудился над разрешением этих важных вопросов англичанин Локк, живший от 1632 до 1704 года. В своем главном сочинении «Опыт о человеческом уме» («An Essay concerning human Understanding») он делает попытку расследовать начало человеческого познания. Приведем вкратце суть этих рассуждений, так как лишь после ознакомления с учением Локка нам станут понятны причины, вызвавшие появление философской доктрины Юма.

Локк утверждал, что ум сам по себе бессодержателен, подобно пустой комнате; все, чем он обладает, — это способность получать впечатления от внешнего мира; таким образом, наша жизнь начинается со ощущений. Медленно, вследствие продолжительного воздействия ощущений, мы научаемся относить их к внешним предметам и принимать эти предметы за причины самих впечатлений. Следовательно, все наши познания происходят из ощущений; врожденных же представлений вовсе не существует. Собственно говоря, по учению Локка, есть два непосредственных источника приобретения познания: ощущение, или чувственное восприятие, и рефлексия, или внутреннее восприятие; в первом случае мы постигаем внешние предметы посредством чувственных ощущений; во втором случае познание, или приобретение идеи, есть результат наших внутренних наблюдений над теми ощущениями, которые мы испытываем. Таким образом, идея рефлексии возникает из идеи ощущения, а эта последняя происходит непосредственно из ощущения. Локк выразил это следующими словами: «В уме не может появиться ни одной идеи до тех пор, пока ощущения не внесут ее туда». Идеи могут быть простыми или сложными; одни из простых идей, например идея цвета, запаха, вводятся в ум одним чувством; другие, например идея протяженности, — несколькими чувствами; одни, например идея мышления, хотения, приобретаются нами единственно путем рефлексии; другие, — например идея силы, — путем соединения ощущения с рефлексией. Эти простые материалы познания могут вступать в бесконечно разнообразные соединения между собой, тогда образуются сложные идеи, которые подразделяются на три класса: видоизменения (модусы), субстанции и отношения. Для философа особенно важно то, как разъясняет Локк идею субстанции; он говорит: «Не будучи в состоянии представить, как могут простые идеи существовать сами по себе, мы привыкаем предполагать известный субстрат, в котором они существуют и который поэтому мы называем субстанцией». Эта субстанция, по учению Локка, находится вне нас,

но сущность ее нам неизвестна. Допущение этого самостоятельного предметного значения субстанции есть большая непоследовательность со стороны Локка, вносящая раздвоение в его теорию происхождения идей.

Заслуги Локка следует признать особенно важными для эмпирической психологии; уже одно изгнание «врожденных идей» было смелым шагом к тому, чтобы ясно сознать предельность человеческого познания и выбраться из туманных философских понятий прежнего времени. По учению Локка, душа человека, представляющая в раннем его детстве «*tabula rasa*» (чистую доску), воспринимает в течение жизни целые серии впечатлений, как бы оттискивающихся на этой доске. Восприятие этих впечатлений есть процесс, совершающийся без нашего участия; но эта пассивность не послужит ни к чему, если мы захотим понять полученное впечатление, истолковать его или запомнить. Тут уже необходимо активное упражнение ума. Если же мы не сделаем этого усилия, то наше познание будет вполне хаотично.

Из краткого изложения доктрины Локка о познании видно, какое огромное значение имеет для нее опыт: основываясь на нем, человек начинает понимать, откуда исходят те ощущения, которые своим влиянием на него создают весь его внутренний мир познаний; вот почему учение Локка называют эмпиризмом, а его психологию — эмпирической.

Юм унаследовал от Локка это опытное направление философии, но развил его с большей полнотой и последовательностью, устранив противоречия своего предшественника и досказав его мысли, недоговоренные до конца. Не следует забывать, однако, что если Юма и называют непосредственным продолжателем учения Локка и как бы его духовным сыном, — все же и другие предшественники шотландского философа имели на него несомненное и большое влияние. Великий Бэкон своим введением экспериментального метода в область естествоведения подал Юму мысль приложить этот метод и в сфере умозрительных наук; вот почему Юм еще с юности своей и думает, и говорит о необходимости изучать природу человека; вот почему он основывает свою философию на психологии и утверждает, что все исследования процессов мышления должны совершаться по тем же правилам, которые соблюдаются при исследованиях чисто физических. Только при этом условии, по мнению Юма, можно и в нравственной философии достичь результатов таких же точных и стойких, как и выводы, относящиеся к философии природы. Самое заглавие первого философского труда Юма («Трактат о человеческой природе, или Попытка ввести экспериментальный метод в вопросы о нравственности») ясно указывает на то, каким образом намеревался Юм приступить к разрешению предстоящих ему философских проблем.

Вспомним также и тех учителей Юма, которые увлекали его с первых же шагов на пути самообразования, — вспомним древних скептиков. Если, возвращаясь к Локку, мы можем отметить несомненно критическое направление его мысли, выразившееся между прочим и в отношении его к Декарту (отрицание врожденных идей), то Юм пошел дальше, гораздо дальше своего знаменитого предшественника на пути строгой проверки всякого положения, всякого понятия и в своем отрицании возможности познать сущность и причинность вещей. В этом отношении Юм должен считаться учеником древних скептиков и восстановителем их учения.

Наконец, нельзя совершенно обойти молчанием и современника Локка, знаменитого Исаака Ньютона, который особенно вооружался против картезианцев (последователей Декарта) за гипотетичность и бездоказательность их представлений и теорий. Обращаясь к физике, Ньютон восклицает: «Берегись метафизики!» — и требует, чтобы аналитическое рассмотрение всегда предпосылалось синтетическому. Как много общего у него с Юмом, писавшем о вреде выдумок (гипотез), от которых так любят отпираться философы, и начавшем свои занятия именно с анализа, с разбора предшествовавших доктрин для того, чтобы полученные таким образом выводы свести затем в свою собственную теорию.

Итак, вот в общих, крупных чертах материалы, принятые Юмом как духовное наследство от предшественников-философов; посмотрим же, что и как изменил он в них и чем воспользовался для основания собственных философских принципов.

Юм начинает с того, что совершенно отбрасывает второй источник познания по Локку, то есть рефлексию. Все содержание ума, говорит шотландский философ, состоит из восприятий (perceptions), которые распадаются на два класса: впечатления и идеи; впечатления суть не что иное, как ощущения, волнения, даже страсти при первом их появлении в нашей душе; идеи же представляют собой слабые, бледные копии впечатлений; происходят они путем воспоминания и воображения об испытанных нами впечатлениях. Таким образом, впечатления и идеи различаются не по существу своему, а лишь по степени интенсивности, яркости. Оба эти класса восприятий могут быть простыми, если они недоступны разложению на части, или сложными, если состоят из нескольких элементов. Идеи всегда происходят от предшествовавших им впечатлений, но при этом они могут воспроизводить эти впечатления с той же живостью и в том же порядке, какие были присущи самому впечатлению, — это будет идея воспоминания; или же идеи возобновляют наши впечатления с меньшей живостью и в новом порядке — в этом случае мы имеем дело с идеями воображения.

Теория эта, на первый взгляд очень простая и ясная, страдает противоречием тому самому опыту, на свидетельство которого опирается; дело в том, что ощущение не существует и не может существовать без субъекта, сознающего это ощущение. Tabula rasa Локка не может заменить собою сознания, так как раз начнется сознательная жизнь, оставляющая свои следы на душе человека, то эта душа уже перестает быть «чистой доской». Словом, идеи, происходящие от впечатлений, непременно возбуждают вопрос о том самостоятельном существе, которое воспринимает впечатления и сознательно относится к ним. На этот вопрос Юм не дает ответа. Кроме того, Юм напрасно думал, что отличие идеи от впечатления состоит только в степени ощущения, доставляемого ими; понятия эти различны по существу своему, и если старание Юма не смешивать их можно считать большой заслугой в области психологии, то производство идей от впечатлений составляет заблуждение философа.

После различения и определения элементов познания Юм различает и определяет те законы, посредством которых идеи приводятся в связь между собой и вводятся в ум. Эти начала, или законы ассоциации, суть как бы проявления силы взаимного притяжения между идеями, подобно тому как законы, открытые Ньютоном, суть выражения притяжения между телами. По Юму, путем наблюдения мы можем установить три таких закона: сходства, смежности (по месту и времени)

и причинности. Замечательная критика этого последнего принципа составляет и главную философскую заслугу Юма и торжество его скептицизма.

Юм первый из философов занялся обсуждением вопроса, откуда происходит понятие причинности, и отнес его прямо к сфере опыта. Вот, вкратце, суть его рассуждения по этому вопросу. Никакое исследование данного явления, как бы внимательно и тонко оно ни производилось, не может дать нам понятия о том, что это явление есть причина других явлений, если только мы не знаем этого из опыта. Никакими априорными рассуждениями не можем мы, например, выяснить себе, что магнетизм есть причина, производящая приближение железа к магниту, или что тяжесть камня, брошенного вверх, служит причиной его падения на землю. Итак, разум на основании одних логических умозаключений, то есть путем чисто интуитивным, не может объяснить нам идеи причинности. Остается обратиться к опыту; но всякая опытная идея для того, чтобы стать действительной идеей, должна быть копией какого-либо впечатления; путем же наблюдения мы убеждаемся в том, что причина, сила, производящая явление, сама по себе не производит на нас никакого впечатления; оно получается лишь тогда, когда эта причина вызывает известное следствие; таким образом мы получаем идею опытного следования, то есть понятие о том, что та или другая причина вызвала известное явление, произведшее на нас известное впечатление. Представим же себе, что целый ряд наблюдений убеждает нас в необходимом следовании одного и того же явления за одной и той же причиной; представим себе, что с неуклонным постоянством опыт обнаруживает перед нами зависимость явления А от явления Б, состоящую в следовании А за Б, — в таком случае в нас постепенно возникает чувство ожидания явления А после явления Б; чувство это есть не что иное, как впечатление, полученное нами в данном случае от подмеченного однообразия явлений, а копия с этого впечатления и есть та идея причинности, которая, при ближайшем рассмотрении, оказывается простой привычкой. На этой основе и стоит все здание нашего опытного познания.

Можно только удивляться силе аргументации Юма в этом рассуждении; можно только радоваться тому, что могуществом своей гениальной критики он разрушил таинственную связь, воздвигнутую воображением между причиной и следствием. Нисколько не будет преувеличением сказать, что отрицанием идеи причинности Юм создал положительную сторону своей философской системы.

Исходя из основных положений своей теории, Юм последовательно пришел к тому заключению, что бытие Бога и бессмертие души — как понятия, лежащие вне сферы опыта, — не могут быть доказаны, поэтому религиозные истины знать нельзя; в них можно только верить. Что касается субстанции (то есть бытия неизменного и независимого ни от какого другого бытия), то Юм решительно отрицает ее, как нечто такое, о чем мы не можем получить никакого впечатления. «Мы имеем ясные представления только о впечатлениях, — говорит Юм, — субстанция есть нечто совершенно отличное от впечатлений; значит у нас нет никакого познания о субстанции». Таким образом, Юм отказывается от возможности познать как сущность, так и причину вещей; но нелегко было ему примириться с этими печальными результатами скептической философии. В конце первой книги «Трактата о человеческой природе» Юм красноречиво описывает нам то тяжелое умственное состояние, в котором он находился после окончательной выработки своей философской системы. Приведем несколько выдержек из этого характерного места в сочинении Юма.

«Противоречия и несовершенства человеческого разума так подействовали на меня и так разгорячили мой мозг, что я готов отказаться и от рассуждения, и от веры, ибо ни одного мнения я не могу считать даже более вероятным или правдоподобным, чем другое. Где я? Что я? Каким причинам обязан я своим существованием и в какие условия буду возвращен?... Что за существа окружают меня; на кого имею я влияние и кто влияет на меня? Все эти вопросы смущают меня, и я начинаю представлять себя помещенным в самые плачевные условия, какие только можно вообразить, окруженным густым мраком и лишенным употребления моих членов и способностей... Я обедаю, играю в триктрак, разговариваю и развлекаюсь со своими друзьями, но когда после трех-четырех часов такого отдыха я вздумаю вернуться к своим размышлениям, то они кажутся мне такими холодными, насильственными и странными, что у меня решительно не лежит сердце к тому, чтобы снова заняться ими».

Далее Юм говорит, что ему предназначено жить, говорить, действовать, подобно другим людям, но что если он и должен быть таким же безумцем, каковы те, кто о чем-либо размышляет или чему-либо верит, то, по крайней мере, его безумия будут приятны и естественны. «С сожалением думаю я о том, — продолжает Юм, — что одно мне нравится, а другое — нет; что одну вещь я нахожу прекрасной, а другую безобразной; что я произношу свои решения над истинным и ложным, — все это без знания тех принципов, от которых отправляюсь». В заключение Юм прибавляет: «Истинный скептик так же недоверчиво относится к своим сомнениям, как и к философским убеждениям».

Приведенные слова Юма красноречивее всяких объяснений говорят о том, что и у этого философа-скептика, несмотря на всю его рассудительность, на силу его критического отношения к человеческим способностям, Несмотря, наконец, на стремление указать мысли те пределы, преступить которые она не может, если не хочет витать в сфере бездоказательных выдумок, — все же является порыв узнать непостижимое, не поддающееся никакому опыту, не проявляющееся никакими впечатлениями и составляющее то загадочное «начало всех действий», к познанию которого стремятся мыслители всех эпох и направлений. Тщетность и невыполнимость этих желаний ясны для Юма как нельзя более, и, вследствие этой неудовлетворенности, спокойствие, бесстрастность и беспристрастие покидают рассудительного философа, по временам думающего, что лучше вовсе не рассуждать, если не знаешь тех принципов, от которых приходится отправляться. Такие тяжелые минуты, такое подавленное состояние духа переживал этот мыслитель, которого принято считать холодным скептиком, почти нигилистом, отрицавшим все ради самого наслаждения разрушать и уничтожать. Скептицизм Юма несомненен, но не следует забывать, что если его философия и была составлена главным образом из отрицаний, то это были отрицания не только последовательные, но и плодотворные, — у таких оппонентов Юма, каким был, например, Кант, они вызвали великие догматические утверждения. Вот почему на философию Юма нельзя смотреть лишь как на любопытное явление в истории человеческой мысли; его доктрина представляет собой один из тех решительных моментов, один из тех кризисов, которые переживаются мыслью на пути ее эволюции. Можно себе представить, как тяжела была работа, выпавшая на долю того мыслителя, который был выразителем этого кризиса и охарактеризовал его своим методом и направлением; но Юм был не из тех, что отступают перед трудностями и неприятностями; он поставил своей задачей контролировать мысль, постоянно обсуждать ее и доказывать, чтобы этим путем

прийти к знанию. Хотя Юм и сознается, что этого рода исследования очень трудны и утомительны, но прибавляет, что есть такие натуры, которые обладают достаточно сильным умом, чтобы вынести то, что было бы непосильной тяжестью для большинства людей. С какой же целью, однако, несут они эти труды? Юм отвечает на это так: «Мрак противен уму не меньше, чем зрению; ничто не может доставить нам такого наслаждения, как возможность изменить мрак в свет, каких бы трудов это ни стоило».

Автор приведенных слов был именно той сильной натурой, которая способна вынести невероятные труды, лишь бы идти все вперед, лишь бы овладевать знанием, превращая мрак в свет. Эту-то бескорыстную любовь к истине, к свету правды и имели мы в виду, когда во введении сравнивали Юма с древними скептиками, оттеняя большее философское значение первого.

Обратимся теперь к этической стороне учения Юма, которая содержится отчасти в третьей книге его «Трактата», но главным образом в «Исследовании принципов нравственности» — по мнению Юма, лучшем из всех его сочинений. Интересно, что в сфере нравственности Юм все основывает на чувстве. Разум, мышление сами по себе не могут быть источниками поступков; они лишь дают нам суждение об истинном и ложном, лишь научают нас тому, вредны или полезны наши поступки; самые же деяния людей вызываются чувствами удовольствия и неудовольствия. На вопрос, почему те или другие поступки нравятся, Юм отвечает, что они нравятся нам, потому что полезны, и притом полезны не только нам лично, но человечеству в широком смысле; другими словами, нравятся те поступки, которые ведут к общему благосостоянию. С этой утилитарной точки зрения продолжает Юм трактовать нравственность, рассматривая и обсуждая человеческое поведение путем того же холодного анализа, с которым он приступал к вопросам о происхождении познания или о наших отношениях к внешнему миру; можно сказать, что для Юма этика была своего рода естественной историей. Добродетель в глазах Юма имеет цену лишь постольку, поскольку она способствует счастью людей, да и вообще «во всех определениях нравственности главным образом следует иметь в виду общественную пользу». Далее, в главе «О справедливости», Юм опять-таки утверждает, что «общественная польза есть единственный источник справедливости». Он предполагает такое положение вещей, при котором каждый без всякого труда получил бы то, чего он желал или в чем нуждался. Тогда у людей не будет никакого чувства собственности, не будет ни моего, ни твоего, а «справедливость окажется пустой церемонией и не будет занимать места в списке добродетелей». Следовательно, справедливость есть, так сказать, искусственное произведение, в котором, при известном положении вещей, нет никакой нужды. Но должно же быть какое-либо естественное чувство, заставляющее нас предпочитать полезные стремления вредным. Такое чувство есть симпатия, то есть любовь к ближним; она внушает нам радость при виде счастья людей и горе при виде их страданий. Симпатия порождает бескорыстное одобрение того, что содействует не нашему, а чужому благу, и — неодобрение противоположного. Вот почему невозможно один только эгоизм сделать принципом нравственного. Надо прибавить, впрочем, что значение Юма как моралиста далеко не равняется его значению как исследователя в области мысли. Размышления его о страстях и о нравственности представляют собою довольно поверхностный эскиз, в котором больше, чем где-либо, чувствуется недостаточность познаний Юма в области психологии.

Громадную услугу оказал Юм политической экономии, впервые возбудив интерес к ее вопросам и попытавшись разрешить их. Его «Политические речи» считаются колыбелью политической экономии — и не даром: Адам Смит заимствовал из них многое для своего знаменитого сочинения «Богатство народов». В своих политико-экономических рассуждениях Юм часто опирался на опыт, вынесенный им из его практики в качестве администратора и государственного человека, что, конечно, только увеличивает значение его писательских трудов.

В нескольких опытах, посвященных экономическим вопросам, Юм ведет рассуждения со свойственной ему логичностью и ясностью. Он никогда не обольщается софизмами и предрассудками сторонников меркантильной теории. Он обладал слишком возвышенной точкой зрения и слишком большой проницательностью, чтобы не избежать тех промахов, которые так свойственны заурядным дельцам коммерческого мира. Юм ясно понимал и превосходно излагал ту мысль, что торговля есть не что иное, как деловые сношения между различными классами и различными округами населения, поставленными в необходимость пополнять взаимные нужды. Эти принципы приложимы не только к отдельным провинциям одной и той же страны, но и к разным национальностям и государствам. Меркантильная теория, ставящая своей вожденной целью накопление денег, в сущности стремится к такому же недостижимому результату, каким было бы, например, намерение поднять воду выше ее нормального уровня. Исходя из этих принципов, Юм строго осуждал учреждение таможен и пошлин, которыми все европейские государства, не исключая и Англии, поощряют местную промышленность вследствие чересчур усердного желания копить деньги и вследствие неосновательного опасения уронить их ценность. По мнению Юма, если что-нибудь и может разорить нас, это именно подобные затеи. Ничего, кроме зла, не выходит из того порядка вещей, благодаря которому соседние народы лишены возможности свободного сообщения и обмена, столь необходимых для местностей с различной почвой, климатом и другими природными условиями. Он доказывает далее, что все эти стеснения проистекают из очень неблагоприятной ревности народов друг к другу, и отваживается признаться, что не только как человек, но и как великобританский подданный он молится о процветании торговли в Германии, Испании, Италии и Франции. Политико-экономические взгляды Юма в свое время имели большое влияние на государственных деятелей Англии, между прочим на знаменитого Вильяма Литта (младшего). К счастью, практическое направление и деловитость соотечественников Юма не допустили их до крайних увлечений политическими убеждениями философа, вследствие чего его экономическая доктрина подверглась необходимым изменениям и затем уже возродилась в знаменитом учении Адама Смита.

Исторические взгляды Юма признаются, говоря вообще, односторонними; главное убеждение, которым он был проникнут, когда писал свою историю, было следующее: «Мир — сцена, а люди — актеры». Обязанностью историка он считал повествование о всем, что проявляет себя видимым образом, то есть о внешней стороне жизни. Иногда после поверхностного изучения он создавал себе понятие о том или другом историческом лице, выводя из первого впечатления — идею об этом лице, и затем, вместо того чтобы изменить свою идею, озарив ее светом других повествований, добытых из различных источников, он принимался истолковывать все действия данного лица соответственно своему первому впечатлению. Другими словами, в «Истории Англии» Юм является скорее адвокатом своих философских взглядов, нежели ученым, имеющим дело с фактами

и событиями. К некоторым типам Юм относится особенно антипатично: так, например, он ненавидел фанатиков всех веков и очень резко осуждал их; точно так же отрицательно относился он и к борьбе народа за свободу, предпочитая лояльное повиновение существующей власти. Быть может, раннее отвращение к юриспруденции и малое знакомство с нею были причиной того, что у Юма выработался такой взгляд на историческое развитие законов и конституционных учреждений его родины.

Что касается более внешних качеств «Истории» Юма, то они, несомненно, блестящи и были главной причиной того успеха, который эта книга имела и в Англии, и за границей. Стиль Юма превосходен: ясное и живое изложение, представляющее картинные описания, блещет остроумными характеристиками и многими интересными комментариями. Этими достоинствами своего исторического труда Юм сильно подкупал современников в свою пользу. Гельвеций восхищался философским духом и беспристрастностью шотландского историка и уговаривал Юма привести в исполнение оставленную им мысль написать историю церкви. «Сюжет достоин такого автора, и автор достоин такого сюжета», — писал Гельвеций. Такого же высокого мнения об «Истории» Юма был и д'Аламбер.

В заключение прибавим, что если Юмова «История Англии» теперь мало читается, благодаря тому что по интересу и верности взглядов она уступает другим, более новым сочинениям, все же книга эта навсегда останется замечательным литературным памятником и превосходной иллюстрацией философских мнений и тенденций Юма.

Наследие, оставленное Юмом в области философии, настолько значительно и важно, что знаменитый шотландский философ имеет все права на внимание и интерес к нему нас, людей XIX века. Своим скептическим методом, своим старанием все проверить, обосновать и доказать, Юм создал настоящий переворот в умозрительных науках и положил начало новой философской школе, которая до сих пор в рядах своих последователей насчитывает великие имена самых выдающихся философов и психологов. Для подтверждения сказанного Достаточно упомянуть Джона Стюарта Милля, Бена, Герберта Спенсера, так называемых сенсуалистов — в Англии; представителей позитивизма Огюста Конта, Литтре и Лафитта — во Франции; наконец, Канта, этого творца критического метода, — в Германии. Правда, «великого кенигсбергского мудреца» (Канта) считают обыкновенно противником Юма, благодаря тому что он опровергал теорию причинности, установленную шотландским философом; но несомненно и то, что как содержание, так и метод изложения Комовой философии побудили Канта к созданию его доктрины; мало того, в учениях обоих философов можно найти много общего. Самая цель главного сочинения Канта «Критика чистого разума» по существу своему та же, что и Юмова «Трактата о человеческой природе». Критицизм Канта и скептицизм Юма, расходясь в частности, сходятся в главном — в стремлении указать предельность нашего познания в том мире явлений, который открывается нам путем опыта. Разве не ясен отголосок самых заветных мыслей Юма в следующих, например, словах Канта «Величайшая и, быть может, единственная польза всякой философии чистого разума есть польза исключительно отрицательная, так как эта философия представляет собою орудие не для расширения познания, но для его ограничения; вместо того чтобы открывать истины, она довольствуется скромной заслугой предупреждать заблуждения» (Kant, «Kritik der reinen Vernunft»).

Легко ли довольствоваться такою ролью судьи и критика, неуклонно обнаруживающего все красивые самообольщения людей и предостерегающего их от дальнейших вредных мечтаний, — это другой вопрос. Мы уже приводили из «Трактата» Юма те горячие строки, в которых юный философ жалуется на невозможность успокоить чем-нибудь положительным свой ум, разгоряченный и измученный необходимостью только опровергать и отрицать... Видеть вещи в их истинном свете, разрушать иллюзии, не быть способным к головокружительным увлечениям, возносящим нас за пределы возможного, — все это в высшей степени полезно и плодотворно, но недешево и обходятся эти драгоценные качества тем, кто вырабатывает в себе такое критическое отношение к окружающему миру.

Юм, по самой природе своей спокойный, прозаический, любознательный, проницательный, последовательный и правдивый, подходит как нельзя более к роли анализатора мысли, во все вникающего и ничем не увлекающегося. По свойствам ума своего он был не из числа тех, которые говорят о себе: «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман». Обман, ложь были для него тем мраком, который «противен уму, равно как и зрению». Для умственного просветления своего и своих ближних работал Юм всю жизнь и создал себе незабвенную характеристику, превосходно выраженную следующими словами Адама Смита: «Вообще, как во время его жизни, так и после смерти, он представляется мне личностью, настолько приблизившейся к идеалу истинно мудрого и добродетельного человека, насколько это возможно для слабой человеческой природы».

Если задача критика состоит в том, чтобы понять и затем объяснить читателям разбираемое им литературное произведение, то про биографа можно сказать, что существенной целью его труда должно быть старание вполне уяснить себе нравственный облик описываемого им деятеля и ответить на вопрос: почему именно теми, а не другими стремлениями и трудами характеризовалась жизнь его. Тогда в глазах читателей все духовное наследие, оставленное нам великим человеком, примет характер чего-то неизбежного, разумного и понятного, а не случайного и вызывающего лишь крайнее изумление; тогда и к самому биографу возбудится большее доверие, а к его словам и оценке больший интерес, чем в том случае, когда он ставит точку там, где кончается изложение добытых им фактов, и воздерживается от комментирования их.

Вот почему нам хотелось бы сделать посильную попытку к объяснению того, что за тип имеем мы в лице Дэвида Юма, и поскольку его деятельность, проникнутая очень определенным и цельным характером, обуславливалась его темпераментом, склонностями, вкусами — всем, что называется духовной природой человека.

Нам уже приходилось упоминать о том досадном пробеле, который встречает биографа, обращающегося к детским годам и первоначальному воспитанию Юма; таким образом, обходя молчанием первые жизненные впечатления и условия развития ребенка Дэви, мы прямо обращаемся к тому юноше, углубленному в свои размышления и страстно преданному книжным занятиям, каким Юм был в 16—17 лет. Станный, и в то же время простой это был тип! Всего более поражают в юном Дэвиде сухая рассудительность не по летам, желание мыслить, а не мечтать, порывы к философии, а не поэзии, наконец, такая неспособность увлекаться, восхищаться и любоваться, что эта черта доводила Юма до полного равнодушия ко всему прекрасному. Пусть это будет недостатком, пусть такую натуру называют неблагоприятной и жалкой в эстетическом отношении, зато энергичный, сильный

темперамент тем ярче, тем заметнее проявил себя в другой сфере. Юм не был способен к работе воображения, которое зачастую, едва цепляясь за действительность, затем возносится над ней и в результате создает что-либо прекрасное, но порою лишнее, обманчивое и потому вредное. Не к тому направлял Дэвида его пытливый ум: действительность была для него прежде всего предметом изучения; ему все хотелось разобрать, понять, доказать, прочно обосновать и потому — вещь замечательная — в семнадцати-восемнадцатилетнем возрасте он протестует против гипотез и выдумок, слишком часто фигурирующих в сфере науки. Будь Юм малоодаренным, дюжинным человеком, холодность его темперамента, отсутствие фантазии и эстетических склонностей казались бы проявлением вялости, безличности и полной неинтересности субъекта. Но в оригинальной и сильной натуре будущего философа способности не глохли и не замирали, они лишь приняли необычное для юного возраста направление с тем, чтобы более или менее постоянно держаться этого направления всю жизнь. Не будь Юм так прозаичен, спокойно рассудителен и наблюдателен, вряд ли написал бы он в сравнительно раннем возрасте замечательный философский трактат; не будь он так неспособен обольщаться и восхищаться, не проверяя своих впечатлений, вряд ли мог бы он так последовательно и неуклонно держаться одних и тех же взглядов в течение всей своей жизни, почти исключительно посвященной философским занятиям; наконец, проницательность и наблюдательность Юма сослужили ему великую службу и в его сношениях с людьми. Разве не удивительны, в самом деле, прямота, неуклонная честность, стойкость и прочность симпатий, которыми характеризуются все отношения Юма к близким ему людям? Не восхищаясь без меры, не создавая романтических иллюзий в начале знакомства, он тем самым избавлялся от печальных разочарований и сетований впоследствии; исключение составляет лишь его столкновение с Руссо, да и то за шотландского философа говорит в данном случае исключительная, ослепительно талантливая личность Руссо.

Замечательными нравственными качествами Юма были также его доброта и сердечность. Знакомство с биографией этого мыслителя убеждает нас в том, что он имел сердце, способное глубоко и самоотверженно любить; что он был отзывчив на чужие несчастья и склонен скорее жалеть людей, чем осуждать их. Вспомним его теплый отзыв о матери, его горькое оплакивание ее смерти; вспомним помощь, оказанную бедному слепому поэту; вспомним, наконец, благородное, великодушное отношение к исполненному коварства поступку Руссо. По нашему мнению, многое в этом добродушии и этой несколько наивной сердечности Юма объясняется самой его национальностью. Наш философ был шотландец, уроженец северной гористой местности, с ее тяжелыми условиями сурового климата, неприветливой природы. Странное дело, но именно в таких-то обстоятельствах жителей страны развивается большая задушевность, мягкость нрава, теплота чувств — вообще то, что называется гуманностью. Наоборот, под ярким солнцем юга, среди богатств и роскоши природы, одаряющей человека не только необходимым, но даже излишним, в душе его гнездятся и развиваются жестокость, необузданность порывов и бессердечие поистине изумительные.

Итак, Юм по своим душевным свойствам представлял лишь типичного сына своей родины и, кроме того, доказал своим примером, что ни книги, ни сочинение ученых трактатов не очерствляют человека, не делают его себялюбивым, тщеславным эгоистом, если только эти качества не присущи ему настолько, что они проявились бы и совершенно независимо от рода его занятий.

Но во всем цельном и характерном облике Юма самой возвышенной, самой благотворной чертой следует признать его неуклонное стремление к истине, к тому, что он сам называл светом, неотразимо привлекавшим его и озарявшим всю его деятельность, как общественную, так и научную. Ни разу не уклонился Юм от намеченного им пути исследований, ни разу не впал в искушение обмана или самообмана и был одним из тех неизменных служителей идеи великой и строгой, самый образ которых есть драгоценный завет и поучение для потомства.

М. М. Филиппов

ЭМ. КАНТЪ. ЕГО ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ **БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ 1893**

ГЛАВА I Происхождение. — Детство. — Пиетизм. — Школьные учителя и товарищи. — Раннее развитие характера

В начале XVIII столетия город Кёнигсберг стал быстро развиваться в промышленном и в умственном отношении. Польское владычество с его постоянными неурядицами, с преобладанием землевладельческих интересов и отсутствием сколько-нибудь значительных промышленных центров мало способствовало развитию среднего сословия. С тех пор, однако, как великий курфюрст утвердил господство Бранденбурга над южным берегом Балтийского моря, торговое значение Кёнигсберга быстро возросло. Кёнигсберг стал главным пунктом сношений между земледельческой Польшей и торговыми странами Запада — Голландией и Англией. Вместе с торговлей развились и ремесла, занесенные сюда главным образом немецкими выходцами. Город все более и более стал принимать немецкое обличье, улицы получили немецкие названия, протестантские кирки явились на место костелов.

Кроме выходцев из Германии в Кёнигсберге было много иностранцев разных национальностей, более всего шведов, англичан, шотландцев, голландцев. К числу таких выходцев принадлежал и дед знаменитого Канта. В конце XVII века политические и религиозные причины вызвали усиленную эмиграцию из Шотландии. Неизвестно, какие причины побудили деда великого философа поселиться в Тильзите. Еще отец Канта, Иоганн Георг, считал себя шотландцем и писал свою фамилию по шотландскому правописанию (Cant вместо Kant). Так подписывался первоначально и сам философ, но, заметив, что некоторые немцы произносят его фамилию неправильно (Цант вместо Кант), усвоил немецкую орфографию.

Шотландское происхождение Канта — по крайней мере по отцовской линии — представляет некоторый интерес в том отношении, что сближает Канта по крови с философом, наиболее родственным Канту по духу, а именно с Юмом. Не следует, однако, забывать, что по матери Кант был чисто немецкого происхождения — мать его называлась в девичестве Рейтер. Среда, в которой воспитывался Кант, состояла почти исключительно из мелких немецких бюргеров, купцов и ремесленников. С английскими купцами, принадлежавшими к составу лучшего кенигсбергского общества, Кант сблизился уже в зрелых летах. Отец Канта был по ремеслу седельным мастером и жил в так называемом Седельном переулке, подле Зеленого моста, центра речной торговли Кёнигсберга. В скромном домике, на котором красовалась вывеска его отца, родился 22 апреля 1724 года Иммануил Кант. Из одиннадцати братьев и сестер Кант был четвертым; у него было три брата и семь сестер. Шестеро из одиннадцати умерли в раннем детстве. Единственный оставшийся в живых брат Канта был на одиннадцать лет моложе философа,

отличался хорошими, но ни в коем случае не гениальными способностями, изучал богословие, историю и филологию, к философии питал мало склонности и никогда не мог понять умозрение своего брата. Этот Иоганн Генрих Кант жил почти постоянно в Митаве, где был священником. Было время, и это совпадает с расцветом философской деятельности Иммануила Канта, когда братья совсем прекратили переписку, возобновившуюся лишь в 1790 году. Брат Канта умер несколько раньше философа (в 1800 году). Единственная черта сходства между братьями — энергия характера: в этом они оба походили на мать.

О родителях Канта известно немного, и притом главным образом лишь со слов самого Канта. В начале XVIII века в Кёнигсберге, как и во многих городах северной Пруссии, был значительно распространен пиетизм, созерцательное религиозное настроение, представлявшее резкий контраст с проникнутым канцелярскими началами правоверным протестантизмом. При умеренно мистическом направлении пиетизм имел по преимуществу моральный характер и господствовал главным образом среди ремесленников и низшего духовенства. Как и во всяком религиозном сектантстве, в диетическом направлении был немалый элемент ханжества. Но оно было совершенно чуждо той скромной среде, в которой вращался Кант.

Влияние пиетизма прежде всего отразилось на чисто внешних сторонах его домашней обстановки. По словам самого Канта, никогда он не слышал от своих родителей ничего неприличного и не видел ничего недостойного. Любопытны еще следующие слова Канта, высказанные им Ринку:

«Хотя религиозные представления того времени и понятия о том, что такое добродетель и набожность, были весьма неясны, но соответствовавшие им вещи были найдены. Пусть говорят что угодно о пиетизме, но люди, относившиеся к нему серьезно, были люди почтенные. Они обладали наивысшим возможным для человека спокойствием, веселостью, внутренним миром, не смущались никакими страстями, не боялись никакой нужды, никаких преследований. Никакой вызов, никакое запирательство не смущало их внутреннего мира и не побуждало их к гневу и вражде. Словом, всякий наблюдатель невольно должен был уважать их. Я помню еще теперь, как однажды начался спор о правах между двумя цехами — шорниками (выделывавшими ремни. — М. Ф.) и седельниками. Мой отец сильно пострадал в этом деле, но даже при домашнем обсуждении этой ссоры в словах моих родных было столько пощады и любви к противникам, что, хотя я был небольшим мальчиком, мысль об этом никогда меня не оставит».

Эти слова характеризуют всю ту нравственную атмосферу, в которой вращался Кант. По общему свидетельству его первых биографов, мать Канта оказала на сына более значительное влияние, нежели отец.

Кант походил на мать характером и телосложением; от нее он унаследовал впалую слабую грудь. С раннего детства Кант отличался слабым здоровьем. Мать нежно любила хилого ребенка, холила его" и много занималась его воспитанием. Мальчик с малых лет обнаруживал острую наблюдательность и пытливость. Говорят, что мать, несмотря на свое ограниченное образование, значительно развивала пытливость мальчика Гуляя со мной, она постоянно обращала внимание на окружающую природу, поясняя свои слова цитатами из псалмов и других мест Библии, в которых восхваляется благость и премудрость Творца. Таким образом, то

доказательство бытия Божия, которое известно под названием физико-теологического и которое Кант ценил даже после того, как отверг его, было ему известно в наивной и простодушной форме еще в младенческие годы. С ним связывались для Канта лучшие воспоминания детства, оно вызывало в его памяти первые уроки матери. Все это чрезвычайно важно в психологическом отношении. Любопытно, что и нравственное учение Канта имеет несомненную психологическую связь с первыми впечатлениями его детства. Связь эту открыто признавал сам философ. На семьдесят четвертом году жизни он писал епископу Линдблему, что может относительно своего генеалогического дерева похвастать лишь одним, а именно: что и отец, и мать его были ремесленники, отличавшиеся честностью, нравственной пристойностью и образцовой порядочностью, не имея состояния, но зато и долгов, «и дали мне воспитание, которое с моральной точки зрения не могло быть лучшим». По словам Канта, каждый раз, когда он вспоминал о том, чем обязан родителям с нравственной стороны, он чувствовал себя преисполненным трогательною благодарностью.

Существуют и, более определенные указания на характер нравственного воспитания, полученного Кантом. По словам одного из старинных биографов, отец Канта требовал от детей «труда и честности, в особенности избегания всякой лжи; мать требовала еще большего, именно святости. По всей вероятности, это и способствовало той непреклонной строгости, которую впоследствии обнаружил Кант в своем нравственном учении». Сам Кант говаривал, что унаследовал от матери черты лица и характера.

«Я никогда не забуду своей матери. Она насадила и взлелеяла во мне первый зародыш добра, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она возбудила и расширила мои понятия, и ее поучения оказали непрерывное спасительное влияние на всю мою жизнь».

Этих фактов и показаний совершенно достаточно для того, чтобы доказать, что первые основы кантовской морали следует искать не у его философских предшественников и не в его теоретических размышлениях, а в той практической области, которая окружала его с раннего детства.

Не только нравственным, но и умственным воспитанием Кант много обязан родителям, и особенно матери. Заметив способности сына, мать решила, что маленький Иммануил не должен продолжать занятия отца. С ее точки зрения, на вершине умственного развития стояли ее духовные учителя, поэтому мать Канта решила подготовить сына к духовному званию. Прежде чем принять это решение, она пригласила своего духовника доктора Франца Шульца, чтобы посоветоваться насчет дальнейшего воспитания сына, до тех пор посещавшего одну из начальных школ, какие появились в изобилии во всех предместьях Кёнигсберга.

Как раз к тому времени доктор Шульц взял на себя руководство коллегией Фридриха (Collegium Fridericianum) в Кёнигсберге. Шульц был одним из достойнейших и энергичнейших представителей диетического направления. Прибыв в 1731 году в Кёнигсберг, он был сначала проповедником и советником консистории⁵, затем стал профессором богословия и директором коллегии Фридриха, незадолго перед тем превращенной из частного заведения

⁵ Церковно-административный орган власти у протестантов. — Ред.

в государственное. Шульц пользовался доверием берлинского двора, впоследствии ему даже поручили надзор за всем школьным и церковным делом Пруссии. Он считался красноречивым проповедником и ученым догматиком. В бытность свою в Галле Шульц слушал лекции разных выдающихся пиетистов и в то же время был учеником Вольфа, крупнейшего из последователей Лейбница. Систематичность учения Вольфа, отличавшая его от несколько беспорядочного изложения Лейбница, его обширные познания и ловкий эклектизм, при помощи которого он мирил религию с философией и наукой, — все это внушало мысль, будто Вольф создал какую-то самостоятельную систему. Эта система в течение долгого времени считалась даже венцом философского мышления, и господство ее в Германии было безгранично вплоть до появления философии Канта. Даже насмешливый Вольтер, не щадивший Лейбница, высоко чтит его ученика, стоявшего не выше философской посредственности, и однажды написал известную фразу: «Wolfio docente, rege philosopho regnante» («Когда учил Вольф и царствовал король-философ»), одинаково лестную для Вольфа и для Фридриха II.

Было время суровой реакции, когда учение Вольфа, по существу далеко не революционное, считалось опасным. Со вступлением на престол Фридриха II настали лучшие времена. Податливость учения Вольфа много способствовала сближению его с пиетизмом. Когда Шульц находился в Галле, здесь религия и философия давно торжествовали полное примирение, до сих пор отыскиваемое многими философскими школами. Сам Вольф считал Шульца одним из способнейших своих учеников; другим учеником того же Вольфа был кенигсбергский профессор Кнутцен, которого в противоположность Шульцу привлекала не богословско-нравственная, а физико-математическая сторона учения Вольфа.

Шульц и Кнутцен были учителями, оказавшими на Канта в его юношеские годы наибольшее влияние. Через их посредство Кант примыкает к так называемой лейбнице-вольфовской школе, бывшей колыбелью новой германской философии и составляющей естественный переход от схоластической метафизики к учению Канта.

Канту было менее десяти лет, когда он поступил в коллегию Фридриха. Хотя это училище отстояло дальше всех средних школ от дома, где жили родители Канта, мать не задумалась поручить сына высокоуважаемому ею доктору Шульцу. Несмотря на робость и застенчивость мальчика, Шульц угадал в нем выдающиеся способности и одобрил выбор матери, советуя Канту изучать богословие.

Пиетический дух, господствовавший в коллегии Фридриха, исходил не от одного Шульца, но еще в большей степени от ее основателя, доктора Генриха Лизин, который даже по приобретении школой казенных прав неограниченно распоряжался назначением учителей. В особой церкви этого заведения богословы генетического направления читали священную историю, произносили поучения и проповеди. Не ограничиваясь частым посещением этих чтений, Кант с матерью посещал молитвенные часы профессора Шульца, что тот особенно рекомендовал своим ученикам. На этих часах произносились проповеди, возбуждавшие религиозный энтузиазм. О содержании их можно судить уже по названиям; так, одна из проповедей была озаглавлена «О блистательной борьбе Иисуса». Пылкое красноречие Шульца производило на малолетнего Канта сильное впечатление. Шульц не ограничивался духовной помощью прихожанам и ученикам. Следуя правилу «Вера без дел мертва», он поддерживал прихожан, чем мог: кого советом,

кого утешением, кого деньгами, пищей и одеждой. Родители Канта не нуждались в насущном хлебе и никогда не обращались к благотворительности. Тем не менее Шульц считал своей обязанностью оказывать им маленькую помощь в виде подарка к праздникам. Ко дню Рождества родители Канта получали от доброго профессора дрова, которые даже привозились к ним на дом. Часто Шульц помогал матери Канта советом, даже сам являлся к ней и указывал на способности ее Иммануила. В глубокой старости Кант хотел из чувств признательности «поставить Шульцу почетный памятник» в своих сочинениях, и только предсмертный упадок сил помешал философу исполнить это намерение.

О ранней юности Канта известно немного. Слабость здоровья, природная робость и значительная рассеянность много мешали успешности его занятий, а между тем не все учителя отличались проницательностью Шульца и умели видеть способности под оболочкой застенчивости. Дисциплина в школе отличалась суровостью, и нельзя сказать, чтобы Кант впоследствии одобрял дух, господствовавший в школе. Еще о начальной школе он отзывался в довольно неодобрительных выражениях. По его словам, большинство учителей отличалось сердитым нравом и чрезмерной строгостью; тем не менее в начальной школе дисциплина соблюдалась лишь у одного учителя, болезненного и весьма неказистой наружности, но любимого учениками за его знания и преподавательские способности. Немногим лучше было в коллегии, где Кант учился в течение семи лет. Кроме Шульца, сравнительными достоинствами отличался преподаватель латинского языка Гейденрейх, зато математика и логика были в совершенном загоне и преподавали их совершенно ничтожные личности, вроде Кухловиуса. Впоследствии Кант, вспоминая о той математике и логике, которую его пичкали в школе, с трудом мог удержаться от смеха... «Эти господа, — сказал он однажды своему бывшему школьному товарищу Кунде, — не могли зажечь в нас даже ни малейшей искры». — «Скорее могли затушить», — ответил на это Кунде.

Названный Кунде вместе с Кантом и будущим знаменитым филологом Рункеном составляли род триумvirата, связанного узами теснейшей дружбы. Из всех преподавателей один только учитель латинского языка успел заинтересовать «триумвиров», а потому и неудивительно, что они на школьной скамье вообразили себя будущими филологами. Ввиду этого они поспешили переделать на латинский лад свои имена и называли себя Кундеус, Кантиус и Рункениус. Из троих только один Рункен остался верен юношескому выбору и действительно прославился как филолог. Главным местом его деятельности стал Лейден, откуда много лет спустя (10 марта 1771 года) Рункен написал Канту любопытное письмо, рисующее их школьные отношения. Из письма этого видно между прочим, как незначительны были в конце XVIII века сношения между учеными столь близких между собою стран, каковы Голландия и Германия. Рункен пишет, что ему редко удавалось доставать написанные на немецком языке сочинения Канта, о которых он узнавал главным образом из газетных отзывов. Жалея о том, что Кант мало пишет по-латыни и замечая, что немецкий язык делает сочинения Канта «малодоступными» и мешает их распространению среди ученых всего мира, Рункен напоминает школьному товарищу о том времени, когда они вместе мечтали и говорили по-латыни. «Для тебя было бы нетрудно писать по-латыни, — замечает Рункен. — Тогда и англичане, и голландцы могли бы понять тебя. Ты ведь еще в школе прекрасно писал по-латыни. Судя по твоим способностям все предсказывали, что ты достигнешь блестящей будущности на поприще словесности». Но особенно

любопытно замечание Рункена об общем духе школьного учения. «Тридцать лет прошло с тех пор, — пишет он в своем латинском послании, — как мы с тобою подвергались скучной дисциплине фанатиков, хотя в учении было кое-что полезное, о чем нечего жалеть». Этот самый Рункен, как богатейший из троих, доставал дорогие книги, которые читались сообща.

Кант вместо замечательного филолога стал первым философом своего века. Что касается третьего члена триумvirата, способного Кунде, судьба его была печальна. Не умея выбраться из нужды и подняться выше окружающей обстановки, он перебивался кое-как, занимая ничтожную должность и не достигнув даже скромной известности.

Из прочих товарищей Канта, с которыми он дружил на школьной скамье, можно указать на Вилькеза и Труммера. Вилькез интересен потому, что он чуть ли не первый занес идеи Канта в Россию, куда уехал, став гувернером у детей князя Волконского. Он жил впоследствии в Москве, но в 1771 году приехал на время в Кёнигсберг, а оттуда — в Голландию. Узнав от Вилькеза подробности деятельности Канта, Рункен вздумал вступить с философом в переписку. Переписка, однако, не завязалась, быть может потому, что в то время Кант уже несколько отвык думать по-латыни и испытывал некоторое затруднение в латинской стилистике, а отвечать по-немецки знаменитому филологу не хотел.

Труммер был одним из тех товарищей, к которым Кант питал сильную привязанность. Он был единственным врачом, которому Кант доверял настолько, что согласился принимать прописанные им слабительные пилюли — единственное лекарства, признанное для себя Кантом.

По словам одного из школьных товарищей Канта, в школе Кант не обнаруживал ни малейшей склонности к философии, и никому даже не могло прийти в голову, что из него «выйдет философ». Отчасти это следует отнести на счет разных Кухловиусов, преподававших логику и другие близкие к философии предметы по схоластическому методу. Но помимо этого о Канте следует сказать, что ум его, как и Ньютона, развился сравнительно поздно. В нем не было признаков той ранней гениальности, которой отличались, например, Лейбниц и Паскаль. Если не считать так называемой «гениальной рассеянности», которой Кант, подобно Ньютону, отличался с детства, то трудно указать признаки, которые характеризовали бы Канта в ранней юности как будущего реформатора философии. О рассеянности Канта сложилось немало анекдотов, из которых достаточно привести один. Еще в начальной школе он часто терпел от учителей за то, что являлся без книг, о чем обыкновенно вспоминал лишь в тот момент, когда входил в класс. Однажды он вывел из себя учителя заявлением, что он раньше забыл, куда положил книгу, но вспомнил об этом как раз в момент, когда его об этом спросили; учитель, конечно, не поверил и приписал это нежеланию учиться.

Весьма рано обнаружилась у Канта охарактеризовавшая его способность побеждать свои душевные волнения. В детстве Кант, как и большая часть детей хилых, слабогрудых и малокровных, не отличался особенной храбростью. Но в минуту действительной опасности он сумел обнаружить удивительное присутствие духа. Восьмилетним мальчиком он однажды вздумал перейти через глубокую канаву с водою по перекинутому бревну. Не успел он пройти несколько шагов, как голова его закружилась. Он хотел вернуться назад, но бревно закачалось и готово было совсем скатиться. Тогда маленький Кант сделал над собою усилие и, стараясь йе

смотреть вниз, устремил глаза на одну точку по ту сторону канавы; смотря пристально и не поддаваясь чувству страха, он благополучно переправился на ту сторону.

Победив в себе природную робость, зависевшую от деликатности его нервной организации, Кант не сумел в такой же степени отделаться от застенчивости. Это его качество изгладилось лишь в самых зрелых годах, перейдя постепенно в скромность, отличавшую Канта даже в то время, когда он был на верху своей славы.

ГЛАВА II Университетские годы. — Влияние Кнутцена. — Самоотвержение матери Канта. — Ее смерть. — Богословская подготовка и другие занятия

Исключая знания латинского языка и морального влияния богословских поучений Шульца, средняя школа ничего не дала Канту и, быть может, даже задержала развитие его гения. Значительно благотворнее повлиял на него университет. В то время Кенигсбергский университет еще не был, как значительно позднее, приютом для «пруссских лейтенантов». Здесь находились крупные научные силы, и — что особенно было важно для Канта — как раз физикоматематические науки, загнанные и униженные в коллегии Фридриха, здесь находились в большом почете. Из профессоров, оказавших особое влияние на Канта, необходимо указать на Мартина Кнутцена, читавшего философию и математику. О Кнутцене было уже упомянуто (наряду с Шульцем) как об ученике Вольфа.

Подобно Канту, Кнутцен был уроженец Кёнигсберга. Свою карьеру он начал блистательно, получив еще на двадцать первом году жизни кафедру логики и метафизики. Этот талантливый и трудолюбивый молодой ученый был одним из первых в Германии, взявших на себя задачу популяризировать бессмертные произведения Ньютона.

Это тем более замечательно, что Кнутцен, как последователь лейбницевольфовской философии, тем самым был до известной степени предрасположен не в пользу английской философии вообще и умозрение Ньютона в особенности. Кнутцен умер во цвете лет (1751 год), вскоре после того, как отпраздновал свою тридцать седьмую годовщину. Он был лишь десятью годами старше своего гениального ученика. Влияние Кнутцена на Канта не подлежит никакому сомнению. Он первый отклонил Канта от филологических занятий, указав ему на необозримое поле натуральной и моральной философии. Насколько самостоятельно относился сам Кнутцен к господствовавшему в Германии философскому эклектизму, доказывается не только глубоким уважением к Ньютону, которое он питал сам и вселял своим ученикам, но и его собственными философскими умозрениями, довольно замечательными для своего времени. В своем вступительном сочинении (какие пишутся в Германии для получения кафедры) Кнутцен разобрал вопрос о связи между душой и телом (1733 год),

причем решительно отверг учение Лейбница о предустановленной гармонии. В то время как Вольф, не решаясь расстаться с «гармонией», ограничился тем, что вместо «мировой гармонии» признал лишь «антропологическую», то есть допустил ее для души по отношению к телу, Кнутцен поступил гораздо решительнее и смелее, допустив чисто физическое влияние или «естественное взаимодействие между душой и телом, составляющее необходимое последствие естественного взаимодействия между всеми вещами в мире». Отношение между душой и телом было, с точки зрения Кнутцена, лишь частным случаем великого закона «действия, равного противодействию», установленного (с чисто механической точки зрения) Ньютоном.

Исходя из этих начал, Кнутцен развил целое философское учение, изложенное в его главном сочинении «Система действующих причин» (1745 год), которое стоит гораздо ближе к английскому эмпиризму, чем к философии Лейбница. Не следует, однако, думать, чтобы молодой Кант даже в начале своего философского поприща стал клясться словами учителя. Работы Кнутцена повлияли на него побудительным, но не убедительным образом. Механическое мирозерцание казалось Канту слишком узким, и, не принимая безусловно ни философии Лейбница, ни какой-либо иной философской системы, Кант уже на первых порах обнаружил проницательный критический талант, не позволявший ему увлечься какой-либо односторонней догмой.

Университетская карьера Канта находится в тесной связи с его семейными обстоятельствами. Еще до вступления в университет (на тринадцатом году жизни) Кант потерял мать.

Потеря эта была для него чрезвычайно чувствительна. До глубокой старости Кант не мог говорить без признаков сильного душевного волнения о подробностях смерти своей матери, которая умерла, как жила, став жертвою любви к ближнему. Одна ее нежно любимая подруга была обручена с человеком, который обманул невесту и женился на другой. Обманутая заболела, желала смерти и не хотела принимать лекарств. Мать Канта ухаживала за больной, заменяла сиделку и убеждала подругу принять какую-то микстуру. Для большей убедительности она сама выпила из ложки, которую употребляла больная. Между тем у больной оказался тиф. Мать Канта заразилась и сверх того вообще была мнительна к болезням, что содействовало потрясению ее нервной системы. Через несколько дней она сама слегла и вскоре умерла.

По смерти матери Канта дела отца сильно запутались, и если бы не дядя по матери, ремесленник Рихтер, Кант не имел бы средств для поступления в университет. Исполняя завет матери, Кант записался первоначально на богословский факультет и весьма усердно посещал лекции некоторых богословов. Без всякого сомнения, Кант в начале своего студенческого поприща серьезно и добросовестно готовился к священническому званию и лишь постепенно пришел к убеждению, что не чувствует призвания к этого рода деятельности. Между прочим, чтение пробных проповедей убедило его в слабости его голоса.

Само собою разумеется, что посещение богословских лекций и штудировании своих записок по богословию занимало лишь часть времени Канта. Кроме лекций Кнутцена, по математике и философии, он с увлечением следил за лекциями Tease по физике. Изучение физико-математических наук дало умственной деятельности Канта совершенно новое направление. По свидетельству одного из его

университетских товарищей (Гейльсберга), в конце своей студенческой жизни Кант едва ли мог считаться «завзятым студентом теологии». Вообще никто из товарищей Канта не мог понять, к какой житейской карьере он готовится. План его университетских занятий, в котором физикоматематические науки перемешивались с богословием, с языкознанием и т. д., казался его товарищам настоящей загадкой. Даже ближайший университетский друг и товарищ Канта, доктор Труммер, ничего не знал об этом, исключая того, что Кант по преимуществу занимался нравственными и словесными науками, но в то же время и математикой, и латинскими классиками, и философией. «К чему ему все это?» — спрашивали некоторые товарищи, думавшие, что из Канта выйдет хороший сельский священник.

ГЛАВА III Смерть отца. — Башмачник Рихтер издает первое сочинение Канта. — Первый вызов метафизикам

Кант провел на студенческой скамье пять лет (1740— 1745 годы) — срок, который считался нормальным для студента со средними способностями. Таким образом, даже в университете Кант не успел ничем проявить своих особенных дарований и философской глубины мысли. Случай для этого представился вскоре по окончании им университетского курса.

Во время пребывания Канта на студенческой скамье материальные обстоятельства его были весьма плохи. За ничтожную плату преподавал он математику и другие предметы. Чаще всего он занимался с богатыми товарищами, репетируя с ними затруднявшие их лекции. Было время, когда Кант добивался вакантного места учителя в латинской школе в Кнейпгофе. Должность эта была чрезвычайно обременительна, все время поглощалось занятиями с учениками и исправлением их тетрадей, но Канта прельщала мысль о том, что эта должность давала доступ к богатой дворцовой библиотеке. Канту предпочли другого конкурента — круглого невежду, некоего Канерта — и, быть может, философ выиграл от того, что не был вынужден тянуть лямку, которая могла преградить ему доступ к академической карьере.

24 марта 1746 года умер отец Канта. Это новое семейное горе глубоко опечалило его. Сам Кант вписал это событие по протестантскому обычаю в семейную Библию, причем заметил, между прочим, что на долю его отца выпало немного радостей в жизни.

По смерти отца материальное положение Канта, только что окончившего университетский курс, стало почти отчаянным. По счастью, его двоюродный дядя по матери, честный башмачник Рихтер, оказывавший поддержку Канту, когда тот был еще студентом, и теперь взялся поддержать первые шаги молодого ученого. Немецкие ремесленные классы могут со справедливою гордостью указать на то, что первое печатное произведение величайшего философа Германии было издано на свой страх и риск простым башмачником, сумевшим оценить в племяннике способного и подающего надежды человека. Первым появившимся в печати сочинением Канта была напечатанная на счет Рихтера брошюра «Мысли об истинной оценке живых сил в природе».

Это первое печатное произведение Канта (автору было в то время двадцать три года) проникнуто пылом молодости и в противоположность позднейшим его сочинениям отличается даже некоторым задором. «Теперь, — пишет он, — мы смело попытаемся счесть за ничто авторитет Ньютона и Лейбница, раз мы можем противопоставить их утверждениям открытие истины. Мы не будем повиноваться никаким убеждениям, исключая внушений рассудка». «Я предначертал себе путь, — пишет далее Кант, — которому намерен следовать. Ничто не совратит меня с этого пути».

Сочинение это любопытно лишь с чисто исторической и биографической точки зрения, как первая проба пера гениального философа. Впрочем, в нем нет недостатка в отдельных весьма метких и глубоких замечаниях. Здесь уже видна первая попытка решить вопрос о природе пространства. Кант замечает, что трехмерность и другие свойства пространства зависят, быть может, от «особого способа представления, свойственного нашей душе». Кант говорит здесь, что постарается в будущем возвратиться к обсуждению этого вопроса.

Подобно своему любимому профессору Кнутцену, Кант решительно отстаивает учение Ньютона о всемирном тяготении против картезианцев и правоверных сторонников Лейбница. В сложности и искусственности системы Декарта Кант видит доказательство ее ошибочности. «То мнение должно одержать верх, — говорит Кант, — которое описывает природу такую, какова она есть, то есть простою и без бесчисленных окольных путей». Любопытна также первая вылазка Канта против ходячей метафизики.

«Наша метафизика, — пишет он, — подобно многим другим наукам, стоит лишь на пороге вполне основательного познания. Бог знает, когда она перешагнет этот порог. Нетрудно видеть ее слабость во многих ее предприятиях. Весьма часто мы видим, что сильнейшей опорой ее доказательств служит предрассудок. Виною в этом чаще всего является господствующая склонность тех, кто стремится расширить человеческое познание. Они предпочитают весьма обширную мудрость основательному знанию».

Таким образом, в первом произведении Канта уже слегка намечен вопрос о необходимых границах познания. Самая постановка этого вопроса на научной почве была совершенно чужда и богословскому догматизму, и метафизическому рационализму. Для богослова границей разума была вера; метафизик считал область познания безграничною. Надо было поставить вопрос, не может ли разум исследовать свои собственные границы? В постановке и решении этого вопроса состоит главная заслуга критической философии Канта.

ГЛАВА IV Кант в роли домашнего учителя. — Гюльзены и Кайзерлинги. — Защита трех диссертаций. — Физическая монадология. — Пятнадцать лет приват-доцентства. — Кант — русский подданный. — Прошение на имя императрицы Елизаветы. — Разные неудачи. — Кант получает кафедру

Стесненные материальные обстоятельства побудили Канта искать средств к жизни. За неимением ничего лучшего он занялся домашним учительством и в течение девяти лет преподавал в разных частных домах. Сам Кант считал себя в области педагогики хорошим теоретиком, но посредственным практиком. Однажды он высказал о себе самое следующее мнение: «Я никогда не умел применять на деле мои собственные педагогические правила». Суждение это следует всецело отнести на счет скромности Канта; по крайней мере ни родители, ни ученики не разделяли этого мнения, и один только Кант говорил о своей педагогической практике: «Трудно представить себе худшего гувернера, нежели я». Прежде всего Кант был учителем в доме реформатского проповедника Андерша, затем — в дворянской семье фон Гюльзена, наконец — в доме графа Кайзерлинга. Все эти семьи навсегда сохранили к нему дружбу и признательность. Один из молодых Гюльзенов впоследствии жил у Канта в качестве пансионера. О влиянии Канта на своих воспитанников можно судить по одному тому факту, что молодой Гюльзен был впоследствии одним из первых прусских помещиков, добровольно освободивших крестьян от барщины.

Лично для Канта наиболее значения и интереса представляло его продолжительное пребывание в доме графа Кайзерлинга. Семья графа проводила зиму в Кёнигсберге, лето — в деревенском доме графа, в Раутенбурге. Графиня Кайзерлинг, урожденная имперская графиня фон Трук-сесс, была известна как одна из умнейших и образованнейших женщин своего времени. Она высоко ценила Канта; Кант в свою очередь усвоил в доме графини изящные манеры, которыми впоследствии удивлял всех, ожидавших встретить глубокомысленного кабинетного мудреца. В течение тридцати лет, до самой смерти графини, Кант оставался близким другом ее дома.

Кант терпеть не мог излишней церемонности и надутого чванства; но у так называемых аристократов он ценил изящество манер и умение владеть собою, причем часто говорил, что считает эти качества необходимыми для всякого развитого человека. Помимо манер в доме графа Кайзерлинга Канта привлекали беседы о французской, итальянской и английской литературе; беседы эти происходили большей частью во время обеда, и отсюда возникла у Канта страсть к застольным беседам, которую он сохранил до глубокой старости.

В 1755 году Канту удалось наконец получить кафедру при Кенигсбергском университете. 12 июня он представил на магистерскую степень латинское сочинение «Об огне». Бывший учитель Канта, профессор физики Теске, прочитав этот трактат, сказал: «Это сочинение выше всяких похвал, я сам научился кое-чему отсюда». Факультет единогласно провозгласил Канта магистром словесности (*magister artium*). Несколько позднее, 27 сентября того же года, Кант представил другое сочинение: «О принципах метафизического познания», которое защищал публично, после чего получил кафедру философии в качестве приват-доцента. Королевский указ 1749 года предписал, однако, чтобы каждый, занимающий

кафедру, диспутировал публично не менее трех раз. Ввиду этого Кант защищал еще раз, именно в апреле 1756 года, сочинение «О физической монадологии».

Две из названных диссертаций Канта, а именно «Об огне» и «О физической монадологии», находятся в тесной связи с упомянутым уже юношеским трактатом об измерении сил. Во всех физических трактатах Канта нельзя не видеть одной общей идеи, а именно динамизма. Кант утверждает, что сцепление и упругость тел зависят от той же упругой материи, которая является причиной теплоты и огня (горения). «Волнообразное движение этой материи, — пишет Кант, — и есть то, что получило название теплоты. Материя теплоты есть не что иное, как эфир, иначе называемый материей света». Этот эфир наполняет все промежутки или поры между частицами материи, которые своим взаимным притяжением сжимают эфир, между ними находящийся.

В общих чертах это учение Канта немногим отличается от современных взглядов на «обыкновенную» и «эфирную» материю.

Не менее любопытны рассуждения Канта о физической монадологии. Поставив себе задачей согласовать монадологию с физикой, Кант выбрасывает за борт всякие «простые сущности» и откровенно объясняет, что будет иметь дело с «физическими монадами», другими словами — с атомами. Монады неделимы, пространство, наоборот, делимо до бесконечности. Является вопрос, каким образом возможно существование монад в пространстве? Кант решает этот вопрос, заявляя, что монада есть сила (или центр силы, по терминологии позднейших физиков), имеющая определенную сферу действия. Таким образом, сила «наполняет пространство», оставаясь, однако, неделимой, подобно математической точке. (Здесь многие видят зародыш учения о так называемом потенциале). Кант допускает постоянное взаимодействие притягательных и отталкивающих сил и этим способом объясняет непроницаемость и массу тел. Значительный интерес представляют также рассуждения Канта об относительном движении. Кант отвергает существование абсолютного покоя и считает все движения относительными. Вместе с тем он отвергает и учение о «силе инерции» в той форме, какую придают этому учению даже многие новейшие учебники механики и физики.

Несмотря на то что Кант успел обратить на себя внимание университета, академическая карьера его подвигалась необыкновенно туго. В течение пятнадцати лет он вынужден был оставаться приват-доцентом. Различные обстоятельства послужили для него серьезной помехой. Еще в 1751 году умер любимый профессор Канта, Кнутцен, и по смерти его кафедра логики и метафизики в течение долгого времени оставалась незанятою. В 1755 году Кант начал в зимнем семестре ряд академических чтений по математике и физике. По тогдашним правилам каждый молодой профессор должен был следовать какому-либо признанному авторитету. Кант избрал своим авторитетом Вольфа в области математики и Эбергардта — по физике. Но насколько самостоятельно относился он к своим официальным руководителям, видно хотя бы из следующих слов Канта, находящихся в его «Физической монадологии»: «Я знаю, — пишет он, — что те господа, которые привыкли выбрасывать вон, как ненужный сор, все, что не имеет на себе клейма Вольфовой или какой-либо иной знаменитой фабрики, сочтут мои мысли не стоящими внимания».

Лекции Канта имели значительный успех. Кант пытался обратиться к прусскому правительству с целью добыть экстраординарную профессуру. Но как раз в это

время началась Семилетняя война, и правительству было не до раздачи кафедр. Прощение Канта было оставлено, выражаясь канцелярским языком, без последствий.

Два года спустя (1758 год) стала вакантною кафедра ординарной профессуры по логике и метафизике. Еще в начале этого года русские войска овладели провинцией Пруссией и 22 января вступили в Кёнигсберг. Все управление краем, включая и университетскую администрацию, попало в руки русского генерала (из немцев) барона фон Корфа. Жители Кёнигсберга были приведены к присяге, в городе праздновались русские царские дни и профессора пиитики слагали в честь императрицы Елизаветы хвалебные вирши.

При таких обстоятельствах Кант должен был ожидать милостей от русского правительства, и он обратился к императрице с всеподданнейшим прошением, которое лишь в 1893 году было сообщено в печати. Документ этот не находится ни в одном немецком издании сочинений Канта, его нет и ни в одной из до сих пор изданных биографий великого философа, поэтому мы считаем себя вправе поместить его здесь целиком.

«Пресветлейшая, всеильная Государыня, Самодержица всяя Руси, всемилостивейшая Государыня и великая жена!

Вследствие смерти покойного доктора и профессора Кипке (Курке) Professio ordinario логики и метафизики, которую он занимал в здешнем Кенигсбергском университете, стала вакантною. Эти науки всегда составляли главнейший предмет моих занятий. В продолжение тех лет, когда я находился в здешнем университете, я каждый семестр читал обе эти науки на частных уроках. Я имел в этих науках две публичные dissertationes и, кроме того, стремился ознакомить с результатами моих работ в четырех статьях, помещенных в Кенигсбергском ученом сочинении (Intelligenzwerk), в трех программах и трех других философских tractata. Надежда, с которой я льщу себя посвятить службе Академии наук, а главным образом всемилостивейшее желание Вашего Императорского Величества оказывать наукам высокое покровительство и Всемилоствейшую поддержку побуждают меня всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество всемилостивейше пожаловать мне освободившуюся professionem ordinariam, и надеюсь, что senatus academicus, ввиду обладания мною необходимыми способностями, сопроводит мое всеподданнейшее прошение не неблагоприятными свидетельствами. Я уверяю в глубочайшей devotion⁶ Вашему Императорскому Величеству, всеподданнейший раб Иммануил Кант. Кёнигсберг, 14 декабря 1758 г.»

Прощение это снабжено пометкой: «Magister artium» («магистр словесных наук») Иммануил Кант умоляет всеподданнейше Ваше Императорское Величество всемилостивейше пожаловать ему освободившуюся кафедру логики и метафизики».

Судьба этого прошения довольно поучительна. В одно время с Кантом той же кафедры добивался некий приват-доцент Букк, имевший перед Кантом преимущество старшинства по университетской службе. Кандидатуру Канта поддерживал его бывший учитель Шульц, который не без огорчения видел, что тот самый Кант, который некогда готовился в богословы и даже читал пробные проповеди, теперь окончательно уклонился в сторону физико-математических

⁶ Преданность (лат.). — Ред.

наук. По старой памяти Шульц любил Канта и искренне желал помочь ему, но прежде всего он решился выяснить некоторые мучившие его сомнения. Шульц призвал к себе Канта, и как только молодой философ переступил через его порог, Шульц спросил особо торжественным тоном: «Бойтесь ли вы Бога от всего сердца?» Кант, нимало не ожидавший подобного вопроса, прямо взглянул в глаза Шульцу и сказал: «Я не колеблюсь дать утвердительный ответ». Лишь после этого Шульц решился хлопотать за Канта, но и это не помогло. Генерал Корф поступил как настоящий служака. Он счел число лет преподавательской деятельности двух конкурентов и предпочел Канту ничтожного Букка.

Пять лет находились русские войска в Кёнигсберге, и это пребывание не осталось бесследным в истории русского развития. Не следует забывать, что в то время вся русская интеллигенция несла военную службу и в числе офицеров, попавших в Кёнигсберг, были не одни кутилы, но и люди мыслящие. Стоит прочесть записки Болотова, чтобы убедиться в том, как много способствовало пребывание русских войск в прусских провинциях сближению русского общества с движением немецкой науки и философии. Между прочим, и Кант познакомился с многими русскими офицерами, и один из офицерских кружков предложил даже Канту читать для военных лекции по физике и физической географии. Вообще в это военное время Кант, потерпев неудачу со своим прошением, усиленно давал частные уроки по самым разнообразным предметам: он преподавал даже фортификацию и пиротехнику. В это же время Кант держал у себя на квартире несколько молодых дворян в качестве пансионеров.

С вступлением на престол Петра III для Канта не сразу настали лучшие времена. Обстоятельства сложились так, что замена русского владычества прусским на первый раз принесла Канту мало пользы.

Немедленно по своем воцарении Петр III, как известно, возвратил Фридриху II все, что было отнято у него войсками Елизаветы. Кенигсбергский университет вновь стал подчиненным прусской администрации. Казалось, что король-философ, еще до начала Семилетней войны лишившийся Вольфа (Вольф умер в 1753 году), должен был обратить внимание на Канта, который был наконец замечен Берлинской Академией наук по следующему поводу.

В 1762 году Кант написал сочинение на премию, предложенную Берлинской академией. Другим соискателем на ту же премию явился известный друг Лессинга, философ Мендельсон, инициатор так называемой «еврейской реформации» в Германии. Заданная Академией тема касалась вопроса о философской очевидности.

Премия была получена Мендельсоном; сочинение Канта признано из числа многих, представленных на конкурс, вторым по достоинству и напечатано без подписи Канта рядом с премированным трактатом Мендельсона. Во всяком случае, на Канта обратили внимание, и все были уверены, что он получит первую вакантную кафедру в Кёнигсберге. В этом смысле писало даже прусское правительство кёнигсбергским университетским властям. К несчастью для Канта, первая открывшаяся вакансия оказалась кафедрой пиитики. Помимо малого интереса, который вообще представляла эта кафедра для Канта, она была соединена с совершенно не соответствовавшей склонностям Канта обязанностью цензора и юбилейного стихотворца. Профессор пиитики был обязан не только цензурировать все добровольческие юбилейные излияния, но и писать стихи по случаю всех

университетских празднеств, ко дню Рождества, ко дню коронации прусского короля и проч.

Один из прусских министров, которому был поручен общий надзор за университетами, написал в Кёнигсберг запрос, в котором сказано, что по дошедшим до министерства сведениям в Кёнигсбергском университете находится некий магистр Кант, который, судя по некоторым его сочинениям, отличается весьма основательною ученостью. Министр желает узнать, имеет ли Кант необходимые дарования и склонность стать профессором пиитики? Кант отклонил предложенную ему должность, прося правительство иметь его в виду при более удобном случае.

Такой случай представился в 1766 году. Кант все еще не получил кафедры, но ему было по крайней мере предоставлено место помощника библиотекаря в Королевской дворцовой библиотеке. Место это оплачивалось более чем скромным жалованием — 62 талера в год. В королевском приказе о назначении Канта сказано, что место это предоставляется «искусному и прославившемуся своими учеными сочинениями магистру Канту».

Лишь в 1770 году Кант наконец добился давно желанной цели. Еще в ноябре предшествующего года он получил приглашение на ординарную кафедру в Эрланген; в январе 1770 года его звали в Йену. Кант собирался уехать в Эрланген, но вскоре в самом Кёнигсберге открылась вакансия на ту самую кафедру, которой он напрасно добивался в эпоху русского господства: его прежний конкурент Букк предпочел занять кафедру математики и очистить место Канту.

20 августа 1770 года был знаменательный день в жизни Канта. Канту было уже сорок шесть лет, тем не менее публичная защита сочинения, представленного им для получения профессорской кафедры, возбудила в нем юношеский пыл. Сочинение это было озаглавлено: «О форме и принципах чувственного и умственного мира». 1770 год во всех отношениях может считаться поворотным пунктом в жизни Канта. Перед ним открылось обширное поприще деятельности, и как раз в это время в уме Канта вырабатывались во вполне законченной форме начала его критической философии.

С этого времени деятельность Канта характеризуется следующим образом: он предпринимает величайшую реформу, когда-либо задуманную со времени возникновения новой философии, и идя спокойным, медленным, обдуманном шагом, доводит ее до конца. С внешней стороны жизнь Канта с этих пор представляет мало замечательного. Он постепенно освобождается от механических занятий, вроде работы библиотекаря, и поднимается вверх по лестнице академических почестей, вступает сначала в университетский сенат, затем дважды сряду избирается на пост ректора университета и с 1792 года считается сениором (старейшиной) философского факультета и целого университета. Что касается экономического положения Канта, оно остается всегда скромным, но, разумеется, о прежней нужде не может быть и речи. Наивысшее казенное жалованье, какое получал когда-либо Кант, не превышало 620 талеров в год; но, имея всегда значительное число слушателей, Кант получал порядочные гонорары от студентов, исключая бедных, которых сплошь и рядом он освобождал от всякой платы. Профессорская деятельность Канта находилась в теснейшей связи с его философскими работами. По этой причине удобнее всего сделать параллельный обзор его чтений и появившихся в печати произведений.

ГЛАВА V Профессорская и литературная деятельность Канта. — Космическая гипотеза. — Защита оптимизма и борьба с мистицизмом. — Сведенборг. — Сновидения духовидца

По отзывам лиц, близко знавших Канта, он был в первые двадцать или двадцать пять лет своей профессорской деятельности превосходным лектором.

Первую свою лекцию Кант прочел, став приват-доцентом, еще осенью 1755 года. В то время он жил в доме профессора Кине, в части города, называемой Нейштадтом. В то время многие профессора читали у себя на дому. У Канта была своя обширная аудитория, в которой он раньше читал частным лицам. Студенты успели уже наслышаться об учености Канта, любопытство привлекло многих слушателей с разных факультетов. Аудитория была полна народу, даже в передней и на лестнице стояла огромная толпа студентов. Кант от непривычки к публичным чтениям смешался, даже потерял обычное присутствие духа; он и без того имел слабый голос: на этот раз Кант говорил еще тише обыкновенного, часто поправлялся и повторялся. Любопытно, однако, что именно эта застенчивость Канта еще более способствовала энтузиазму студентов, которые по немногу сказанному Кантом успели все-таки получить некоторое понятие о необычайной глубине его учености. Следующие лекции Канта оправдали первое впечатление, и на этот раз философ чувствовал себя уже вполне свободно и в своей сфере.

Пока Кант был приват-доцентом, он продолжал читать в своей аудитории, кроме студентов, многим частным лицам, как, например, герцогу Гольштейн-Беккскому. По немецкому обычаю Кант подразделил свои лекции на публичные (которые обыкновенно читаются бесплатно — *public et gratis*), приватные и приватнейшие. Читал он по самым разнообразным предметам, начиная с фортификации и кончая метафизикой. Логика, естественное право, мораль, физическая география были его главными предметами. Кант не имел дурной привычки, свойственной плохим профессорам, читать по вызубренному тексту и даже по подробному конспекту. Он читал иногда по заметкам, сделанным на полях указанных им студентам учебников — эти заметки заменяли для него подробный конспект, или же по самому сжатому конспекту, набросанному на полосках бумаги. Рекомендую студентам учебник логики Мейера и «Метафизику» Баумгартена, Кант пользовался лишь рубриками этих сочинений, часто указывая на несостоятельность тех или иных положений. Из приватных лекций Канта сравнительно популярными считались его чтения по логике. Кант постоянно говорил слушателям, что вовсе не задается целью научить их логике. «Я стараюсь научить вас методически мыслить», — говорил он. Особенно нравился студентам прием, к которому Кант прибегал, когда дело шло об определениях. Он вел лекцию так, как будто искал истину, одинаково неизвестную его слушателям и ему самому. Сначала Кант делал как будто попытки дать определение, причем получал лишь первую грубую формулу; затем он постепенно исправлял ее, пока наконец не получалось вполне строгое и научное определение. Можно без всяких преувеличений сказать, что Кант старался ввести студентов в свою философскую «мастерскую», показывая им на деле, каким образом ищут истину. Внимательные слушатели Канта действительно учились многому; бывали, конечно, и такие, которые по невниманию и нежеланию мыслить хватались за самое первое указанное им определение, вписывали его в свои тетрадки и уходили домой, пропуская последующие лекции. Из таких странных слушателей вербовались впоследствии люди, для которых имя кантианца (ученика Канта) было лишь рекламой

и которые бессовестно искажали идеи своего учителя. К счастью, такие ученики Канта составляли меньшинство; лишь в новейшее время опять развелось немало людей (особенно у нас в России), которых смело можно назвать лжекантианцами.

Наиболее трудными считались лекции Канта по метафизике. Сам Кант говорил, что читает этот предмет для студентов, получивших основательную подготовку; начинающим он рекомендовал слушать сначала профессора Першке.

Менее всего посетителей имел Кант на своих лекциях по рациональному богословию, в которых он давал разумные объяснения разных вопросов религии. Не мешает, однако, заметить, что безусловно все, посещавшие эти лекции, впоследствии оказались замечательными богословами. Всего более слушателей было у Канта на лекциях по антропологии и физической географии. Кроме студентов, эти необычайно интересные и вполне популярные лекции посещались многими лицами, например одним из усерднейших посетителей был тайный юстиции советник Моргенбессер. На публичных лекциях Канта, особенно в начале семестра, всегда присутствовала необычайно многочисленная публика.

Единственным недостатком Канта как лектора был его слабый голос. Зная это, слушатели сидели на его лекциях не шевелясь, стараясь не проронить ни одного слова и не шаркая ногами (по странному немецкому обычаю) при появлении запаздывающих. Да редко кто и запаздывал на лекции Канта.

Кант никогда не искал дешевой популярности и не любил пересыпать лекции не идущими к делу шуточками. Но он был по природе остроумен. Его остроумие сравнивали с «молнией», и такие блески часто развлекали слушателей, возбуждая дружный смех, нарушавший обычное почтительное молчание.

Как сказано, Кант почти импровизировал свои лекции. Но он не мог вынести ничего отвлекавшего в сторону его собственное сосредоточенное внимание. Малейшая перемена обстановки раздражала Канта и нередко даже влияла на качество его лекций. Чтобы вывести Канта из обычной колеи, требовалось немного: для этого было достаточно, например, появления какого-нибудь студента в так называемом «гениальном костюме», то есть с растрепанной прической и без воротничка: так одевались некоторые студенты, метившие в гении. Кант имел обыкновение во все время лекции устремлять взор на одного из студентов, сидевших на передней скамье. Однажды случилось так, что Кант избрал студента, у которого не хватало на сюртуке пуговицы. Этот пробел в костюме молодого человека до такой степени нарушил покой Канта, что он был крайне рассеян, сбивался и вообще прочел совсем неудачную лекцию. Кант вообще не любил «пробелов». Он чувствовал нервное раздражение, когда видел, например, человека с неполным рядом зубов, и говорил, что когда видишь такого человека, то против воли стараешься смотреть на пустое место. Это замечание Кант внес даже в лекции по антропологии.

Кант внушал своим слушателям необычайное уважение. К Канту, конечно, нельзя применить пословицу «Никто не пророк в своем отечестве». Студенты обожали Канта и открыто выражали это при всяком удобном случае. О впечатлении, которое производили его лекции, можно судить по отзывам его первых биографов — Боровского и Яхманна, а также из слов знаменитого Гердера. Гердер прибыл в Кёнигсберг в 1762 году и слушал Канта в течение трех лет. Свое первое

посещение лекций Канта он описывал в восторженных выражениях, а вообще о Канте как профессоре писал впоследствии следующее:

«Я имел счастье знать философа, который был моим учителем. В свои цветущие годы он был весел, как юноша, и таким, вероятно, остался до глубокой старости. Его открытый, созданный для мысли лоб выражал несокрушимое веселье и радость, его полная мысли речь текла из уст, шутка и остроумие были в его распоряжении, его поучительные лекции имели характер интереснейшей беседы. С тем же умом, который он проявлял при исследовании систем Лейбница, Вольфа, Баумгартена, Крузиуса, Юма и при изложении законов Ньютона, Кеплера и физиков, он разбирал и появлявшиеся тогда сочинения Руссо, его "Эмиля" и "Элоизу"; говорил о каждом новом открытии в области естествознания и постоянно возвращался к истинному познанию природы и к нравственному достоинству человека. История человека, народов и природы, естествознание и опыт были источниками, которыми он оживлял свою беседу; ничто достойное познания не было для него безразличным; никакая интрига, никакая секта, предрассудок или честолюбие не имели для него ни малейшей привлекательности и не заставляли его уклониться от расширения и разъяснения истины. Он ободрял и поощрял к самостоятельному мышлению; деспотизм был чужд его натуре».

Особенно воодушевлялся Кант, когда читал лекции, касавшиеся вопросов морали. Об этом пишет его биограф Яхманн, один из лучших учеников Канта:

«Когда речь шла о морали, Кант становился красноречивым оратором, увлекавший ум и чувство. Часто он доводил нас до слез, поднимая дух из оков себялюбивого эвдемонизма⁷ до высокого самосознания чистой свободы воли, безусловно подчиненной законам разума и движимой высоким чувством бескорыстного подчинения долгу. В такие минуты казалось, что Кант был одушевлен небесным огнем. Его слушатели чувствовали себя нравственно очищенными».

Содержание лекций Канта было необычайно разнообразно. В общем, они являлись комментарием и популярным изложением взглядов, развитых в его главных сочинениях. Вполне уместно поэтому перейти к обзору литературной деятельности Канта.

Немецкие историки философии, как, например, Ибервег и Куно Фишер, подразделяют обыкновенно литературную деятельность Канта на два главных периода: докритический и критический. Куно Фишер, особенно подробно изучивший историю развития философской системы Канта, видит в ней следующие периоды: предварительный (натурфилософский), когда Кант стоял еще на рационалистической точке зрения; затем эмпирический, вызванный влиянием Юма и вообще шотландской и английской философии; наконец, критический, когда Кант окончательно выступил на самостоятельный путь.

Такое подразделение на периоды представляет удобства для изложения, но при этом не следует забывать, что самостоятельное отношение Канта к господствовавшим до него философским школам обнаруживается во всех его сочинениях, начиная с самого раннего труда об измерении сил. Ходячая метафизика никогда не удовлетворяла его, что видно уже из сочинения Канта о физической монадологии, которую он противопоставил системе Лейбница. Точно

⁷ Эвдемонизм — этическое учение, признающее критерием нравственности и основой поведения человека стремление к счастью. — Ред.

так же самостоятельно отнесся Кант и к различным научным теориям, и почти в самом начале своего профессорского поприща построил гениальную космогонию (то есть учение об образовании солнечной и других систем), в течение долгого времени не оцененную присяжными учеными, пока наконец открытия Гершеля и математические исследования Лапласа не послужили основанием систем, по существу тождественных с теорией Канта.

Неизвестно, в какой степени Лаплас воспользовался идеями Канта; известно только, что он выступил вполне самостоятельно, не упомянув о своем великом предшественнике. В настоящее время ученые всех стран, не исключая Франции, признали справедливость утверждения Гельмгольца, впервые подчеркнувшего поразительное сходство между гипотезами Канта и Лапласа. Появившиеся впоследствии космогонические гипотезы до сих пор не успели вытеснить той, которая была предложена Кантом.

Кант изложил свои космогонические взгляды в сочинении, озаглавленном «Всеобщая естественная история и теория неба». Работа эта принадлежит к числу самых ранних произведений Канта. По некоторым данным можно утверждать, что план этого сочинения был задуман Кантом еще в то время, когда он писал об измерении действия сил. Затруднительные материальные обстоятельства задерживали печатание этого сочинения: оно появилось в печати лишь в 1755 году, как раз в то время, когда Кант стал приват-доцентом. Трактат Канта, составивший эпоху в истории физической астрономии, на первых порах остался незамеченным. Известный Ламберт, математик, отличавшийся чрезвычайно оригинальным умом, ровно ничего не знал о работах Канта, когда писал свои «Космологические письма» (1761 год), несколько напоминающие гипотезу Канта. Знаменитое «Изложение системы мира», составленное Лапласом, относится к значительно позднейшей эпохе (1796 год). Что касается работ Гершеля, то сам Кант приветствовал их как подтверждение своего учения.

Кант сознавал трудность своей задачи. Ньютон открыл основной закон, позволяющий объяснить движения планет, и был поэтому основателем небесной механики; но он не задавался вопросом о происхождении солнечной системы и принимал ее просто за данную величину. Не видя принципа, позволяющего объяснить те или иные отношения между массами и расстояниями планет, Ньютон утверждал, что эти отношения даны самим божеством. Здесь начиналась задача Канта. Одна мысль о механической космогонии, о естественном объяснении происхождения солнечной системы, казалась в эпоху Канта чуть ли не еретическим посягательством на тайны Провидения. «Я вижу все трудности, — заявляет сам Кант, — но не впадаю в малодушие. Я чувствую всю силу препятствий, но не робею. Я предпринял опасное путешествие, руководствуясь слабой догадкой, но вижу уже предгорья новых стран».

Кант разбирает космогонию древних и новых философов и доказывает их несостоятельность. Эпикур выводит мироздание из случая, но говорить о «случайности» — значит просто указывать на недостаток знания о причинах события. Декарт не мог достичь ничего, потому что признавал лишь отталкивание и не знал о притяжении. «Теперь, — говорит Кант, исходя из начал Ньютона, — можно смело сказать: дайте мне материю, и я построю вам из нее целый мир».

Передавать содержание учения Канта мы не станем: оно излагается во всех учебниках физической астрономии. Напомним только, что сущность гипотезы

Канта состоит в образовании систем, подобных солнечной, из туманного вещества; причем происходит сгущение материи и рассеяние теплоты, образуется центральное светящееся тело, выделяющее кольца, из которых потом образуются планеты с их спутниками и т. д.

Чтобы показать остроумие Канта в деле объяснения фактов и составления гипотез, достаточно одного примера. Одним из лучших доводов в пользу его теории был бы факт одинаковости состава солнца и планет. «Если все планеты произошли из солнечной материи, — говорит Кант, — то следует полагать, что плотность Солнца приблизительно равна средней плотности всех планет, взятых вместе». По вычислению Бюффона действительно оказалось, что искомое отношение плотности Солнца и совокупности планетных тел равно 64: 65, то есть почти равно единице. «Этого одного факта достаточно, — заявляет Кант, — чтобы поднять настоящую теорию от уровня гипотезы до формальной достоверности».

О сочинениях, представленных Кантом в качестве диссертаций, было уже сказано. С 1756 по 1770 год Кант написал ряд сочинений естественно-исторического, антропологического и философского содержания. Известное лиссабонское землетрясение 1755 года, вызвавшее пессимистическое стихотворение Вольтера и пламенную отповедь со стороны Руссо, побудило и Канта написать три статьи о причинах землетрясений, появившихся в газете «Кенигсбергские известия» и отдельным изданием. Несколько позднее Кант написал свои соображения по теории ветров, причем объяснил происхождение пассатов и муссонов, указав на влияние вращения Земли. Кант подробно излагал ту же теорию в своих лекциях по физической географии, привлекавших массу слушателей. Он написал и род программы, или конспекта, по физической географии, замечательного в том отношении, что здесь Кант указал на огромное значение искусственного подбора в деле образования новых пород домашних животных. Некоторые выражения Канта настолько замечательны, что в них можно видеть неясное предчувствие теории естественного подбора, ровно через столетие выработанной Дарвином.

К тому же так называемому «докритическому» периоду литературной деятельности Канта относятся сочинения «Об оптимизме» (1759 год) и «О мистицизме» (статьи 1763—1766 годов). На этих работах необходимо остановиться несколько подробнее, так как они характеризуют историю развития философских идей самого Канта.

Небольшая статья Канта об оптимизме представляет весьма малый философский интерес, но зато важна в биографическом отношении. В своих позднейших философских умозрениях Кант значительно уклоняется от оптимизма лейбнице-вольфовской школы; в рассматриваемом трактате он, наоборот, является учеником Лейбница. Было бы поэтому крайне несправедливо и неосновательно считать трактат об оптимизме окончательным выражением идей Канта о человеческом счастье. Чтобы убедиться в противном, достаточно привести показания его первого биографа и близкого друга Боровского. За несколько лет до смерти Канта Боровский просил Канта дать ему экземпляр брошюры «Об оптимизме» с целью послать в Гёттинген его другу Планку. Кант с «торжественной серьезностью» ответил Боровскому: «Прошу вас более не упоминать об этом сочинении, никому его не давать и везде немедленно кассировать». Добряк Боровский никак не мог понять, откуда у Канта явилась такая ненависть к своему произведению. Это наивное заявление Боровского ясно доказывает, что он был не способен понять историю развития идей Канта.

В «Опыте об оптимизме» Кант стоит на совершенно метафизической почве, чем и объясняется позднейшее отвращение Канта к этому сочинению. Кант развивает идеи Лейбница о наилучшем из миров, только ход его доказательств несколько иной, чем у Лейбница. По словам Канта, божество должно обладать идеей совершеннейшего мира. Утверждать противное — значит допускать, что существует еще лучший мир, чем все миры, мыслимые Творцом. Но раз мы допустим, что божество представляет себе наилучший мир, то нельзя допустить, чтобы оно предпочло худшее лучшему, и благодать Творца противоречит утверждению, что божество создало мир по произволу. Стало быть, божество создало наилучший из представляемых им, другими словами, наилучший из возможных миров.

Но как примирить этот взгляд с эмпирическими данными, доказывающими, что в мире много несовершенства, несчастия и зла? Кант полагает, что нашел истинное опровержение, указывая на мир как на целое и утверждая, что благо целого является целью Творца, хотя бы оно было несовместимо с благом отдельных частей.

Нечего и говорить, что вся эта теория основана на ряде метафизических гипотез. Мы ничего не можем знать ни о представлениях божества, ни о свойствах божественной воли, ни о целях творческой силы. Что касается мира как целого, это совершенно условное и произвольное понятие. Мир тем шире для человека, чем обширнее его знания и чем глубже и сильнее его чувства. Если же под миром как целым подразумевать мир трансцендентный, стоящий вне сознания человека и вообще всех мыслящих существ, то об этом мире мы ровно ничего не можем знать. Все эти истины впоследствии были установлены самим Кантом, а вместе с тем пало и основание для его прежней оптимистической доктрины.

Гораздо ближе по духу к критической философии Канта упомянутые уже сочинения, направленные Кантом против мистицизма вообще и в частности против тогдашнего модного увлечения духовидением, ясновидением и тому подобными психопатическими явлениями, в то время еще не получившими названия спиритизма, но по существу дела тождественными с этим заблуждением.

В 1763 году Кант написал письмо своей знакомой девице Шарлотте фон Кноблах, которая подобно большинству тогдашних светских женщин чрезвычайно интересовалась откровениями пресловутого шведского ясновидца и чудотворца Сведенборга. Сведенборг был уже чрезвычайно стар, но слава его продолжала греметь во всем европейском мире. Сведенборг был по профессии горный инженер, много путешествовал, сделал несколько механических изобретений и написал ряд сочинений по математике, физике и минералогии. Затем он перешел к натурфилософии, писал о бесконечности и о целях мироздания; в конце концов вдался в мистицизм и магию. Пятидесяти лет от роду Сведенборг, выражаясь языком современных спиритов» стал медиумом, или духовидцем, ему начал являться Христос, он стал слышать небесные откровения, толковал по-своему Священное Писание и пророчил появление «нового Иерусалима, или апокалиптической церкви». Учение Сведенборга особенно распространилось на его родине, в Швеции, но также в Англии и ее американских колониях. В течение 1749— 1756 годов было издано восемь томов его «Небесных тайн», напечатанных в Лондоне.

О Сведенборге рассказывали гораздо большие чудеса, чем о нынешних медиумах и русских и западных чудотворцах. По обыкновению все эти чудеса подтверждались самыми достоверными свидетелями. Для Сведенборга не существовало ни времени, ни пространства, он видел отдаленное и сокровенное, был как у себя дома в царстве мертвецов и привидений, которые помогали даже при уплате векселей его клиентам. Ювелир Кроен в Стокгольме сделал серебряный сервиз по заказу голландского посланника Мартевилля. Посланник умер, жена его была уверена, что счет уплачен, но ювелир требовал платы, ссылаясь на то, что вдова не могла предъявить расписки. На помощь вдове явился Сведенборг, по всей вероятности знавший, при помощи подкупленных слуг, где находится знаменитая расписка Ясновидец вызвал дух покойного посланника, который указал ему, что расписка спрятана в потайном ящике шкапа, находившегося в верхней комнате, и ювелир был пристыжен, а слава духовидца увеличилась.

Об этом происшествии узнала шведская королева Луиза Ульрика, сестра Фридриха Великого, отличавшаяся, подобно брату, несколько философскими наклонностями и некоторым скептицизмом. Желая испытать Сведенборга, она предложила ему вопрос, касавшийся чрезвычайно интимной стороны ее жизни. Королева была уверена, что кроме нее самой никто не знал ее тайны. Неизвестно, обладал ли Сведенборг действительным искусством «чтения мыслей» или в этом случае ему помогли люди, знающие чужие секреты, но он дал королеве вполне правильный ответ, чрезвычайно ее изумивший. Королева сообщила об этом новом чуде нескольким иностранным посланникам. С тех пор Сведенборг формально стал чудом света. Это было за два года до переписки Канта с девицею фон Кноблах.

Кант был слишком осторожным и чересчур добросовестным мыслителем для того, чтобы осудить кого бы то ни было, хотя бы Сведенборга, не собрав достаточного материала. В своем письме к девице фон Кноблах Кант ограничился поэтому документальной передачей того, что успел узнать о Сведенборге, и немногими замечаниями в том смысле, что до поры до времени он воздерживается от окончательного суждения. «В подобном щекотливом вопросе, — говорит Кант, — нельзя ничего сказать без исследования дела. По всему видно, что в явлениях, вроде тех, какие приписывают Сведенборгу, весьма важную роль играет обман». Собственно о Сведенборге Кант не берется утверждать, что имеет дело с обманщиком. «В пользу Сведенборга говорят свидетели, заслуживающие такого доверия, что им трудно не поверить; но сам я, — говорит Кант, — все-таки обладаю недостаточными сведениями, а поэтому ожидаю более точных и с нетерпением жду появления книги, печатаемой Сведенборгом в Лондоне».

Из этого письма видно только одно: что Кант, как и всякий добросовестный мыслитель, не составил себе предвзятого мнения о явлениях, по-видимому, необъяснимых, но прежде всего старался познакомиться с делом из первых рук. С этой целью Кант не только вошел в сношения с выдающимися сведенборгианцами, но и обратился с вопросами к самому Сведенборгу. Письмо Канта осталось, однако, без ответа; Сведенборг заявил после того, что на все предлагаемые ему вопросы он ответит в своем лондонском труде. Понятно нетерпение, с которым Кант ждал этого ответа, но совершенно непонятно, каким образом последователи Сведенборга и их преемники спириты вывели из всей этой истории заключение, будто Кант стал приверженцем Сведенборга. Это лишь одно из многочисленных доказательств недобросовестности мистиков, хвастающих тем, что они одни обладают будто бы знанием абсолютной истины.

С большим трудом достал наконец Кант пресловутые «Небесные тайны», которые стоили весьма дорого, но не в моральном смысле, так как за откровения Сведенборга с покупателей книги взималась весьма высокая сумма. Книга эта в одном только отношении принесла пользу Канту, который и раньше не отличался склонностью к мистицизму. Она внушила ему непобедимое отвращение ко всем мистическим откровениям. Плодом чтения объемистого творения Сведенборга была философская сатира Канта, знаменующая собою не только презрение к мистицизму, но и окончательный разрыв стуманным догматизмом Вольфа. Сатира озаглавлена «Сновидения духовидца, поясненные сновидениями метафизики». Из одного этого заглавия, видно, что речь идет о параллели между суевериями мистиков и заблуждениями метафизики. Это сочинение Канта стоит совсем особняком от всех прочих его произведений. Оно блещет юмором и пересыпано шутками, какие мы не привыкли встречать у Канта. Очевидно, что Кант, имея в виду серьезную цель — уничтожение мистического настроения, свойственного многим его современникам, оценил, однако, по достоинству откровения Сведенборга и не мог отнестись к ним, как к серьезному философскому учению, стоящему тяжеловесной полемики.

В легкой и шутильной форме Кант высказывает, однако, весьма серьезные мысли, и его возражения духовидцам отличаются беспощадной логичностью. В этом сочинении Кант уже не имеет ничего общего с немецкой метафизикой. Оно написано в 1766 году, стало быть за четыре года до 1770 года, считаемого обыкновенно поворотным пунктом в истории его философского развития. Мы видели, что в 1759 году Кант писал об оптимизме еще в чисто метафизическом духе; в 1763 году он пытался дать новые физико-теологические доказательства в пользу бытия Божия. В 1764 году Кант впервые основательно знакомится с Руссо и необычайно увлекается им. Два года спустя он борется с мистицизмом и с метафизикой. Сопоставление этих данных показывает, что первый решительный поворот, определивший дальнейшую философскую деятельность Канта, должен быть отнесен к середине шестидесятых годов прошлого века и произошел вследствие единовременного влияния на Канта сочинений Руссо и философских произведений Юма. Первые повлияли на его чувство и на его моральное учение, вторые подготовили теоретические работы Канта.

В рассматриваемой нами философской сатире Канта уже ясно сказываются следы поворота. Немецких метафизиков Кант называет здесь «воздушными строителями (Luftbaumeister), сооружающими исключительно мысленные миры». По словам Канта, Вольф построил мировой порядок, «взяв немножко опыта, но гораздо более — подтасованных понятий». Что касается противника Вольфа, благочестивого Крузия, он создал мир из ничего посредством магической силы фраз о мыслимом и немыслимом. Нечего удивляться тому, что эти господа противоречат друг другу. Надо подождать, пока противники выпяются и проснутся. Придет время, когда философия станет такой же точной наукой, как математика. Немецкая метафизика ничем не лучше сновидений духовидцев.

Обращаясь к вопросу о духовидении, Кант ставит его ребром. Прежде всего необходимо узнать, существуют ли вообще духи, которых мы так или иначе в состоянии познать? Для того чтобы духи могли быть познаваемы, они должны существовать в форме, доступной нашему познанию, то есть должны иметь отношение к телесному миру, должны пребывать и проявлять свою деятельность

в пространстве. С другой стороны, однако, духи нематериальны, не должны иметь ни протяжения, ни фигуры, стало быть не должны наполнять пространства. Каким образом возможны существа, занимающие пространство, не наполняя его, пространственные и в то же время не пространственные?

На этот вопрос, более ста лет тому заданный Кантом, конечно, не сумеет ответить ни один из современных спиритов. Если спириты укажут на так называемую «материализацию духов», то этим лишь увеличат путаницу, потому что явится новый вопрос: каким образом нематериальное может стать материальным? Что касается вопроса о пространственных отношениях духов, спириты, как известно, нашли лазейку при помощи «четвертого измерения». Но эта увертка с их стороны показывает лишь грубое непонимание математического обобщения, позволяющего рассуждать не только о четырех, но и о любом числе измерений, причем, однако, ни одному математику не придет в голову отрицать, что объем имеет три измерения, поверхность — два, а длина — лишь одно измерение и что законы движения и проникновения тел подчиняются геометрии и механике, а не капризам материализованных духов. Но возвратимся к Канту.

Кант озаглавливает одну из глав своей сатиры: «Метафизический узел, который можно по произволу распутать или разрубить». Здесь Кант становится уже вполне ясно на критическую точку зрения, отвергая возможность познать связь между духом и телом и уничтожая незаконные притязания так называемой рациональной, то есть спиритуалистической психологии. Кант иронически называет спиритуализм лейбнице-вольфовской школы «тайною философией, открывающей способы общения с духовным миром», и чрезвычайно остроумно доказывает, что метафизический спиритуализм — родной брат духовидения. Тот, кто воображает, что природа есть лестница, на которой расположены духовные существа, обладающие разной степенью духовности, легко приходит к мысли, что все есть дух, а стало быть, без всякого затруднения допускает общение с духами. От общения духа с телом следует отличать общение духов между собою. Но и этот вопрос Кант решает не в спиритуалистическом, а в эмпирическом и моральном смысле. Существует два рода общения между духами: моральное и мистическое. Первое имеет своим источником нравственное чувство: это путь, избранный английскими философами и Руссо. Источником второго является сверхъестественное ясновидение: это путь, указанный Сведенборгом и вполне аналогичный умозрениям лейбнице-вольфовской школы.

Все разумные существа чувствуют стремление к общению; это взаимное стремление Кант сравнивает со всемирным тяготением. В мире духовном любовь то же, что тяготение в мире материальном. Руссо дополнил Ньютона. Все мы как духовные существа чувствуем себя зависящими от «правила всеобщей воли, и в мире мыслящих существ это чувство порождает «моральное единство» и систему отношений, подчиняющихся единственно духовным законам». Ньютон исследовал закон о взаимодействии материи и отделил математический вопрос от несносных философских споров о причине тяготения; нельзя ли, спрашивает Кант, найти и в моральном мире аналогичное общее начало? Нельзя ли счесть нравственное чувство сознанием зависимости частной воли от общей воли и следствием взаимного влияния, посредством которого нравственный мир достигает единства?

Здесь очевидно влияние идей Руссо. Кант лишь несколько углубляет их, стараясь найти психологическую основу вместо той морально-юридической, которая господствует в воззрениях женевого философа.

Зато спиритуалистические воззрения на духовное существование отбрасываются Кантом окончательно, как иллюзия, близкая к сновидению. Духи не могут быть ощущаемы и воспринимаемы, мы не можем ни видеть их, ни слышать, поэтому все «духовные явления» в смысле появления духов или призраков не более как продукты воображения. Духовные представления могут приобретать такую живость и яркость, что фантазия превращает их в чувственные образы, которые наконец могут даже одержать верх над образами, получаемыми от впечатлений внешнего мира. В этом — источник всех сновидений, иллюзий и патологических расстройств воображения. Когда плод воображения превращается в предмет чувств, его сплетения становятся призраками. Духовидцы не что иное как бодрствующие сновидцы. У спящего притуплены внешние чувства, но воображение работает; у духовидца объекты внешних чувств перемешиваются с созданиями воображения. Еще Аристотель понял истинное различие между сном и действительностью. «Когда мы бодрствуем, — сказал он, — у всех нас (разумных людей) — один общий мир; когда мы спим, у каждого образуется свой собственный». Кант оборачивает это предложение и говорит: «Если из различных людей каждый имеет свой собственный мир, то можно предполагать, что все они спят и видят сны». Общий мир есть мир чувств, область опыта, недоступная для призраков. Если мы считаем продукты нашего воображения образами, если мы превращаем внутренние восприятия во внешние, это значит, что мы имеем «сновидения чувств». Сверх того, бывают еще «сновидения разума», состоящие в том, что мы принимаем создания нашего разума за реальности, идеи — за действительность. Это участь всех метафизиков.

Обращаясь специально к духовидцам и к Сведенборгу, Кант говорит:

«Представим себе, что вследствие повреждения мозга, движения в нервах происходят по таким направлениям, которые скрещиваются вне мозга. Тогда соответственно с этим образуется мнимый фокус от мыслящего субъекта, и образ, бывший плодом простого воображения, представляется как предмет внешних чувств. Поэтому я не посетую на читателя, если он вместо того, чтобы отнестись к духовидцам, как к полугражданам того света, взглянет на них просто, как на кандидатов в госпиталь».

Чтение творений Сведенборга, как видно, сильно раздражило Канта, думавшего найти в них хотя каплю смысла, но в конце чтения убедившегося, что труд его потерян. Этим объясняются резкие и даже банальные выходки философа, который в конце концов заявляет, что духовидцев надо лечить слабительными средствами.

«Было время, — говорит он, — когда чародеев сжигали, теперь достаточно будет очищать их. Я полагаю, что причины расстройства скрываются не так глубоко, как думают. Если во внутренностях свирепствует ипохондрический ветер, он может принять одно из двух направлений: либо вверх — тогда получают явления духовидения, либо вниз — тогда выходит нечто иное».

Это чуть ли не единственное место в сочинениях Канта, которое скорее уместно в сатире Свифта или в романах Смолетта, чем в философском трактате.

Самого Сведенборга Кант называет «архидуховидцем и архифантазером», а об его чудесах после тщательной проверки всех показаний говорит, что поверить таким вещам может лишь тот, кто не боится стать посмешищем.

ГЛАВА VI Обыденная жизнь и характер Канта. — Гигиена. — Общительность, — Взгляд на женщину. — Почему Кант не женился. — Домашняя обстановка. — Дружба после вызова на дуэль. — Слуга великого человека. — Правила Канта. — Его правдивость

Вся жизнь Канта была применением его философских принципов, развитых в «Критике чистого разума». Трудно найти другого философа, у которого слово до такой степени согласовалось бы с делом, как у Канта. Из философов древности с Кантом ближе всего можно сравнить Сократа. Кант был не кабинетным мыслителем, а мудрецом в полном смысле этого слова. Все, начиная с гигиены и заканчивая глубочайшими нравственными вопросами, согласовалось у него с принципами разума; вот почему философия и жизнь у Канта составляли одно нераздельное целое.

Кант не принадлежал к числу людей, считающих чувственные удовольствия главной целью жизни, но он высоко ценил физическое здоровье как необходимое условие бодрости духа. Кант тем более имел права дорожить этим благом, что был, в буквальном смысле слова, главным виновником относительного физического благосостояния, которым пользовался в зрелые годы и до глубокой старости. Природа не наделила Канта ни атлетическим сложением, ни вполне нормальными органами. Он был мал ростом — по словам Яхманна менее пяти футов, имел узкую и чрезвычайно впалую грудь и правое плечо его было сложено неправильно — лопатка слишком выдавалась назад.

Мускулатура его отличалась слабостью, Кант был до того сухощав, что портные постоянно ошибались в покрое его платья, и добродушный философ сам нередко говорил шутя, что он отличается от других людей отсутствием икр. Нервы его были чрезвычайно деликатны, дыхание слабое; он сильно чихал от одного запаха свежей типографской краски при чтении утренней газеты.

Наружность Канта была симпатична. Благодаря строгому гигиеническому образу жизни он в зрелых летах не имел болезненного вида. Это был блондин с румяными щеками — румянец сохранился у Канта до старости — и серовато-голубыми глазами. Кант почему-то был очень доволен цветом своих глаз.

Автор «Критики чистого разума» никогда не говорил о своих умственных или нравственных качествах, но чрезвычайно охотно распространялся о своей физической организации. Благодаря разумному образу жизни он никогда не был болен, хотя, по его собственному признанию, почти никогда не был и вполне здоров. Он страдал главным образом затруднением пищеварения и головными болями — очевидные последствия сидячей жизни и упорного умственного труда.

Когда доктор Яхманн (брат биографа) указал Канту на первые признаки приближающегося маразма (старческого бессилия), Кант вспылил и сказал с гневом: «Поверьте, что я из-за этого не застрелюсь!»

Кант выработал для себя правила гигиенической жизни путем терпеливых наблюдений над своим организмом.

В молодые годы он нередко с целью менял образ жизни, испытывая, что лучше; но, выработав известные правила, держался их со строгостью, которую можно принять за мелочный педантизм, если не вникнуть в дело. Действительно, лишь благодаря необычайно точному распределению времени и поразительно правильному образу жизни, Кант мог дожить до глубокой старости и за исключением последних трех-четырёх лет жизни нимало не утрачивал силы и свежести ума.

Правильный образ жизни Канта вошел в поговорку. Даже среди аккуратных и точных немцев он казался чудом аккуратности. Кант вставал всегда в пять часов утра, как летом, так и зимою. В три четверти пятого его старый слуга будил барина; причем, по приказанию Канта, был неумолим и не отставал до тех пор, пока не убеждался, что барин не заснет снова. Кант считал одним из главных правил своей гигиены спать не более, но и не менее семи часов; причем ложился спать всегда ровно в десять часов вечера. Каждый день он распределял совершенно одинаково. Встав с постели, Кант облакался в шлафрок и надевал сверх колпака маленькую треугольную шляпу. В этом виде он направлялся в свой рабочий кабинет. Проработав до семи часов утра, он одевался и отправлялся в аудиторию; после чтения лекций возвращался в кабинет, снова облакаясь в халат и туфли, и работал до трех четвертей первого, никогда не больше, но и не меньше, затем одевался к обеду. Обед был для Канта также главным временем беседы с гостями: он никогда не обедал один, просиживал за столом несколько часов, много ел, но еще больше разговаривал. После обеда, если погода была хороша, он отправлялся гулять большей частью один, но иногда в компании. Во время одиночных прогулок Кант нередко обдумывал самые глубокомысленные из своих идей. В подобных случаях он первоначально гулял по так называемой «философской дороге», но это подметили нищие и попрошайки, в те времена изобиловавшие в Кёнигсберге. Их приставание сильно надоело Канту, и он стал гулять в Королевском саду. Во время прогулок, особенно если это было зимою или осенью, Кант также строго соблюдал правила гигиены. Он шел медленно, чтобы не вызвать испарины, и если дул свежий ветер, Кант старался гулять один, чтобы не разговаривать, так как считал одним из главных правил гигиены дышать холодным воздухом лишь через ноздри. В своих лекциях по антропологии Кант указывал, что даже дикари знают это гигиеническое правило, нередко забываемое людьми цивилизованными.

Если не считать нескольких чашек весьма слабого чая, то можно сказать, что Кант ел лишь раз в день, то есть за обедом, причем довольствовался тремя сытными блюдами, к которым добавлял сыр или фрукты. К немалому удивлению своих соотечественников Кант никогда не пил пива, довольствуясь главным образом водою и незначительным количеством вина: полубутылка медаку была его обычной порцией. О пиве Кант говорил; «Это не напиток, а пища дурного качества». Чтобы не выпить по рассеянности более вина, чем следует, особенно если он обедал не у себя дома, Кант принял за правило наливать себе всегда не более четверти стакана и почти автоматически вел счет этим порциям.

Кант не был гастрономом, то есть не гонялся за изысканными блюдами, но любил, чтобы простая пища была вкусно и хорошо приготовлена. В этом смысле его признавали знатоком; кенигсбергские дамы охотно угощали его как человека, понимающего толк, и в то же время боялись его критики. Один из приятелей Канта сказал однажды философу: «Вы могли бы с большим успехом написать критику чистого поварского искусства». Придавая поваренному делу главным образом гигиеническое значение, Кант часто говорил, что напрасно некоторые дамы считают это дело ниже своего достоинства. Общее образование, говорил он, необходимо женщине, но необходимы и специальные знания, соответствующие обязанности матери и хозяйки.

— Вы, кажется, считаете нас всех только кухарками, — сказала однажды Канту одна дама, обиженная тем, что философ все время беседовал с нею о способе приготовления кушаний.

— Нисколько, — ответил Кант, но я желал бы, чтобы самое искусство кухарки было поставлено серьезнее. Следовало бы, чтобы молодым девицам преподавали поварское искусство ученые повара, точно так же, как танцмейстеры преподают им танцы; первое даже важнее последнего.

Кант находил, что брэнчанье на фортепиано и пение сентиментальных романсов нисколько не выше кулинарного дела. «Мне кажется, — говорил он, — что всякий муж предпочтет хорошее блюдо без музыки, чем музыку без хорошего блюда». Узнав, что в Шотландии девицы из лучших семейств действительно берут у поваров уроки поваренного искусства, Кант остался чрезвычайно доволен этим. Вообще во взглядах Канта на роль женщины в семье нельзя не видеть смешения некоторых вполне верных мнений с теми, которые он вынес из немецкой мещанской среды: иногда он поэтому пересаливал. Кант питал антипатию к женщинам-амазонкам и женщинам-синим чулкам. Одна дама, считавшая себя весьма ученою, надоела философу своими вопросами о его системе. Кант долго старался перевести разговор на другие темы. Наконец дама заметила это и сказала:

— Разве вы думаете, что дамы не способны философски размышлять?

— Ах, да, конечно... — резко сказал Кант, и по тону его собеседница поняла, что Кант оценил ее по достоинству.

В данном случае он был, вероятно, прав; но вообще нельзя не заметить, что Кант отстал в этом отношении от Лейбница, необычайно охотно беседовавшего с образованными женщинами о философских предметах, и Лейбниц едва ли проиграл от своих бесед с королевой Софией Шарлоттой. К сожалению, Кант не встретил в своем Кенигсбергском захолустье ни одной подобной женщины, а что он был способен кувлечению женским умом и характером, доказывают его чрезвычайно сердечные отношения к графине Кайзерлинг и ее дочери, впоследствии по мужу фон дер Рекке. Эта последняя пишет о Канте:

«Я не знаю его по сочинениям: его метафизические умозрения стоят за пределами моего понимания. Но я обязана этому знаменитому человеку многими прекрасными умными беседами. Ежедневно приходилось мне разговаривать с этим другом нашего дома, который был чрезвычайно любезным и приятным собеседником... Часто он беседовал так мило, что никогда нельзя было бы

заподозрить в нем глубокого отвлеченного мыслителя, совершившего подобный переворот в философии. Беседуя в обществе, он умел нередко облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму; каждое свое мнение он излагал необычайно ясно. Он увлекательно острил, и беседа его была часто приправлена легкой сатирой, причем он умел острить, сохраняя невозмутимый вид и полную непринужденность».

По этому показанию можно судить, что не всех женщин Кант считал кухарками или же синими чулками и что не совсем его вина, если в Кенигсбергском обществе было мало женщин, подобных графине Кайзерлинг и Элизе фон Рекке. Это упускают из виду многие, слишком строго осуждающие Канта за его взгляды на женщин и забывающие, что этот философ делал выводы из окружавшей его действительности. Для дальнейшей характеристики взглядов Канта на женщину необходимо привести его суждение о взглядах Руссо. Известно, что пламенный защитник прав природы и человека отнесся несколько свысока к женщине, которая для него, как и для большинства современных швейцарцев и французов, была скорее цветком, чем серьезною подругою жизни. Нельзя сказать, чтобы Кант одобрил этот взгляд. «Любезничанье с женщинами, — писал Кант в своем сочинении о прекрасном и возвышенном, — есть специальность французов и основа их искусства жить». Обыкновенно любезничают только с детьми. Руссо сказал, что женщина никогда не станет ничем большим, чем взрослым ребенком. «Это дерзкое выражение, — говорит Кант, — и я ни за какую цену не решился бы высказать его, но чтобы понять слова Руссо, надо помнить, что они написаны во Франции». Кант утверждает, что женщины должны действовать на мужчин облагораживающим образом, но во Франции сами женщины предпочитают любезничанье труду. «Жаль, — говорит Кант, — что лилии не прядут»⁸.

Кант не был женат, и долгое время полагали, что он никогда не был влюблен. Поверить этому было бы трудно даже в том случае, если бы мы не имели положительного свидетельства одного из самых достоверных биографов Канта в пользу противного. Биограф этот не берется ничего сказать о молодости Канта, ограничиваясь замечанием: «Судя по темпераменту, он, вероятно, был влюблен», зато категорично утверждает, что в зрелых летах Кант был влюблен и даже два раза. «Я не называю имен, — говорит этот биограф, — потому что для кого же это важно?» Легко допустить, что и в молодости Кант увлекался, но, как человек чрезвычайно добросовестный, не решался составить семьи, пока сам находился в материальной зависимости от родственников. Что касается вопроса, почему Кант и впоследствии остался холостяком, это объясняется самым удовлетворительным образом. В ранней молодости Кант был очень застенчив с женщинами; с летами это прошло в обыденных случаях, но в вопросе настолько щекотливом, каково объяснение в любви, он остался крайне нерешительным, и, по словам биографа, одна из возлюбленных Канта уехала, так и не узнав о его страсти, а другая, видя его колебания и нерешительность, предпочла более энергичного и смелого соискателя. Постепенно Кант втянулся в одинокую жизнь холостяка, и на старости у него образовалось совершенно рассудочное, можно сказать, даже чересчур прозаичное отношение к браку. Задолго до Шопенгауэра (который и в этом, как во многих других отношениях, утрировал идеи Канта) Кант провозгласил, что истинной

⁸ Тот из германских поэтов, который наиболее подчинился влиянию философии Канта и открыто признавал это влияние — мы говорим о Шиллере, — как известно, более всех способствовал серьезному отношению поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудесных женских типов, составляющих главную прелесть драматических произведений Шиллера.

подкладкой всякой любви к женщине является половое влечение. В трактате «О прекрасном и возвышенном» мы читаем буквально:

«Все очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе является распространенным половым влечением. Природа преследует свою великую цель, и все тонкости, которые сюда присоединяются, по-видимому весьма далекие от полового инстинкта, в конце концов являются лишь его подкрашиванием, и вся их прелесть заимствована из того же источника».

Но Кант далек от выводов, сделанных из этого впоследствии Шопенгауэром. Хотя половой инстинкт — чувство весьма грубое, но «презирать его», по словам Канта, нет ни малейшего основания, потому что этот инстинкт делает возможным самое удобное и правильное охранение порядка природы. Философ нимало не отрицает и того, что высшие формы любви отличаются от низших, хотя и имеют общий с ними источник. Любовь, основанная только на половом влечении, по его словам, легко вырождается в разнузданность и распущенность, потому что «огонь, зажженный в нас одной особой, весьма легко может быть погашен другою».

Что сам Кант далеко был равнодушен к женской красоте, в этом убеждают многие показания. Помимо всякой любви, он охотно видел красивые женские лица, относясь к ним с чисто эстетической точки зрения. Даже семидесяти лет от роду, когда один его глаз был поражен болезнью, Кант, обедая по воскресеньям в доме своего приятеля, английского купца Мотерби, любил смотреть на хорошеньких женщин и постоянно сажал подле себя за обедом, со стороны здорового глаза, красавицу мисс А., причем вполне откровенно объяснял, что, смотря на нее, испытывает большое удовольствие.

Когда Кант был уже далеко не в первой молодости, один добродушный пастор ни с того, ни с сего вздумал сватать его к какой-то девице. Для лучшего успеха этот священник написал и издал на свой счет брошюрку, озаглавленную «Рафаил и Товия», назидательно-религиозного содержания, на тему: «Нехорошо человеку быть одному». Кант был крайне озадачен и брошюрой, и неожиданным предложением пастора; в конце концов он ограничился тем, что уплатил по счету типографии, возвратив пастору его расходы. Впоследствии Кант любил рассказывать этот эпизод своим застольным собеседникам, много шутил по этому поводу и смеялся, вспоминая, как его чуть не женили.

Впрочем, Кант в свою очередь иногда любил играть роль свата. В этих случаях он всегда руководствовался практическими соображениями, советуя молодым людям «благоразумие» в выборе невесты.

Вообще жизнь холостяка не могла не наложить на Канта известного отпечатка: читая рассказы его биографов, иногда кажется, что речь идет об одном из добродушных типов, изображенных Диккенсом. Добродушие Канта и его заботливость о непричинении кому-либо вреда нередко граничили с комизмом. Раз его старый слуга Лампе во время обеда разбил стакан. Опасаясь, чтобы кто-либо из гостей или сам Лампе не порезал себе ногу, Кант велел слуге немедленно собрать все кусочки. Но тут ему пришло на ум, что, во-первых, слуга, собирая куски стекла, может по неосторожности поранить себе руку, во-вторых, по халатности не соберет всех кусков. Поэтому Кант сам встал и тщательно собрал все в бумажку. По окончании обеда Кант встал и сказал своим гостям: «Ну, господа, теперь пойдем в сад и сами закопаем это стекло. Я не могу доверить этого слуге». Взяв лопату,

Кант отправился; гости за ним. Тут явилось новое затруднение. Где закопать стекло так, чтобы оно никому не причинило вреда? После долгого обдумывания Кант наконец решил этот трудный вопрос.

Обстановка у Канта была весьма скромная. Всего требовательнее он был относительно местоположения своего рабочего кабинета. Немало трудов стоило Канту устроиться сколько-нибудь удобно. Потребность в крайне сосредоточенном мышлении сделала Канта чрезвычайно требовательным. Он не выносил никакого шума или резких звуков, способных нарушить его покой во время занятий, поэтому при всем своем консерватизме относительно привычек Кант часто менял квартиру. Сначала он жил на берегу реки, здесь ему мешали крики польских лодочников. Другую квартиру Кант должен был оставить по тому поводу, что у его соседа был несносный петух, своим криком мешавший философу. Кант предлагал соседу за петуха какую угодно сумму, но тот упорствовал, и дело кончилось переездом Канта на другую квартиру. Наконец в 1783 году Канту удалось на сделанные сбережения купить маленький скромный домик, но и здесь его покой оказался не вполне обеспеченным. Недалеко от домика Канта находилась городская тюрьма. Для нравственного исправления арестантов было придумано средство в чисто протестантском духе: они должны были несколько часов сряду петь псалмы. Громкое нестройное пение при открытых окнах тюрьмы сильно раздражало Канта. Долго терпел Кант, наконец написал письмо первому бургомистру, своему приятелю Гиппелю, прося его принять меры «для прекращения скандала». Письмо Канта довольно курьезно. Он пишет, что просит от имени своего и других жителей этого квартала придумать меры против «громогласного благочестия этих ханжей». «Не думаю, — пишет Кант, — чтобы они имели повод жаловаться и утверждать, что их души находятся в опасности, если их голоса во время пения будут умерены тем, что они станут петь при закрытых окнах, да и в этом случае им не следовало бы кричать изо всех сил. Все равно сторож выдаст им свидетельство, о котором, собственно, они и хлопчут, и там будет, сказано, что они весьма богобоязненны; их услышат и в том случае, если они перестанут будить своим ревом набожных граждан нашего доброго города». Просьба Канта была уважена, но тут явилась новая беда. По соседству постоянно играли танцы, и эта игра порою выводила философа из терпения. В конце концов Кант вообще невзлюбил музыку и часто называл ее несносным искусством, которое умудрилось внести элемент назойливости в самую эстетику. Впрочем, Кант охотно посещал концерты всех приезжавших в Кёнигсберг знаменитостей.

Стараясь углубиться в свои размышления, Кант часто во время сумерек устремлял взор на какой-либо отдаленный предмет, большей частью на Лебенихтскую башню. С течением времени перед башней выросли тополя в саду соседа настолько высокие, что листья их прикрыли башню. Эта перемена стала беспокоить Канта, и он до тех пор упрашивал соседа, пока тот не приказал обрубить верхушки своих тополей.

Купив собственный домик, Кант устроился в нем просто, но уютно. Меблировка его комнат была необычайно скромна. Единственным украшением его кабинета был портрет любимого его автора Руссо. Насколько Кант увлекался чтением Руссо, видно из того, что ради произведений женеvского философа он нарушил порядок своей жизни. Когда появился «Эмиль», Кант забыл свое распределение времени и читал запоем до поздней ночи. Кант знал главные сочинения Руссо почти наизусть и часто цитировал их в устном преподавании. Само собою разумеется, что

такой мощный, оригинальный и в то же время методический и спокойный ум, каков был у Канта, не мог всецело подчиниться влиянию пламенной, но нередко парадоксальной проповеди Руссо; одно несомненно, что протест Руссо против современной цивилизации способствовал развитию взглядов Канта не в меньшей мере, чем логичный, но сравнительно холодный скептицизм Юма. Быть может, контраст натуры Руссо с его собственной особенно привлекал Канта, у которого ум преобладал над чувством в такой же мере, в какой у Руссо сердце господствовало над логикой.

Контраст этот проявляется во всем. Насколько Руссо был неуживчив и нелюдим, настолько же Кант отличался уживчивостью, умением поддерживать общественные сношения, приветливостью и гостеприимством. Он не искал большого общества, но любил, чтобы число гостей за столом достигало числа муз. Кант особенно дружил с несколькими английскими семьями. Самым оригинальным из его друзей был английский купец Грин. О знакомстве Канта с Трином сохранился рассказ, в точности которого сомневались некоторые биографы; по нашему мнению, рассказ этот имеет несомненно историческую основу, лишь эпоха несколько перепутана. За несколько лет до начала войны между Англией и ее американскими колониями, впоследствии образовавшими Соединенные Штаты, отношения были уже крайне натянуты, и в таком торговом городе, каков Кёнигсберг, носились, конечно, слухи о возможных столкновениях. Кант был горячим поборником свободы и открыто выражал свои мнения, порицая деспотические действия английского правительства. Однажды Кант, гуляя в Дёнгофском саду, встретил нескольких знакомых и незнакомых людей, беседовавших об американских делах, и резко выразился о действиях Англии. Находившийся в числе собеседников англичанин Грин, не знавший Канта, почувствовал себя оскорбленным в своем британском патриотизме, в страстных выражениях ответил Канту и, наконец, вызвал его на дуэль, требуя кровавого удовлетворения. Кант, нимало не потеряв присутствия духа, спокойно и рассудительно ответил противнику, что готов принять его вызов, но первоначально требует, чтобы его выслушали до конца. Доводы Канта в пользу правого дела поразили Грина, и дело кончилось тем, что Грин пожал Канту руку, проводил его домой и с тех пор они стали лучшими друзьями.

Грин был чрезвычайно оригинален в чисто английском вкусе. Достаточно сказать, что он был еще пунктуальнее Канта, его звали «человек, заведенный по часам». Однажды вечером Кант обещал Грину сопровождать его на следующее утро в восемь часов во время прогулки. В три четверти восьмого Грин уже нервно шагал по комнате с часами в руках, в семь часов пятьдесят девять минут он надел шляпу, взял палку и, как только пробило восемь, сел в коляску и поехал. Выезжая, он встретил Канта, который подходил к его дому, опоздав лишь на две минуты. Грин, однако, не остановил коляски и проехал мимо, чтобы наказать Канта за неаккуратность.

Кроме безусловной честности, Грин отличался также проницательным умом, хотя и не имел основательного образования. Сам Кант сказал однажды: «В моей "Критике чистого разума" нет ни одного предложения, которого я не прочел бы Грину и не просил бы обсудить его». Несколько лет сряду Кант проводил у Грина послеобеденные часы, причем иногда происходили сцены, достойные кисти художника. Являясь к Грину, Кант заставлял его спать в кресле; он сам садился в другое кресло и также засыпал. Затем являлся директор банка Руффман и в свою очередь начинал храпеть. В определенный час приходил купец Мотерби и будил

всех троих; тогда начинались самые поучительные беседы, которые длились ровно до семи часов вечера. Пунктуальность собеседников была так велика, что они заменяли часы для обывателей того околотка. Часто говорили: «Нет еще семи часов: профессор Кант еще не вышел от Грина».

Смерть Грина глубоко опечалила Канта. На время он даже отказался от своих обеденных собраний и бесед, до самой глубокой старости Кант не мог забыть своего друга. Со дня смерти Грина Кант ни разу не ужинал в обществе: это он делал лишь ради Грина. Очень дружен был Кант также с семьей Мотерби, где было много маленьких детей. Кант чрезвычайно любил детей, умел обращаться с ними и входить в их мирозерцание. «Трогательно было видеть, — пишет один из его биографов, — как этот глубокомысленный мудрец интересовался детскими играми и болтовней».

Кант вообще обладал способностью входить в чужой мир. Он одинаково ценил всех людей, не разбирая ни пола, ни сословия, ни возраста, ни общественного положения, видя прежде всего в каждом человеке — человеческое достоинство. Поэтому в числе его друзей были и светские дамы, вроде графини Кайзерлинг, и купцы, и простые люди, вроде лесничего Вобсера, которого Кант называл «истинно немецким мужем», увековечив его память в одном из своих сочинений. К этому Вобсеру Кант уезжал за несколько верст от Кёнигсберга — чуть ли не самое далекое путешествие, которое он позволял себе, никогда не отлучаясь из родного города. В домике Вобсера, в идиллической обстановке, Кант написал свой трактат «О прекрасном и возвышенном». Кант от природы был веселого нрава и даже с некоторой склонностью к сатире. Он говорил, что любит литовцев за их сатирические наклонности, и еще в молодости дружил с несколькими литовскими весельчаками. Кант охотно читал сатирических писателей и утверждал, что сатирики принесли более пользы, чем все схоластики и метафизики. Особенно он ценил Эразма, замечая, что одна его сатира стоит сотни философских трактатов. В самом Канте было, однако, недостаточно желчи и слишком много спокойствия для того, чтобы стать сатириком в полном смысле слова. Следует заметить, что спокойствие Канта и его удивительное самообладание было не столько природным качеством, сколько продуктом работы над самим собою. От природы Кант был вспыльчив, но сумел подавить в себе это качество. Единственный человек, с которым Кант не мог постоянно оставаться спокойным, был его старый слуга Лампе. Находились даже люди, которых смущал резкий тон Канта по отношению к слуге. Присмотревшись ближе, они убедились, что никакое, даже ангельское терпение не могло устоять против глупости и упрямства этого служителя, который особенно возомнил о себе с тех пор, как узнал, что Кант — великий философ. Лампе приписывал себе часть славы Канта, а между тем был крайне ограничен и вороват. В течение многих лет Кант безусловно доверял ему; наконец убедившись, что при всей своей негодности Лампе еще и нечестен, Кант с болью в сердце рассчитал слугу.

Кант вообще жил по придуманным для себя правилам или, как он выражался, максима́м. До чего доходила его страсть сочинять законы для своего поведения, показывает следующий случай. Однажды Кант возвращался со своей обычной прогулки. Как раз в то время, когда философ собирался повернуть в свою улицу, он увидел графа N., ехавшего в кабриолете. Граф, необычайно вежливый человек, тотчас остановил кабриолет, сошел и стал просить Канта, по случаю хорошей погоды, совершить с ним небольшую прогулку. Подчиняясь первому впечатлению,

Кант принял предложение и сел в кабриолет. Ржание кровных рысаков и покрикивания графа начинают смущать Канта, хотя граф уверяет, что он правит, как самый лучший кучер. Граф едет за город, посещает свои имения, затем предлагает Канту еще посетить с ним одного доброго друга, живущего за милю от города: Из вежливости Кант, скрепя сердце, соглашается на все. К десяти часам вечера граф привозит Канта домой. Кант потерял весь день, испытал вместо удовольствия лишь тревогу и досаду. С тех пор Кант придумал для себя правило: никогда более не ездить в коляске, не им самим нанятой и не находящейся в его распоряжении, и никогда ни с кем не кататься. Это правило Кант соблюдал с тех пор с такой непоколебимой твердостью, что никакие блага в мире не заставили бы его сесть в чужую коляску.

Было уже замечено, что Кант выработал в себе твердость характера. Кант и в других чтит характер столько же, как и ум. Он особенно ценил людей, обязанных самим себе своим умственным или нравственным развитием. У Канта не было ни малейшего признака зависти или пренебрежения к чужим заслугам — черты, слишком часто свойственные даже великим людям (достаточно напомнить эпизод Лейбница с Ньютоном). Самого себя Кант мерил слишком малою мерою. В нем не было ни капли самоуничижения, но скромность Канта была все-таки весьма велика. Говоря однажды о Ньюtone, Кант сказал: «В науке о природе я сам следую Ньютону, если только можно сравнить малое с великим». Но свои собственные заслуги в области философии Кант признавал вполне. Ценил других, говоря с уважением даже о своих противниках, Кант не допускал и с чужой стороны ни чванства, ни нахальства и, наоборот, с благодарностью и умилением принимал выражения почтения со стороны учеников и поклонников.

Чванливости и самолюбия Кант не терпел ни в ком. Однажды приехал в Кёнигсберг знакомый Канта, граф С, который был недоволен последней статьей Канта и на этом основании не посетил философа. Граф обедал у приятеля. Канта пригласили к обеду, пояснив, что «его ждет граф». Кант ответил, что не придет, так как, по обычаю, следовало графу к нему заехать. Свидание расстроилось, но в следующий свой приезд граф понял неуместность своего поведения и посетил Канта.

Когда некоторые философские противники Канта стали писать о его работах тоном учителей, Кант написал статью «О слишком приподнятом и надменном тоне в философии», в которой осмеял претензии своих критиков.

Одной из главных отличительных черт Канта была его безусловная правдивость, как в словах, так и в действиях; того же он требовал и от других. Если Канту случалось передать с чужих слов какое-либо, даже самое маловажное происшествие и если потом он узнавал, что сообщенные ему другим лицом сведения не вполне точны, он спешил исправить неточность. Особенно строг был Кант ко всякому обману. Он сплошь и рядом освобождал недостаточных студентов от уплаты гонорара за свои лекции. Раз один студент, не имевший средств, из ложного стыда не заявил об этом Канту, но, наоборот, сказал, что, наверное, внесет такого-то числа. Срок прошел, а деньги не были внесены; наконец студент сознался, что никогда и не рассчитывал уплатить. Кант сурово упрекнул студента, хотя и разрешил ему продолжать посещение лекций. Несколько времени спустя тот же студент просил Канта назначить его в числе оппонентов на одном докторском диспуте. Кант отказал. «Ведь вы и на этот раз можете оказаться неаккуратным, — пояснил Кант. — Что если вы не явитесь на диспут? Ведь тогда из-за вас все дело пропало!» (По обычаю непременно должен был оппонировать кто-либо из

студентов). Молодой человек впоследствии сам признавался, что этот урок морали принес ему больше пользы в жизни, чем сотня лекций о моральном поведении.

ГЛАВА VII Главные философские труды Канта, их история. — Кант подвергается преследованию со стороны придворных ханжей. — Последние годы жизни Канта

Было уже выяснено, что философское мировоззрение Канта выработалось в окончательном виде в течение 1762—1765 годов. Трактат об оптимизме был последней данью, принесенной Кантом догматической философии. В сочинении «Об отрицательных величинах и о реальном основании» (1763 год) Кант занимает среднее положение между эмпиризмом и рационализмом; в «Сновидениях духовидца»? (1766 год) он приближается к скептицизму Юма; а два года спустя (1768 год) пишет небольшой трактат «О первом основании различия областей в пространстве, особенно замечательный тем, что он представляет собой переход от эмпиризма к критицизму.

Кант задается здесь вопросом: что такое пространство и чем обуславливаются его свойства? Не могут же наглядные суждения (интуиции), какие содержатся в геометрии, дать очевидное доказательство того, что «абсолютное пространство имеет реальность независимо от существования всякой материи»?

Постановка этого вопроса важна в том отношении, что указывает, каким путем Кант постепенно пришел к мысли, что пространство вовсе не имеет «своей собственной реальности», но является лишь «формой» нашей чувственности.

Пространственные отношения вещей сводятся к их положению. Вещи в пространстве находятся между собой в известных расстояниях, и каждая вещь занимает свое место. Взаимные отношения положений Кант называет областями. Понятие области включает в себя не только расстояние, но и направление. Поясним это примером: две точки находятся между собою в расстоянии одного аршина. Если одну точку принять за данную, то положение другой еще не определено: она может находиться в любом месте поверхности шара, радиус которого равен одному аршину, а центр находится в первой точке. Надо еще знать, каково направление радиуса, тогда другая точка будет вполне определена. Но направление можно задать лишь по отношению к какому-либо другому радиусу, принятому за данную величину. В конце концов оказывается, что необходимо принять некоторое постоянное направление, но постоянным оно может считаться лишь относительно наблюдателя.

Кант дает еще более простой пример. Напишем на листе бумаги два раза одно и то же слово, например «человек».

Буквы одни и те же, порядок их расположения тот же, но одно слово написано справа, другое слева. Говоря «справа», «слева», мы относим положение букв к наблюдателю. Если бы свойства пространства зависели исключительно от взаимных отношений между частями объектов, мы не могли бы различить два предмета, отличающиеся между собою лишь тем, что один поставлен слева, другой — справа.

Любопытно, что Кант выводит из этого, что понятия «слева, справа, сверху, внизу, спереди, сзади» являются выражением свойств «абсолютного пространства», и лишь после этого решается отнести их также к свойствам самого наблюдателя. При этом Кант выставляет следующие в высшей степени важные соображения, являющиеся чуть ли не лучшей попыткой объяснить трехмерность пространства. Строение нашего тела определяет для нас три основные плоскости, к которым мы и относим все предметы внешнего мира. Плоскость симметрии разделяет наше тело на правую и левую части; другая плоскость соответствует положению наших органов чувств: глаза, рот, ноздри расположены у нас спереди, чем обуславливается резкое различие между передней и задней областью; наконец, положение нашей головы делает необходимым различие между верхом и низом. Это, так сказать, физиологическое объяснение трехмерности пространства составляет первый шаг к психологическому истолкованию. Очевидно, говорит Кант, что мы воспринимаем области в пространстве лишь по отношению

нашему собственному телу. Кант допускает «особое пространственное чувство» («Raumgefuhe»), или чувство пространственного существования, нашего тела. Он еще не решается, однако, перенести весь центр тяжести из объекта в субъект и полагает, что «абсолютное пространство» трехмерно не только по отношению к нашему телу, но и само по себе; точно так же и другие свойства пространства объясняются не только свойствами субъекта, но и свойствами самого абсолютного пространства, как своеобразного объекта, отличающегося от предметов внешних чувств и способного воздействовать лишь на специальное «пространственное чувство».

Канту оставалось еще сделать один шаг: он и был сделан в «трансцендентальной эстетике», то есть в учении об априорных формах чувственности, которое составляет важнейшую часть «Критики чистого разума».

Этот капитальнейший из всех трудов Канта появился в печати первым изданием в 1781 году; вторым — значительно измененным — в 1787 году; позднейшие издания, вышедшие при жизни Канта, не отличаются от второго, которое Кант считал, следовательно, окончательным выражением своих взглядов. Со времени Шопенгауэра в немецкой литературе начался целый спор о сравнительном достоинстве обоих изданий. Шопенгауэр провозгласил, что второе издание есть искажение первого; его мнение разделяется и теперь многими идеалистами, которые не могут простить Канту того, что во втором издании он напечатал подробное опровержение идеалистических учений. Если самого Канта называют идеалистом и если он сам не вполне отрекся от этого имени, то необходимо помнить, что идеализм Канта совершенно особенного рода. Это идеализм критический, или трансцендентальный. Под словом трансцендентальный — и это необходимо твердо помнить — Кант подразумевает не то, что стоит выше опыта, а то, что предшествует опыту, как его необходимое условие, и что без последующего за ним опыта лишено всякого содержания, а стало быть, и всякого смысла. Из этого видно, что идеализм Канта гораздо более родствен с философским реализмом, чем с идеалистическими системами вроде картезианизма, не говоря уже об учении Беркли. То, что стоит выше и вне всякого опыта, Кант называл не трансцендентальным, а трансцендентным и резко осуждал всякие теоретические экскурсии в эту область, признавая ее значение единственно в вопросах нравственных или практических.

В 1770 году, как мы уже знаем, Кант после многолетнего ожидания получил кафедру логики и метафизики и 20 августа этого года защищал вступительную диссертацию «О форме и принципах чувственного и постигаемого (intelligibeln) мира». Неделью спустя Кант, посылая экземпляр этой диссертации Ламберту, писал ему: «Около года уже я лью себя мыслью, что достиг того понятия, которое никогда во мне не изменится, но, конечно, расширится и которое позволяет испытывать все метафизические вопросы по совершенно верным и легким меркам, причем можно с полной уверенностью сказать, насколько эти вопросы разрешимы или нет».

Очевидно, таким образом, со слов самого Канта, что в 1769 году он окончательно вступил на путь критической философии. Это нисколько не противоречит мнению, что такой путь подготовлялся в уме Канта постепенно еще с 1763 года, не считая более ранних отдельных проблесков критического направления, для истории развития идей Канта особенное значение представляют письма, адресованные им в течение 1770—1781 годов одному из любимейших своих учеников, Марку Герцу. Этот самый Герц был оппонентом Канта на диспуте 1770 года, затем уехал в Берлин, где вступил в близкие отношения с известным еврейским реформатором Мендельсоном. Впоследствии Герц стал выдающимся врачом и приобрел также известность своими философскими работами. В 1779 году он женился на дочери португальско-еврейского врача, Генриетте, которая славилась во всем Берлине столько же умом и образованием, сколько красотой; ее дом стал сборным пунктом берлинских философов и ученых.

Кант постоянно сообщал Герцу о плане капитального философского труда, задуманного им в 1770 году, вскоре после защиты диссертации. В одном из первых писем Кант сообщает, что намерен написать сочинение под заглавием «О границах чувственности и разума». По словам Канта, чрезвычайно важно не только для философов, но и для всех вообще важнейших человеческих целей провести различие между тем, что относится к природе нашей познавательной способности, и тем, что относится к природе предметов; необходимо также знать, «что основано на субъективных принципах человеческих душевных сил, исходящих не только из чувственности, но также из рассудка»)) В письме от 1772 года Кант пишет: «В течение долгого времени мне недоставало еще кое-чего существенного, что на самом деле является ключом ко всем тайнам метафизики, которая до сих пор сама себя не понимала. Я спросил себя именно: на чем основано отношение представления к предмету?»

Прежние философы прибегали для решения этого вопроса к разным сверхъестественным началам. Платон и Мальбранш допускали какое-то наитие или откровение свыше, Лейбниц сочинил предустановленную гармонию. «Но, по словам Канта, допускать, что *deus ex machina*⁹ определяет происхождение и значение наших познаний, это нелепейшее из предположений, какое только можно избрать». «Теперь, — пишет Кант, — я в состоянии изложить критику чистого разума». Кант полагал, что окончит весь труд, включая критику практического разума, в течение «примерно трех месяцев».

⁹ Бог из машины (лат.) — прием, использовавшийся при постановке античных трагедий для развязки сюжета и заключающийся во вмешательстве какого-либо божества, появлявшегося на сцене при помощи механического приспособления; развязка вследствие непредвиденного обстоятельства. — Ред.

На самом деле Канту понадобилось вместо трех месяцев девять лет на исполнение лишь одной из намеченных им задач — на создание критики теоретического разума. Не следует думать, что Кант писал и переделывал написанное: работа происходила в его голове. В своих письмах 1777-1778 годов Кант жалуется на состояние своего здоровья. В 1778 году он пишет, что с некоторого времени привык считать здоровьем весьма относительное благосостояние, которое многие почли бы болезнью. По возможности он щадил свои силы и старался отдохнуть. Лишь в 1780 году Кант вновь усиленно принимается за работу. 1 мая следующего года он пишет Герцу, что вскоре издатель Гарткнох напечатает написанную им наконец книгу «Критика чистого разума». По первоначальному плану Канта предполагалась брошюра в несколько печатных листов; девять лет размышления довели ее до размера объемистого тома в 856 страниц по первому изданию). В одном из писем к Мендельсону Кант говорит, что он обдумывал свое сочинение «по малой мере в течение 12 лет», и, действительно, 1769 год был, как мы знаем, решительным поворотным пунктом. Но написана была вся книга, по словам Канта, «в какие-нибудь 4—5 месяцев, как бы наскоро, правда, с величайшим вниманием к содержанию, но с малым прилежанием относительно изложения и доступности для читателя». Не подлежащее никакому сомнению заявление Канта, что книга была написана в течение пяти месяцев, показывает, что он писал, когда идеи окончательно созрели в его уме. В противном случае даже такой умственный колосс не мог бы справиться с задачей написать более десяти печатных листов в месяц, особенно принимая во внимание необычайную трудность и отвлеченность предмета. Поразительная поспешность окончательной работы отразилась, конечно, на слоге: в «Критике чистого разума» нет той ясности и простоты, какую мы найдем в последующих произведениях Канта. Кант сознавал этот недостаток своего главного труда, но он не искал легкой популярности. «Немногие так счастливы, — писал он Мендельсону, — чтобы думать в одно и то же время и за себя, и за других... Есть только один Мендельсон».

Окончательная работа была исполнена Кантом в конце 1780 года. В октябре этого года рижский издатель Гарткнох предложил Канту издать его труд; в декабре началось печатание. 6 апреля 1781 года Кант прислал Гаманну — мыслителю весьма оригинальному, хотя и неглубокому — первые тридцать листов, которые Гаманн «прочел в один день». Следующие восемнадцать листов Гаманн получил лишь 6 мая, но все эти сорок восемь листов были лишь серединой; конец и начало все еще не печатались, потому что Кант кое-что переделывал. Временем появления «Критики чистого разума» следует считать лишь июль 1781 года.

Интересно впечатление, вынесенное первым читателем Канта — Гаманном. «Такая объемистая книга, — писал он Гердеру, — не соответствует ни росту автора (мы знаем, что Кант был мал ростом. — М. Ф.), ни понятию чистого разума, который противопоставляется им гнилому — моему разуму». Затем Гаманн выдает Канту аттестат, назвав его «пруссским Юмом».

Насколько сам Кант сознавал, что его труд не отличается общедоступностью, видно главным образом из того, что он сам взялся написать популярную переделку, нечто среднее между комментарием и кратким изложением. Таким образом появилась в 1782 году книга, озаглавленная «Предисловие ко всякой будущей метафизике, которая будет в состоянии выступить как наука».

Появление этого сочинения было вполне своевременным. Оно на первых же порах должно было устранить недоразумения, вызванные непониманием «Критики чистого разума».

Всего нелепее, конечно, то мнение, которое при помощи искусственных натяжек и явных подтасовок пытается превратить систему Канта в род мистической философии. Ничто не было более чуждо натуре Канта, чем всякого рода «таинственность и вдохновенность свыше», одним словом — все, из чего складывается мистическое мирозерцание. В беседе с Яхманном Кант однажды сказал вполне категорически: «В моих сочинениях напрасно ищут каких бы то ни было следов мистицизма. Ни одно мое слово, ни одно выражение не может и не должно быть истолковываемо в мистическом смысле». Но и без этого автобиографического показания смысл учения Канта вполне ясен для всех, кто способен уразуметь его.

В непонимающих никогда не было недостатка. Желая рассеять всякие недоразумения, Кант сел писать свое «Предисловие к метафизике» («Prolegomena»¹⁰). Труд этот был еще не окончен, когда (19 января 1782 года) в «Геттингенских Ученых известиях» появилась первая рецензия о «Критике чистого разума». Рецензия была написана Гарве, философом, впоследствии высоко чтившим Канта и сознавшим крайнюю недостаточность, односторонность и неправильность своей рецензии.

Рецензия, написанная Гарве и переделанная до неузнаваемости редактором Федором, изменила первоначальный план кантовского «Предисловия к метафизике». Кант счел необходимым ответить своим противникам и приписал целую главу, которую назвал «Опыт суждения о критике, забегающей вперед исследования». Здесь Кант уничтожает доводы рецензента, который строит все свои суждения исходя из утверждения, что философия Канта есть «система высшего идеализма». В ответ на упрек в «идеализме» Кант возражает:

«Основное положение всех истинных идеалистов, начиная с элеатской школы и кончая епископом Беркли, сводится к следующей формуле: всякое познание посредством чувств и опыта есть не что иное, как чистая призрачность (Schein), и только в идеях чистого рассудка и разума заключается истина. Основное положение, господствующее всюду в моем идеализме и определяющее его, сводится к следующему: всякое познание вещей только из чистого рассудка или из чистого разума есть не что иное, как чистая призрачность, и только в опыте заключается истина».

Но это положение Канта есть не что иное, как основной принцип философского реализма. Неизбежным следствием его является, как мы увидим впоследствии, признание не зависящего от нашей личности существования внешнего мира, а это признание и отличает реализм от всех идеалистических систем. Но идеалисты, по недоразумению или по непониманию, ухватились за учение Канта об «идеальности» пространства и времени, толкуя это учение совсем не в том смысле, какой ему придан самим Кантом.

«Пространство и время, — пишет Кант в своих «Prolegomena», — включая все, в них содержащееся, суть не вещи и не свойства вещей самих в себе, но принадлежат исключительно явлениям вещей; до этого пункта я одного исповедания с идеалистами. Но эти последние, и в особенности Беркли, считали пространство простым эмпирическим представлением... Я, наоборот, впервые показываю, что

¹⁰ Прологомены, то есть введение, предварительные рассуждения (лат.). — Ред.

пространство со всеми его априорными определениями может быть познаваемо нами потому, что оно (как и время) присуще нам до всякого восприятия и опыта как чистая форма нашей чувственности». «Мой так называемый (собственно критический) идеализм, стало быть, совершенно особого рода, а именно таков, что он ниспровергает обыкновенный идеализм, и в то же время только он придает объективную реальность всякому априорному познанию, даже геометрии. При таком положении дел я желал во избежание недоразумений совсем избежать названия (идеализма), но едва ли это удобно. Поэтому, — заключает Кант, — да будет мне позволено впредь называть мой идеализм формальным или, еще лучше, критическим».

Тут же Кант поясняет, что настоящий идеализм имеет всегда мечтательную цель и не может иметь иной; «мой идеализм, наоборот, служит лишь к тому, чтобы понять возможность априорного познания предметов опыта. Это задача не только неразрешенная, но и не поставленная до сих пор. Решение ее ниспровергает весь мечтательный идеализм, который всегда заключал от наших априорных познаний ко всякому созерцанию, исключая чувственного; никому не приходило на ум, что чувства также должны созерцать априори».

Здесь мы касаемся центрального пункта учения Канта об априорном познании. Весь недостаток кантовской теории, по нашему мнению, заключается не в недостатке реализма, а в том, что Кант берет готовую уже организацию зрелого ума, нисколько не задаваясь вопросом о генезисе душевных свойств. Став на эту точку зрения, конечно, придется допустить вместе с Кантом «априорные» формы чувственности, но эта априорность есть не что иное, как накопленный опыт, частью наш личный, частью унаследованный от предков. Несомненно, что для зрелого ума пространство и время являются, как то и утверждает Кант, априорными формами, другими словами: развитый ум представляет предметы внешнего мира не иначе, как протяженными в трехмерном пространстве и т. д. Но наблюдения над малыми детьми, над людьми, прозревшими после снятия бельма, и т. п., показывают, что перцептивное представление пространства вырабатывается путем опыта. Новорожденный, по-видимому, лишь смутно сознает образы различно освещенных поверхностей, совершенно не умея оценить ни расстояний, ни направлений. Сравнительная психология человека и животных еще более осветила этот вопрос и убедила в том, что все пространственные отношения являются продуктами опыта, находясь в зависимости от нервной и психической организации субъекта. В этом последнем смысле пространство действительно является формой субъекта, формой его чувственности, но Кант не прав, придавая этой форме характер абсолютной трансцендентальности, то есть утверждая, что форма всегда предшествует опыту. Это справедливо лишь в том относительном смысле, что мы рождаемся на свет с готовыми уже душевными предрасположениями, конечно, не с «врожденными идеями», как думали некоторые философы, но с унаследованными душевными свойствами. Для своего обнаружения и развития эти душевные качества нуждаются, однако, в упражнении, в опыте. Опытное происхождение пространственных форм (точно так же, как сознание времени) доказывается многими фактами: например, при значительном изменении условий опыта сознание пространства и времени существенно извращается. Так, под влиянием гашиша, морфия и других наркотических веществ время чрезвычайно удлиняется, малая комната кажется обширным дворцом и т. п. Даже здоровый ум при несколько необычайных условиях дает пространству и времени совершенно иную оценку, чем в обыденных случаях, в чем относительно

пространства убеждается всякий, впервые побывав на Альпах или при плавании на аэростате. Что касается времени, всякий знает, как влияют на сознание времени сильные аффекты, например любовь, нетерпение, страх, отчаяние. Одним словом, немало не отвергая априорности пространства и времени как форм, в которые укладывается весь наш опыт — внешний и внутренний, мы утверждаем только, что этот умственный капитал есть не что иное, как накопленный труд, то есть прошлый опыт, личный или унаследованный.

В «Критике чистого разума» и в своих «Prolegomena» Кант исследовал исключительно одну область разума, которую он называл теоретической. В течение пятилетия с 1785 по 1790 год Кант написал ряд крупных произведений, которые, взятые в совокупности, образуют полную систему чистого разума, или систему критической философии. В «Метафизических основаниях естествознания» Кант указал философские основы механики, физики и других естественных наук; в «Метафизике нравов» и «Критике практического разума» (1788 год) исследованы основные вопросы этики, в «Критике силы суждения» (1790 год) положены основания эстетики и разобраны телеологические* вопросы.

В конце своей философской деятельности Кант обратился к вопросам религии. В 1793 году он издал сочинение, озаглавленное «Религия в границах чистого разума»; последним его трудом был «Спор между факультетами» (1798 год).

В предисловии к этому последнему сочинению сам Кант изложил историю замечательного гонения, возбужденного против него придворными ханжами, во главе которых был новый прусский министр Велльнер.

При Фридрихе Великом никому не пришло бы в голову преследовать Канта. Фридрих Вильгельм II был монарх совсем другого рода, слабохарактерный, способный подчиняться всяким влияниям, особенно дурным. В первые годы своего правления он благоволил к Канту. В 1786 году он прибыл в Кёнигсберг для коронации, и Кант, бывший в то время ректором университета, должен был встретить короля приветственной речью. Король благодарил и в своем ответе упомянул о философских заслугах Канта. Но склонность короля к мистицизму делала из него скорее поклонника Сен-Жермена или Калиостро, чем почитателя Канта. Духовидцы и прорицатели, гадатели и маги были тогда в моде; эта мода вполне соответствовала духу политической и церковной реакции, который стал свирепствовать судвоенной силой, когда во Франции вспыхнула революция, грозившая подорвать монархический принцип во всей Западной Европе. Во всех немецких землях принимались чрезвычайные меры для предохранения добрых немцев от якобинской заразы.

Насколько изменились времена, видно из следующего. В 1781 году Кант посвятил свою «Критику чистого разума» прусскому государственному министру фон Цедлицу, одному из своих ревностных почитателей. Этот Цедлиц доставал тетрадки с записанными лекциями Канта и писал Канту, что, находясь за сотни верст, считает себя в числе его слушателей. Через два года по восшествии на престол Фридриха Вильгельма II министерство Цедлица пало и место Цедлица занял честолюбивый богослов, бывший проповедник Велльнер, обскурант в полном смысле этого слова. Его поддерживали многие придворные, особенно королевский генерал-адъютант, известный ханжа фон Бишофсвердер. Не успел новый министр забрать в руки бразды правления, как начались всякого рода стеснения свободы печати, свободы преподавания, даже свободы проповеди. 9 июля 1788 года, в то время когда Кант работал над своей «Критикой практического разума», Велльнер издал пресловутый религиозный эдикт, в котором всем

учителям и священникам было поведено строго держаться официального катехизиса. Всякое уклонение от буквы правоверного протестантизма влекло за собою потерю должности и другие кары. 19 декабря того же 1788 года была отменена свобода печати. Внутренняя печать была подчинена предварительной цензуре, иностранные книги стали подвергаться строжайшему пересмотру. Это произошло накануне Французской революции. Два года спустя были придуманы еще более суровые меры: учрежден особый комитет из трех советников обер-консistorии, надзиравший за печатью, церковью и школой. Триумвират этот состоял из Гермеса, Вольтерсдорфа и Гилльмера, людей честолюбивых, грубых и невежественных. Им были предоставлены широчайшие полномочия относительно всех церковных и школьных должностей, все кандидаты на учительские и проповеднические кафедры подвергались в этом комитете особому экзамену с целью удостовериться в их совершенной благонадежности. Триумвиры объезжали провинции, указывали метод преподавания и учебники, которые писали сами или поручали писать людям особо благонадежным. Все подозрительные люди получали клички врагов религии, атеистов, якобинцев и демократов; даже слово «просветитель» стало бранной кличкой в устах этих обскурантов. Одним словом, это была своего рода инквизиция.

В то время философия Канта уже получила значительное распространение в Германии; кое-где ее стали преподавать даже скафедр. Рано или поздно реакционное течение должно было столкнуться с разрушительной критикой, посягнувшей на святыни школьной метафизики. Ведь недаром эта метафизика считалась опорой официальной религии. В самом начале царствования Фридриха Вильгельма II один из триумвиров, Вольтерсдорф, подал королю докладную записку, в которой содержалось неслыханное в истории немецкой философии предложение: жалкий невежда требовал, чтобы первому философу Германии было вовсе запрещено писать. Это показалось неуместным даже королю и его главному министру, и в 1788 году был послан в Кёнигсберг на счет короля Кизеветгер с целью ближе ознакомиться с философией Канта. Быть может, прусское правительство при этой миссии руководствовалось задними мыслями, но Кизеветгер возвратился из Кёнигсберга горячим поклонником Канта и дал о его учении самый лестный отзыв. 3 марта 1789 года Кант получил подписанный Велльнером королевский декрет, в котором содержались лестные выражения по адресу философа, его жалование было увеличено, он назван «приятным, бескорыстным, искусным и прямодушным мужем».

Но это милостивое настроение короля и Велльнера было вскоре поколеблено. В Берлине издавался ежемесячный журнал, куда Кант прислал статью «О радикально злом начале в человеческой натуре» (1792 год). Кант в особом письме просил издателя, чтобы тот послал его статью берлинским цензорам, хотя издатель, Бистер, печатавший свой журнал в Йене, имел право обратиться к более снисходительной йенской цензуре. Кант, очевидно, не желал подвести издателя. По его собственным словам, он не хотел подать и вида, что занимается литературной контрабандой, избегая берлинской цензуры и высказывая так называемые смелые мнения из-за угла, а не с открытым забралом. Статья попала в руки одного из триумвиров — Гилльмера. Этот цензор возвратил ее издателю без помарок, но с пояснением: «Разрешается печатать, так как только глубокомысленные ученые читают сочинения Канта». Статья была напечатана.

Вскоре после этого Кант прислал в Берлин вторую статью (о борьбе доброго начала со злым) и предложил издателю проделать и с этой статьей ту же процедуру. Издатель неохотно подчинился, и вскоре после того писал Канту: «Я никогда не мог понять, почему вы, мой уважаемый друг, во что бы то ни стало напирали на здешнюю цензуру. Я повиновался вам и послал рукопись Гилльмеру. К немалому моему изумлению он ответил мне, что так как ваша статья ниспровергает всю библейскую теологию, он, следуя своим инструкциям, перечитал ее сообща со своим коллегой Гермесом, и так как этот последний отказался подписать, то и он присоединился к его мнению». Издатель пытался поладить с Гермесом, но получил ответ, что цензура руководствуется религиозным эдиктом и что рассуждать тут нечего.

Кант был крайне разогорчен и раздосадован этой неудачей. У него были приготовлены еще три статьи. Кант вовсе не желал уступить без сопротивления. Первой его мыслью было послать свои статьи в Гёттинген тамошнему богословскому факультету. Несмотря на дерзость реакции, она не осмеливалась посягнуть на привилегии университетов, сохранивших право печатать без цензуры одобренные ими сочинения. Но вскоре Канта взяло раздумье: случай, происшедший с Фихте, послужил для него предостережением.

Незадолго перед тем в Кёнигсберг прибыл молодой человек, сильно нуждавшийся в средствах, но привлеченный желанием слышать и видеть Канта. Это был прославившийся впоследствии философ Фихте.

Во время пребывания в Лейпциге Фихте впервые предался изучению «Критики чистого разума» и, по его словам, «обрел истинное средство против всех своих страданий».

Еще сильнейшее впечатление произвела на Фихте «Критика практического разума». Фихте говорит: «Невозможно описать то влияние, которое оказала эта философия на все мое мышление... Теперь я верю всей душой в свободу воли, и только при этом условии для меня мыслимы долг, добродетель и нравственность».

Вскоре после этого Фихте отправился в Кёнигсберг. Вместо рекомендательного письма он вручил Канту рукопись своего сочинения «Критика всевозможного откровения». Материальное положение Фихте было отчаянным. «Если я решусь сказать об этом кому-либо, то только самому Канту, — писал он в своем дневнике. — Быть может, у Канта я займу небольшую сумму денег на дорогу. Я отправился сегодня к нему ради этого, но мужество мое пропало. Я решил написать ему». 3 сентября Фихте пишет: «Получил от Канта приглашение на обед. Он принял меня со свойственной ему сердечностью, но сообщил, что для него решительно невозможно удовлетворить мою просьбу ранее истечения второй половины месяца. Какая милая откровенность!»

Но Кант сделал более того, что обещал. Прочитав рукопись Фихте, он пришел в восторг и посоветовал молодому философу послать рукопись книгопродавцу Гартунгу, обещая свою рекомендацию. Рукопись была первоначально послана в Галле и, чтобы избавиться от возни с цензурой, обратились за одобрением к богословскому факультету. Но декан Шульце отказал наотрез. Книга была потом напечатана помимо университета.

Этот эпизод заставил Канта сильно призадуматься относительно своей собственной рукописи. Хотя в Галле были также люди свободомыслящие, как Нимейер и Кнапп, большие почитатели Канта, одного сопротивления Шульце было достаточно, чтобы внушить опасения. Сверх того, Кант не хотел столкновений между факультетами и триумvirатом, не желая жертвовать чужими интересами в интересах своего дела. В конце концов он пришел к тому решению, которое, казалось, должно было раньше всего представиться его уму. Он переговорил со своими кёнигсбергскими коллегами. Богословский факультет университета единогласно высказался в пользу Канта и заявил, что берет на себя ответственность за последствия. После некоторого колебания Кант представил факультету все четыре статьи, дав им общее заглавие «Религия в границах чистого разума»; декан подписал разрешение печатать, и книга была издана книгопродавцом Николавиусом.

В письме к гёттингенскому профессору Штейдлину Кант говорит о цензурном эпизоде, причем иронизирует над цензорами. «Не понимаю, — пишет он, — почему в первой статье не нашли ничего противного библейскому богословию, тогда как вторая показалась опасной». Кант советует своим преследователям опровергать его «доводами разума, а не молниями, сверкающими из туч, поднявшихся в придворной атмосфере». Это он открыто высказывает и в предисловии к самому сочинению, которое по свободомыслию и смелости далеко оставляет за собою сочинения Лессинга и Реймаруса. Это решительное отрицание всей догматической теологии, и притом не в отвлеченной форме (как в «Критике чистого разума»), а в виде популярного, красноречивого трактата. Без сомнения, не столько идея, сколько форма его произведения испугала берлинских церберов.

Кант отлично сознавал, что, издавая свое сочинение наперекор прусскому правительству, он тем самым подвергает себя довольно серьезной опасности. Несмотря на свои весьма преклонные лета, на громкую славу, которою он пользовался, на свое высокое положение в университете, Кант ежеминутно мог ожидать, что ему велят подать в отставку.

Однако у прусского правительства нашлось еще довольно стыда, чтобы не прибегнуть к этой крайней мере. Но и то, что было предпринято против Канта, покрывает правительство Фридриха Вильгельма II вечным позором. Заметив необычайный успех сочинения Канта, вышедшего вскоре вторым изданием, Велльнер прислал Канту королевский кабинетской указ (1704 год), в котором «достойному, высокоученому и преданному» (как он назван в указе) Канту было прочитано отеческое внушение. «С величайшим неудовольствием мы заметили, — сказано в этом указе, — что вы злоупотребляете вашей философией для искажения и унижения многих основных учений Св. Писания и христианской веры. Мы были о вас лучшего мнения; вы сами должны понять, как безответственно действуете вы против вашего долга как учителя юношества и против наших, вам отлично известных, отеческих попечений о стране». Затем была высказана угроза, что если Кант осмелится сделать нечто подобное впредь, он подвергнется «самым неприятным последствиям». Указ подписан так: «По всемилостивейшему специальному приказанию короля. Велльнер».

Канту было в то время семьдесят лет. Возраст и характер в связи с уважением, которое он питал к законам страны, делали его неспособным к дальнейшей открытой борьбе, но он не мог и безусловно подчиниться. Кант избрал средний путь, указанный благоразумием. Он решил подчиниться этому приказу, но не

связывать себя безусловно. Несомненно, однако, что это решение было принято Кантом после внутренней борьбы. В бумагах его найдена записка, в которой выражен результат этой борьбы. «Отречение от своего внутреннего убеждения, — пишет Кант, — есть низость, но молчание в случае, подобном настоящему, есть долг подданного. Все, что говорится, должно быть правдой, но нельзя считать обязанностью говорить каждую истину публично».

В этом смысле он ответил на королевский указ, содержание которого скрыл от всех, исключая одного близкого друга. В своем ответе Кант заявил, что упреки, обращенные к нему, неосновательны, но обещал на будущее время молчать. «Как верноподданный вашего величества, — пишет Кант, — я торжественно заявляю, что впредь совершенно воздержусь от всех публичных лекций о религии». Кант считал, однако, себя связанным этим обещанием лишь по отношению к Фридриху Вильгельму II. Как только король умер и на престол вступил более либеральный Фридрих Вильгельм III, Кант издал «Спор факультетов», в котором, между прочим, изложил весь свой эпизод с Велльнером (1798 год). Названное сочинение было последним произведением Канта. Достигнув семидесятипятилетнего возраста, Кант стал быстро слабеть. Сначала физические, затем и умственные силы все более оставляли его. Еще в 1797 году Кант прекратил чтение всяких лекций; с 1798 года он не принимал более ничьих приглашений и у себя дома принимал лишь самых близких друзей. С 1799 года он вынужден был отказаться даже от прогулок.

Несмотря на все, это Кант все еще пытался работать умственно. Он пробовал написать «Систему чистой философии во всей ее совокупности», но силы Канта были уже исчерпаны. Еще в 1792 году Фихте, благоговевший перед Кантом, нашел его лекции «снотворными». За тридцать лет до этого Гердер писал о пламенном красноречии Канта. В 1798 году Кант в своем «Споре факультетов» писал, между прочим, о возможности побеждать болезни одной силой духа. Но из всех болезней он не предусмотрел одной — старческого бессилия и истощения жизненной энергии. Последняя, оставшаяся неоконченной работа Канта («Система чистой философии») долгое время считалась утерянной. В 1858 году были изданы отрывки; работа эта оказалась лишь слабым повторением прежних мыслей Канта. Яхманн в своей биографии Канта поразительно описывает упадок сил этого великого человека. Это была не болезнь, а маразм (упадок сил) в полном смысле слова. Мускульная сила утрачивалась. Кант всегда был сухощав, — в первые годы нашего столетия он стал походить на скелет, обтянутый кожей. Давление на голову — хроническое страдание Канта — все более чувствовалось. Кант сердился, когда ему говорили, что это прилив крови, и приписывал все электричеству воздуха. Внешние чувства ослабевали; левый глаз давно перестал видеть, теперь и правый стал изменять. Память отказывалась служить: Кант был вынужден записывать всякие мелочи, чтобы не забыть их через какой-нибудь час. Наконец, походка его стала шаткою, он волочил ноги, спотыкался, перестал узнавать знакомых. Когда Яхманн вошел к Канту и растроганный до слез видом угасающего гения бросился на шею Канту, тот с удивленным видом спросил: «Но скажите, кто вы, собственно, такой?» Никакие напоминания не повлияли на него. Самая младшая из сестер Канта и бывший ученик его Васянский приняли на себя попечение о старике. В 1803 году Кант записал на памятной листке библейские слова: «Жизнь человека длится 70 лет, много 80». Ему было в то время 79 лет. В октябре 1803 года с Кантом произошел припадок. С тех пор силы его быстро упали, он не мог более подписывать своего имени, забывал самые обыкновенные слова. 12 февраля 1804 года Кант тихо скончался. Последние слова его были: «Это хорошо».

Вскоре после смерти Канта пришло известие, что он избран членом Парижской академии. Он уже числился членом академий Берлинской, Петербургской и Сиенской.

Прежде чем расстаться с личностью Канта, следует сказать несколько слов о его умственных и нравственных особенностях, собственно, с целью опровергнуть некоторые односторонние мнения о нем. Канта иногда упрекали в сухости сердца, педантизме и резонерстве. Утверждали, будто он был чрезвычайно груб со своим старым слугою, черств по отношению к сестрам, с которыми в течение двадцати пяти лет ни о чем не переписывался и даже едва ли виделся и т. п. Все это не более как намеренное извращение истины. Старый слуга Канта, Лампе, как мы уже раз заметили, иногда выводил философа из терпения; Лампе был груб, капризен, необычайно высокого о себе мнения и ко всему этому нечестен. Тем не менее Кант, рассчитав Лампе, был сильно опечален и даже записал для себя на памятном листке правило: «Не думать более о Лампе», так как эти думы долго не давали ему покоя. Что касается сестер Канта, трудно было бы ожидать обширной корреспонденции между философом и женами простых ремесленников, но утверждение, будто Кант не любил своих родных, конечно, неосновательно. Где мог и как мог, Кант помогал своим родным, хотя собственные заработки его были весьма скромны; за свои капитальные философские труды Кант получал весьма незначительные гонорары. Последние свои работы он сдал молодому книгопродавцу Николавиусу, своему бывшему слушателю. Когда Николавиус открыл книжную торговлю, Кант обещал ему поддержку, и, действительно, никакие соблазнительные предложения более богатых издателей не заставили Канта продать им свои последние рукописи.

По смерти Канта оказалось, что у него осталось деньгами около 20 000 талеров. Состояние это едва ли покажется большим, если принять во внимание чрезвычайно скромный образ жизни Канта, его аккуратность и бережливость. Едва ли необходимо предполагать, как думали иные, что друг Канта, купец Грин, оставил ему наследство.

Об умственных особенностях Канта также нередко приводились довольно легкомысленные мнения. Даже близкий приятель Канта, Яхманн, уверяет, что эстетический вкус и вообще то, что Кант называл силой суждения (Urtheilskraft) было у него развито мало по сравнению с разумом и рассудком. Едва ли это основательно. Более прав Шопенгауэр, который изумляется тому, каким образом Кант, прошедший всю жизнь в Кёнигсберге, не видевший ни картин величайших мастеров, ни лучших архитектурных произведений, не знавший иной природы, кроме полей и лесов в окрестностях Кёнигсберга, тем не менее мог высказать много ценных мыслей об эстетике.

Все признают, что Кант обладал чрезвычайно сильной памятью и редкой способностью представлять себе вещи по одному описанию или с чужих слов. О памяти Канта можно судить по тому, что он знал почти наизусть своих любимых поэтов — Галлера, Попа, Бюргера и Хагедорна. О способностях его «внутреннего созерцания» можно судить по тому, что Кант поразительно умел описывать страны, в которых никогда не бывал. Однажды Кант разговаривал с одним англичанином о Вестминстерском мосте и обнаружил такое знание подробностей, что англичанин считал его архитектором или инженером, долгое время проживавшим в Лондоне. В другой раз Кант говорил об Италии, и собеседник вообразил, что он много путешествовал на юге. Никогда не сделав ни одного химического опыта, Кант знал

все подробности химических манипуляций в таком совершенстве, что раз, беседуя за столом со знаменитым химиком, доктором Хагеном, привел того в совершенное изумление. «Никогда бы я не поверил, — сказал Хаген, — что можно знать так практическую химию, не имев никакой практики».

Но бесспорно, что всего сильнее была развита у Канта способность анализировать и систематизировать понятия. По силе и глубине философского анализа Кант не имеет себе равного между новыми философами; из древних он может соперничать с Аристотелем. По постройительной способности, «архитектонике», Кант не уступает Платону. Многие, как, например, Шопенгауэр, полагают даже, что «архитектоника» Канта, его стремление к симметрии и правильности философских построений и подразделений переходят границы должного: так, у Канта почти всегда находим трихотомию, то есть подразделение на три отдела. В этом упрекали Канта еще его первые рецензенты, но он ответил на упрек указанием на причины, побудившие его принять такие подразделения. Неверно понятое объяснение Канта послужило чуть ли не главным источником для пресловутого диалектического метода Гегеля.

ГЛАВА VIII **Характер и значение философии Канта. — Синтетические априорные суждения. — Априорные формы чувственности: пространство и время. — Различия между трансцендентальным и трансцендентным. — Феномены и нумены. — Антиномия. — Свобода воли. — Нравственность и религия чистого разума**

Пределы нашего труда позволяют нам лишь самый беглый очерк философии Канта. Цель этого очерка, как по преимуществу биографического, состоит не в ознакомлении с учением Канта, а единственно в указании на его историческую роль, его связь с предшествующими и последующими философскими учениями.

Можно без всякого преувеличения сказать, что при составлении своей системы Кант опирался на все предыдущее развитие философии и что, в свою очередь, его система стала исходным началом всех главных позднейших систем; причем, разумеется, не было недостатка в учениях, вконец извративших смысл кантовского критического идеализма.

Что касается связи философии Канта с главными предшествующими системами, достаточно указать на следующие бесспорные положения, принятые всеми историками философии и подтверждаемые прямыми показаниями самого Канта. Несомненно, что в философии Канта соединились начала самых разнообразных философских течений. Так, у Аристотеля Кант заимствовал, преобразовав его, учение о категориях, или основных понятиях рассудка; у Платона и других идеалистов взяты — и опять-таки совершенно переработаны — основные начала теории идей разума. Греческая философия дала Канту его основное различие между явлениями (феноменами) и вещами в себе (нуменами); и снова мы видим, что Кант расширяет эти понятия, придавая им более глубокое значение. Точно так же еще древние не раз задавались вопросом о неразрешенных противоречиях (антиномиях) нашего разума. Одни из древних школ утверждали, например, что

мир конечен; другие, наоборот, доказывали, что он бесконечен; одни признавали, другие отрицали пустоту в природе и т. д. Кант точнее определил эти антиномии, дал подробные доказательства за и против каждого положения, но не с софистической целью запутать ум, а, наоборот, с целью найти источник противоречия. И он действительно удачно разрешил эту задачу. Остается потому изумляться смелости тех критиков Канта, которые до сих пор утверждают, будто сам Кант считал свои антиномии «неразрешимыми» и будто эти антиномии побудили Канта признать — теоретически им отвергнутый — «мистический элемент». На это можно ответить, что когда при жизни Канта явились подобные суждения, Кант, чувствуя себя уже слишком старым для полемики, поручил одному из своих друзей (Яхманну) написать опровержение, а сам написал лишь предисловие, в котором отзывался о всяком мистицизме как о лжефилософии (Afterphilosophie), подобно тому как в своем последнем крупном труде («Религия в пределах чистого разума») написал целую главу о лжеслужении Богу (Afterdienst Gottes), считая добродетельную жизнь настоящим служением.

Выше было уже выяснено влияние, оказанное на Канта его ближайшими предшественниками, с одной стороны, Лейбницем и Вольфом, с другой — Юмом и Руссо. Критика Канта действительно занимает среднее положение между всеобъясняющим рационализмом Лейбница и эмпирическим скептицизмом Юма, между примиряющей, сухой философией Вольфа и страстным протестом Руссо. Учение Канта в крупных чертах распадается на три части: критику теоретического разума, критику практического разума (или учение о нравственности) и критику эстетического суждения. Другими словами, метафизика, понимаемая как отрицание старой метафизики, этика и эстетика — таково содержание философской системы Канта. Теология не является у него отдельной, самостоятельной областью, так как вся основана на морали.

Приведем основные положения «метафизического» учения Канта, воздерживаясь на этот раз от подробных критических замечаний: главное из них, а именно в пользу опытного происхождения и относительного характера априорных форм Канта (пространства и времени), было уже нами сделано¹¹.

В начале своего исследования Кант задается вопросом, возможна ли такая наука, как метафизика, и замечает, что до него этот вопрос почти не был поставлен. Серьезнейшей попыткой постановки более частного вопроса, входящего в этот общий, была скептическая система Юма. Вместо общего вопроса о возможности метафизики Юм задался целью узнать: возможно ли доказать существование необходимой связи между причиной и следствием? Это, конечно, один из капитальнейших философских вопросов, от которого зависит взгляд на то или иное значение всех истин физических наук, не могущих сделать ни шага без понятия о причине явления. Юм, как известно, решил вопрос в скептическом смысле. По какому праву разум мыслит, что нечто, именуемое причиной, обладает такими свойствами, что раз оно дано, этим самым необходимо дается другое, раз дано А (причина), то необходимо дано и Б (следствие)? Почему существование А необходимо влечет за собой существование Б? Юм решил, что тут кроется просто иллюзия, обман воображения. Воображение связывает между собою явления А и Б,

¹¹ При изложении системы Канта мы будем без особых цитат приводить разные выражения из его главных сочинений, а именно из «Критики чистого разума», из «Prolegomena», из «Критики практического разума» и других сочинений 1781—1798 годов, так как, по нашему мнению, все эти труды составляют одно неразрывное целое.

руководствуясь часто повторяющимся опытом; ассоциация (сочетание) представлений, то есть чисто субъективная необходимость, или привычка, ложно принимаемая нами за нечто объективное, находящееся в самой причине и в самом следствии. Другими словами, по мнению Юма, никакой необходимой связи между явлениями нет, и она является лишь иллюзией нашего разума.

«Сознаюсь, — открыто пишет Кант, — что учение Юма прежде всего прервало мою догматическую дремоту и дало совершенно новое направление моим исследованиям... Я был далек от того, чтобы принять выводы Юма, вытекавшие лишь из того, что Юм не представил себе задачи во всей ее совокупности». Вместо того чтобы, подобно Юму, ограничиться изучением идеи причинной связи, Кант поставил гораздо более общий вопрос: каким образом вообще наш рассудок может составлять априорные, то есть предшествующие опыту, суждения? Кант заранее исключал так называемые аналитические суждения, составляющие лишь простое расчленение и объяснение данного понятия, и занялся суждениями синтетическими, то есть такими, которые прибавляют к данному понятию новое содержание. Если я говорю: все тела протяженны, то этим я нимало не расширяю понятия о теле, но лишь объясняю его, так как понятие о протяжении уже входит в понятие тела. Такие объяснительные суждения называются аналитическими, и они, разумеется, не требуют опыта. Было бы нелепо проверять опытом относительно каждого тела свойство протяженности, без которого самое тело немыслимо. Иное дело суждение: «Все тела тяжелы». Тяжесть не есть необходимое свойство тела, вытекающее из самого понятия о теле. Тело не может быть более или менее протяженным, но тела бывают более или менее тяжелыми, и ум легко допускает существование тел совсем не тяжелых, невесомых. Если я говорю: «Некоторые тела тяжелы», то это уже синтетическое суждение, потому что к понятию тела я прибавляю новое содержание, приписывая ему свойство быть тяжелым. Спрашивается, каким образом подобное суждение может быть априорным, то есть предшествовать опыту? Что убеждает меня в том, что все тела в природе необходимо тяжелы? Аналитическое суждение априорно даже в том случае, если составляющие его понятия эмпиричны. Если я говорю:

«Золото — желтый металл», то не требуется никакого поверочного опыта, это есть лишь расчленение понятия о золоте. Все чисто опытные суждения, наоборот, синтетичны, потому что расширяют содержание понятия. Но, спрашивается, следует ли сказать наоборот, что все синтетические суждения опытные, как думает Юм относительно суждений о причинной связи?

По мнению Канта, ничего нет легче, как указать на такие синтетические суждения, которые вполне априорны. Таковы, по его словам, все математические суждения. Возьмем, например, суждение « $7 + 5 = 12$ ». На первый взгляд кажется, что оно имеет аналитический характер, то есть что понятие суммы « $7 + 5$ » уже содержит в себе понятие «12». Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так просто. Сколько бы я ни анализировал понятия семи и пяти, соединенных в одну сумму, я до тех пор не получу понятия двенадцати, пока не прибегну к наглядности или к созерцанию. Я должен, например, взять на помощь свои пальцы или наметить 7 точек и еще 5 точек и, соединив их вместе, сосчитать все подряд. Отсюда следует, что всякое арифметическое сложение есть не анализ слагаемых, а синтез, то есть к понятию о взятых вместе слагаемых прибавляется новое содержание посредством самого акта сложения или заменяющего его действия — построения суммы с помощью пальцев, точек или шаров на счетах. Таким же синтетическим характером отличаются все геометрические и алгебраические суждения, исключая

тождества и аксиомы; да и эти последние не строго аналитичны, но требуют наглядного построения. Мы, например, наглядно убеждаемся в том, что целое больше своей части. Предложение «прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками» — есть синтетическое суждение, потому понятие о прямой, то есть линии с неизменным направлением, вовсе не включает в себя понятия о величине расстояния: это последнее присоединяется лишь путем наглядности, посредством действительного построения прямой линии.

Итак, существование синтетичных и в то же время априорных суждений, по мнению Канта, доказывается уже самим существованием математики как науки, состоящей из суждений априорных и в то же время очевидно расширяющих содержание понятий.

Заметим, что то, что Кант считает в Математике абсолютно априорным, есть не что иное, как накопленный опыт. Личный и унаследованный опыт убеждает нас сотни раз в том, что, например, прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками на плоскости, и вследствие глубокого источника этого опыта результаты его кажутся нам интуитивными (наглядными), то есть представляющимися уму непосредственно, без всякого опыта и без всяких умозаключений. Очевидно, что даже животным со сколько-нибудь сложной организацией важна экономия времени и что они стремятся, например, поймать добычу или убежать от опасного врага, избирая самый краткий путь; таким образом, создается прочная ассоциация представлений о кратчайшем пути и о прямой линии. Точно также образуются и другие основные понятия, из которых исходят арифметика, геометрия и другие отрасли математики. Кант прав, считая математические суждения априорными, но он совсем упускает из виду их первоначальный генезис, а поэтому считает априорность чем-то абсолютным, тогда как на самом деле это понятие в высшей степени относительное. То же следует сказать и о наглядности, на которую ссылается Кант. Наглядность далеко не для всех одинакова. Математику кажутся наглядными такие предложения, которые для школьника требуют доказательств, иногда превышающих его способность понимания. Открытке априорных синтетических суждений Кант считал одной из главных заслуг своей философской критики. Как он сам замечает, школа Лейбница и Вольфа не имела ни малейшего представления о таких суждениях. Вольф и Баумгартен пытались, например, основать закон о «достаточном основании» на законе логического противоречия; но посредством этого последнего могут быть добыты лишь аналитические суждения. Такие суждения, как « $A = A$ » и все подобные тавтологии, служат для связи цепи доказательств, но не могут дать ни единого нового принципа.

Если бы Фихте, Гегель и многие другие «эпигоны» Канта поняли смысл этой стороны учения Канта, они могли бы избавить и себя, и своих сторонников от множества бессодержательных тавтологических или, что еще хуже того, самопротиворечивых формул. Как заметил сам Кант, Локк и его школа были всех ближе к постижению синтетических суждений. Но даже Юм не дал полного решения задачи, а потому он и не мог усомниться в самом существовании априорности и отверг объективный закон причинной связи, заменив его субъективной необходимостью (ассоциацией представлений).

От общего вопроса о возможности априорных суждений Кант переходит к частным вопросам о возможности суждений математических, естественнонаучных и метафизических.

Что математика и естествознание возможны, не требует доказательства, так как эти науки существуют. Но для Канта важно решить вопрос, каким образом они возможны. Это вопросы теории познания — науки, основанной Кантом и получившей значительное развитие со времени возникновения так называемого новокантианства, то есть с 60-х годов нынешнего столетия. Все метафизические системы, а также системы мнимых продолжателей Канта, вроде Гегеля, совершенно игнорировали вопрос о возможности того или другого познания и о том, где источники этой возможности.

Исследуя вопрос о характере математических суждений, Кант говорит следующее. Все математические предложения имеют характер всеобщности и необходимости; стало быть, они не основаны на опыте, который может доставить лишь относительную, а не абсолютную общность и необходимость.

Кант выяснил, что априорный синтез основан на предшествующем опыту созерцания (*Anschauung*¹²). Созерцание есть нечто иное, как наглядное представление, то есть такое, которое получается непосредственно. Является новый вопрос: каким образом возможно «созерцать» что-либо, то есть наглядно себе представить априори, то есть раньше опыта? На первый взгляд это кажется невозможным. На это Кант возражает: «Если бы наше созерцание всегда должно было представлять предметы или вещи таковыми, каковы они сами в себе, то есть независимо от нашей мыслительной способности, то очевидно, что всякое созерцание было бы эмпирическим, так как оно обуславливалось бы необходимым присутствием созерцаемого предмета: свойства этого предмета не могли бы «переселиться» в мою способность представления, и даже если бы предмет мог сообщить мне свои свойства, то все-таки я не мог бы познать его, каков он сам в себе, независимо от меня, как приемника его свойств. Если действительно возможно априорное созерцание, то необходимо допустить, что оно предшествует присутствию всякого созерцаемого предмета. Но если выбросить из созерцания всякие предметы, то что останется? Очевидно, может остаться лишь то, что придает моим представлениям не содержание, а лишь известный порядок, известную форму». Таким образом, Кант приходит к замечательному выводу: априорное созерцание (а вместе с ним и вся математика) возможно лишь таким образом, что оно содержит лишь форму чувственности, находящуюся не в объектах, а в моем субъекте и предшествующую всем действительным впечатлениям. Для математики такими априорными формами чувственного созерцания являются пространство и время. Но раз это только формы, а не объекты, то очевидно, что сами по себе как пространство, так и время лишены содержания. Лишь благодаря опыту они наполняются содержанием; опыт этот дается ощущением (*Empfindung*) посредством наших внешних и внутренних чувств.

Но раз формы чувственности — пространство и время — находятся в субъекте, а содержание дается опытом, посредством ощущений, то отсюда прямо следует, что все наше познание, как априорное, так и эмпирическое, применимо лишь к предметам опыта и ни в каком случае не может быть сверхчувственным, сверхопытным или, по Канту, трансцендентным. Прежде всего очевидно, что мы познаем не вещи в самих себе, а только явления. Действительно, раз содержание наших представлений дается ощущениями, а форма существует в субъекте, то на долю «вещи в себе» не остается ровно ничего, кроме нашей уверенности в ее

¹² Воззрение, взгляд; фил. «созерцание». — Ред.

существовании: форма оказывается чисто субъективной, а содержание — результатом воздействия объекта на субъект; чисто же объективного мы ничего познать не можем, хотя мы уверены в существовании независимых от нас объектов как источников наших ощущений.

Весь так называемый «идеализм» Канта сводится поэтому к признанию субъективных форм, хотя и предшествующих опыту, но помимо опыта лишенных всякого содержания и, стало быть, применимых исключительно к предметам опыта, к явлениям, а не к трансцендентным реальностям. В этом — огромный шаг вперед, сделанный Кантом. Он первый объяснил вполне, почему абсолютное познание невозможно. И до него догадывались об этом, но в прежнее время слишком часто считали человеческое знание подобным сновидению; Кант, наоборот, показал, что относительность знания вполне совместима с его достоверностью, что мы вовсе не возвращаемся в мире смутных призраков и бессвязных сновидений, а просто мыслим сообразно с законами нашей чувственности, нимало нас не обманывающей, но и не сулящей нам мнимого познания. Призраками и сновидениями оказались, наоборот, как раз те абсолюты и трансцендентные реальности, которыми тешились метафизические системы.

Удар, нанесенный Кантом всем догматическим, метафизическим системам, был смертельный. Единственные пути, которые оставались еще открытыми метафизике, состояли либо в произвольной переделке учения Канта, либо в изобретении систем, основанных на непризнании элементарных законов логики и на грубом смешении понятий, разделенных Кантом. Все подобные системы были не развитием учения Канта, а движением вспять.

По нашему мнению, Кант сокрушил догматическую метафизику не только своим учением о непознаваемости «вещей в себе», но и решением своих так называемых антиномий.

Кант не принял учения сенсуалистов о чувственности как общем источнике всякой душевной деятельности. Сенсуалисты, отцом которых (в новейшей философии) считается Локк, сводили всякое мышление к ощущению. Сам Локк, правда, различал ощущение от «размышления», но его взгляды по этому вопросу были несколько сбивчивы. Поэтому Кант противопоставлял сенсуалиста Локка «интеллектуалисту» Лейбницу: последний считал не чувства, а ум основой мыслительных способностей человека. Кант не последовал ни за Лейбницем, ни за Локком. Он считал чувства и ум двумя независимыми источниками мысли: без ума чувства слепы, они дают лишь бессвязный материал; без чувств ум пуст, его понятия лишены содержания. Новейшие успехи психологии показывают, что и в этом случае эмпирики и сенсуалисты были правы, если речь идет о происхождении сложных душевных способностей, которые возникают из простейших чувствований; но Кант прав относительно развитого организма, в котором есть, несомненно, известное подразделение функций, соответствующее дифференцированию нервной системы на центральный и периферический аппарат. Едва ли поэтому можно сомневаться в том, что в психологии необходимо отличать ум от чувств. Не довольствуясь этим, Кант разделяет умственную деятельность на рассудок, силу суждения (Urtheilskraft) и разум — разделение сложное и искусственное.

В противоположность пассивной восприимчивости чувств рассудок есть, по Канту, активная способность, связывающая понятия и образующая правила. Тем не менее

«все суждения и правила рассудка могут иметь исключительно опытное применение, то есть относятся исключительно к явлениям, а не к вещам в себе». Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить, что раз понятие не относится ни к какому предмету возможного опыта, оно бессодержательно и является чисто логической функцией, которая ни на шаг не расширяет области нашего познания. Таково, например, понятие о «случайности», если под нею подразумевать «беспричинность». Анализируя это понятие, легко убедиться, что у нас нет никакого критерия для суждения об отсутствии причин явления, а поэтому сказать, что явление «случайно», — значит просто заявить, что мы не успели изучить его причины, но вовсе не значит доказать, что никаких причин на самом деле нет.

Под разумом Кант подразумевает способность составлять принципы и образовывать идеи. Принципы образуются из объединения правил, идеи — из обобщения понятий. Рассудок доставляет нам знание, разум — понимание. Разум работает не над данными опыта, а над понятиями. В этом смысле он превосходит возможный опыт и доставляет идеи — понятия, стоящие выше опыта. Не следует, однако, думать, что разум может освободить нас от условий чувственности и опыта настолько, чтобы с помощью его мы могли познать «вещи в себе». Представим себе умозаключение от чего-либо известного к другому, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, но чему мы, поддаваясь иллюзии, приписываем объективную реальность. Полученный вывод будет обманом разума или, как выражается Кант, разумничаньем. Кант различает три рода «разумничанья» — паралогизмы, антиномии и теоретические идеалы. Остановимся на самом характерном из них — антиномиях. Антиномия есть противоположение двух утверждений, из которых каждое, по-видимому, может быть одинаково убедительно доказано. Примером может служить начавшийся еще в древности спор о величине и продолжительности существования мира. Кант ставит «тезис»: мир имеет начало во времени и в пространстве, и «антитезис»: мир безграничен и бесконечен в пространстве и во времени, и показывает, что каждое из этих предложений имеет за себя доводы, по-видимому, весьма сильные. Спрашивается, где же истина? Кант разрешает этот вопрос следующим образом.

Противоречия, говорит он, бывают двоякого рода: аналитические (логические) и диалектические. Из логически противоречащих друг другу суждений одно должно быть ложным. Если я говорю: люди смертны, а кто-либо утверждает, что люди бессмертны, то очевидно, что я прав, если только смерть подразумевать в общепринятом смысле этого слова. Иное дело, если я скажу: «Всякое тело пахнет либо хорошо, либо плохо», может случиться, что для данного тела оба эти утверждения ложны, а именно, что тело вовсе не имеет запаха. Такого рода все диалектические противоречия. Если я утверждаю: мир в пространстве бесконечен, а мне говорят, что мир конечен, то мы оба говорим о мире явлений, потому что пространство есть субъективная форма (форма чувственности). Но при этом я, в сущности, утверждаю лишь одно, а именно, что пространство бесконечно, и этим вовсе не доказываю, что эта сама по себе пустая форма наполнена каким-либо содержанием. Мой противник, утверждающий, что мир конечен, не может доказать конечности пространства, но его утверждение, что мир явлений имеет пределы в пространстве, также произвольно, потому что ни он, ни я не знаем этих пределов. На самом деле при всех подобных утверждениях обе стороны воображают, что имеют дело не с миром явлений, а с миром, как вещью в себе, не зависимым от нашего способа познания. Если отбросить эту иллюзию, то окажется, что мир есть не что иное, как эмпирическое восхождение нашей мысли в ряду явлений. Очевидно, что мир — величина вполне неопределенная — никогда не может быть

нам дан в целости, а поэтому одинаково нелепо утверждать, что «мир как целое» конечен или бесконечен. Мир сам в себе нам вовсе неизвестен, а мир как ряд явлений — есть величина неопределенная, постоянно колеблющаяся в зависимости от суммы опыта, стало быть, не конечная, но не бесконечная, ибо никакого мерила «величины мира» у нас не существует.

Но точно так же разрешается и знаменитая антиномия, противопоставляющая между собою идеи необходимости и свободы. Существует ли свобода воли, свобода человеческих действий, или же человек, подобно камню, подчиняется лишь закону необходимости? Кант отвечает на это: свобода вовсе не противоречит необходимости: человек в одно и то же время и свободен, и подчинен естественным законам. В мире явлений все подчинено закону причинной связи. Но понятие свободы не относится к явлению. Свобода есть способность самостоятельного начинания, то есть не требует никакой другой причины, кроме себя самой: очевидно, что свобода относится не к явлению, а к «вещи самой в себе». Поэтому без всякого противоречия можно признать, что одна и та же вещь сразу и свободна (как вещь в себе), и не свободна (как явление). Разумное существо, действующее по законам разума, то есть на основании присущих ему идей, свободно, но в то же время оно подчинено и естественным законам, например падает при извест-163

ном положении центра тяжести, подобно всякому неустойчивому телу. Весь спор о свободе воли основан на недоразумениях, на смешении явления с «вещью в себе». Действия свободны единственно по отношению к разумному субъекту, сознающему свою способность действовать по основаниям разума; они необходимы по отношению к внешним причинам явления. Если бы можно было научно изучить все причины, побуждающие меня действовать так, а не иначе, то и это не превратит меня в бессознательного автомата, не лишит меня сознания моей свободы как разумного существа.

На это можно было бы возразить Канту, что о «вещах в самих себе» мы не имеем никакого познания, исключая того, что они существуют, то есть служат подкладкой явлений; откуда же мы можем знать, что какая-либо «вещь в себе» определяется законом свободы? Кант предвидел это возражение. Он утверждает, что хотя мы и не знаем вообще о «вещах в себе», каковы их свойства, но одно их свойство нам известно, а именно мы знаем, что постигаются они умом, а не чувствами; поэтому и характер у них должен быть «умопостигаемые», а не чувственный, следовательно, к ним «неприложимо отвлеченное от чувственных предметов понятие естественного закона, или необходимости». Понятие о необходимой причинной связи всегда включает в себе понятие времени (действие всегда следует за причиной, а не предшествует ей). Но время, как уже показал Кант, присуще не «вещам в себе», а явлениям, потому что оно есть лишь форма нашей чувственности, которая наполняется содержанием, взятым исключительно из мира явлений. Из этого уже ясно, что в мире «вещей в себе» о времени не может быть речи, стало быть, нет и следования событий, но есть лишь безусловное самоопределение, то есть полная независимость от всего предшествующего, а это и есть понятие свободы. Одним словом, понятие причины обязательно включает понятие времени, а где нет времени (в мире нуменов), там не может быть и речи о причинной связи.

Результатом всей критики теоретического разума является поэтому следующее положение: «Разум при посредстве всех своих априорных принципов не может нам дать ничего сверх того, что доставляют нам предметы возможного опыта», но это

ограничение нашей познавательной способности тем самым признает существование объективной границы опыта, не подлежащей законам чувственного мира, в том числе и закону необходимости. «Трансцендентальные идеи, — говорит Кант, — хотя и не научают нас ничему положительному, однако уничтожают дерзкие и суживающие умственное поле утверждения материализма, натурализма и фатализма и тем самым дают простор моральным идеям за пределами умозрения».

Таким образом, Кант, нисколько не отвергая детерминизма в мире явлений, отбрасывает его в мире нуменов и тем подготавливает почву для своего нравственного учения, сразу устраняя возражения относительно несовместимости законов природы с законами нравственности. Таким путем мы наконец проникаем в область практического разума.

Переход от теории к практике происходит в философии Канта самым естественным путем, исходя из того же закона причинности.

Кант задается вопросом, почему, применяя такие понятия, каково, например, понятие причины, ум наш не довольствуется предметами опыта, но стремится проникнуть и дальше, в область нуменов? Ближайшее рассмотрение показывает, что не теоретические, а практические цели необходимым образом побуждают нас к этому. В области умозрительной (теоретической) мы убеждаемся, что бездна между чувственно-обусловленным и сверхчувственным совершенно незаполнима. Иное дело область практики, область нашей деятельности, проистекающей от нашей воли. Воля в самом своем понятии скрывает уже понятие причинности, но совсем иного рода, чем причинность по естественным законам: причинность воли соединена со свободой, то есть с сознанием, что она определяется непосредственно нравственным законом. Кант придает особенное значение тому обстоятельству, что нравственное значение поступка зависит именно от непосредственного воздействия разума (дающего закон) на волю. Этим теория Канта существенно отличается от большей части этических систем. «Если определение воли, — говорит Кант, — совершается даже сообразно с нравственным законом, но не непосредственно, а лишь через посредство чувства, каково бы оно ни было, то поступок будет легальным (то есть сообразным с нравственным законом), но не моральным».

Чтобы понять это, представим себе, что кто-либо совершает поступок, имеющий внешний вид нравственности, ради страха или из честолюбия. Такой поступок, очевидно, нельзя еще назвать нравственным. Но Кант идет еще дальше. По его мнению, если руководившее нами чувство было даже, как говорят, хорошим (например, симпатия), и мы подчинили нашу волю не нравственному закону, а велению этого чувства, то наш поступок еще не может считаться моральным. Если я делаю добро только потому, что мне это доставляет удовольствие, мой поступок также еще не может считаться нравственным. Эта сторона учения Канта вызвала сильный отпор и даже насмешки. Многие утверждали, будто Кант требовал, чтобы всякий нравственный поступок совершался не с удовольствием, а с отвращением. Даже поэт Шиллер, один из самых пламенных почитателей Канта, полагал, что Кант оставил слишком мало на долю чувства и что его требования чересчур суровы.

Кант возразил на это следующим образом: «Я действительно признаю, что в понятии нравственного долга, именно ради его достоинства, не может быть

привлекательности. Величие закона внушает почтение, чуждое и отталкивающеего страха, и интимной привлекательности. Но добродетель, то есть прочное настроение, побуждающее к точному исполнению долга, в своих последствиях благодетельна более, нежели природа и искусство; и прекрасное зрелище человечества в этом образе добродетели, конечно, допускает присутствие граций, которые, однако, держатся в почтительном отдалении, пока речь идет единственно о долге». «Но если спросить, каков эстетический характер и каков темперамент добродетели — бодрый, стало быть, веселый, или же тревожно-униженный и забитый, — то едва ли это требует ответа. Это последнее рабское настроение духа не может появиться без скрытой ненависти к нравственному закону, и радостное сердце, следующее своему долгу, есть признак подлинности добродетельного настроения».

Кант не только учил, но и жил таким образом, как описано в этих красноречивых словах. Мрачный аскетизм и преувеличенная суровость были совершенно чужды его натуре и его учению.

О Канте, как и о Сократе, можно сказать, что он был не только философ в обыкновенном смысле этого слова, но мудрец, живший в мире и для мира. Он сам определил всю свою деятельность, сказав, что две вещи в мире наполняют его священным трепетом: созерцание звездного неба и сознание нравственного долга. В своей «Естественной истории неба» он положил начало самым широким обобщениям относительно мира явлений; в своем сочинении о религии Кант провозгласил принцип: нравственная жизнь, и только она одна, есть истинное служение божеству. «Все, исключая добродетельной жизни, что человек думает сделать, чтобы угодить Богу, есть просто суеверие и лжеслужение (Afterdienst) божеству». Если о каком-либо философе можно сказать, что для него религия была моралью, и, наоборот, мораль — религией, то таким философом был, конечно, Кант. Он имел полное право сказать, что его учение есть религия чистого разума.

ГЕГЕЛЬ

ЕГО ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Е. Соловьева 1891

Если мы, русские люди, хотим ознакомиться с умственной жизнью нашего общества 30-х, 40-х и отчасти 50-х годов, нам нельзя миновать философской системы Гегеля или, по меньшей мере, обстоятельного очерка о ней. Были дни, когда диалектические тонкости и хитросплетения берлинского мудреца безраздельно царствовали над лучшими умами в России, и эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся светлым воспоминанием для русской интеллигенции. Тогда многие честные люди смотрели на знакомство с философией Гегеля как на нравственное обязательство и даже принуждали себя к нему. К таким принадлежал, например, Станкевич. Мы знаем, что целый период умственного развития Белинского совершался под знаменем гегелизма. Правда, Белинский быстро отделался от очарования, производимого «Егор Федоровичем» Гегелем, но ведь Белинский, по своей оригинальности, — натура слишком уже исключительная. Упомянем еще имена Грановского, Тургенева и других, и мы увидим, что философская система Гегеля, несмотря на всю свою несомненную туманность, была как бы откровением для русской интеллигенции. Ей мы обязаны появлением двух наиболее плодотворных течений нашей мысли: западничества и славянофильства. Ей когда-то мы верили с тем самоотвержением, тою горячностью, которые характеризуют несамостоятельную еще мысль, судорожно хватающуюся за иллюзию, способную, по-видимому, осветить весь жизненный путь до последнего верстового столба укладбища и даже за ним. На ней выросло поколение сороковых годов, поколение самое богатое и мощное, и, за исключением позитивизма, своим формальным развитием русская мысль наиболее обязана Гегелю.

Быть может, кто-нибудь читавший или только пытавшийся читать Гегеля найдет в этом факте немало поразительного. Мы так далеко ушли от Гегеля и от его способа мышления, так привыкли к другим способам рассуждения, что Гегель уже не может соблазнить нас, несмотря на все свое остроумие, а чтение его книг вызывает в нас совершенно основательную скуку и недоумение.

Но тогда было другое время.

Русские люди не открыли Гегеля, а только подражали Западу в восторгах перед всеобъемлющей системой берлинского мудреца. Если теперь мы признаем только известного рода пользу за этими горами акробатической диалектики, то в 20-х и 30-х годах увлечение философской системой Гегеля представляется в следующем виде: «Несомненно, — говорит Гайм (1857 год), — что еще многим из живущих памятно то время, когда все знания питались от роскошно убранного стола гегелевской мудрости, когда все факультеты толпились в прихожей философского факультета с целью хоть что-нибудь усвоить себе из возвышенного рассмотрения абсолютного существа и из неуловимой гибкости прославленной гегелевской диалектики, когда всякий был или правоверным последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым человеком, презренным эмпириком; наконец, когда само государство считало себя безопасным и прочным от того, что старик Гегель построил его на началах разумности и необходимости, и потому на искавшего

духовной должности или звания наставника, ежели он не был гегелистом, смотрели как на преступника, Эти-то времена надо возобновить в своей памяти, чтобы понять вполне, в чем заключается настоящая сила и важность значения какой-нибудь философской системы. Необходимо со всей живостью представить себе восторженность и самоуверенность гегелианцев 30-х годов, которые с глубокой серьезностью предлагали вопрос: "Что будет составлять дальнейшее содержание всемирной истории после того, как мировой дух достиг в Гегелевой философии своей последней цели — знания самого себя?"»

Итак, с точки зрения современников, Гегель понял и объяснил все; если теперь его система рухнула, если теперь чистые гегелианцы исчезли с лица земли, как какая-нибудь вымершая порода людей, то десятилетие 1825—1835 по справедливости может называться эпохой гегелизма, и не только для одной Германии.

И это несмотря на всю трудность, подчас непреодолимую, гегелевской диалектики, несмотря на полную произвольность основных положений системы, несмотря на яркую, иногда грубую догматичность, так глубоко противоречащую духу новой и новейшей Европы? Да, несмотря.

Остановимся на минуту на форме произведений Гегеля, этой «колючей скорлупе, под которой скрывается миражеобразная истина», чтобы оценить вполне самоотвержение бесчисленных учеников, проникавших, более того, считавших нравственной своей обязанностью проникнуть в сущность учения великого мудреца. Вот что говорит об этой форме Гайм, лучший (пока) толкователь и критик философской системы Гегеля: «Гегель никогда не был мастером ни в изустной речи, ни в письме. Гёте находил в нем недостаток легкости в изображениях, В. Гумбольдт предполагал в нем неразвитость способности владеть языком. Это можно заметить даже в ту эпоху, когда он вполне сознавал задачу созданной им системы. До этого целые годы он горячо борется с первыми рождающимися образами мысли. Чему же удивляться, если при его способе представления трудность понимать его доходит до крайних пределов?... Самый непроницаемый и, можно сказать, необъятный материал представляет его философия природы; в ней лежат дикие, неразработанные массы действительности — рядом с другими элементами, которые логической силой нашего философа совершенно лишены плоти и крови. Даже самое острое зрение едва ли в состоянии заметить хоть одну живую пылинку в этих пространствах чистой мысли, и в свою очередь едва ли чья-нибудь мысль в силах проложить себе путь сквозь разноцветные, густо один на один наложенные образы. Здесь язык математики смешивается с языком логики и сменяется величественными поэтическими выражениями. Блестящей пестротой пронизаны картины и обрамлены нагими линиями построения. Никогда, быть может, ни до, ни после Гегеля, ни один человек не писал таким языком. Иногда его изложение темнее изложения Якова Бёма и отвлеченнее Аристотелева; такова твердая и колючая скорлупа, из которой нам предстоит вынуть в чистом виде зерно мирозерцания Гегеля».

Конечно, не одно любопытство, не одна жажда познания заставляла десятки и сотни людей колоть себе руки об эту колючку. Тут был фанатизм, напоминавший принцип полумифической школы пифагорейцев, самоотверженно умолкших при знаменитом «magister dixit» («так сказал учитель» и, следовательно, сомнения и споры неуместны), — фанатизм, заставлявший умнейших людей отдавать все свои способности, свое время, свои таланты, свою жизнь, наконец, на понимание и рабское усвоение чужого, в лучшем случае на истолкование его. Тут действовала

не простая любознательность, а слепое увлечение, заставлявшее видеть в философии Гегеля уже не философскую, а религиозную систему. И для многих, действительно, она была религией, дававшей ответы на все вопросы бытия. По Мишле: «Гегель начертал программу, которую человечеству остается только исполнять». Для Розенкранца философия Гегеля представляла из себя последнее слово протестантизма. Один из серьезнейших русских писателей, вполне самостоятельно относясь к Гегелю, настойчиво отмечает в его философии именно этот религиозный характер. Он говорит: «Гегелизм был не только научной системой; гегельянцы были не только философской школой; точка зрения безусловного была не только метафизическим началом, — гегелизм был учение религиозное, гегелианцы были сектаторы, безусловное было догмат».

Что же касается русских людей, увлекавшихся гегелизмом, то, конечно, религией он для них никогда не был и религиозного фанатизма не возбуждал. Но они, эти русские люди, изучая систему берлинского мудреца, впервые знакомились с совершенно стройным философским мирозерцанием, являвшимся, так сказать, последним словом европейской культуры того времени. В этой целостности, всеобъемлемости гегелевской системы и заключалась главным образом ее привлекательность. Ибо, как говорит В. С. Соловьев, «философия Гегеля — абсолютно совершенная в себе замкнутая система; зная ее, можно понять общий смысл всего того умственного развития, которое в ней нашло свое завершение и самоопределение». В Россию она упала как бы с неба. Понять ее историческое значение как реакцию против рассудочного мышления и отвлеченного анализа, всегда преобладавшего на Западе, а следовательно, и ее крайнюю односторонность русские люди сразу не могли, но несомненно, что, благодаря своей стройности, наукообразности и всеобъемлемости, она помогла им выйти из детски отрывочного мирозерцания, переполненного всяческим традиционным хламом, а ее изучение заставило пересмотреть все свои взгляды. Но гегелианство в России на этот раз для нас вопрос посторонний. Наша задача скромнее: мы хотим познакомить читателя только с личностью берлинского философа и общим духом его учения.

Чтобы ответить на него, обратимся к биографии Гегеля и характеристике его эпохи, памятуя его же слова: «Всякое создание духа есть произведение своего времени, всякий отдельный человек — дитя своей эпохи».

ГЛАВА I Детство и отрочество

Георг Вильгельм Фридрих Гегель по происхождению шваб. Его род перенесен в XVI веке из Каринтин в Швабию одним из предков, Иоганном Гегелем, искавшим здесь спасения от преследования католика эрцгерцога Карла. Наш философ родился 27 августа 1770 года в Штутгарте (Вюртемберг), где отец его служил сперва секретарем счетной палаты, а потом советником экспедиции.

Было бы очень приятно получить какие-нибудь обстоятельные сведения о семействе Гегеля, но, обращаясь за ними к его почтительному биографу Розенкранцу и к его собственным письмам, мы в них ничего или почти ничего не находим. Есть, впрочем, одна строчка в этих письмах, относящаяся к 1825 году,

где Гегель говорит: «Сегодня годовщина смерти моей матери, о которой я никогда не забываю». Об этой матери, умершей еще в молодые годы, мы знаем, кроме того, что она «сама обучала маленького Гегеля склонениям и спряжениям» и отличалась как строгостью нравов, так и удивительной домовитостью.

Отец Гегеля, сначала секретарь счетной палаты, дотом советник экспедиции, также, по словам биографов, «отличался строгостью нрава и удивительной аккуратностью», но в чем именно заключалась «строгость его нрава» для нас остается неизвестным. Надо, однако, думать, что в ней не было ничего поразительного и что под «строгостью нрава» в данном случае следует подразумевать неукоснительно аккуратное посещение счетной вюртембергской палаты, не менее аккуратное возвращение домой в назначенный час, затем... Но приводим описание чиновничьего быта в данное время: «Попасть в дом к порядочному семейному чиновнику так же трудно, если не труднее еще, чем взять приступом первоклассную крепость. Сам *pater familias*¹³, вернувшись со службы и плотно пообедав, ложится отдохнуть, после чего привычной стопой отправляется в приличную близлежащую *Bier-Halle*¹⁴, где упорно молчит два часа, и возвращается назад к своим пенатам очень довольный, что на сей раз никто не потревожил его разговорами о политике. Что он делает потом? Неизвестно, и только самое смелое воображение решается высказать гипотезу: "Ничего..." *Gnadige Frau*¹⁵, почтенная мать семейства, в среднем кругу общества непременно религиозна, непременно домовита и хлопочет сутра до вечера, так как держать прислугу принято только у богатых людей. Она хозяйка и любящая женщина, с добрыми голубыми глазами, с вечной мыслью об оторванной пуговице, о табачном пятне на одежде супруга, о предстоящей стряпне. Она родит очень аккуратно и обыкновенно безболезненно; сама обучает своих детей чистоплотности и вере в Бога, никогда не говорит со своим супругом об общественной деятельности и не знает даже, что тот берет взятки».

Кроме отца и матери, у Гегеля была еще сестра, оставшаяся девой до конца дней своих и с первой же страницы биографии исчезнувшая от наблюдательного взора Розенкранца, и два брата, из которых младший погиб в юных летах — от пули или штыка — хорошо неизвестно.

В этом семействе прошло раннее детство Гегеля. Его окружала умеренность, аккуратность, чистоплотность и материальный достаток, по-видимому, из самых средних. Все эти похвальные качества и принадлежности семейной жизни он впитал в себя и впоследствии, женившись, создал себе буквально ту же обстановку. Его жена «отличалась домовитостью и строгостью нравов и обходилась также без прислуги, разве в случае беременности»; двое чисто одетых детей и сам неукоснительно аккуратный Гегель! до мельчайших подробностей могли напомнить жизнь секретаря вюртембергской счетной палаты.

Первые годы детства нашего философа мы оставим в стороне, по той основательной причине, что говорить о них решительно нечего. «*Er war Kind mit Kindern und Knabe mit Knaben*»¹⁶, — утверждает Розенкранц, и мы охотно верим этому, так как никто ведь не ожидает узнать будущего угрюмого и ворчливого

¹³ Отец семейства (лат.). — Ред.

¹⁴ Пивную (нем.). — Ред.

¹⁵ Сударыня, милостивая государыня (нем.). — Ред.

¹⁶ «Он был ребенком с детьми и подростком с подростками» (нем.). — Ред.

профессора, поражавшего с высоты философской кафедры «горячих мальчишек, верующих в свое чувство» (то есть германскую молодежь), в красном ребенке, спокойно лежащем в своей немецко-аккуратной кровати. Отметим только болезнь глаз, от которой Гегель едва не ослеп, и факт, сообщаемый почтительным Розенкранцем исключительно уже в видах полноты и обстоятельности: «Гегель очень любил прыгать, но танцевать научиться не мог».

Вот и все, что мы знаем о семействе нашего философа, о первых годах его, вероятно, счастливого детства: хворал, прыгал, обучался склонениям и спряжениям. Больших личных подробностей у нас нет, но есть некоторые немаловажные сведения о состоянии общественного духа того времени. Скажут, однако: «Гегель был слишком мал, чтобы общество в этот период его жизни могло влиять на него». Так-то оно так, но не совсем. В сущности, влияние общества на человека начинается с первой минуты появления последнего на свет Божий и выражается во всем складе домашней обстановки, в способах наказания, в бесчисленных нотациях и нравоучениях, читаемых маленькому шалуноу. Сын рыцаря видел себя окруженным доспехами и всякими воинственными принадлежностями, привыкал скакать верхом на сабле, а не на тросточке, слышал воодушевленные рассказы о балах, подвигах, разбойничьих и иных набегах и сообразно с этим проникался. Сын скромного и неукоснительно аккуратного чиновника был окружен атмосферой благочиния, скопидомства и педантической умеренности, и также проникался. Общественный дух влияет в тысяче иногда неуловимых подробностей, поэтому нелишне всегда иметь его в виду.

Прежде всего мы имеем тот несомненный факт, что Гегель родился в один из самых тяжелых для своего отечества периодов. Совершенно спертая общественная жизнь, полное отсутствие каких бы ни было признаков общественной инициативы и самостоятельности удаляли все хоть несколько требовательные и мыслящие умы от реальных задач и реальных вопросов жизни. Этих вопросов избегали всяческими способами; когда же они слишком уже настойчиво требовали разрешения, на них давались ответы, способные заглушить в человеке какое бы то ни было, хоть самое крохотное стремление к активной роли здесь на земле. Отметим тот не лишенный интереса и поучительности факт, что по мере усиления внешнего гнета и самого грубого произвола все более распространялся пиетизм, а затем, как производное явление, наклонность ко всякого рода чертовщине, таинственности и бессодержательной схоластике. Словом — движение, начавшееся еще после Вестфальского мира (1648 год), достигало, по-видимому, благополучного завершения. «После этого унижительного события, — говорит Шерр, — Германия вполне предалась внутренней духовной жизни. Благородные, но слабые умы различными мечтаниями заменяли для себя утраченную народную честь и политическое значение. Эта внутренняя духовная деятельность, не находя себе никакого разумного применения на поприще общественной жизни, обратилась или на служение чувственности, или на созерцательно-химическое времяпрепровождение. Здесь немецкий дух находил все свое утешение от внешних зол». В этом направлении родина Гегеля шла в первых рядах многочисленной армии германских государств. Мы увидим сейчас, какого распространения добился в ней пиетизм, до каких нелепостей дошло искание чудесного и таинственного.

Пиетизм — религия сердца — имел, конечно, свою хорошую и симпатичную сторону. Из уроков своей матери-пиетистки Кант вынес ту нравственную твердость, ту непоколебимую веру в правду человеческой совести и необходимость нравственного обязательства в жизни, которые составляют основу его критики практического разума. Человек должен стремиться не к счастью, а к тому, чтобы

быть достойным счастья, говорили пиетисты, нисколько, конечно, не затрудняясь придать своему учению религиозную санкцию. Их мораль, строгая и совершенная в себе самой, благотворно отражалась на чистоте семейной жизни, на святости домашнего очага, но каков был тот практический земной идеал, к которому стремились пиетисты? Это был идеал кротости, смирения, воздержания, строгости, умеренности и пр. без малейшей примеси какого бы то ни было общественного элемента, идеал самоусовершенствования, погружения в нирвану своего оторванного от общества и его задач «я». В религиозном отношении пиетизм был очищенным от государственного элемента протестантизмом. В этой-то религии, в этой нравственности люди находили то спокойное упражнение своих сил и своих добродетелей, которое помогало им коротать жизнь здесь, на земле, и умирать, не сделав ничего. В пиетизме надо отметить еще его созерцательный характер, его созерцательное настроение, окончательно удалявшее человека от жизни, — и, что удивительного, когда мы читаем, что во время тяжелого господства Гренвиц — куртизанки, игравшей в Вюртемберге роль абсолютного монарха — «пиетизм сделал значительные успехи». Рядом с ним и от тех же условий пышным цветом распускалось схоластическое богословие.

Своим созерцательным элементом, своей преданностью вере и вере, пиетизм подавал руку всем необузданно мистическим учениям, всему таинственному, сверхъестественному в жизни. В человеке появилась какая-то особенная потребность чувствовать свою близость к другому миру, раз земной мир был так скверен. Подобный спрос находил большое предложение. Месмер в это время толкует о своей таинственной жидкости, которая, как начало всепроникающее, являлась «душой мира»; Гаснер производит свои опыты чудотворного лечения; Шпренфер вызывает духов, конечно, нечистых; Сен-Жермен старается возбудить замолкшую страсть к алхимии; Казанова возвращает молодость и устраивает дело так, что молодые женщины беременеют от «лунных лучей». Его сиятельство — граф, князь, принц — все, что угодно, Калиостро гремит по всей Европе и преимущественно в Германии. Тут же масоны учреждают свои таинственные ложи. Словом, «уйти от действительности в область созерцания» — этим принципом была проникнута общественная атмосфера. Прибавьте к этому педантизм, умеренность и самодовольство чиновничьей обстановки, и вы получите ясное в большей или меньшей степени представление о тех «внушениях», которые получал Гегель в детстве. И, кстати сказать, к такого рода внушениям он остался особенно чувствительным в продолжение всей своей жизни. Его постоянно тянуло в сторону догматизма и веры; вся его система выросла на почве полного разлада идеала и действительности. Пусть читатель прочтет ниже биографии Гёльдерлина и Шеллинга, а также характеристику романтиков: он поймет эту почву, поймет все ужасы этого разлада и страстную потребность выйти из нее куда-нибудь.

От десяти до семнадцати лет Гегель пробыл в школе. Уже здесь он является перед нами «маленьким стариком», как его прозвали товарищи, с склонностью всестороннего обсуждения, слишком большим педантом для окружающих его шалунов. Он сходитя с ними очень мало, предпочитает одиночество и с удивительной пластичностью натуры извлекает из неприглядного окружающего возможную пользу для своего развития. Когда другие стонут от грамматики, грамматики и еще раз грамматики или, отложив всякое попечение об интересах своей личности, предаются механическому зубрению, Гегель самостоятельно увлекается классиками и тут же, в школе, кладет начало выработке одной из самых существенных сторон своей системы — эллинизму.

От пятнадцатилетнего Гегеля у нас сохранился его дневник, о котором ниже. Пока же вот небольшой, быть может, даже апокрифический анекдот, бросать который мы не хотим ввиду некоторых его подробностей. Анекдот гласит следующее: «Один маленький шалун, пробегая мимо Гегеля, ударил его очень больно, но решительно без всякого основания и побежал дальше в поисках за подобными же подвигами и новым проявлением активности. Гегель, сам маленький, поймал за руку маленького шалуна и серьезно спросил его: "Почему вы меня ударили?" — "Так", — отвечал тот, совершенно сбитый с толку подобным философическим отношением к делу. "Я хочу, чтобы вы мне объяснили", — продолжал Гегель. Мальчик объяснил, что ему было скучно и что под руку никто в данную минуту, кроме Гегеля, не подвернулся. "А разве, ударивши, веселее?" — настаивал Гегель. Шалун расхохотался, еще раз наскоро толкнул маленького философа и исчез в длинном коридоре», — для нас, навсегда.

Гегель очутился в школе — сначала в «латинской», потом штутгартской гимназии. Вот что рассказывает Фридрих Лукгард (родился в 1758 году) о своем первоначальном обучении: «Катехизис был оракулом религии для католической молодежи. Латинский язык изучал я по учебнику Альвари и по искаженным отрывкам древних авторов. История преподавалась по учебнику, где на одной стороне на дурном латинском, а на другой на страшном немецком языке рассказывались факты с иезуитской точки зрения, с примесью множества сказок и выдумок. С ранних лет в нас старались вселить самое сильное отвращение к еретикам и всевозможным реформаторам. Человек, вышедший из подобной школы, по необходимости был туп, как бык. Лютеранские и реформаторские школы еще в десять раз хуже. Там учат люди, положительно не знающие ни слова по-латыни. Школьные учителя подражают господам пасторам и предаются лени и беспробудному пьянству». Сам Гегель дает не лучшую характеристику своим педагогам, говоря в похвальном слове одному из них: «Он мыслил не так низменно, как другие, которые полагают, что имея кусок хлеба, они не должны уже более учиться, и совершенно довольны тем, что в состоянии повторять из года в год ту же классную рутину».

Читая дневник Гегеля, относящийся к школьной поре, мы видим перед собой маленького гениального педанта, почтительно и с преданностью относящегося к исполнению прямых своих обязанностей и исключительно преданного неукоснительному прохождению гимназической премудрости. Изредка говорит он о своих развлечениях, о «милых и достойных представительницах слабого пола», встретившихся ему на балу, и посвящает десятки страниц описанию школьных занятий. Почти исключительно интересуется он классиками.

«В prima¹⁷», — говорит он, — мы переводили Курциуса, Эзопа, Новый Завет (по средам и пятницам от одиннадцати до двенадцати и от двух до трех часов). В secunda¹⁸ — Цицерона "De Senectute"¹⁹, "Somnium Scipionis"²⁰, "Laelius"²¹; с греческого — послания апостола Павла, и кое-что с еврейского из псалмов».

¹⁷ Во-первых (лат.). — Ред.

¹⁸ Во-вторых (лат.). — Ред.

¹⁹ "О старости" (лат.). — Ред.

²⁰ "Сон Сципиона" (лат.). — Ред.

²¹ "Лелий" (лат.). — Ред.

«В этих дневниках, — говорит Гайм, — нет ничего, что давало бы хоть легкий намек на ранний высокий талант или обещало в будущем необыкновенное явление в области духа». Перед нами мальчик, преданный усердным занятиям, тщательно собирающий различные сведения. Гегель почти не говорит о себе. Во имя знания он проникся полным самоотречением, не допускает никаких субъективных взглядов и часто ничего другого не делает, кроме переписывания готового, или заготавливает обширные извлечения из книг. Сам он как будто отсутствует и только накапливает груды знаний.

«И это, — продолжает Гайм, — тем более замечательно, что мы находимся в последней четверти XVIII века, когда составление книг о личной жизни было в моде и даже обратилось в страсть. В этом явлении заключался один из признаков далеко распространившейся болезни. Оно было в тесной связи с тем почитанием отдельных личностей, с тем кокетничаньем собственной персоной, которое образовалось за отсутствием великих и всеобщих интересов в Германии, среди полной пустоты нашей общественной жизни. В дневниках Гегеля нет даже признаков подобного самоудивления; нет рассказа ни о душевных потрясениях, ни о важных, ни о незначительных личных делах. Вся жизнь мальчика заключается в том, что он повторяет выученное или узнанное от других и старается запечатлеть в памяти посредством беспрестанного припоминания».

Действительно же в эти годы Гегель игнорирует индивидуализм и личное чувство. Он читал «Вертера» Гёте; но «Вертер», по-видимому, не произвел на него никакого впечатления. Там человек говорит исключительно о своих страстях и страданиях, требует личного своего счастья во имя ясно осознанной индивидуальности. Гегелю гораздо более нравится «Поездка Софии из Мемеля в Саксонию», сухой дидактический роман, наполненный длиннейшими и скучнейшими рассуждениями о женской добродетели, о воспитании и супружестве, с тщательно составленным меню ежедневных и сытых, но дешевых обедов, «ибо правильное пищеварение содействует благополучию супружеской жизни». Такое нравственно-поучительное, картофельно-селедочное произведение как нельзя более пришлось по вкусу нашему юному философу.

В его юности вообще мало было молодости, уже в гимназии он казался умным не по летам и даже педантом. Что за премудрые наблюдения делает он насчет одной ссоры крестьян между собой или по поводу поедания вишен! Как угрюмы и как отзываются классными темами его рассуждения о пагубных следствиях честолюбия и безнравственности поединка! И, конечно, он был образцовым учеником, всегда получал награды и пр.

Светлым фактом юности «маленького старика» было горячее увлечение не грамматикой, а духом древних произведений. Он до страсти любит «Антигону» и даже пытается перевести ее на немецкий язык. По его мнению, «изучение древних должно быть истинным вступлением в философию». Даже впоследствии «его взоры постоянно обращаются к образу Антигоны, как самому незабвенному и сладкому воспоминанию в жизни». Быть может, возле этого дивного создания Софокла сконцентрировались все неясные, полные таинственного беспокойства мечтания юноши о девушке; быть может, Гегель, подчиняясь волнению крови и совершенно особенному поэтически-созерцательному настроению своей души, даже любил чудный и гордый образ греческой героини. Его созерцательность, подавляемая массой воспринимаемого материала, в котором, как мы легко можем себе вообразить, 3/4 было мусора, должна же была проявиться чем-нибудь даже

в эту ученическую эпоху. Иначе был бы непонятен ее пышный расцвет впоследствии. Только с этой точки зрения понятно, почему Гегель протестующую героиню Греции называет родственнейшей из душ.

Затем, но уже под влиянием педагогов, Гегель увлекается рационализмом, толкует, что религия есть результат невежества, упроченный обманом жрецов; объясняет жертву Сократа Эскулапу не только «ослаблением умственных способностей мудреца от действия яда», но и «уважением к предрассудкам времени» и т. п. Но этот рационализм, отразившись впоследствии на первой стадии богословских занятий, не вошел в плоть и кровь Гегеля, рассеявшись под влиянием эллинизма, затем романтики и, наконец, общего стремления к догматическому, полному веры и презрения к скептицизму, мышлению.

Вообще же Гегель работает...

Есть что-то увлекательное и высокое в этой неустанной энергии ума, стремящегося с самых юных лет охватить все предметы человеческого знания, всю совокупность человеческой мысли. В Гегеле эта энергия проявляется особенно рано и мощно, но со специальным колоритом смирения и покорности. Он легко и свободно, как какое-нибудь послушание, выносит на плечах свои утомительно-долгие ученические годы, нисколько не спешит выказать свое собственное «я», а спокойно занимается усвоением чужих мыслей, не мечтая, по-видимому, ни о славе, ни о самостоятельной работе. Он только учится, послушный внутреннему голосу и велению своей гениальной натуры, и если бы кто-нибудь сказал теперь этому скромному семнадцатилетнему юноше, что через двадцать пять лет он не только будет учителем и творцом системы, но и единственным учителем целой Германии, он, по всей вероятности, удивленно вскинул бы на говорящего свои серые глаза и спросил:

— Почему вы так думаете?

Он учился, и в этом вся его жизнь. В общем, он неуклюж, с девушками — робок и решительно недоумевает, какие цитаты и из какого автора наиболее приличествуют в разговоре с этими «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он скромн, тих, почтителен и не подозревает даже, что его ждет европейская слава и могущество, большее могущества падишаха.

ГЛАВА II Юность. — Тюбингенский университет. — Дружба с Гёльдерлином. — Sturm und Drang

Восемнадцати лет от роду, то есть в 1788 году, блестящим образом закончив свое гимназическое образование, Гегель поступил в Тюбингенский университет с намерением посвятить себя изучению богословия. Едва ли он серьезно останавливался на мысли сделаться когда-нибудь впоследствии пастором, но его несомненно привлекало общее философское содержание факультета. К тому же и наш юный педант не мог не заметить, какая деятельная работа мысли, какая перестройка всего заново происходила в отвлеченной области. «Преимущественно

перед другими знаниями, — говорят нам, — богословие подверглось могущественному влиянию рационалистического, критически настроенного века. Опираясь, с одной стороны, на мощный фундамент философии Канта, с другой — на историческую критику Землера, на общее скептическое и гуманное настроение эпохи, рассудочное размышление (*raison raisonnante*) разорвало всякую связь с церковным ортодоксальным протестантизмом». Если пиетизм подкапывался под него с точки зрения прав сердца и личной совести, то есть подрывал его государственный, бюрократический (или, как говорит Шерр, полицейский) характер, то рационализм обратил свое внимание преимущественно на догматическую сторону учения. И мы увидим ниже, к каким ценным результатам привели Гегеля его богословские занятия, продолжавшиеся почти без перерыва семь лет (1788—1795 годы).

Конечно, на первых порах он и здесь, то есть в области богословских занятий, является перед нами послушным учеником, покорно переваривающим весь мусорный материал, вынесенный из чтения в большинстве случаев неумных книг и из слушания, за редким исключением, сухих лекций; но в то же время в период этих богословских занятий мысль Гегеля уже начинает расправлять свои могучие крылья. Пока же он по-прежнему продолжает собирать коллекции цитат и приводить в порядок свои многочисленные выписки. Он все еще *«lumen obscurum»*²², как зовут его товарищи, которому, однако, суждено скоро засветить... увы! — не ко благу человечества.

Попробуем теперь нарисовать картину студенческой жизни Гегеля, когда он пил, любил и даже сочинял стихи. Но сначала, что такое были германские университеты того времени? Раз уже цитированный нами Лаукгард описывает университетскую жизнь нижеследующим образом: «Жизнь студентов, или буршей, Гиссена, благодаря стараниям высланных туда нескольких йенских студентов, была устроена совершенно по образу йенской. Кто хотел быть уважаемым буршем, тот должен был каждый вечер посещать по крайней мере одну пивную — рейнская кружка пива стоила два крейцера — и пить там до 10—11 часов. Говорить о научных предметах считалось педантством, поэтому разговор постоянно держался на делах буршей и часто переходил в сквернословие. Я помню, в пивной Эбергард-Бум читались даже правильные лекции сквернословия по рукописному экстракту. В Гиссене попойки были разрешены, и мы часто пьянствовали на улице. Большая часть студентов вела себя свиньями. Байковая куртка была их постоянным нарядом — и в праздник, и в будни. Кроме того, студенты носили кожаные панталоны и длинные сапоги. Драки были не редкостью: дрались даже на улице. Вызывавший на бой шел под окна своего противника, стучал палкой по тротуару и кричал: "Pereat (Да погибнет) NN — собака, свинья!" Вызываемый являлся, завязывалась драка, наконец приходил педель²³, разнимал врагов, сажал их в карцер, чем и кончалось дело. Между грубыми непристойностями, бывшими в моде в Гиссене, замечательны так называемые генеральные экскрементации, которые устраивались так: 20 или 30 студентов напивались порядком в пивной, становились перед домом, где жили женщины, и, по команде, со свистом, начинали все вместе мочиться, как животные... Лихорадочная страсть к исписыванию тетрадей отнюдь не мучила гиссенских студентов. В других университетах я всегда находил завязтых тетраде-исписывателей, особенно в Галле: там студенты

²² «Сумерки», «свет невидимый» (лат.) — Ред.

²³ Педель (нем.) — школьный сторож (швейцар); младший служащий высшего учебного заведения. — Ред.

наполняли целые тома университетской мудростью. Впрочем, и галльские студенты были очень грубы. В Йене у каждого бурша была так называемая "шармант", простая девушка, с которой он жил, пока оставался в университете, и которую, уезжая, передавал товарищу».

Но Тюбингенский университет отличался, по-видимому, нравами более просвещенными и гуманными. В нем, по словам Штрауса, «одномышленники студенты и профессора сообща подвизались на учебном поприще и сообща же решали все несогласия в области духа». Здесь устраивались настоящие ученые корпорации, со всевозможным тщанием штудировавшие Канта или лейбницевольфовскую философию. Не надо, однако, думать, что студенческая жизнь ограничивалась исключительно «преследованием интересов духа». Самые горячие споры об антиномиях совершались в неприменном сообществе и присутствии пивных кружек, причем зачастую дуализм кантовой философии находил себе полное примирение во взаимных объятиях сначала разобравшихся, потом поцеловавшихся и наконец заснувших юных мудрецов. Если в Гиссене всякий, не поглощавший такого количества пива, которое способно привести в расстройство желудок не только человека, но и быка, считался «подлецом» и «идиотом», то в Тюбингене требования, предъявляемые доброму буршу, были гораздо умеренные и носили характер более интеллигентный. Общее философское движение века отразилось и на жизни учащейся молодежи. Не надо забывать, что университетские годы Гегеля относятся к той эпохе, когда философия совершала свои подвиги; когда кенигсбергский старик, Кант, со смелостью религиозного реформатора очищал от метафизической шелухи все области человеческого знания; когда Вольтер и Руссо, закончив свои работы, могли видеть, какими быстрыми, могучими волнами распространяется начатое ими движение во имя прав человеческой личности, ее ума (Вольтер), ее сердца и воли (Руссо). А молодежь всегда отзывчива и восприимчива. Еще в 70-х годах того же века она интересовалась исключительно триединым принципом «Wein, Weib und Gesang» («Вино, женщина и песня»). Общее нравственное утомление окружающей ее среды, сухой педантизм в области знания толкали ее на путь трактирных подвигов. Но повеяло новым духом, общество востепенулось и приободрилось, перспектива новой человеческой жизни, не совсем, правда, ясная, но заманчивая, открылась перед умами — и трактирные подвиги утратили все свое прежнее обаяние. Если прежде говорить о науке и вообще о возвышенных предметах считалось непозволительным педантизмом и даже «подлостью», то теперь только такие разговоры и были в моде, только они и требовались. И великие, и малые подчинялись этому новому веянию; оно заставляло подтягиваться даже и глупых людей, оно зажимало рот всем, кто, несмотря ни на что, не мог сделать ни шагу вперед от прежних буршевых идеалов. Мы имеем даже свидетельство о том в высокой степени любопытном и назидательном обстоятельстве, что общий подъем духа и умственности отразился и на нравственных идеалах и привычках молодежи. Прежде, например, как мы видели, считалось совершенно естественным и даже необходимым, чтобы добрый бурш в бытность свою в университете заводил себе любовницу, а затем, закончив курс наук, пропитавшись высшими принципами философии, передавал ее, эту любовницу, эту бедную простую девушку (которую, кстати сказать, он нередко бивал), точно мебель, своему товарищу вместе с прочим ненужным хламом прошлой студенческой жизни. Но в философствующих корпорациях Тюбингенского университета царствовал не только подъем умственности, но и нравственных требований вообще. Отдельные личности

доходили даже до ригоризма²⁴ и своим примером, своим строгим отношением к себе вызывали в большей или меньшей степени удачное подражание.

Легко предположить, что в философствующих корпорациях говорилось неисчислимо количество глупостей и едва ли хоть один вопрос решался в должном, с точки зрения истины, смысле. Но важно не это, важен вдруг нахлынувший (именно вдруг) на жизнь германской молодежи подъем духа. Он сделал невозможным возводить в идеал юности трактирное времяпровождение, истребление пива, скотское отношение к женщинам. Он потребовал от человека ума, знания, а следовательно, и прилежных занятий, он одухотворил его интересы и нарисовал ему картину лучшей или даже хорошей жизни. Конечно, не надо увлекаться, не надо думать, что все стали умны и что все добродушные, ограниченные (в большинстве случаев) бурши вдруг засверкали всеми цветами добродетели. Не надо забывать, что волна умственности нахлынула вдруг, нахлынула на почву, совершенно для нее неподготовленную, и, само собой разумеется, не могла смыть сразу всей накопившейся грязи. И то правда, что большинство только тянулось за духом времени, так сказать, «лебезило» перед ним и впоследствии, при перемене обстоятельств, с легким сердцем, не удручаемым никаким раскаянием, сделало крутой поворот налево кругом и с подлой, опять-таки лебезящей усмешкой обливало помоями «Sturm und Drang Periode» («период бури и натиска») своей юности. Но и без всяких увлечений остается тот несомненный факт, что трактирные идеалы утеряли свое исключительное господство над умами молодежи и вместо них появились другие: сначала научной и философской истины, потом уже истины вообще, истины жизни.

190

Попав после строгой обстановки родительского дома в бурный и одушевленный кружок своих университетских товарищей, Гегель, на первое время по крайней мере, расстался со своим педантизмом и своей научностью. По-видимому, он не прочь был в виде отдыха от философских рассуждений кутнуть слегка и поволочиться за «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он любил, например, устраивать такие игры с фантами, в которых на его долю достается поцелуй какой-нибудь «розовощекой Гретхен», и даже «при устройстве таких игр выказывает некоторое нетерпение». Очень часто видим мы его в какой-то весьма уютной Bier-Halle, принадлежащей одному из пяти миллионов немецких Миллеров, куда его привлекают пиво, дружба и... маленькая, полненькая блондинка с удивительными синими глазками. По поводу этой блондинки мы имеем следующие данные, сообщенные почтительным и обстоятельным Розенкранцем. Она была, конечно, добродетельна; имела, конечно, мамашу, одаренную всяческими достоинствами; была красива, умна (вероятно) и, главное, обладала удивительными синенькими глазками. Видеть ее и говорить с нею, ввиду ее добродетели и мамашы, было вообще очень трудно, но судьба не была безжалостна к целому отряду влюбленных в удивительные синие глазки студентов. Именно: добродетельная девушка имела привычку ежедневно в три четверти седьмого проходить через комнату, где сидели косматые и несколько подвыпившие уже бурши, направляясь в погреб за молоком, простоквашей или холодным габер-

²⁴ Чрезмерная строгость, прямолинейность в соблюдении нравственных принципов, в поведении. — Ред.

супом²⁵ кужину. Тут-то, во время, если можно так выразиться, прохождения тюбингенской Венеры через пивную комнату, и надо было ловить момент, то есть приветствовать, белокурую девушку комплиментами, наскоро пожать ее хорошенькую молочную ручку и сунуть ей за корсаж свое — увы! — длиннейшее и скучнейшее стихотворение, начинавшееся обыкновенно эпиграфом из неудобоваримой для смертных вообще, совершенно непереваримой для слабого пола, вольфовской онтологии. Как нам это доподлинно известно, Гегель принадлежал к отряду влюбленных и не пропускал ни одного вечера, чтобы не полюбоваться на красавицу. По его идее даже был устроен бал, на котором он неохотно танцевал и очень охотно, даже «с некоторым нетерпением», устраивал игру в фанты. История умалчивает, получил ли он на сей раз страстно желаемый поцелуй.

Не угодно ли заодно полюбоваться стихами Гегеля, написанными им в это время, стихами, недурно передающими господствующее настроение юного философа:

Glücklich, wer auf seinem Pfad Einen Freund zur Seite hat, Drame] glücklicher aber ist,
Wen sein Madchen feung kusst.

Счастлив, кто в жизни Имеет около себя друга; Но вдвое счастливее тог, Кого
горячо целует его возлюбленная.

Вообще в лице Гегеля в этот период мы имеем перед собой добродушного, неуклюжего, несколько сентиментально настроенного бурша, готового даже забывать лекции профессоров ради удивительных синеньких глазок, пишущего скверные стихи (мы привели лучшие), курящего скверный табак, пьющего прекрасное пиво и проявляющего свое веселое настроение в неудержимом раскатистом смехе, приводившем в ужас мирных тюбингенских граждан...

Но все же он не забывает своих обязанностей, и мы не раз видим его говорящим проповеди, как это было принято на богословского факультете.

Вспоминая впоследствии о своих студенческих годах. Гегель в письме к Нитхаммеру говорит: «Мой отец имел полное основание быть недовольным мною». А между тем это единственные годы, которые способны привлечь к себе воображение биографа и читателя. Перед нами неоперившийся еще юный философ, отзывчиво и даже страстно откликавшийся на призыв жизни. В этом эмбрионе, увлекающемся французской революцией, сажающем деревья свободы, дающем клятву «никогда не верить в то, во что верить приказано», мы лишь с величайшим трудом можем различить первообраз будущего угрюмого философа, властно и жестоко преследующего всякие отклонения от того пути, который он сам почитает за истинный. Но этот эмбрион, несмотря на свои увлечения, на беспорядочность своей жизни и занятий, более близок нам, обыкновенным смертным, чем будущий властолюбивый педант, с таким презрением смотрящий на всякое служение чувству, на всякую борьбу во имя идеала, мелькнувшего перед разгоряченным любовью или ненавистью воображением.

«Мой отец имел полное основание быть недовольным мною», — говорит Гегель, и мы охотно соглашаемся с ним, встав на точку зрения господина советника вюртембергской счетной палаты. Но и сам Гегель недоволен своей юностью. Он бы

²⁵ Суп из овсянки (нем.). — Ред.

желал видеть в ней более порядка и меньше разбросанности, свидетельствующей об излишней горячности впоследствии презируемого чувства. К этой юности, однако, относится самое светлое воспоминание его жизни — дружба с Гёльдерлином.

Они были сверстниками, обоим не исполнилось еще и двадцати лет, когда они поступили в Тюбингенский университет. Гёльдерлин был поэт, и только молодость могла заполнить глубокое различие между его характером и характером Гегеля. Еще ребенком он начал писать стихи и, как истинный талант, писал их со свободной и смелой доверчивостью к своему сердцу и своей фантазии. Его стихотворения уже в юности отличаются чрезвычайной нежностью выраженных в них чувств. Он сильно увлекался поэмами Оссиана и Клопштока, с другой стороны, он заимствовал у великого «Жан Жака» понятие о человеческих правах и радовался тому, что французская революция prepares осуществление гуманных идей. В своих гимнах он воспевал добродетель, свободу, любовь к отечеству и с поэтическим красноречием излагал мысли, заимствованные из «Contrat social»²⁶. Он хотел быть поэтом свободы и человечности и, совершенно естественно, с ранней молодости питал глубочайшее уважение к своему земляку Шиллеру. Шиллер умел увлекательнее всякого другого выражать идеалы юношеского возраста, горячо нападал на грубые предрассудки своего времени и, вместе с тем, со своими возвышенными стремлениями и верованиями соединял склонность к меланхолии и к разочарованию. Гёльдерлин, как маркиз Поза, любил только человеческий род и поколения будущих столетий, и рядом с этим чувствовал упорную, беспредметную тоску «по какой-то чудной, утерянной человеческой жизни».

В Гёльдерлине было нечто большее, чем простая склонность к благородной чувствительности или способность проливать умиленные слезы при таких высоких словах, как «свобода, равенство, братство и отечество». Он был болен своим воображением, боявшимся всякой действительности, нуждавшимся всяких реальных конкретных образов. Он любил только свои мечты, свои чувства, создания своей поэтической фантазии, высокие идеалы, но не жизнь, которая была вокруг него. Посмотрите на его отношения к женщинам, и кто же скажет, что это отношения здорового человека? Все достижимое или достигнутое, все воплощавшееся в формы обыденной действительности претило ему и вызывало какое-то болезненное отвращение. Он мог любить только платонически и ту женщину, владеть которой не представлялось никакой возможности. Слишком высоких, слишком обидчивых требований его сердца не могли удовлетворить ни один друг, ни одна возлюбленная. Однажды он написал: «Мне, вероятно, никогда не придется любить иначе, как в своем воображении», — и в этих словах ключ к пониманию его характера. Он любит фантастический образ гречанки Мелиты, «которая прелестна и священна, как настоящая жрица любви»; но так как действительность никаких «настоящих жриц любви не представляла», то земная любовь оказалась невозможной. Только однажды действительность пахнула на него своим здоровым дыханием, но и тут Гёльдерлин остался верен себе. Он нашел «земное совершенство» — в лице матери своих воспитанников, женщине очень умной и нежно настроенной, но в то же время и недостижимой. Но это-то именно обстоятельство, что он никогда не мог вступить в обладание предметом своей любви, окончательно укрепило Гёльдерлина в убеждении, что это — идеал. Он быстро взвинчивает себя без всякой меры, без всякого сострадания к здоровому

²⁶ «Общественный договор» (франц.), сочинение Ж. Ж. Руссо, — Ред.

смыслу. Сюжетта Гонтар, тридцатипятилетняя дама, немедленно превращается в настоящую гречанку, в «священную жрицу любви». Он пишет страстные письма, в которых выражает желание обнять вселенную и человечество за доставшееся на его долю счастье — созерцать совершенство.

Но и эта любовь оказалась лишь весенним лучом. Гёльдерлин скоро опять погружается в меланхолию. Разрыв с действительной жизнью, отвращение от всего, что может дать земное счастье, приводят нашего поэта сначала к грусти, потом к помешательству. «Все противно, все гадко, все скверно в окружающей жизни!» — говорит Гёльдерлин. «Нет народа более жалкого, чем немцы! — восклицает он в другой раз. — Вы найдете между ними ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священников, но не людей; господ и рабов, юношей и стариков, но не людей». «Склад семейной жизни — глуп». «Политика — бессмысленна». «Человеку, как гусю, приходится стоять в современном болоте».

Такой разлад с действительностью мог повести или к борьбе с ее злом, или к обидчивому удалению от нее, к бесполезным жалобам и полному разочарованию. Гёльдерлин избрал второй путь и, конечно, погиб. Он бранится, проклинает, насмехается, когда сердце его обливается кровью, но не находит и признака силы в душе, чтобы проявить свое негодование к активной борьбе.

«Варварство и варварство!» — постоянно восклицает он. Но что же делать с ним? Неужели же надо оставаться спокойным зрителем? Спокойным Гёльдерлин быть не мог. Он тосковал, мучился и искал своего спасения в созерцании, в мире грез, идей, образов. Сильный талант, как Гёте, сильный ум, как Гегель, уравновешенные натуры, как Гегель и Гёте, могли рискнуть пойти на это, то есть на примирение с жизнью, какой бы она ни была, лишь бы идеалы хороши были, но Гёльдерлин погиб — «завявши без расцвета». Его тяжелая тоскливая жизнь освещалась только одним светом, который лился на нее из созерцания греческой древности. Гёльдерлин был влюблен в Грецию. Я говорю «влюблен», потому что иначе не знаю, как охарактеризовать его чувства. Он был влюблен с полным отречением от своего «я», он обожал и любовался на свою красавицу, даже не думая ближе подойти к ней или приблизить ее к себе. Он был счастлив при мысли, что когда-то на земле существовала дивная страна, жизнь которой, полная счастья, полная силы, представляла гармонически целое, гармонически прекрасное. С ужасом, по всей вероятности, посмотрел бы он на человека, который предложил бы ему принять меры к восстановлению этой прекрасной древности на германской почве. Ему достаточно было одного созерцания этой жизни, которая вся представлялась ему как бы выточенной из белого паросского мрамора с дивными формами Венеры Медицейской. Во имя этой Греции он отворачивался от своей родины, совершая невольно, в *pendant*²⁷ духу времени, один из самых тяжких грехов человека. Он видел вокруг себя пошлость и ничтожность, видел разрозненных, разбитых на мелкие части людей современности, преисполненных внутренними непримиримыми противоречиями. И стихой грустью меланхолически созерцательной натуры он обращал глаза свои к своему божеству — этой спокойной и дивной в полном обладании своей красотой Греции.

«В Гёльдерлине, — говорит Гайм, — Гегель встретил, так сказать, живое воплощенное чувство древности». Под его влиянием в нашем философе с большей еще силой пробудилось детское влечение к классическому миру, когда Антигона

²⁷ Соответствие (франц.). — Ред.

оказывалась родственнейшей из душ, а слишком современный Вертер почти не производил впечатления.

Сойдясь на этой почве, они стали друзьями, вместе приветствовали французскую революцию, вместе клялись быть «свободными» людьми, гражданами того мира, где царит красота и гармония. Они дали однажды друг другу дивную клятву «жить для свободной истины, никогда не заключать мира с постановлениями, определяющими, что должно думать и что чувствовать». В этой клятве выразилась вся их бодрая, юношеская вера в самих себя, в свои молодые силы, достаточные для подчинения себе вселенной.

Трудно сказать, что нравилось Гёльдерлину в малоподвижном, слишком уж рассудочном Гегеле. Как могли они быть друзьями, несмотря на резкую противоположность своих натур? Но, вероятно, Гёльдерлина привлекало в нашем философе как раз то, чего не хватало ему самому: спокойная осмотрительность, осторожная логика и глубокая вдумчивость. Быть может, ему нравилось раскачивать это тяжелое тело своими одушевленными, полными восторга речами, тем более, что это удавалось ему как нельзя лучше. Под влиянием Гёльдерлина Гегель принялся даже за стихотворение, топорное, неуклюжее, но несомненно мечтательное, где он унижал современную пошлую действительность во имя дивной греческой жизни. Отношения к Гёльдерлину были для Гегеля «святая святых», куда он удалялся после своих кутежей и праздного студенческого времяпровождения, особым миром, где властвовала свобода и красота, где фантазия и сердце находили себе полные права гражданства. «Надо быть добрым и честным, не надо склоняться перед жизненной прозой, тем менее увлекаться ею», — говорил Гёльдерлин, и Гегель слушал его, надо думать, искренне.

Мирные занятия Гегеля богословием, его невиннейшие развлечения вроде игры в фанты ради получения поцелуя какой-нибудь Маргариты Луизы Каролины Марии или ухаживаний за хорошенькой белокурой девушкой внезапно были прерваны событием, сразу приковавшим к себе внимание всей Европы и даже более того. Мы говорим, конечно, о французской революции, начавшейся 5 мая 1789 года, если считать ее со дня созыва Генеральных штатов. Все лучшие и даже худшие умы Германии (например, Гейнц) возликовали, и, по-видимому, не было решительно никакого предела их восторгу. Клопшток и Форстер, Кант и Фихте — все с одинаково радостным сочувствием приветствовали начало всемирной трагедии. Клопшток сочинял свои возвышенные оды, в которых напыщенные и ходульные строфы были наполнены священными словами свободы и братства. Фихте оправдывал французов за все содеянное ими и смело говорил о праве народов, подыскивая ему десятки философских оснований в своем гибком и идеалистически настроенном уме. Ликование на первых порах было всеобщим, и каждая театральная (увы, только театральная) сцена, разыгравшаяся в Париже, находила себе восторженных клепальщиков по эту сторону Рейна.

На всех перекрестках кричали о наступлении новой эры, о том, что пришло царство свободы и братства, и, странно, совсем не маленькие дети, а большие люди находили какое-то особенное удовольствие в беспрестанном повторении возвышенных слов «liberte, egalite, fraternite» («свобода, равенство, братство») и в платонических восторгах перед ними.

Политическая невинность и наивность немцев была так велика, что французская революция даже после разрушения Бастилии (14 июля 1789 года) продолжала вызывать искренние рукоплескания в людях самых различных взглядов, самых

противоположных стремлений. Все, по-видимому, сходились в том, что «fraternite» и «liberte» звучат очень громко, а главное — в своем полнейшем непонимании того, что происходило у них перед глазами. На революцию любовались, как любят на начинающееся извержение. Отчаянные столпы на хмуром вечернем небе, глухой раскат землетрясений, облака пепла и дыма, носящиеся над кратером, очевидно, принадлежат к самым красивым зрелищам. И на него любовались, как любят суровыми видами природы, гениальным произведением батальной живописи, драмой, возбуждающей высокие и прекрасные чувства. Читая речи ораторов Национального собрания, прислушиваясь к глухим раскатам громового голоса Мирабо, немецкие добродушные, идеально настроенные зрители рукоплескали и хлопали знакомым актерам и актрисам. Чего бояться их? Мечи у них картонные, роли заученные, пистолеты хлопают сырым картофелем и в крайнем случае способны вызвать быстропроходящую шишку на лбу.

Немцы и раньше любили свободу, и раньше писали по ее адресу возвышеннейшие, длиннейшие и скучнейшие оды. Но они любили ее как идею, как представление и даже не подозревали, что та может сделаться фактом жизни. Соловей постоянно плачет о розе, немцы постоянно плакали о свободе, и одно слово «Freiheit» («свобода») делало необходимой усиленную понюшку табаку и обхождение при помощи носового платка. Что говорить, приятно видеть на сцене героя и гибель его. Это возбуждает высокие чувства, но было бы наивно требовать героизма от самого себя в этой пошлой практической действительности! И к чему? Можно любить свободу и будучи холопом, так как свобода, как идея, существует сама по себе, независимо от жизни, а мысль о ней опять-таки возбуждает высокое настроение.

Слова вызывали восторги; действия, проводившие эти слова в жизнь, возбудили почти общее отвращение. За кратковременной порой ликования быстро наступила реакция, и целая туча проклятий посыпалась на головы ИМ в чем неповинных «liberte», «fraternite», «egalite».

Такое непонимание революции, такое эстетическое или, вернее, платонически восторженное отношение к ее первому акту дает нам возможность отметить любопытную сторону тогдашнего немецкого характера. Мы говорим о странной способности жить в мире грез, вздохов, мечтаний, быть там благороднейшим человеком и находить свое полное утешение и счастье в этой несуществующей области. Принципы заоблачной сферы мечтаний и принципы действительности находились друг с другом в непримиримом противоречии, и такое противоречие не тревожило человека, а, напротив, составляло необходимую принадлежность его спокойствия и благополучия. Самым искренним образом готов он был защищать всеобщее равенство, но упаси Боже, если бы кто-нибудь его, трибуна человечества, вместо надворного назван бы титулярным советником. Радикализм мысли, мечтательное благородство, любовь к свободе мирно уживались с самой пошлой действительностью, с самым безукоризненным холопством в общественных отношениях. И если бы еще это было лицемерием, если бы это происходило от умственного убожества! Но в таком криминальном с нашей точки зрения противоречии повинны были первые люди несомненно великого и богато одаренного народа. И они, эти первые люди, рукоплескали революции до той поры, пока не убедились, что она очень серьезно рассчитывает из области слов и красноречия перейти в область поступков. Этих-то поступков, совершенно логичных с точки зрения принципа, возбуждавшего такие восторги, и не ожидали, а когда они появились на сцене, когда зрители убедились, что у героев

разыгравшейся драмы не картонные мечи, не детские пистолетики, хлопающие картофелем, а настоящие дамасские отточенные клинки и целая артиллерия, заряженная настоящим порохом, — революцию возненавидели и проклинали почти все, кроме Фихте в Германии, Факса в Англии и еще десятка им подобных!

Французская революция совершенно неожиданно для немцев, и также неожиданно для самой себя попыталась примирить это противоречие, уничтожить дуализм жизни — идеи и факта, принципа и действительности. И так как эта попытка сопровождалась ужасно невежливым отношением к идеальному миру, то немцы глубоко обиделись и учинили единогласный концерт «протестующих». Конечно, праздник Разума, разрушение Бастилии — очень красивые зрелища, но праздник праздником, а гильотина ничего праздничного в себе не имеет.

Любопытно, что в исходной точке своей биографии Гегель сошелся с французской революцией. Ему также было необходимо заполнить чем бы то ни было пропасть между идеей и фактом. Революция заполняла ее декретами и гильотиной, Гегель — диалектикой. Революция заявила, что принцип должен воплотиться в действительность; Гегель уничтожил дуализм, решив одним гениально смелым полетом мысли, что мир идеи и действительности — одно и то же, что никакого противоречия между ними нет и быть не может, что мыслимая свобода, красота и прочее — то же самое, что и реально существующее. Идея — вот она действительность, а другой действительности искать нечего. Поэтому тот, кто имеет идею свободы — уже свободен; но, как основательно заметил Шопенгауэр, думать, что у меня в кармане 100 гульденов, и иметь в кармане 100 гульденов — совсем не то же самое.

Посмотрим, однако, как относился Гегель к революции. Молодежь горячилась. Мирные тюбингенские граждане сужасом видели, что философически настроенные бурши дерутся из-за политических уже убеждений очень толстыми палками и поют «Марсельезу» с еще большим восторгом, чем прежде «Gaudeamus igitur»²⁸. Устроился даже политический клуб, где Гегель был одним из самых ревностных, хотя и не красноречивых ораторов за права свободы и равенства. Целые ночи напролет проходили в ожесточенных дебатах, и отчеты Национального собрания комментировались с еще большим усердием, чем прежде «Онтология» Вольфа или «Теодицея» Лейбница. Кричали и волновались. Кричали на всех языках и волновались всеми фибрами души.

— In tyrannos²⁹, — провозглашал один по-латыни.

— Tod dem Gefsinde!³⁰, — отвечали ему по-немецки.

— Vive la liberte! Vive Jean Jacques!... Et perisse la politique d'aujourd'hui!³¹ — поддакивали на французском диалекте.

²⁸ «Будем же радоваться...» (лат.) — первые слова одноименной студенческой песни, популярной некогда в университетах Европы. — Ред.

²⁹ Против тиранов. — Ред.

³⁰ Смерть мерзавцам! — Ред.

³¹ Да здравствует свобода! Да здравствует Жан Жак! Смерть политическим чудовищам! — Ред.

Гегель волновался не меньше других.

Существует даже предание, будто в одно дивное весеннее утро Гегель и Шеллинг вышли за ворота мирного Тюбингена с особенно торжественными лицами. Их плащи были надеты на манер греческих туник, в их руках находился небольшой зеленый отросток дерева. Пройдя недалеко от города, приятели остановились и, трижды провозгласив: «Vaterland und Freiheit» («Отечество и свобода») — посадили в землю свое деревце. Оно именовалось деревом свободы, которому, однако, не суждено было дать ростков.

Приходится пожалеть, что у нас так мало подробностей об этом времени и о жизни политического клуба. Мы знаем только, что юношество увлекалось как нельзя более горячо и что несогласие в политических убеждениях доводило до ссор сторонников различных мнений. Известно также, что громким «vive la liberte et perisse...» и прочим зачастую по ночам нарушался мирный сон тюбингенских граждан, беспокоило вопрошавших себя: не приехал ли в город Марат или Фукье Тенвиль. Неизвестно также, что стало с деревом свободы, посаженным Гегелем и Шеллингом, и на какую хозяйственную надобность оно пошло. Несомненно лишь, что через несколько лет Гегель сам бы срубил его еще с большим удовольствием, чем посадил.

Революционное увлечение в нем быстро сменилось не только реакцией, но и ненавистью к революциям вообще.

Увлечение Гегеля революцией продолжалось самое короткое время и ни к каким серьезным результатам не привело. «В нем, — говорит Гайм, — опять пробудилась его рассудительность и положительная сторона его характера, требовавшего во всем известной меры. Его приводили в ужас проливаемая террористами кровь и совершаемые ими насилия; но и независимо от всего остального для Гегеля уже было достаточно неизящной и эксцентрической обстановки революционной драмы, чтобы возбудить в его душе полное к ней отвращение. Вот почему мы можем следить за влиянием юношеского увлечения только до того времени, когда Гегель вскоре по окончании университетского курса отправился в Берн в звании домашнего учителя».

Будущий философ реставрации и абсолютного порядка отдал дань волнению юношеской крови, а затем выступил на свой собственный путь, не имевший ничего общего с практическими и конкретными стремлениями революции.

После пятилетнего пребывания в университете Гегель окончил курс наук и сдал экзамен на степень кандидата богословия. От своих профессоров он получил свидетельство в том, что он вообще молодой человек с хорошими способностями, но не отличается ни особенным прилежанием, ни большим запасом сведений, говорит плохо и может быть назван «идиотом» в философии. Прожив несколько времени у своих родителей в Штутгарте, он принял место домашнего учителя в доме господина Штейгера фон Чуг в Берне.

ГЛАВА III Берн. — Франкфурт-на-Майне. — Занятия политикой. — Переезд в Йену

Домашним учительством Гегелю пришлось заниматься целых семь лет (1793—1800 годы). «Сначала мы видим его в качестве *«gouverneur des enfants de notre cher et fidel citoyen Steiger de Schoung»*³², затем как гофмейстера³³ у франкфуртского купца Гогеля. Но что это за господа Гоголь и Чуг, как относились они к гениальному человеку, жившему под одной с ними крышей, мы не знаем. Этот семилетний период жизни Гегеля настолько скуден фактами, что Розенкранц, желая как-нибудь пополнить пустое пространство, со своим обычным педантизмом и обстоятельностью разбирает чуть ли не на двух страницах удивительно важный вопрос: курил ли Гегель? Но мы этот вопрос оставим в стороне и постараемся собрать воедино скудные факты и отдельные штрихи, относящиеся к этой эпохе.

Чуги принадлежали к аристократии, имели собственное поместье, одинаково называвшееся «Чуг», и, надо думать, относились к Гегелю несколько свысока. Прожив возле них три года, он, однако, ни слова не говорит ни об одном из славных представителей этого славного рода. Мы знаем лишь, что ему приходилось играть иногда в бостон, что на вечерах бывали «барышни», но какие и зачем — неизвестно. Одинаково неизвестно, сколько было учеников и учениц у нашего философа, сколько часов в день занимался он и сколько получал вознаграждения. Конечно, все это мелочи и не из них складывается жизнь человека, тем более такого, каким был Гегель. Но нельзя же и пренебрегать интимными подробностями, нельзя ограничиваться биографией одной «системы». Система системой, но как забыть, что за ее геометрически правильными построениями скрывается живое существо, одаренное мускулами, нервами и... весьма заметным властолюбием? Система развивалась «органически»; любопытно следить за ростом идей, за их разветвлениями, но не она же писала донос на Фриза, преклонялась перед французскими штыками и требовала самых строжайших полицейских мероприятий против «мальчишеского либерализма и философов чувства», пытавшихся пробудить общество от филистерского сна. А это, к сожалению, факты из биографии Гегеля, для объяснения которых не мешало бы знать интимные подробности его жизни и проникнуть в глубь его личного характера.

Но эти интимные подробности в большинстве случаев отсутствуют. По мнению Розенкранца, «биография философа исчерпывается биографией его системы»; Гайм считает возможным отвести «Логике» или «Феноменологии духа» 20—30 страниц, а о семейной жизни вскользь бросить замечание, что жена Гегеля, Мария фон Гегель, была «лучшая из женщин». Почему — лучшая? Занятый феноменологией, Гайм — увы! — этого не объясняет.

Перед нами семилетний период, в котором как будто бы ничего не было. Сам Гегель в своих письмах посвящает ему двадцать строк, Гайм исключительно дает историю умственного развития.

³² «гувернера детей нашего дорогого и преданного гражданина Стейжера де Чуга» (франц.). — Ред

³³ Гофмейстер (нем.) — домашний учитель, гувернер. — Ред

Надо думать, что в доме Чугов Гегель чувствовал себя не особенно хорошо. Он мог, конечно, утешать себя мыслью, что не ему одному приходится тянуть скучную лямку домашнего учительства, что домашними учителями были и Кант, и Фихте, и впоследствии Гербарт... Но все же недостаток свободного времени, отсутствие подходящего интеллигентного общества слишком ощутительны. Гегель жалуется, что не может следить за новостями философской жизни, что занятия не оставляют ему желательного досуга. Вероятно, он страшно одинок, вероятно, эти де Чуги относятся к нему с некоторым пренебрежением. Волей-неволей ему приходится сконцентрироваться в самом себе и выбирать «le mieux possible»³⁴ в несимпатичной обстановке.

Спасает жажда познания, давно отмеченное нами стремление к энциклопедичности. Гегель старается заниматься с прежним усердием, прежней терпеливостью. Он изучает богословие, интересуется политикой, даже местным правом и податной системой, штудировал Канта и Фихте, но эти занятия, за исключением редких писем к Шеллингу, происходят в одиночестве, без живого общения мыслями, вдали от жизни вообще.

Система вырастает, отданная в жертву книгам и логике. Если и прежде в жизни Гегеля мало дружбы, мало любви и молодости, то эти три года, проведенные в доме Чугов, сухи, как пемза. Отбыв эту повинность, Гегель перебрался во Франкфурт-на-Майне, в дом купца Гогеля, также в качестве домашнего учителя к его детям. Здесь жизнь его стала разнообразнее. Он опять в кругу образованных друзей и имеет возможность вести более соответствующую складу своего характера жизнь.

Он занимается политикой. В нем еще бродят остатки прежнего либерализма. Так, например, одно его сочинение озаглавлено «Dass die Wurtemberger Magistrate vom Volk gewählt werden müssen» (1798 год). Здесь он требует, чтобы земские чины воспользовались во всей силе принадлежащими им правами. Ораторским тоном говорит он о необходимости «от грустной боязни, которая обязана действовать по непреложной необходимости, возвыситься до смелой решимости, которая сама чего-нибудь хочет».

Но такое настроение, в котором, однако, все же преобладает желание понять, почему все так нехорошо, чем уничтожить это нехорошее, длилось очень недолго. Занятия политикой привели Гегеля к тому выводу, что «Германия — не государство».

Придя к такой весьма нелестной для патриотизма формуле, Гегель отнесся к ней с немного более горячим участием, чем к выводу дифференциального исчисления. «Германия — не государство», и он на время махнул на нее рукой. Поняв, что $x = 0$, он решил, что нечего с ним, значит, и делать. Он интересовался, пока не знал, «почему это так». Найдя ответ на «почему», он успокоился.

Гегель счел нужным без борьбы, без всякого проявления активности примириться с этим тяжелым положением своей родины. Он решился разработать «природу до степени идеи», сделать себе «из изображения своего внутреннего мира своего постоянного собеседника». Не преобразованием политических условий германской жизни должен он добиться своего счастья, а путем совершенно особенным: при помощи метафизики он устроил в этом мире действительности и свой собственный

³⁴ «Как можно лучше» (франц.). — Ред.

мир, которым и будет наслаждаться, как единственно удобным для его существования.

Здесь уже Гегель проявляется во весь свой рост. Как энциклопедист, он интересуется и политикой, пишет даже целые трактаты о местном праве и о податной системе Берна. Повсюду он выказывает удивительную теоретическую мощь и удивительное практическое бессилие. Упорно останавливается он на вопросе «почему» и, подыскав ему десяток остроумнейших объяснений, успокаивается, так сказать, на самом пороге действия, как выражается Гайм. Стоит ему только столкнуться с действительностью, как его слишком логический ум начинает теряться и путаться, причем отсутствие всякого конкретного стремления сейчас же дает себя чувствовать. Трактую о необходимости выборной системы, Гегель, однако, заканчивает свою работу словами: «Главное дело в том, чтобы предоставить право выбора сословию лиц независимых, просвещенных и честных. Но я не могу понять, какой род выборов может доставить такое собрание людей, даже предположив, что как активное, так и пассивное право избирания будут определены с крайней осторожностью». Несмотря на это недоумение, Гегель спокойно ставит точку.

Гегель в это время прекрасно понимал, что действительность скверна и удушлива. Он прямо говорит: «Германская жизнь не может оставаться в том состоянии, в каком находится теперь, потому что все существующее утеряло уже всякую силу и всякое достоинство, превратившись в явление чисто отрицательное».

Что же с этим делать? Так ведь жить нельзя: «Ведь в тех, кто разработал внешний мир до степени идеи (попросту — понял его), есть жгучая жажда жизни; такие люди чувствуют потребность выхода из идеи в жизнь». Однако обстоятельства времени заставляют исключительно сосредоточиться на внутренней жизни, «а состояние человека, — говорит нам сам Гегель, — которого обстоятельства времени заставляют уединиться во внутренний мир, может быть уподоблено только непрерывному замиранию...» Тяжелое это чувство, особенно для того, у кого есть жажда жизни, есть стремление выйти из идеи в действительность!

В Гегеле борются два начала: одно — критически выработанное представление об окружающей обстановке, как самой скверной, ни с какими требованиями разума несообразной, словом — «чисто отрицательной»; другое — взятое им на веру из античного мира, представление о вселенной как о едином прекрасном космосе, проникнутом дивной гармонией торжественного произведения. И, чтобы примирить это противоречие, Гегель напрягает силу своего разума, чтобы спасти себя от безысходного отчаяния и отыскать себе в жизни тот уголок, где, несмотря ни на что, он может быть счастливым, какая бы жизненная скверность ни окружала его, — он бросается уже открыто и бесповоротно в объятия метафизики. Там — возможное спасение. Метафизика должна привести в связь все существующее и представляемое; эту разрозненную, полную видимыми противоречиями действительность она должна объединить в одно целое. Задача сводится к тому, чтобы примирить факт и идею, представляемую красоту и существующую скверность. Не насилем, не активной борьбой с недостатками жизни можно сгладить это различие; нет, «метафизика должна указать ограничения их границы и их необходимость в связи с целым». Прежде всего надо примирить противоречие между идеей, представлением и явлениями действительности. Верный идеалистическому принципу, Гегель утверждает, что существует только мысль и вне мысли не существует ничего. Это не человеческая мысль, а мысль

Абсолюта, то есть мысль мира, стремящаяся к самопознанию на основании законов логики. Она, эта мысль, воплощает (предполагает) себя в различные конкретные формы, из которых каждая необходима для этого процесса самопознания. И все действительное разумно, так как всё есть только стадия воплощения Разума на бесконечном пути саморазвития.

Гегель поставил себе задачей примирить себя, свой внутренний мир с жизнью. Выработанное на почве классической древности миросозерцание давало ему конечный пункт для этой деятельности разума. При помощи диалектики вселенная должна была предстать как единое гармоническое целое, все части которого необходимо связаны между собой. Здесь все прекрасно, не как нечто отдельно взятое, но как звено в бесконечной мировой цепи, как составная необходимая часть общей гармонии. И эта примирительная задача как нельзя лучше удалась Гегелю. Он не только искренне обманывался сам, но и целое поколение Европы смотрело на его систему, как на новое Евангелие. Конечная цель его усилий прекрасно изложена Белинским в период «гегелианства».

«Весь беспредельный прекрасный Божий мир, — говорит наш великий критик, — есть не что иное, как дыхание единой вечной идеи, проявляющееся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать в светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы — млечные пути, а кровь — чистый эфир. Для этой цели нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блуждающую комету; она живет и дышит в бурных приливах и отливах морей, в свирепом урагане пустынь, в шелесте листьев, в журчанье ручья, в рыкании льва и в слезе младенца, в воле человека и в дивных созданиях времени. Кружится колесо времени с быстротою непомерною, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые, на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми; смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начала и веществ...» Словом,

В вечном движении, В волнах бытия Я опускаюсь, я поднимаюсь... Жизнь и движение — вечное море, Смерть и рождение — В вечном просторе. Остается одно — созерцать и... радоваться. Закончим теперь обозрение внешних событий, относящихся к этому периоду. Обстоятельный herr³⁵ Розенкранц сообщает нам, что «15 января 1709 года умер отец Гегеля, оставив после себя пустое место в вюртембергской палате, но отнюдь не в человечестве». Гегел — это важнее — «получил в наследство 3154 гульдена, 24 крейцера, 4 пфеннига». С этими маленькими деньгами он решил оставить домашнее учительство и попытаться счастья на профессорской кафедре. Ему было двадцать девять лет от роду; система в общих чертах уже ясно представлялась его умственному взору. Он был молод, здоров, как прежде, неутомим в работе. «30 лет от роду, — сказано в его паспорте, — ростом — 5 футов и 2 дюйма; волосы и брови темные; глаза серые, нос и рот средние; подбородок круглый; лицо продолговатое».

³⁵ Здесь: господин (нем.). — Ред.

Бывший его друг Шеллинг, профессор Йенского университета, с которым он теперь переписывался, обещает ему «употребить в его пользу свое влияние». Заручившись этим, Гегель едет в Йену, где его ждет дружба, кафедра и, быть может, слава.

Утомительные годы ученичества окончились.

ГЛАВА IV

Йена. — Гегель и романтики

Переехав в Йену, Гегель немедленно очутился в самом избранном обществе. Йена — университетский город, где Фихте и Шеллинг читали свои лекции, Нитхаммер и Фихте издавали критический журнал философии, где работали и жили братья Шлегели, вокруг которых группировалась целая плеяда романтиков: Тик, Новалис, отчасти Гёльдерлин, Шлейермахер и прочие. Жизнь была разнообразна и весела. Фридрих Шлегель вел свою полемику с Шиллером, удивлял всех и каждого своими злыми критическими статьями, любил свою Доротею и сочинял роман, который должен был положить начало новому искусству; Август Шлегель исследовал мифы; Новалис только что закончил ряд своих глубоко философских дивно юмористических произведений и, к сожалению, самую жизнь. По всей линии шла оживленная перестрелка. Деятельность Шеллинга достигала своей кульминационной точки. Он энергично читал лекции в университете, работая своей гениальной головой на глазах у публики и у слушателей, удивляя тех и других своими быстрыми скачками к новому; в журнале Нитхаммера он вел критический отдел в резко полемическом тоне, без пощады казня противников, «умевших выбирать отдельные фразы из Канта в защиту своих мнений». Здесь же, в Йене, Шиллер нашел себе убежище и, отдавшись поэтической деятельности, занимался некоторое время преподаванием истории и эстетики. Йена была как бы вторым местопребыванием Гёте, куда он переселялся всякий раз, когда окончание какого-нибудь произведения требовало от него глубокого спокойствия души и свободного времени. Здесь великий и благородный Фихте вел с кафедры упорную борьбу с квиетизмом³⁶ и пошлостью своего времени. Но энергичнее, деятельнее и заносчивее всех были, конечно, романтики. Это была компания людей даровитых, талантливых, иногда даже с признаками настоящего гения, как у Новалиса, решившихся во что бы то ни стало сказать свое новое слово, большее, чем слово Гёте и Шиллера. Из-за этого нового слова, еще не оформленного, передававшего скорее настроение, чем мысль, шла ожесточенная полемика, разделившая немецкую интеллигенцию на два лагеря: Фихте и Шиллера, с одной стороны, Шеллинга и романтиков — с другой.

Нам необходимо сказать об этой полемике несколько слов, чтобы определить ту умственную обстановку, в которую попал Гегель после своего бернского и франкфуртского одиночества. Но метафизику и философские разногласия по их

³⁶ Квиетизм — безучастное, пассивное отношение к окружающей действительности, непротивление, а также одноименное религиозно-этическое учение, проповедующее данные идеалы. — Ред.

малой удобопонятности мы оставим в стороне, а посмотрим, чего хотела та и другая партия в нравственном отношении.

Начнем с Фихте. В своем «Учении о науке» он признавал, что внешний мир, будучи представлением духа, не существует в истинном смысле слова, что, в действительности, он — ничто. Но если «не я», природа, не существует, то в чем же можно найти фундамент для мысли, то есть философии и деятельности? Этот фундамент — человеческое «я», то есть свободная и сознательная разумность, существующая только для себя, знающая только себя, так как больше ничего нет и все вещи — простое отражение деятельности духа. Поэтому «человек есть мерило всего», в нем самом источник жизни и обстоятельств; природа и государственное устройство только тень его индивидуального сознания, изменяющаяся по мере того, как растет, крепнет, приобретает свободу и ясность это самое сознание. Нося в себе такое священное, всеобъемлющее начало, можно ли отдавать его в рабство чему бы то ни было, можно ли робко преклоняться перед жизнью, когда во главе всего стоят не обстоятельства, не условия, в личное самосознание? Отсюда очевиден переход к нравственной системе. В чем человек должен искать оснований для своей деятельности? В себе самом. Должен ли он считать что-нибудь высшим сравнительно с голосом своего разума? Конечно, нет. Может ли он бояться какого-нибудь авторитета, созданного верой или государственной жизнью? Но ведь авторитеты, социальные формы — не больше как «отраженная деятельность духа», и новая стадия этой деятельности предполагает и новые формы жизни. Призывая к деятельности, к борьбе, Фихте всегда обращался к сознанию человека. Это сознание создало мир и государство, оно наполнило жизнь живыми конкретными образами, которые мы называем вещами; неужели же око, этот божественный дух, может пресмыкаться в грязи и унижении, забыв свое величие, свое происхождение от эфира и солнца? Жизнь для идеи есть единственная истинная жизнь. Поэтому нетрудно понять, что Фихте своей философией, своими высокими нравственными идеалами, все равно как Шиллер своей благородной поэзией, расположил к себе всех деятельных людей. Своими речами к немецкой нации он дал толчок, который обнаружился впоследствии в идеях и стремлениях, одушевлявшие долгое время патриотически настроенную, стремившуюся вперед германскую молодежь.

Деятельные натуры примкнули к Фихте и Шиллеру. На стороне этих двух горячих и талантливых людей стояли все, принимавшие участие в судьбах своего времени и отечества. Они надеялись осуществить в действительности свои политические идеалы, в своих нравственных воззрениях твердо держались строгой морали ответственности перед жизнью. Критическая философия Канта, популяризованная Рейнгольдом, давала их уму завлекательную свободу, приучила бесстрашно относиться к «неразложимым» понятиям, существующим в жизни в виде «неразложимых» форм и функций и, в сущности говоря, совершенно ниспровергала как протестантское правоверие, так и те формы бытия, которые прямо и непосредственно зависели от авторитета теологических представлений. Высокие этические принципы Фихте, его неподдельная горячая любовь к родине, его глубокое уважение к человеку, прямо вытекавшее из основных принципов его теоретической философии, наряду с упомянутым выше критицизмом Канта, создали целое поколение бодрых и энергично настроенных людей, находивших в поэзии Шиллера конкретные образы для своих идеалов, а в ранних произведениях Гёте — голос страсти, сознание своего человеческого права на счастливую жизнь. Совершенно другое представляла из себя романтическая школа, не бедная талантами и дарованиями, выставившая такого философа, как

Шеллинг, таких поэтов-беллетристов, как Тик и Новалис, критиков вроде Шлегелей и пр. Прежде всего надо заметить, что вся романтическая компания, за исключением самых выдающихся, терпеть не могла Шиллера, отвергала его поэзию, не совсем основательно чуя в ней революцию; с отвращением относилась к действительности и современности, любила природу, средние века, скульптуру и восток. Романтики постоянно стремились к подземной и надземной, только не к земной области, в царство видений и духов, к отдаленным временам и народам. Настоящее время и окружающую их жизнь они, вообще говоря, отрицали, как пропитанную «прозаическим экономическим духом», или относились к ней с высшим презрением. Истинная жизнь — это жизнь поэтического творчества, созерцания образов собственной фантазии, проникновение в тайну мира. В скверной малодушной действительности, умеющей только «продавать дороже и покупать дешевле, — можно зачахнуть, задохнуться». Всеми способами надо убегать от нее... но куда? Тик посвятил одно из своих стихотворений людям, изнуренным действительной жизнью и наслаждающимся одними мечтами; Гёльдерлин искал забвения в созерцании греческих идеалов; Арним писал стихи той же целью, с какой курят гашиш; Фридрих Шлегель сидячую праздность индуса считал идеалом и в прозябании, наподобие индуса, видел высшее счастье. Только чудесное, только фантазия могут спасти человека от пут и оков современности, и к этому фантастическому, чудесному, неестественному у романтиков была особенная, болезненная склонность. Они верили в магию, предпочитали астрологию астрономии, так как первая «поэтичное», и не выносили XVIII век с его практическими задачами, его стремлением выяснять все из естественных причин. Рассудок оказывался «очень скучным и прозаическим», принцип «полезности» — ничем сравнительно со средневековым принципом «чести». Нет ничего более ужасного, как замкнуться в пределах конечного-земного, забыв о всепроникающей тайне мироздания и т.д.

Романтики хотели, чтобы жизнь была поэтичной, а человек — «эстетической личностью». Наперекор рационалистическому требованию знания, они требовали веры. Когда впоследствии в лице Августа Шлегеля они выступили на политическую арену, то вся их проповедь ограничилась восторгами перед средними веками, перед папством и единой империей, сословным строем общества и желанием водворить политически неподвижный *status quo*³⁷. В них была несомненная энергичная склонность к политической реакции. Одни преклонились перед господствующими силами времени и сослужили им немалую службу, отуманивая умы блестящими фразами. Другие кончили душевным расстройством, ударились в крайний мистицизм, как Шеллинг, сошли с ума, как Гёльдерлин, или стали изуверными католиками, как Фридрих Шлегель. «В среде романтиков фантазирование приняло самую опасную и отвратительную форму. Из корня романтизма возникло научное направление, не подчинявшееся требованиям критики, возникла политическая и религиозная реакция».

На первое время Гегель пристал к романтикам. Как другу Шеллинга, ему готов был в кружке самый лестный прием, но это обстоятельство совсем не означало, что Гегель увлекался или мог увлечься дикими парадоксами Фридриха Шлегеля. Он был слишком «трезв», чтобы упражняться в романтическом пустословии. Но поступить иначе он не мог. Романтизм, как видел читатель, был только отраслью общего реакционного движения; своими парадоксами, своим стремлением к мистицизму он проповедовал отречение от деятельной борьбы с жизнью

³⁷ Статус-кво, настоящее положение вещей (лат.). — Ред.

и созерцательное наслаждение своим чувством, своей фантазией. Но, когда надо было выбирать между Фихте и романтиками, Гегелю затрудняться не приходилось. Не он ли объявил, что Германия — не государство, не в нем ли не было и йоты патриотизма или деятельной любви к ближнему! Он стремился примириться с жизнью, переработать действительность в прекрасную и гармоничную идею. По складу своего характера и ума, Гегель прежде всего был созерцателем и квиетистом, а уж никак не активной натурой. Слив свой разум с разумом вселенной, то есть Абсолютом, свои требования — требованиями всего мироздания, свои практические идеалы — с идеалами государства, поглотившего личность, Гегель мог предаться созерцанию той абсолютной гармонии, которая, по его мнению, царила во вселенной. К личности, к личному «я» он всегда относился с большим пренебрежением и если допускал его существование, то разве для избранных философов, преимущественно для себя, а уже никак не для всех. Политическая реакция и квиетизм не только не пугали его, а, напротив, привлекали своим якобы все примирившим совершенством, своим спокойствием. Не надо забывать конечного пункта его усилий. В теоретической области — это было построение вселенной как единого прекрасного космоса, в практической — оправдание существующего как исторически — необходимого, как логически — неминуемого и неизбежного. Впоследствии защитники монархизма — конечно, европейского — не без удовольствия читали страницы о власти «in principe» в его «Философии права»; люди порядка и спокойствия, эти вечные поклонники выгодного для всех них status quo, во имя своих пошлых удовольствий и эгоистического торгашества, с охотой принимали учение, в котором понимание необходимости всего исключало всякую решимость действовать, личность не имела права борьбы и протеста, на всяком лежала обязанность подчиняться существующему порядку вещей и уважать его, ибо он разумен уже потому, что все сущее есть процесс деятельности разума. Люди усталые — а их в это время было куда как много — готовы были именно вследствие усталости верить, что им не надо более бороться и добиваться высших целей; что, постигая с Гегелем разумную сущность свободы, обязанности и нравственности, они тем самым уже осуществляют все это в действительности.

Понятно поэтому, что Гегель примкнул к романтизму. Если же он впоследствии и разошелся с ним, то не вследствие нравственного кризиса, потребовавшего борьбы и деятельности, а только из уважения к здравому смыслу. Романтизм выродился в бесплодное гениальничанье, в игру словами, в болезненное пристрастие ко всему чудесному, неестественному. Гегель не уходил от действительности, как романтики, он только оправдывал ее, только примирялся с нею.

ГЛАВА V

Йена. — Профессорская деятельность — Отношения к Шеллингу

Переехав в Йену, сказали мы, Гегель сразу очутился в самом водовороте германской умственной жизни. Университет, где ему приходилось начинать свою педагогическую деятельность, считался одним из лучших во всей стране; число студентов далеко переходило за тысячу, а о массе приват-доцентов мы имеем сведения, что они в одно и то же время читали по несколько параллельных курсов: до того было их много. Йена несомненно была центром, йенская философская кафедра, еще недавно занятая Фихте, обращала на себя всеобщее внимание. Сама философия обновлялась и привлекала лучшие умы. Кого из молодежи,

толпившейся вокруг кафедр профессоров и жадно ловившей несколько туманные, но казавшиеся всеобъемлющими истины, не соблазняла упроченная уже слава Канта и Фихте, чье воображение не разгоралось при взгляде на Шеллинга, *excellentissimus*³⁸, несмотря на свои двадцать пять лет, знаменитого автора системы трансцендентального идеализма, почитавшейся многими за откровение? Философия занимала все поле умственной жизни, а точная наука, несмотря на то только что сделанные ею великие открытия в области естествознания, оттеснялась на задний план, пользуясь разве уважением, к которому примешивалась доза высокомерия. Ум человеческий все еще стремился одним могучим порывом творчества объяснить себе сущее и пренебрегал усилиями скромных тружеников экспериментаторов.

Гегель, философ *par excellence*³⁹, друг Шеллинга, имевший уже у себя в чемодане черновые наброски своей системы, мог, следовательно, считать себя счастливым: перед ним открывались лучшие перспективы, а полученное недавно наследство позволяло провести несколько лет самостоятельно, без скучных обязанностей домашнего учительства, без боязни за завтрашний день. Все его силы могли найти полное применение, и он, охваченный бодрой атмосферой, на самом деле сразу бросается в борьбу. Работает он неутомимо, как прежде, но это уже не скромная работа в тиши кабинета, а настоящее дело на глазах у всей Германии, быть может, всего человечества! Сначала, впрочем, ему пришлось написать диссертацию «*pro venia legendi*», чтобы получить право читать лекции. Весь материал был уже заготовлен раньше и, поощряемый с одной стороны Шеллингом, с другой — своим собственным желанием как можно скорее добиться кафедры, Гегель в первый же год своего пребывания в Йене защищает на публичном диспуте свое «*De orbitis planetarum*»⁴⁰, где, отвергая Ньютона, обращается для своих астрономических соображений к гипотезе Платона, изложенной в «Тимее». Как истинный метафизик, он выдвигает на сцену таинственный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 28 — и определяет расстояние между планетами сообразно его указаниям. Тут отметим маленькое обстоятельство, не оказавшее, впрочем, на Гегеля никакого впечатления. Рассматривая свой таинственный ряд, он пришел к тому выводу, что между третьей и четвертой планетами не должно быть никакого тела, так как в ряду для него нет соответствующего числа. Как вдруг, почти накануне выхода диссертации, одному из астрономов удастся открыть Цереру в пустом, по указанию Гегеля, месте. Нисколько не смущаясь, Гегель остался при своем презрении к телескопу. Отметим далее, что 27 августа 1801 года происходит его «*Habilitations disputation*», то есть диспут правоспособности, на котором наш философ защищал следующие характерные для него тезисы: «Критическая философия бедна идеями и несовершенна форма скептицизма»; «Основанием нравственности должно быть уважение к судьбе». Благополучно окончив свои диспуты, Гегель в 1801 году вывесил для студентов объявление, в котором говорил, что «в предстоящий семестр им будет открыт курс лекций по философии вместе со славнейшим Шеллингом».

Оставляя в стороне вопрос о том, каков был этот курс, скажем несколько слов о впечатлении, производимом Гегелем в первые годы его профессорства. Впечатление — увы! — было не из лучших: большинство студентов решительно ничего в этих лекциях не понимало, многие должны были напрягать все свои силы, чтобы уловить хоть единую мысль в длинном и скучном ряде силлогизмов.

³⁸ Превосходнейшего (лат.). — Ред.

³⁹ Преимущественно (франц.). — Ред.

⁴⁰ «Об орбитах планет» (лат.) — Ред.

Розенкранц прямо говорит, что «на массу студентов Гегель не имел никакого влияния и его чтения были известны им лишь как редкий экземпляр полной неясности и темноты». Гегелю все давалось с громадным трудом, и сколько-нибудь сносным профессором он стал только в Берлине через двадцать лет, да и тогда он без всякого сострадания обременял своих слушателей, требуя от них самого напряженного внимания и нисколько не заботясь о том, чтобы подогреть его. Во всяком случае, большинство студентов предпочитало Фриза или других приват-доцентов, а Гегелю приходилось довольствоваться почти пустой аудиторией. Не видно, однако, чтобы это особенно смущало его, и он всегда среди молодежи был полон собственного достоинства, позволив себе пошутить всего-навсего один раз за пять или шесть лет! Но в душе, быть может, у него накапливалось неудовольствие против счастливых конкурентов, и почему бы не искать здесь, в Йене, начала столкновения с Фризом, таким же приват-доцентом, но пользовавшимся популярностью, которое впоследствии окончилось к такому стыду для нашего философа? Но это еще впереди, пока же Гегель читает свои непонятные никому лекции и напрасно старается разъяснить аудитории смысл дорогого его сердцу «Абсолюта». Увы! Этот «Абсолют», несмотря на все усилия, никак не хочет спуститься на землю и войти в головы слушателей. Из них только двое — Цельман и Сутмейер — считают себя гегелианцами и пропагандируют абсолютное, но едва ли особенно удачно.

Гегель требовал слишком многого от своих слушателей, и те совершенно основательно отвернулись от него, по крайней мере на первых порах. Он хотел, чтобы ему внимали, как пророку, принимая на веру каждую его мысль, и почитали бы за высшее счастье здесь, на земле, проникнуть сквозь колючую скорлупу формы до «мира-жеобразной» истины, как называет ее Гайм. Впоследствии Гегель действительно добился этого и имел в своем полном распоряжении целую аудиторию, не смеющую дохнуть, чтобы не упустить какого-нибудь самого незначительного звена в бесконечно долгой, диалектической цепи. Но для йенских слушателей эти требования были преждевременны. Отметим при этом любопытную черту деспотизма мысли, которая так рано проявилась у нашего философа. Он твердо, безусловно был убежден, что каждое слово, исходящее из его уст, есть нечто подобное откровению, что основные принципы его системы ни в каких доказательствах не нуждаются, что кто не понимает его — тот полуидиот, пошляк, «тривиальный ум, опошлившийся от собственной тривиальности». Гегель всегда считал свое дело оконченным, раз ему удавалось изложить какой-нибудь вопрос, но он нисколько не заботился о том, чтобы сделать это изложение доступным. Для этого он как будто слишком презирал своих слушателей. Не только заискивать перед ними, но даже снисходить к слабости их понимания он не считал нужным. Свои редкие разъяснения он давал всегда почти «с усмешкой», с легким отвращением, подчеркивая при этом, что если он и делает это, то только ввиду умственного убожества других. Единственно подходящими для него учениками были рабы, «с испугом замечавшие свое случайное, мгновенное понимание», не только не спрашивавшие «почему», но и не смевшие сделать это.

Очаровывая людей всеохватывающим гением своей мысли, Гегель в душе достаточно презирал их. Эту черту можно рассмотреть в форме его чтения. «На профессорском кресле, — по словам его ученика Гото, — как бы с неохотой отделяя каждое слово, каждый слог, беззвучно и со швабским произношением (от которого, кстати сказать, он никогда не хотел отделаться) ставил он особо каждое предложение, беспрестанно кашляя и отхаркиваясь и беспрестанно перелистывая огромные тетради». Для того, чтобы нашлись преданные слушатели, надо было

предварительно внушить, что все сказанное исходит от истинного гения. В Йене же, повторяем, этого условия не было.

К своим читателям, к своим слушателям Гегель не снисходил никогда. Он пренебрегал всеми общедоступными и элементарными приемами, чтобы стать понятнее хоть на йоту. Все равно как один немецкий математик на вопрос, почему он не публикует решения одной важной геометрической проблемы, презрительно отвечал: «А пускай добиваются сами, если хотят», — так, в сущности, поступал и Гегель. «Понимайте, когда можете», — как будто говорил он своим слушателям, нисколько не заботясь о том, что их головы полны противоречиями и недоумениями. Иногда он даже как бы нарочно сгущал туман, играя словами и разрешая себе настоящие логические фокусы. Во множестве мест «Феноменологии духа», «Философии права» и позднейших курсов Гегель беспрестанно переходит от отвлеченной формулы к ее действительному содержанию, приписывая отвлеченной мысли все свойства действительности, то есть факта, допуская для действительности всю гибкость и все перемены мышления. Но нигде он не говорит, какую часть его суждений должно понимать как допускаемую только для процесса мышления и какую для мира действительного. От этого читатель и слушатель находятся в беспрестанной опасности впасть в ошибку, принять одно за другое, приложить мысль в случае, где она не прилагается. Отсюда бесконечные споры о том, как следует понимать и к чему относится то или другое выражение. Своего основного положения (истину должно рассматривать не только как сущность знания, но и как существо знающее, то есть что мыслимая и действительная природа отождествляются с мыслящим духом) Гегель не доказывает нигде. Но из него выводились все следствия, во имя его обрушивались громовые критики на отсталых мыслителей, всякое сомнение в этом случае считалось непониманием, полуидиотизмом. Гегель в своей полемике никогда не становится на точку зрения противника. Как в критиках, писанных им вместе с Шеллингом в Йене, так и позже, он не признает права противника удерживать хоть временно свое воззрение, но опровергает возражения во имя тех самых начал, которые заподозрены.

Это ли не деспотизм мысли! Гегель и сам иногда признает трудности своей системы и говорит, очень редко, впрочем, что для обыкновенного понимания некоторые его положения могут показаться странными и невероятными, что, пожалуй, их могут принять за шутку. В таком случае он «снисходит», дает кое-какие пояснения, предварительно заметив, однако, что для «философского понимания» все это ясно и понятно, как дважды два...»

Но обратимся к его пребыванию в Йене.

Гегель встретился с Шеллингом как старый приятель и оба они поселились на одной квартире. У них были общие знакомые, оба участвовали на каких-то еженедельных философских обедах и оба ближе всего стояли к кружку романтиков. Если Шеллинга влекли в этот кружок не только общность убеждений, но и более нежная приманка в лице Августы Бемер, шестнадцатилетней красавицы, дочери А. Шлегеля, то Гегель, по-видимому, бескорыстно наслаждался обществом интеллигентных людей, слушая парадоксы Фридриха Шлегеля, добродушные замечания его любовницы Доротея, всегда остроумные и язвительные речи «сплетницы» Каролины, жены старшего Шлегеля, и т.д. Тут же, в Йене, Гегель близко сошелся с профессором Нитхаммером, другом Фихте, слегка познакомился

с Гёте и еще с кое-кем. Но на первых порах дружба с Шеллингом заслоняла все другие отношения. В эти дни неуверенности в себе, незнания себя в нем было столько бескорыстия, что совершенно свободно и искренне он отождествил философию Шеллинга со своей собственной и нисколько не усомнился выразить свои самостоятельно выработанные убеждения в простых и прозрачных формулах Шеллинговой «системы тождества».

К Шеллингу в это время он относился как друг, увлекался блеском его гения, старался проникнуться его взглядами и «радостно» воспринимал их в себя, как такие, которые дают ясность и твердость его собственной, слишком медленной и темной мысли. Он видел, что система Шеллинга во многих отношениях его собственная, но свою, по крайней мере в это время, он не мог выразить с таким блеском и такой конкретностью. Поэтому-то он и увлекся, увлекся как человек, лишенный дара слова, увлекается оратором, излагающим его собственные мысли. Шеллинг подсказывал ему то, что в неясных и запутанных образах копошилось в его собственной голове, чего он не решался высказать по своей слишком уж большой медлительности и осмотрительности. Гегель — и в этом особенность его гения — никогда не мог выразить только мелькнувшей мысли; чтобы сделать это, он предварительно должен был найти ей место во всей системе, связать ее с мириадами других мыслей. Шеллинг же был смелее; Шеллинг «учился на глазах у публики» и всегда гораздо более заботился о новизне, оригинальности, чем об обстоятельности. Поэтому-то он и дал Гегелю готовую форму, куда на первый раз могла, по-видимому, вложиться и собственная система последнего. Оба действовали искренне, но Гегель впоследствии, слишком много говоря о своих разногласиях с философией Шеллинга, чересчур мало останавливался на том, чем он был обязан своему другу. А эти обязательства громадны, их можно сравнить лишь с обязательствами Платона перед Сократом и Аристотеля перед Платоном... Шеллинг объяснил Гегелю его самого.

Шеллинг — блестящий писатель, блестящий оратор, блестящий талант вообще. Двадцати пяти лет он пишет уже свою систему трансцендентального идеализма и после Канта и Фихте становится первой знаменитостью Германии. Он работает порывами, свободно отдаваясь стремлению своего творческого духа, не боясь особенно противоречий, не особенно заботясь о том, чтобы придать цельность и строгую форму своей системе. Его философия блещет молодостью, изящной оригинальностью мысли, поэтическими обрезками, полной верой в самого себя и свои силы. Если метафизика вообще близка к поэзии, то насчет Шеллинга совсем трудно сказать, где начинается одна, где кончается другая. Очень сильный логический ум, Шеллинг, однако, не пользуется в полной мере своей замечательной способностью выматывать нить аргументов; он предпочитает сразу забрать читателя в свои руки, сразу поразить его воображение, а затем уже совершенно просто и свободно приковывает его внимание своими блестящими парадоксами, своим аттическим остроумием и особенной способностью вводить читателя во все тонкости своего настроения, сначала веселого, жизнерадостного, полного юношеского задора и увлечения, потом — меланхолического и даже траурного. В этом отношении Шеллинга можно назвать вполне поэтической натурой. Его богатая творческая фантазия не особенно долюбивает усидчивую работу, он всегда предпочитает угадывать, вместо того, чтобы добираться до вывода путем медлительных и терпеливых усилий. В этом заключалась та особенность его натуры, которая помогла впоследствии Гегелю совершенно оттеснить его на задний план. Он всегда слишком надеется на свой гений, на свою удивительную способность делать самые разнообразные и остроумные сближения, скорее подчинять себе ум читателя, чем руководить им. Достаточно было Фихте в одной

газетной рецензии и коротенькой брошюрке намекнуть на принцип своей философии, как Шеллинг уже на лету подхватывает его, делает из него самые разнообразные выводы и обращает его в свою собственность. То же и еще более любопытное происходит впоследствии с естественными науками. С прозорливостью гения Шеллинг видит, что обновление философии должно явиться оттуда, из этой медленно нарастающей груды фактического материала.

Полный веры в самого себя, он набрасывается на нее и, нисколько не смущаясь разрозненностью материала, тогда еще совершенно не обобщенною, создает целую натурфилософскую систему. Блестящие открытия Гальвани, Вольты, Пристли, Кавендиша, Лавуазье завладевают его воображением. Но отнюдь не думает он идти по пути этих скромных тружеников. Презирай факт, Шеллинг верует лишь в силу дедукции, исходящей из немногих непреложных принципов. Двух-трех лет отрывочных занятий естествознанием оказывается достаточным, чтобы построить философию природы. Перед нами настоящая геометрия: сначала аксиомы, на доказательстве которых Шеллинг не считает нужным останавливаться, затем теоремы и леммы. Факты приводятся в виде иллюстраций. О едва известном в то время электричестве, гальванизме и прочем толкуется, как о каких-нибудь проблемах логики; исследования нет — везде господствует силлогизм; опытная физика отсутствует, вместо нее — физика умозрительная.

Но в характере Шеллинга была и другая черта, не менее поучительная, которая, развившись, к бесплодным умствованиям его философии прибавила еще и бесплодно проведенную жизнь. Я говорю об отделении от действительной жизни, о полном пренебрежении к ее практическим задачам и требованиям. В этом случае Шеллинг действует сообразно духу времени; он — одна из бесчисленных жертв этого убийственного разлада между внутренней природой человека и внешними условиями его жизни. Все равно как Гёльдерлин сошел с ума, Фридрих Шлегель перешел в католицизм, так Шеллинг закончил мистицизмом. С этой точки зрения его биография особенно поучительна. Уже в юные годы, после кратковременного увлечения революцией и борьбой с теологами, превратившими Канта, основной заботой Шеллинга становится забота о примирении с жизнью. На языке того времени примириться с жизнью — значило отказаться от нее. Всего 25 лет от роду (1806 год) Шеллинг, по словам Гервинуса, уже смотрит на мир сквозь тусклые очки какого-то высшего презрения к действительности, равнодушия и пренебрежения к ней. Натура страстная и впечатлительная, но не особенно глубокая — Шеллинг односторонне воспринял в себя лишь малодушное направление своего времени, ту обидчивость, которая возникала в душе от столкновения со слишком пошлой действительностью. В 1809 году, когда верующему, по крайней мере страстно стремившемуся к вере в возрождение народа, Фихте казалось, что в Германии укрепляется общественный дух, Шеллинг уже преднамеренно закрывал глаза перед современной историей, называл характер новейшего времени идеалистическим и утверждал, что «господствующий дух времени есть стремление к внутренней сосредоточенности». Он ожесточенно ненавидел век просвещения и рационализм, считая его виновником революции, и с усмешкой посматривал на свои молодые годы, когда он не особенно, впрочем, серьезно думал практически помочь людям и сажал вместе с Гегелем деревья свободы. Теперь же, оставив свои мечты о спасении людей, Шеллинг стал исключительно заботиться о том, как бы самому спастись от жизни.

Таков был Шеллинг. Легко понять, как его богатая творческая фантазия благотворно действовала на Гегеля. Слушая его, Гегель понял самого себя и с воодушевлением работал возле него. Философию Шеллинга он называл «нашей философией», в защиту ее друзья издавали вместе резко полемический журнал, являясь перед публикой одним лицом, так как, по примеру Шиллера и Гёте в «Ксениях», они не подписывали своих имен под отдельными статьями. Этот йенский период — расцвет дружеских отношений между обоими философами, причем трудно даже сказать, кто получал больше выгоды из товарищества. У нас нет данных, чтобы решить вопрос, любили ли они друг друга, по крайней мере любовь и дружба первых лет никогда не достигали той интенсивности, какой достигла впоследствии их взаимная неприязнь, а со стороны Шеллинга, как мы увидим, даже ненависть. В том же периоде, о котором мы говорим (1800—1803 годы), Шеллинг покровительствует своему приятелю, считает его преданнейшим своим учеником, взваливает на него всю черную работу по изданию журнала и не замечает, что под тенью его собственной системы вырастает другая, более мощная, более наукообразная — система Гегеля, которой суждено было одержать такую полную победу над лучшими умами целого поколения. Но пока никакое предчувствие не тревожит Шеллинга. Гегель для него «lieber Freund» — дорогой друг, и нет еще намека, что lieber Freund превратится в «den Alten von Berge» («старика горы») и «Haupt der Assassinen», то есть в предводителя убийц или попросту разбойника, «укравшего мои философские принципы!...»

Но заключим эту главу еще несколькими фактами из биографии Шеллинга. Она полна не только психологического, но и исторического интереса; если угодно, ее можно закончить нравоучением: «Не уходи от жизни, так как за это ты будешь всегда наказан». И наказание, выпавшее на долю Шеллинга, особенно сурово. Гений, погрязший в счетах личного самолюбия, блестящий ум, запутавшийся в парадоксах и словесных построениях, горячее смелое сердце, закончившее свое поприще в полном отречении от мира, пожалуй, ненависти к нему — таков Шеллинг к сорока годам своей жизни, в полном расцвете сил и дарования. Обиженный скверной действительностью, ее филистерством, тупоголовым самодовольством маленьких людей и всеобщим боязливым лицемерием, Шеллинг попытался найти свое счастье в мире идей. Он повторил попытку Дедала взлететь в страну эфира и солнца, но и его крылья оказались восковыми. Кроме общих исторических причин, заставивших Шеллинга, как и многих других талантливых людей того времени, искать примирения с жизнью вне ее конкретных условий, и в сфере его личного существования были обстоятельства, предопределившие, так сказать, его трагическую участь. Ранняя смерть сначала невесты (Августы Бемер), потом горячо любимой жены развила в нем болезненную склонность предаваться внутреннему созерцанию и в нем находить утешение от неудач и разочарований действительности. Появление на сцену Гегеля, неудачная конкуренция с ним из-за славы, из-за влияния только помогли психологии Шеллинга обратиться в психологию обиженного человека; скромный, терпеливый друг, писавший когда-то такие почтительные комплименты, оказался на недостигаемой высоте славы и земного величия, а блестящий, возбуждавший такие надежды Шеллинг, признанный Гёте и Фихте за истинного философа, должен был ограничиваться уважением специалистов. Жизнь слишком долго ласкала Шеллинга, чтобы он мог примириться с такой развязкой. Судя по своим первым успехам, слишком хорошо зная неотразимую силу своего таланта, он смело мог рассчитывать на то, что ему, а никак не Гегелю, обеспечены новые лавры и предстоит впереди еще более блестящая карьера. Он мечтал о единовластии в умственной жизни, что можно заключить уже по презрительному тону, с которым он обращался к своим

противникам. Но судьба решила иначе. Чернорабочая упрямая натура Гегеля, выступив на сцену после долгих, даже утомительно долгих ученических лет, оказалась более мощной, более серьезной, чем эфемерная талантливость Шеллинга. И друзья стали врагами столько же из разногласия в области философских убеждений, сколько из-за соперничества, из-за желания занять первое место в области мысли. Гегель победил. Он стал духовным вождем и жрецом современности, в то время как Шеллинг добился только академических лавров. Чем победил Гегель? Конечно, вложенной в него терпеливой и настойчивой силой, приготовившей такой прочный фундамент для его системы. Блестящий, слишком легко воспламенившийся и недолюбливавший серьезных предварительных работ, ум Шеллинга поневоле должен был уступить этому гиганту логики, закованному в тяжелую броню всех современных ему знаний. Как ни остроумны, ни поучительны чтения Шеллинга о методе университетских занятий, тем не менее они не могли утолить своими блестящими общими местами жажду к истинной науке, которую они сами же возбуждали. В дальнейших произведениях Шеллинга произвол заступает уже место мысли, смелость — место доказательств. Это — чистые импровизации фантазии, случайно попавшие в область науки... Игра в формализм, философия тождества (тождество — основной принцип системы Шеллинга) была доведена до невероятного легкомыслия, и в своих учениках Шеллинг развивал страсть к остроумным построениям, и произвольностью своих выводов и положений прямо вел их к теософии и мистицизму.

По своей натуре Гегель был далек от этой гимнастики мысли, разрешавшейся жонглированием и остроумными фокусами. Стоило ему только отделаться от непосредственного влияния блестящей и талантливой личности Шеллинга, как в нем опять пробудилась трезвая рассудочность и неумолимая логичность. Он ясно видел, к чему ведет гениальничанье Шеллинга, и отшатнулся от него, почувствовав, что у него под ногами есть своя собственная почва. И победа не могла не очутиться в его руках: афоризмы Шеллинга приковывали воображение, диалектика Гегеля всецело овладевала человеком и обращала его в преданнейшего раба...

Шеллинг не вынес этого удара или, вернее, бесчисленных ударов, нанесенных ему Гегелем. Его самолюбие было оскорблено до глубины, и эту обиженность личного самолюбия слишком ласковой и льстивой к себе натуры Шеллинг перенес во взгляды на жизнь вообще. Насквозь проникнутый реакционными воззрениями, он, однако, отрицал и саму реакцию. Всю современность, какой бы она ни была, он ненавидел и презирал, как что-то такое, что своей суровостью оттолкнуло от себя его нежную и поэтически настроенную душу. Он не встал на сторону прогрессистов и не погиб вместе с ними, он не сумел явиться оракулом реакции, как это сделал его бывший друг. Капризно и малодушно оставил он борьбу с жизнью после первых же неудач и удалился в себя. В нем развилось какое-то *taedium vitae*⁴¹.

Любопытно для полноты картины посмотреть на последние усилия и последние скачки его отрывочной, но все же гениальной мысли.

От беспокойной деятельности окружающего мира Шеллинг удалялся мыслью в первобытные времена, как Гёте на далекий Восток, как Шиллер в мир отвлеченных идеалов и несуществующей гармонии. Жертва реакции, он настолько проникся ее духом, что отказался даже от мнения, господствовавшего среди рационалистов, будто человечество постепенно возвышалось от темного

⁴¹ Отвращение к жизни (лат.). — Ред.

инстинкта до разумности, будто нельзя указать пределов человеческому развитию, как учил Кондорсе. Он думал наоборот, что «люди значительно и всесторонне понизились сравнительно с первобытным своим состоянием, ибо в то время в их воспитании принимали участие высшие существа из породы духов».

После этого золотого века, когда хрустальные мосты были проложены между землей и небом, началось постепенное падение в темную пропасть, и небо отказалось от земли. Чтобы вернуть прошлое, нужны учителя, которые сознательно стремились бы к восстановлению первобытного совершенства и чистоты. И Шеллинг берет на себя роль такого учителя, охотно вместе с тем протягивая руку мистицизму. Даже саги древней мифологии о богах и полубогах он принимал за подлинные исторические факты. Он кончил мистицизмом и каким-то обидчивым, полным ненависти и раздражения отношением к людям. По его доктрине, мир не есть творение Божества, а лишь отпадение от него. Человечество страдает за совершенный им грех, и тоном аскетов XIV века Шеллинг предписывал людям умерщвлять себя для внешнего мира и восстанавливать нарушенное общение с Божеством.

Вот маленькая сценка из последних лет жизни Шеллинга, сообщаемая одним из наших соотечественников: «Я долго искал его в Мюнхене, так как мне сказали, что он живет там. Но, несмотря на все усилия, я не мог найти его. Случайно как-то я попал в Байрейт и с удивлением встретил Шеллинга на улице, торопливо пробирающегося по улице с толстой суковатой палкой в руках. Какое-то отчаяние и беспокойство выражалось на его старческом лице. Старомодный костюм, высохшая, истощенная фигура — произвели на меня такое впечатление, как будто я увидел перед собой выходца из другого, давно миновавшего времени. Квартира его была тайной для всех, так что, будучи даже с ним в одном и том же городе, я все же не мог отыскать его. Да и к чему?»

Итак, Гегель победил.

ГЛАВА VI **Философия и публицистика**

Тут наши биографы, Гайм и Розенкранц, подошли наконец к созданию системы. Гегель-человек совершенно поглощается с этой минуты Гегелем-философом, и его личная жизнь исчезает за геометрически правильными построениями его мысли. «Система» занимает всю сцену; перед нами ее развитие, ее постепенное нарастание, ее диалектические, логические и иные кризисы, в промежутках между которыми Гегель как бы впопыхах успевает есть, пить, спать, рассориться с Шеллингом, жениться и пр. С точки зрения биографов, все это недостаточно важно и даже как будто унижительно для такого мыслителя, как Гегель. Почтительный Розенкранц, впрочем, не так уж строг и не осмеливается пропустить ни одного из известных ему фактов, но в представлении Тайма Гегель, очевидно, обращается в какую-то логическую машину, вытягивающую бесконечно длинную диалектическую проволоку из куска стали. Передавая редкие факты, Гайм торопится и будто даже просит у читателя извинения за то, что осмеливается остановить его внимание на таких незначительных вещах. Возле «Системы» сосредоточивается весь его интерес, а биография Гегеля является предметом как бы совершенно посторонним. Конечно, и такая точка зрения имеет право на существование. Что нам за дело до

того, в каком камзоле ходил Гегель, как он любил, как занимал у Гёте по три или четыре рубля на пропитание, вел тетради, в которых очень обстоятельно записывал все истраченные им пфенниги и крейцеры на табак (er schnupfte sehr stark), молоко, масло и редкие бутылки вина, как, наконец, совершил он некрасивые в нравственном отношении вещи.

Точка зрения «procul profani!»⁴² имеет, конечно, свое основание особенно в наше время, когда маленькое самолюбие и лилипутское тщеславие находят свое удовлетворение в мысли, что и «великие люди, по тщательном рассмотрении, оказываются маленькими и лилипутообразными». «Бэкон брал взятки. Платон ездил на поклоны в Сицилию, Декарт струсил перед Сорбонной» — думает лилипут и радуется, так как это для него понятно и сам бы он с удовольствием проделал то же самое. Иногда даже проявляется особенное наглое пристрастие к развенчанию всяких гениев, придирчивое отношение к фактам их личной жизни, выискивание всяких некрасивых подробностей, и надо прямо сказать, что подобное сыщицкое отношение к земному величию прямо отвратительно. Из того факта, что Бэкон брал взятки, никак ведь не следует, что его «Novum organon»⁴³ — «подлая вещь», и буржуазно-добродетельному лилипуту, несмотря на всю его добродетель, несмотря на то, что и ко взяткам-то он относится с самым искренним негодованием и в рот не берет хмельного — никогда ничего подобного не сделать. В оценке великих людей точка зрения личной их роли должна отступить перед точкой зрения той пользы, которую они принесли человечеству.

Конечно, наше нравственное чувство оскорбляется, встречая в земных кумирах недочеты, недостатки, уклонения от пути добродетели. Кто бы не пожелал соединить в одном лице смелость Галилея и силу мысли Декарта; кто бы не преклонился перед Бэконом, будь он хоть немного похож на Спинозу или Джордано Бруно в нравственном отношении, но если мы и правы в душе, требуя от человека не только силы мысли, но и нравственного величия, все же отсутствие последнего, слишком, к сожалению, частое, не должно закрывать наши глаза перед заслугами гения. Мы можем отнять от него свою любовь, но малодушно отвернуться от его заслуг, так как он брал взятки, или а la Вольтер приравнять Людовика XV к Траяну — было бы несправедливостью. Гений, берущий взятки или ползающий ради какой-нибудь ленточки, может обижать нас, но есть пределы этой обиженности, все равно как есть пределы восторгам перед скромной добродетелью и незаметным существованием без всяких уклонений с пути. Нет никакой возможности быть пуристом и отвергать величие во имя недочетов нравственности. Это слишком односторонне, но и другая противоположная точка зрения несправедлива; нельзя рассматривать только общественные заслуги, нельзя забывать, что истинно человеческая личность должна быть нравственно велика.

Какое же право имеет Гайм отделяться пятью-шестью анекдотами, раз биография Гегеля принимает нравственно несимпатичный оттенок. Это тем невозможнее, что Гегель был не только философом, но и настоящим практическим деятелем, вождем современности столько же в ее теоретическом, сколько и в практическом отношении, и игнорирование фактов интимной жизни Гегеля заставляет Тайма прибегать к слишком натянутым толкованиям неблагоприятных поступков его. Кроме развития системы, в жизни Гегеля есть еще другой факт: эта система становится ортодоксальной с точки зрения департамента берлинской

⁴² «Прочь!», «отбросить прочь!» (лат.); имеется в виду точка зрения, что не нужно рассматривать бытовые факты — Ред.

⁴³ «Новый органон» (лат.). — Ред.

полиции, и нам, под одним неперенным условием — не забывать величия Гегеля как мыслителя, нечего остерегаться, нечего прятать и затушевывать грустные факты.

Но сначала несколько слов о самой системе.

Несомненно, что она была продуктом ума первой величины. Если исключить Аристотеля, то никогда, ни до, ни после Гегеля, ум человеческий не задавался такой грандиозной задачей, как свести все факты жизни к одному общему началу и сковать все разнообразие явлений цепями самой строгой, могучей диалектики. Для Гегеля не существует факта, на котором он остановил бы свое внимание как на отдельном феномене, — он всегда рассматривает факт в связи со всей вселенной и не успокаивается до той поры, пока не найдена связь, пока факт не исчез как индивидуум в общем потоке мироздания. Философия Гегеля — это энциклопедия всех наук, стройная система, в которой нашла себе место вся совокупность человеческих знаний. Перед нами не юрист, не филолог, не естествоиспытатель, даже не философ, а нечто большее — гений, попытавшийся ответить сразу на все религиозные, нравственные, политические вопросы человечества, найти разрешение всем загадкам, тревожащим наш ум со времени мироздания, и охватить человеческую жизнь не только в теоретической области, но и в практической сфере его деятельности. В системе Гегеля человек нашел свое место в природе, обществе, государстве, семье. Его система не синтез знания, а синтез жизни вообще. Оттого-то некоторые присваивают ей эпитет «религиозной». И, действительно, она была истинной религией разума.

Чтобы понять ее, надо знать ее исходную точку. Этой исходной точкой было созерцание вселенной как единого прекрасного целого, в котором нет ничего непримиримого, нет даже борьбы, а есть только развитие, постоянный переход одной формы в другую. Свой идеал жизни, выработанный на изучении греческих образцов, идеал чисто эстетический, Гегель перенес и на свою систему. Ему хотелось представить в ней все существующее, всю вселенную, как единицу, как одно гармоническое целое, как организм, проникнутый и одушевленный одной жизнью, и представить ее так, чтобы всякий не только понял, но и живо почувствовал всю красоту и прелесть этого дивного космоса. Гегель приступил к развитию своей системы после основательного изучения науки, обстоятельно усвоив себе большую часть современных ему знаний и исследовав состояние и положение общества, среди которого он жил. Он обращался к своей системе с чисто научными требованиями. Как безусловный философский догмат разъяснял он единство и тождество всего существующего, но в то же время с чрезвычайным напряжением всех психических сил старался обнять мыслью связь всего и показать, в чем именно заключается и состоит это единство, чем одно явление соединяется с другим, что в каждом из них есть общего; хотел постигнуть и уразуметь процесс, посредством которого все развивается одно из другого, подметить общий жизненный элемент, который проникает и одушевляет все. И это нужно было сделать так, чтобы тут не явилось ничего произвольного, тем более нелепого или несообразного, отчего с отвращением отвернулась бы человеческая мысль; чтобы везде были доказательства или хотя соображения и догадки, обязательные для мысли и удовлетворяющие ее. Признайте только нигде не доказанное, а только высказанное и в сущности нелепое положение, что все сущее есть логическое понятие, как это сделал наш философ, и для вас не будет существовать никаких вопросов. Раз Абсолютное (всё) есть бесконечно диалектическое, то оно может

возникнуть и развиваться лишь по программе Гегеля. Он не объяснил мироздания, но создал новый мир — мир, где все стройно, законосообразно, логически необходимо. Он действовал не как естествоиспытатель, "а как поэт и художник. Он создал свою геометрию, но эта геометрия неприменима к нашей земной вселенной; это, если угодно, геометрия псевдосферы, четвертого, пятого или какого там измерения. Система Гегеля не объясняет нам в действительности ни одного закона или явления природы, а только законы мысли.

Вся она построена на понятии Абсолюта и представляет историю его развития. Этот Абсолют — разум, стремящийся к самопознанию.

Пройдя различные стадии, начиная с низших, Абсолют воплощается наконец в человечестве. И Гегель дает нам стройную картину его истории. Вся история вытянута в струнку. Каждый народ в свое время является воплощением Духа, который и пользуется им, его жизнью, для достижения своей цели: реализации свободы и самосознания. Всемирная история начинается на Востоке, там детство человечества; там есть идея свободы, но эта свобода признается только за одним. Греция уже знает свободу некоторых. В ней проходит юность человечества. Это время прекраснейшего, но скоропроходящего расцвета. Римское царство есть зрелый возраст истории. Здесь индивидуумы приносятся в жертву всеобщей государственной цели, но взамен этого, в силу образования частного права, они получают личность. Но только германский мир знает, что свободны все.

Его история — завершение истории человечества. Только в нем осуществляется цель всемирной истории, то есть реализация понятия свободы и самосознания. Но это лишь общая картина. Гегель стремится к тому, чтобы в своей системе объединить все знания, все верования, все стороны жизни человека. В «Феноменологии духа» перед нами формы развития человеческого сознания, история образования индивидуального духа, ее связь с историей духа всеобщего, абсолюта. В «Логике» изложен знаменитый диалектический метод, который и есть закон развития всего. «Энциклопедия философских наук» объединяет современные Гегелю знания с точки зрения его принципа. Мы имеем еще философию права, религии, искусства, истории, чтения по истории философии. В этих чтениях разработаны между прочим и практические вопросы жизни человека, его поведения, его отношения к семье, государству и проч.

Нам понятны теперь отчасти как величие системы Гегеля, так и тайна его успеха. Он давал человеку ответ на все вопросы: это наибольшее, что может сделать не только философия, но и религия. Но обратим внимание и на другое обстоятельство. Гегель, что бы ни означали его уклонения, воспитывал юношество в религии разума. Никогда не забывал он вполне обещания, данного им Гёльдерлину еще в молодые годы: «Жить лишь для свободной истины, никогда не заключать мира с постановлениями, определяющими, что должно думать и что должно чувствовать». «Разум есть высший орган понимания, сама жизнь есть деятельность разума». Всемирная история являлась для него реализацией понятия свободы. Он оправдывал догматы заключенным в них философским содержанием и тем приучал искать в них только философское содержание. Тысячи молодых людей старались проникнуть в таинственные термины новой религии, основным требованием которой было: «Все надо понять, все надо объяснить». Среди диалектических тонкостей нередко мелькали мысли, которыми Гегель умел так глубоко проникать в сердца своих слушателей, и под влиянием этих мыслей росла вера во всемогущество разума, строящего государства и религии, а следовательно,

и разрушающего их. Росла мысль слушателей, росла их жажда исследования и жажда истины, переходя через все явления природы и духа. И вдруг под спокойной пеленой отвлеченного мышления, которое, по-видимому, удовлетворялось само собой, зашевелилась критика. Шумно вырвались на волю молодые гегелианцы. Разум в их руках был всеразрушающим мечом, перед которым рухнули самые крепкие предания. Фейербах провозгласил поклонение человеку. Общественная мысль крепла прямо под влиянием философии Гегеля, и когда старик Шеллинг, после его смерти, взошел на берлинскую кафедру со словами отступничества и мистицизма, он встретил грозную фалангу людей, выросших с верой в разум и преклонявшихся перед ним одним. «Гегель был камень Кроноса», — сказал один из его последователей. «Философия Гегеля не знала никакого мистицизма, а его диалектика служила реакции, как могучий Геркулес служил ничтожному Эвмену, в душе презирая его и чувствуя себя бесконечно выше».

Только с этой точки зрения нам и понятно появление так называемого левого, то есть радикального гегелианства.

В 1803 году Шеллинг уехал из Йены в Вюрцбург, и с той поры Гегель начинает серьезно задумываться над мыслью, как бы и ему перебраться из этого города. Йена «*tantorum virorum orba*», то есть «осиротевшая после стольких мужей», потеряла для него всякую привлекательность. К тому же, заставляли призадумываться и денежные обстоятельства. Получая по 1 1/2 талера с каждого своего слушателя, Гегель решительно не имел чем жить. Отцовское наследство приходило к концу, и в перспективе была если не голодная смерть, то голодное существование. Молодой бедный профессор, сосунувшимися щеками, в коричневом сюртуке, запачканном табаком, в скромном помещении из двух комнаток, поддерживаемый только верой в свой гений, — таким представляется нам Гегель в это время. Зачастую ему приходится сидеть совершенно без гроша; он вынужден даже обращаться за помощью к Гёте, который ссудил его шестью талерами на пропитание. К 1805 году относится почтительнейшее прошение, написанное им «к начальству», где Гегель, указывая на свои заслуги, покорнейше просит назначить его экстраординарным профессором. Начальство снизошло к его просьбе, но — увы! — наградило лаврами без карпов: Гегель получил экстраординатуру только без жалованья. В его письмах за это тяжелое время то и дело звучит почти отчаянная нотка. Он не знает, что делать, как справиться с этими ужасными материальными затруднениями, несмотря на всю скромность своих требований от жизни. Он обращается к Нитхаммеру, Шеллингу, самому Гёте, и все эти обращения сводятся к одному и тому же: «Помогите!». Он думает о кафедре в Гейдельберге, о кафедре в Эрлангене — о какой угодно, лишь бы избавиться от постоянного, проклятого дефицита. Вместе с тем, он горд, с одной стороны, как профессор философии, с другой — как представитель величайшей науки, науки всех наук, избранным жрецом которой он считает себя самым искренним образом. Надо вчитаться в его письма в это время, чтобы проникнуть в его обиженную и вместе с тем гордую душу. Очевидно, что ему совестно просить и совестно постоянно надоедать своим приятелям рассказами о материальных затруднениях, в которых как будто отражается краска стыда, покрывающая его щеки в эту минуту, говорит он о талерах, крейцерах и пфеннигах, стараясь спрятать их за философскими рассуждениями. Боязнь перед завтрашним днем и гордость великого человека, инстинктивно верующего в свой гений, борются в нем ежеминутно, придавая его переписке вообще несвойственный ей нервный

и отрывочный характер. В душе он, по-видимому, твердо убежден, что он, Hegel, prof. der Philosophie, имеет твердое, неотъемлемое право на жизнь, а между тем действительность в образе проклятого дефицита ежеминутно опровергает это положение и рисует какие-то скверные перспективы заброшенности, голодовки, невозможности довершить до конца начатое, несомненно великое дело создания своей собственной системы. В области идеи, в области философской мысли Гегель уже примирил все. Он искренне веровал, что вселенная прекрасна, что она — одно гармоническое целое, единое дыхание вечно живущего духа. Но как в этом прекрасном целом найти место Вильгельму Фридриху Гегелю, экстраординарному профессору Йенского университета, не получающему ни гроша, кроме скромных поощрений от своих ближних?

Конечно, этот вопрос принадлежит нам, а не самому Гегелю. Он был слишком раб своей логики, своей мысли и идеала, чтобы заподозрить его истинность. Ни в эту, и ни в какую другую эпоху его нимало не тревожит противоречие между личным несчастьем и гармонически прекрасной вселенной. Он как будто не видит этого противоречия, и даже факты его собственной жизни, достаточно внушительные с нашей точки зрения, проходят для него как бы совершенно незамеченными. Будь на месте Гегеля живой, чувствующий человек, этот тяжелый период собственной голодовки и унижения своего отечества, завоеванного французами, должен бы послужить стимулом и для философского кризиса. Но с Гегелем этого не случилось. Гегель голодает, французы бомбардируют Йену, дефицит растет, «отечество перестало существовать», а Гегель пишет свою «Феноменологию духа», где доказывает, что «весь беспредельный прекрасный мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи, проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии».

Повторяю, непонятное для нас, с точки зрения практически мыслящих и чувствующих людей, и составляет индивидуальность Гегеля. Поставьте на его место живого, мучающегося страданиями ближних своих человека, и он сразу перевернет всю систему не в ее диалектических основаниях — это и Гайм может сделать, а в ее практических, всегда примиряющих выводах. Возьмите Белинского. Он тоже был гегелианцев, и даже самой чистой воды. Он тоже находил счастье в созерцании мира как единого прекрасного космоса и забывал не только себя, но и людей вообще ради таинственного абсолюта, однако, когда в нем заговорило ободрившееся сердце, когда деятельная любовь к людям проснулась в его благородном, измученном сердце, он, хотя и в шутиливой форме, нанес всему гегелизму и всем гегелианским мудростям неотразимый удар. В письме Боткину он пишет: «Ты, я знаю, будешь надо мной смеяться; но смейся, как хочешь, а я — свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб всего мира. Мне говорят: "Развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом; плачь, дабы утешиться; скорби, дабы возрадоваться; стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься — падай, черт с тобой, таковский и был сукин сын!" Благодарю покорно, Егор Федорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне удалось влезть на высшую ступень развития, — я и там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих собратий по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может

быть — это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».

Для всех этих жертв дисгармонии Гегелю не было ни малейшего дела. Если личные неудачи раскрывали сердце Белинского для любви ко всем ближним, всем обездоленным, то в Гегеле они, напротив, развили и так уже бывшие в нем душевную сухость и скрытое высокомерие. Он голодает и пишет книгу, где рассматривает мир с точки зрения эстетического фатализма. В сотне страниц нет ни одной протестующей строчки. Все чинно, благородно, гениально. Ни на минуту не забывается, что «*reverentia fato habenda est principium scientiae moralis*» («уважение к судьбе есть основание нравственности»). Всяко бывает, и это, если угодно, понятно. Удивительно, конечно, как это голодающий человек находит вселенную прекрасной и гармоничной, не находит в ней ни одной темной черточки, но — всяко бывает. Есть, однако, и непонятные вещи.

Австрия покорила французскому оружию в 1805 году, а Пруссия — в 1806 году. Гегель — немец, успокоившийся на мысли, что Германия — не государство, и звать не хочет ничего более. В отечестве, завоеванном французами, он находит только одни интересы — своего философского творчества, своих собственных манускриптов. Перенесемся в 1805 год, в октябрь месяц, в Йену. Римско-германская империя пала; на ее развалинах возник рейнский германский союз под диктатурой французского императора. Наполеон раздавал своей семье короны, владения, народы. Последнее германское государство, еще вооруженное, готовится встретить завоевателя. Подле Йены должна разыгаться одна сцена великой драмы. От этой битвы зависит участь Германии. Если пруссаки разбиты, то германцы будут только одним из «два-десяти племен», прикованных к колеснице сына судьбы. Гегель был в Йене. Перед его глазами проходят гордые прежними победами французские колонны, чтобы завтра сражаться с пруссаками. В то же самое время Гегель послал рукопись «Феноменологии» своему приятелю Нитхаммеру. Он выражает в приложенном к ней письме безграничную заботу, но не о Германии, не об участи отечества; нет, он боится одного, чтобы трудная работа не пропала ввиду «прискорбных беспорядков» времени. Он пишет это письмо накануне решительной битвы и вместе с тем выражает свои восторги перед Наполеоном. Он, оказывается, видел императора — эту мировую душу, «Weltseele». Можно бы, казалось, ожидать, что присутствие врага отечества, прошедшего с победоносным войском всю Германию, расшевелит сколько-нибудь патриотическое чувство Гегеля, что немец-шваб на минуту признает немца-прусса своим братом. Ничего подобного нет. «Это в самом деле чудное чувство, — пишет он, — когда видишь подобную личность (Наполеона), который, сидя верхом, здесь из одной точки охватывает мир и им повелевает. Конечно, пруссакам нельзя было предсказать ничего лучшего, но с четверга по понедельник подобные успехи возможны только для этого необыкновенного человека, которому нельзя не удивляться. Как я заранее желал успеха французской армии, так все желают теперь его ей, успех неизбежен при чудовищном превосходстве ее предводителей и солдат над противниками». Предсказания Гегеля исполнились. Пруссак победены. Германия у ног повелителя. Фихте бросил кафедру в Эрлангене и бежал в Кёнигсберг, чтобы разделить участь побежденного отечества. Но Гегель через несколько месяцев еще пишет, что в истории этого дня он видел «неотразимое доказательство победы образованности над грубостью и духа над бездушным рассудком и умничаньем». Можно, конечно, оправдывать Гегеля хотя бы потому, что не один он так делал и что нельзя всем и каждому быть похожим на Фихте, но в сущности, что это за оправдание?... Во всей этой йенской истории Гегелю, по-видимому, не понравился

только один эпизод, что «грубые французские солдаты» ворвались в его квартиру и производили в ней всяческие безобразия: рвали бумаги, обливали чернилами стены, плевали, куда приходилось, и не оставляли в покое даже самого хозяина, подшучивая над его длинным носом и другими «Eigenheiten», то есть особенностями. Гегель, очень обиженный, обратился тогда к одному из сержантов с орденом Почетного легиона в петличке и заявил ему, что «ожидает помощи от его почтенной особы» и полагает, что «нет никакого разумного основания обижать мирного немецкого философа». Но — увы! — «орден Почетного легиона» только покрутил свой ус и, не без презрения взглянув на этот тщедушный экземпляр человеческой породы, именовавший себя «мирным немецким философом», даже не вступился за него. Безобразия продолжались, гардероб Гегеля и его табакерка подверглись самому варварскому нападению, чернильницы летели в стену, черновые листки «Феноменологии духа» пошли на сигарки; сам Гегель и его Eigenheiten подверглись всяческому оскорблению, и он должен был бежать, оставив все на произвол судьбы.

Материальные затруднения между тем продолжались, французское нашествие увеличивало проклятый дефицит. Правда, «Феноменология духа» уже появилась в печати, но нужны были просто нечеловеческие усилия, чтобы получить крейцеры и пфенниги от «издательской акулы» — какого-то herr'a Гебхарда. Гегелю ничего не оставалось, как уехать из Йены. Все его друзья: Нитхаммер, Шеллинг и другие — удалились еще ранее в Баварию. «Там умеют уважать и ценить заслуги», там было «нечто вроде Эльдorado для науки». «Страна монастырей (Бавария) обратилась в попечительный приют для гуманистов и философов». Гегель стремился туда душой, тем более что «каждый пфенниг гонорара за изданное сочинение стоил ужасных мучений во время сделки с хитрым книгопродавцем». «Я часто желал, — пишет к нему Шеллинг от 11 января 1807 года, — извлечь тебя из пустынного севера, который, как кажется, неспособен даже служить сосудом для восприятия того, что есть наилучшего (то есть философии)...» и вслед за этим Шеллинг давал своему другу советы, как он должен отрекомендовать себя баварским высшим властям, и обещал ему личное ходатайство «при удобном случае». Прошло полтора года «прежней» голодовки. В марте 1807 года Гегель является перед нами редактором «Бамбергской газеты». Это место доставил ему Нитхаммер, чтобы избавить его от вопиющей нужды. Гегель с радостью взялся за него, и в то время, когда, по его мнению, одна наука, то есть самая что ни на есть отвлеченная наука, могла успокоить дух униженной Германии, он оставляет науку для политики и притом для какой политики? Под управлением образцового вассала Франции, Максимилиана Иосифа, и его визиря Монжела Бавария была сконцентрирована и вышколена, как Франция под деспотической рукой Наполеона. Разнообразие старинных правил, привилегий и узаконений исчезло под нивелирующим уровнем новых узаконений; но не благо народа имели в виду законодатели. Баварию угнетала роскошь и огромное войско, поглощавшее все средства страны; ее грабил министр, прибывший нищим в страну и скоро составивший себе огромное состояние; вместе с придворным банкиром он разорял Баварию финансовой игрой. Страну обедняла целая армия чиновников-плутов, которым слабое правительство дало полную свободу. Грубость и неспособность этих служителей администрации производили каждые два года то здесь, то там банкротства в делах, за которыми следовала так называемая «новая организация», то есть замена одного неспособного и соединенного узами дружбы и родства круга чиновников другим. Вследствие этого способа управления, несмотря на секуляризацию духовных имений, снеслыханным вандализмом были растрочены огромные суммы,

движимость и недвижимость. Ценность государственных бумаг и имений пала, а страна и отдельные личности сильно обеднели от тяжести налогов, французского военного постоя и военных издержек и поглощения рабочих сил военной службой.

В такой-то стране Гегель сделался редактором политической газеты. Ни о какой самостоятельности нечего, конечно, было и думать. Что должен был ожидать тот, кто позволял себе какие-нибудь нескромные речи, Гегель мог видеть в самом начале принятой им редакции из примера одного своего знакомого Штуцмана. Тот, будучи в Эрлангене, издавал свою газету; по званию редактора, он был в начале марта отвезен вместе со своим наборщиком в Байрейт под предлогом распространения ложных политических известий, и только через месяц его газета была вновь разрешена под названием «Эрлангенская беспристрастная газета». Французы не стеснялись, перед ними приходилось холопствовать. «Только при одном условии, — говорит Гайм, — можно было заняться изданием газет: если бы целью этого было пробуждение национального сознания и желание раздуть пламя революции против чуждой тирании. Но Гегель удалился в свою редакционную комнату для целей совсем противоположных». Его газета не была органом, передающим мнение, как оно выражалось в обществе; она сообщала отчеты, но не хотела и не обязывалась присоединять к этому своего мнения. Руководящие статьи в ней совершенно отсутствовали, и даже в чисто фактической форме она являлась служительницей того интереса, защита которого не должна была найти ни одного голоса в Германии. Только один раз Гегель в полемической статье вступился за свой политический взгляд, и это было сделано с целью осмеять «северогерманский патриотизм», спасший впоследствии отечество от французского владычества. «Бамбергская газета» была газетой наполеоновской. В ней французские интересы стояли на первом плане, баварские — на втором, а общегерманские — совершенно отсутствовали. Разглагольствования «Moniteur'a», императорская фразеология официальных и подслуживавшихся газет находили себе место на столбцах гегелевской газеты, издававшейся «строго фактически», на самой скверной бумаге. На всякой странице этой заказной прессы беспрестанно встречаются прославления великого императора, его венчанных и невенчанных креатур и орудий его воли. В зиму 1807—1808 года Гегель продолжал еще издавать свою газету, когда в Берлине, почти под штыками французов, Фихте читал немецкой молодежи свои знаменитые «Речи германскому народу», проникнутые благородным патриотизмом, одушевленные энергией благородной личности.

В 1808 году, благодаря стараниям Нитхаммера, Гегелю удалось получить место ректора Нюрнбергской гимназии. Прекрасное место для всякого, только не для нашего философа, которого тянет к профессорской кафедре, который успел уже привыкнуть к ней и считает ее, совершенно притом основательно, единственно подходящей ареной для своей деятельности. Гегель не совсем доволен, но «исполняет обязанности», не ощущая при этом, как и вообще при исполнении обязанностей, ни душевной свободы, ни полного довольства бытием. Ему постоянно приходится иметь дело с детьми, входить в разнообразные интересы их маленькой жизни, и легко догадаться, чего недоставало ему при этом; дети, все равно какие — французские, немецкие или папуасские, требуют прежде всего любви, ласки, непосредственности, а великий мыслитель предлагает им вместо этого непонятные лекции по философской пропедевтике⁴⁴, идею строгого порядка

⁴⁴ Как жанр философской литературы, пропедевтика — вводный материал, элементарно, систематизированно и кратко излагающий учение. — Ред.

и сухость малодоступного для детских интересов сердца. Но, чтобы не умереть с голоду, надо было исполнять обязанности, и Гегель, как видно из его писем, «делал все возможное» с чисто чиновничьей аккуратностью и чисто чиновничьим педантизмом. В своей богатой, спокойной и удивительно здоровой натуре он всегда находил нужные силы, чтобы мириться с действительностью, какой бы она ни была, и вы напрасно даже в наиболее тяжелые периоды его жизни будете искать в самых искренних его признаниях какого-нибудь резко выраженного недовольства или проклятия... Проклятая жизнь! — этого вы от Гегеля не услышите, хотя бы со стороны было известно, что в продолжение целых месяцев он терпит постоянные неудачи, занимается совершенно неподходящим ему делом, питается Бог знает чем!... Удивительный запас терпения преодолевает все; ни на минуту не прерывающаяся работа гениальной мысли, стремящейся к постижению всего сущего, красит самую непривлекательную обстановку и дает такие наслаждения, о которых даже не мерещилось обыкновенному смертному. И работа Гегеля — не порывистая работа таланта или горячей впечатлительной натуры, постоянно ловящей призрак совершенства, быстро переходящей от восторгов к отчаянию; перед нами работа уверенного в себе и терпеливого гения, величаво, спокойно идущего к раз намеченной цели.

В 1811 году Гегель женился, в 1816-м издал, главное свое сочинение «Логику» («Die Logik»). Об этих двух фактах, относящихся к нюрнбергскому периоду надо сказать несколько слов.

Гегель женился, и это было единственное увлечение, которое он позволил себе в жизни, к счастью, совершенно удачное. «Его жена была лучшая из женщин», — говорит Гайм, Розенкранц утверждает то же самое, и хотя я не знаю, чем она так понравилась господам биографам, но охотно верю им: Гегель горячо любил ее. У кого есть цель в жизни и хорошая жена — у того есть все», — говорит он сам, формулируя в этих словах то блаженное настроение, которое овладело им после свадьбы. По-видимому, будучи женихом, Гегель сильно увлекался своей невестой, и мы не без удивления видим, что в строгом философе вдруг пробудился сентиментально настроенный немец, который пишет длиннейшие стихи по адресу своей Марии, чуть не ежедневно сочиняет для нее письма, переполненные рецептами о супружеской добродетели и супружеском счастье и самыми страстными излияниями чувства. Читатель не может не улыбнуться, постоянно встречая в этих письмах отрывочные фразы, многоточия, восклицательные знаки, нежнейшие эпитеты и припоминая при этом, что все это принадлежит автору «Феноменологии духа», работающему над сочинением «Логики» — самой строгой, спокойной и абстрактной книги, вышедшей когда-нибудь из-под пера мыслителя. Но рядом с восторгом и овладевшей Гегелем страстью мы видим обстоятельное положение того скромного и благоразумного идеала супружеской жизни, который, вероятно, был выработан нашим философом еще в молодые годы. Ведь мы уже знаем, что он, будучи мальчиком и юношей, увлекался не Вертером Гёте, не «Разбойниками» Шиллера, а картофельно-селедочными произведениями, в которых превозносилась супружеская верность, благоразумная любовь, здоровый аппетит и умеренность в наслаждениях. В доме своего отца Гегель одинаково видел пример спокойной домашней жизни, в которой муж исполняет обязанности, а жена занимается хозяйством. Эта-то тихая пристань и привлекала к себе воображение нашего философа, и своей будущей жене он старался внушить к ней ту же привязанность, какую чувствовал сам. Поэтому рядом с нежнейшими

изъяснениями чувства мы видим обстоятельные и не очень уж интересные нотации. «Не особенно поэтично!» — скажет читатель. Не особенно поэтичной, но спокойной и счастливой вышла и семейная жизнь Гегеля.

Муж и жена занимали небольшую, но чистую и приличную квартиру. Прямо против выхода находилась гостиная, направо — кабинет Гегеля, потом спальня, детская. Во всем были видны порядок и аккуратность. Прислугу обыкновенно не держали, разве в случае каких-нибудь экстренных обстоятельств, вроде болезни, беременности самой Marie von Hegel и т. п. Жизнь вообще велась тихая, однообразная, и лишь изредка, в видах развлечения, супруги разрешали себе небольшие поездки по Германии. Жена исключительно занималась хозяйством, но любопытно, что и сам Гегель находил время, вмешиваясь в него. Он был «главой и хозяином» дома в полном смысле этого слова. У нас сохранились толстые, тщательно переплетенные тетради, в которых великий философ вел аккуратную запись всем расходам по дому, не пренебрегая ни единым крейцером или пфеннигом. Он любил говорить, что жизнь выше средств (все равно каких — материальных или духовных) есть первый источник безнравственности и несчастья, и с обычным ему педантизмом проводил этот принцип в личной своей обстановке. Это принцип полного, если угодно, философского благоразумия и, чтобы следовать ему, нужна большая ясность ума, мало увлекающаяся, мало впечатлительная натура вообще. Гегель обладал таковой и был счастлив. Как мало нужно усилий воображения, чтобы восстановить перед собой скромную обстановку его жизни, проследить его времяпрепровождение за целый год, за целые годы! Мы легко представляем его себе работающим в кабинете, окруженного грудой книг и мелко исписанных тетрадей; в столовой, похваливающего свою супругу за хорошо приготовленный суп или прекрасно препарированный форшмак⁴⁵; в детской, ласкающего маленького Гегеля такими же серыми глазами, как у Гегеля большого; опять в кабинете, спокойного, сосредоточенного, занятого детальной разработкой своей великой системы или неумолимой критикой легкомысленно-философских произведений. Ни скуки, ни порывов. Гениальная, охватывающая все явления жизни мысль работает без устали, создавая цепь силлогизмов и диалектических моментов, долженствующую представить жизнь вселенной; благоразумный характер не знает ни кризисов, ни тревожений, не переходит от необузданных восторгов к малодушному унынию и, вполне слишком даже уверенный в себе, не бросает инквизиторских, полных мучительного недоумения и сомнения взглядов на свое внутреннее «я». Тут же бок о бок красивая, молодая добродушная супруга, с хорошей улыбкой, с ласковым светом голубых глаз, с хлопотливыми заботами о хозяйстве в своем маленьком сердце... Для вечернего развлечения карты... Вообще же тишь и гладь, и как бы можно было завидовать этой тиши и глади, не искупайся они слишком дорогой ценой — полного презрения к общественной жизни.

Ведь эпоха, о которой мы говорим (1808—1816 годы), была одной из самых бурных и великих в жизни Германии. Целые годы велась упорная, полная благородного и патриотического одушевления борьба с Наполеоном. Вместо чиновников, администраторов, генералов стратегических и тактических на сцене действовал народ, и не как призрак («в интересах народа!»), не как понятие, а как нечто реально существующее. Под влиянием общего возбуждения были проведены в жизнь величайшие реформы — уничтожено скверное и подлое крепостное состояние, введена всеобщая воинская повинность, ослабел даже гнет

⁴⁵ Кушанье из рубленого мяса или селедки, запеченных с картофелем. — Ред.

чиновничьего механизма, педантизма и пр. А главное — исчезло то губительное самодовольство, которое овладело прусской правительственной жизнью после царствования Фридриха II Великого. Неудачная правительственная борьба с Наполеоном воочию доказала, как гнил и, в сущности, бессилён механизм прусской государственной жизни, считавшийся совершенным. Для спасения себя, поддержания своей чести, для победы над гордым завоевателем пришлось обратиться к народу, и этот униженный, закабаленный народ, не видевший до той поры ни тени справедливости, не жалея себя, совершил высокий героический подвиг освобождения родины, обретя героизм в глубинах своего великого, хотя и дремлющего духа. Элементарная справедливость, не говоря уже о благодарности, требовала признать народ за активную часть государственного механизма и сообразно с этим... сочинялись конституционные проекты.

Гегель оставался равнодушен ко всему этому, даже больше: «он подсмеивался» над патриотическим подвигом своей родины, над народом, защищавшим свою честь, над молодыми (и не только в смысле возраста) умами, которые хотели воспользоваться этим моментом, чтобы осуществить здесь, на земле, идеал человеческого счастья. Все это казалось ему странным и глупым. Он до конца не верил, что можно победить Наполеона, этого всемирного духа, при помощи мужиков и разгорячившихся студентов. Спокойно сидел он в Нюрнберге, читая философскую пропедевтику, очень довольный собой, супругой, обедом и своей «Логикой», которая подходила к благополучному окончанию. Прав, или по крайней мере в этом случае, был прав Штейн, заявив, что метафизика вредна для Германии, что авторы метафизических систем или индифферентист, или реакционеры. Прежде чем сделаться последним, Гегель был первым.

Но нам надо сказать несколько слов о его «Логике», законченной в 1811 году. Постараемся выяснить если не ее содержание, то по крайней мере ее место в «системе».

Мы уже видели, что Гегель смотрел на мир Божий глазами философа-эстетика, если угодно, философа-оптимиста. Вселенная — это гармонически прекрасное целое, дивная картина, воплотившая в себе художественно цельную идею. Эта идея находится в процессе бесконечного развития. Идея развивается, не останавливаясь ни на минуту в своем торжественном ходе, у нее нет другой цели, кроме самопознания и самоопределения, но эта цель недостижима ни в один определенный момент времени. Идея стремится выразить, «определить» самое себя, ибо полнота самопознания есть всесовершенство, полнота наслаждения. Идея — это мир. Каким же законам подчиняется она в своем развитии? «Феноменология духа» — первое сочинение Гегеля — дает нам картину моментов, через которые проходит идея на пути самопознания. Мы следим там за ее развитием, но законов этого развития мы не знаем. Эти законы — законы логики. Абсолют, говорит нам Гегель, есть дух, разум; все существует лишь потому, что существует абсолютный, стремящийся к самопознанию разумный дух. Итак — мир есть разум. Уже из этого понятно великое значение и место «Логики» в «Системе». Это-то сочинение говорит нам о законах развития и дает всей философии Гегеля невероятно прочный фундамент. Это уже неумствование Шеллинга, это — стройная идеалистическая система, опирающаяся на гранитное основание неопровержимых логических законов. Мы можем отрицать положения Гегеля, можем не соглашаться с ним, когда он говорит, что абсолютное есть дух, что абсолютное есть бесконечно диалектическое, то есть признающее только логические законы; но раз мы примем обе эти формулы, нам остается одно:

штудировать Гегеля, проникаться его взглядами и восклицать: «Все действительное разумно!», ибо кроме разума нет ничего. Уступите Гегелю в его аксиомах (их он не доказывает, это аксиомы идеализма) — и вы можете смело, без всякой боязни, идти за ним и с чувством восторга, с чувством удивления перед невероятной логической силой нашего философа, познавшего все, следить за развитием духа от стадии полной бессознательности и Ничего (Nichts) до того состояния самопознания, которого Дух достигает в человечестве, вернее, в философии самого Георга Фридриха Вильгельма Гегеля.

Мир есть понятие. Пусть читатель на минуту отбросит свои обычные представления о вселенной и проникнется точкой зрения Гегеля; тогда будет понятно как временное всемогущество системы берлинского мудреца, так и значение в ней «Логики». Все явления жизни природы и жизни человечества — это рассуждение Всемирного Духа, моменты его логического (диалектического) развития. Море, каменные скалы, человечество в различные периоды его бытия — не суть вещи материальные, не «объект» в общепринятом смысле этого слова, а Всемирный Дух, выражающий себя в той или другой форме ради самоопределения и самопознания. Все это чисто логические моменты, необходимые для осуществления чисто логической задачи — самопознания, к которой присоединяется задача эстетическая — самосозерцание себя как сознающего духа. Всемирному Духу — а этот дух есть всё — надо было решить проблему, то есть познать самого себя. Гегелю предстояло решить другую проблему — постигнуть законы этого познания, и в своей «Логике» он действительно постиг их. Его Всемирный Дух — это Бог, его «Феноменология духа» — история Бога, его «Логика» — свод законов, которым подчиняется Божество на пути логического развития, его философия, история — история человечества как воплощенного Божества. Нет ничего, кроме Бога, все сущее — Его проявление или, по Гегелю, определение.

Перед нами, благодаря «Логике», система чисто фаталистическая. Всемирный разум может развиваться только по законам логики; логика едина, ее законы — необходимы. Следовательно, «существует только то, что должно быть». Вся жизнь — проявление Разумного Духа, его диалектические моменты. Итак, все действительное разумно. Мало того — оно прекрасно, так как красота есть самосозерцание самопознающего духа. Вы хотите быть счастливым? Вступите в мировой процесс, но вступите в него сознательно, через изучение философии Гегеля, и созердайте жизнь Всемирного Духа, который отражается и в вас. Пусть мысль, что вы — частица бытия, воплощение единой, вечной, разумной идеи, наполняет ваше сердце гордостью, пусть стройная картина, открывающаяся перед вами в «Феноменологии духа», вся состоящая из тончайших логических штрихов, укажет вам связь нашего личного крохотного бытия с бытием вселенной; пусть, постигнув Логiku, вы поймете, что все существует лишь потому, что оно необходимо, что ничего другого и быть не может на его месте, — и тогда вы сделаетесь счастливым — если можете.

Еще раз: философская система Гегеля грандиозна, она охватывает всё. Она способна подчинить себе даже сильный разум, потому что основана на строгой логике. Она действует успокоительно на нервы, так как проповедует в лучших своих частях — эстетический фатализм, в худших — покорность. Она наполняет человека гордостью, говоря ему, что он лучшее, то есть наиболее сознательное воплощение Всемирного Духа, Вечной, Едино Существующей Идеи, и вместе с тем смирением, так как что же такое мое личное «я», мои желания, прихоти, капризы, даже

страдания перед жизнью, перед необходимостью «диалектических моментов»? Даже «сказать стыдно»... Эта философия не воодушевит вас для борьбы, она не пропитает вас идеалом общественного счастья, не заставит напрягать ваши нервы и мускулы при виде несправедливости, гадости, глупости, подлости; но дает вам бесконечный источник созерцательного наслаждения. Будь жизнь решением математических, логических и иных тому подобных проблем, можно было бы вместе с гегелианцами сказать: «Все вопросы окончены — остается один: что же будет делать дальше Всемирный Дух, раз он познал себя в философии Гегеля?» Но жизнь, по-видимому, мало интересуется диалектическими моментами, и на формулу Гегеля «Все действительное разумно, необходимо, прекрасно» ответила июльской революцией 1831 года, февральскими днями 1848 года и пр. и пр.

ГЛАВА VII Берлин

В 1816 году Гегелю удалось наконец получить профессорскую кафедру в Гейдельберге. Но мы пропустим этот гейдельбергский период, так каждая характеристика нашего мудреца он не дает ничего нового, а о любопытном эпизоде его столкновения с вюртембергскими чинами мы скажем несколько слов ниже. Переходим поэтому прямо к эпохе высшей славы и общественной деятельности Гегеля, когда он является перед нами если и не вершителем судеб своей родины, то по крайней мере одной из самых крупных и заметных величин в деле «вершения».

Это — эпоха реакции, реакции самой бесцеремонной и грубой. Либеральные начинания, вызванные патриотической борьбой с Наполеоном, реформами Штейна и пр., хотя и продолжали бродить в обществе, особенно среди молодежи, но стали уже вызывать самый сердитый отпор со стороны германских правительств вообще, прусского правительства в частности. Далеко не все государи оказались такими рыцарями своего слова, как наш Александр Благословенный; большинство повернуло вспять при первой возможности и устремило свои помыслы на реставрацию, реставрацию всего, что было до Наполеона и произведенной им сумятицы. Ввиду данных заранее либеральных, конституционных и прочих обещаний, это было не совсем «удобно», но в оправдание германским государям можно привести то обстоятельство, что и само общество не особенно настаивало на либерализме, а предпочитало спокойствие духа и мирное благоденствие. Молодежь, правда, бродила; идея единой Германии, сочетавшись с другими, несколько мистическими даже идеями — восстановления времен Арминия⁴⁶, созревала в ее среде, но благоразумные люди стремились к отдыху после вынесенной передрыги. «Забыться и заснуть» — скорее к этому, чем к другой какой формуле склонялось активное и влиятельное большинство общества. «Довольно жертв, понесенных в борьбе с Наполеоном, довольно приобретений, сделанных в министерстве Штейна! Да и не слишком ли далеко зашли мы с эмансипацией крестьян, всеобщей повинностью, конституционными обещаниями и мечтаниями? Торопиться, право, некуда: земля, слава Богу, из-под ног не бежит!» Так говорили многие и были правы в том пункте, по крайней мере, что земля действительно из-под ног не бежала.

⁴⁶ Арминий — легендарный персонаж ранней германской истории, предводитель херусков. — Ред.

«Зоркий взгляд Альтенштейна (прусского министра внутренних и полицейских дел. — Е. С.) увидел Гегеля на гейдельбергском кафедре». Так картинно говорит Гайм. Проще: herr Альтенштейну очень понравилась философия Гегеля, опиравшаяся на формулу «Все действительное разумно». А как там ни мудрствуй лукаво, прусское государственное устройство было все же действительностью, не меньшей действительностью было и желание успокоить умы. В лестных, заискивающих даже выражениях была предложена Гегелю знаменитейшая в Германии берлинская философская кафедра. Он был приглашен со специальной целью оправдать настоящее, доказать его разумность, его необходимость в общем ходе мироздания и — странно — он принял предложение, хотя ничего не принуждало его к этому: в Гейдельберге он занимал вполне независимое положение, его слава была вне всяких сомнений, материальные условия жизни были недурны, а Пруссию он не любил никогда и даже смотрел на нее с величайшим презрением. Но он согласился. Философия с высоты Чистого Разума опустилась на землю и — увы — запачкалась в ее грязи.

Вполне достаточно насмотрелись мы на Гегеля как на индифферентиста, теперь перед нами Гегель-реакционер. Нельзя сказать, что это совершенно неожиданный переход, и все же лучше, если бы его не было. Где же реакционные элементы абсолютного гегелевского идеализма, которые вошли как краеугольный камень в практическую философию — «Философию права» и «Философию религии»? Но сначала факты.

В 1817 году по поводу трехсотлетнего юбилея Реформации⁴⁷ студенты всех германских университетов устроили торжество. Произносились горячие речи, был задуман общегерманский буршеншафт. Профессора сначала присутствовали, потом разошлись, последним ушел Фриз. Молодежь между тем воодушевилась, и шутки ради было устроено маленькое «аутодафе», на котором сожгли реакционные сочинения Коцебу, сотни других реакционных сочинений, прусскую военную косичку, каску и еще что-то. Все это сопровождалось хохотом, насмешками, малосдержанными шутками. В конце концов молодежь мирно разошлась. Но так открыто заявленные либеральные симпатии, такая смелая насмешка над реакцией и не менее смелые мечты об общегерманском буршен-шафте пришлось «не по характеру» министрам вообще, прусским министрам в частности. Заговорили о революции... Гегелю пришлось высказаться. Прежде всего он энергично напал на Фриза, который и так уже находился под уголовным следствием, и обвинил его в подстрекательстве. Заметим при этом, что и раньше между Гегелем и Фризом были счеты: уже в Йене Фриз пользовался большей популярностью, чем наш философ; издав свою «Логику», Гегель в одном из примечаний так резко и энергично разнес логику Фриза, что они стали почти врагами; в Гейдельберге Гегель не получал долго кафедры, потому что там был Фриз. Следовательно, приличие требовало молчать, но Гегель заговорил и притом с таким раздражением, что даже находившаяся на содержании у правительства газета упрекнула его. Гегель отвечал, что он, как прусский чиновник, выше всяких подозрений. Эпизод становился просто неприличным.

В 1820 году произошло убийство Коцебу. Убийство было с политической подкладкой, но тут не действовала ни партия, ни революция, а просто ненормальный юноша Занд. Но за этот факт ухватились как за несомненное

⁴⁷ Как известно, в 1517 году Лютер прибил к дверям храма свои знаменитые тезисы.

свидетельство революционных планов, и борьбой с ними определилась дальнейшая политика Пруссии. Довольно либеральничать!... Реакция вошла в силу, и Гегель сыграл в ней первую роль, хотя в Гейдельберге, накануне своего переезда в Берлин, он либеральничал как нельзя лучше и доказывал тупость вюртембергских чинов, противившихся либеральным начинаниям герцога... Но посмотрим на его профессорскую деятельность. «Он сидит на кафедре, окруженный мелко исписанными тетрадями. Он угрюм и как будто чем-то недоволен; первые слова лекции философ произносит с явным неудовольствием, без церемонии останавливается среди фразы, постоянно кашляет. Но он достиг уже всемирной славы, толпа преданных учеников теснится возле его кафедры, боясь проронить хоть единое слово. Понемногу Гегель воодушевляется, тонкая, сплетенная как бы из паутины диалектика, увлекает его самого. Без всякого колебания забирается он в ее дебри, свободно вращается в сфере самых отвлеченных представлений, с утомительной подробностью останавливается на каждой частности, но в конце концов, благодаря своему гению, он дает слушателю настоящую художественную картину, стройную и изящную, как доказательство великого математика. В аудитории — он царь, который может делать со своими слушателями что ему угодно. От богато убранного стола его философии питаются все науки, питается сама жизнь. Он удовлетворил министерство, и оно осыпает его почестями и наградами, он увлек молодежь всепобеждающей силой своего искусства, грандиозной задачей — обнять все; он наконец успокоил малодушное большинство, примиряя идеал и действительность. Действительность разумна и необходима. Перед нами не разрозненные явления природы, а строго логическое развитие Всемирного Духа. Смотри, радуйся и будь счастлив». Если философия Гегеля давала уму ответ на все вопросы, то его излюбленная точка зрения на мир, как на единое прекрасное целое, успокаивала все малодушные сердца, давала им возможность примириться с жизнью. А этого примирения искали все: Гёльдерлин, Шеллинг, романтики, реакционеры, искали то со страстной потребностью забыться, то с невольным стремлением к полному квиетизму. Наконец разгадка была найдена. Гегель отбросил в сторону малодушные жалобы Гёльдерлина, парадоксы Шеллинга, мистику романтизма — он дал систему наукообразную, подкопаться под которую нелегко, достаточно убедительную, чтобы приковать к себе внимание целого поколения Европы. Он успокоил умы и сердца, но не отречением от действительности, а, напротив, сблизив человека с нею и показав, что она прекрасна, разумна, необходима. «Философия должна постигнуть действительность, но не с точки зрения нашего чувства, наших идеалов и желаний, а с точки зрения разума, который должен доказать ее необходимую связь с прошлым и будущим».

Что же делать человеку? Гегель требовал полной покорности, и эта покорность являлась разумной и необходимой. Для избранного же меньшинства он оставлял еще наслаждение созерцать вселенную как прекрасное целое. Очевидно, министерство могло быть довольно такой философией. Но, полюбопытствует читатель, каким образом Пруссия превратилась вместе со своим государственным устройством в нечто абсолютно совершенное? К сожалению, это не более как компромисс.

И этот компромисс станет для нас очевиден, раз мы остановимся на минуту на «Философии религии» и «Философии права» и посмотрим, как постепенно изменялись взгляды нашего философа, пока не пришли к формуле: «Пруссия

и лютеранство суть вещи всесовершенные, и я, Гегель, горжусь тем, что рожден лютеранином и состою прусским чиновником».

Начнем с религии. В юные годы в отношении к ней господствует точка зрения критически настроенного свободолюбивого разума: в юные годы — увлечение Кантом, борьба с протестантским катехизисом, полное сочувствие Шеллингу, не терпевшему в то время схоластиков-богословов. Но критика быстро отступает на задний план, уводя с собою насмешки. Стремящийся к ее постижению гений Гегеля выступает на сцену. Критическое отношение заменяется отношением спокойно наблюдающего историка. Религия — факт прежде всего исторический. Как выработался он, какие условия воспитали то и другое религиозное мировоззрение? Как появилось христианство, как сменило оно классическую веру? Гегель перестает судить, он объясняет. В «Жизни Христа». (1795 год) есть замечательные, глубокие страницы, достаточно выясняющие точку зрения нашего мыслителя. Вот, например, что говорит он: «В древности господствовала государственная идея. Смерть не страшила человека, так как его земной бог — государство — было вечно, по крайней мере в его представлении. Но когда Рим поглотил и разрушил все отдельные республики, когда его самолюбивая, эгоистичная политика унизила человека, отняла у него величайшую цель прежней жизни — служение государству, обратив его в раба, страх перед смертью стал преследовать его. Рим был слишком велик, чтобы каждый из его бесчисленных граждан мог смотреть на его жизнь, на его интересы как на свои собственные: древнее маленькое государство, доступное и понятное каждому, исчезло и оставило пустое, ничем не замененное место. В ужасе перед могилой, где теперь действительно уже кончалось все, человек обратил свои глаза к небу и вместо исчезнувшего земного бога-государства стал искать Бога небесного. И благодаря ужасу римского владычества, только та религия могла представиться ему истинной, которая клеймила господствующий дух времени, которая бесчестие от попирания ногами самодовольной кучки оптиматов⁴⁸ называла честью, а страждущее послушание — высшей добродетелью». Это уже не рационализм юношеских лет, это голос спокойного историка. Чем дальше, тем взгляды Гегеля становятся консервативнее. По-видимому, одна идея, что «человек есть член государства, которое есть начало "высшее сравнительно сличной жизнью"», определяет дальнейшие взгляды Гегеля. Хотя он и не оставляет совершенно своего юношеского радикализма в вопросах догматики, но по свойственной ему способности прячет этот радикализм за густой ряд неудобоваримейших терминов. Все более проникается он уважением к народной религии, считая ее необходимой принадлежностью благоустроенного государства. Дело в том, что «научное знание истины доступно лишь немногим избранным. Религия дает человеку ту же истину, но языком чувства, конкретного образа». Она преимущественно для темной массы, для толпы... Это до Пруссии. В Пруссии Гегель провозглашает лютеранство несовершенным и гордится, что воспитан в догме меланхтоновского катехизиса.

Любопытны взгляды Гегеля на отношения государства к церкви. Здесь идея государственного всемогущества выступает на первый план. Государство, говорит он, не должно опираться на религию; спорить против его начал во имя религиозных воззрений — нельзя. Государство обязано защищать религиозную общину, помогать ей и требовать от каждого гражданина принадлежности к какой-нибудь религиозной общине. Конечно, религия — дело личное, и чье бы то ни было

⁴⁸ Оптиматами в Древнем Риме назывались аристократы, аристократическая партия. — Ред.

вмешательство в него неуместно; но так как она приводит к известным правилам, то... вмешательство не только уместно, но и необходимо. Государству принадлежит верховный контроль...

Итак, оно — государство — всемогуще. «Оно — земной бог». В нем личность находит высшее свое определение. Оно должно направлять деятельность гражданина. Эллинский идеал Гегеля, его презрение к личной жизни нашли свое выражение в обоготворении государства. Но причем тут Пруссия? Почему прусское устройство и лютеранизм совершенны? Почему государственное начало может воплощаться только в полицейско-чиновничьей форме? Политический идеал Гегеля — прусское *status quo* 1820—1830 годов. Тут — чиновники и полиция, полиция и чиновники. Очевидно, философия сошла на землю.

Но это успокаивало умы. Министерство было в восторге и радовалось, так как Гегель «построил» прусское государство на началах разумности и необходимости. Громадное влияние гегелевской философии обеспечивало ему спокойную будущность: опираясь на нее, можно было, по-видимому, идти по намеченному пути, не смущая себя никакими призраками. Сам Гегель продолжал работать в том же направлении... С могучей и злой диалектикой нападал он на своих противников, без устали развенчивал «героев чувств», философов веры и всех этих горячих «мальчишек», желающих перестроить разумную и необходимую жизнь по своему образцу. Он умер в 1831 году от холеры; последняя неоконченная его статья заключала в себе злую критику английского билля о реформе за его скромные, но все же демократические тенденции...

ГЛАВА VIII Заключение. — Личность Гегеля

Подведем итоги. Я полагаю, что читателю будет любопытно объяснить этот переход Гегеля на сторону прусского министерства. Великий человек, так долго служивший одной истине, так глубоко убежденный в достоинстве мысли, идет на компромиссы. Почему? Не будем торопиться, а составим прежде всего краткий обвинительный акт. Мы видели очень грустные факты, мы видели, что Гегель как редактор баварской газеты оправдывает французское владычество в Баварии, высказывает полный, насмешливый даже индифферентизм к судьбам своей страны, называет Наполеона «душой мира», спокойно живет в Нюрнберге, когда его товарищи-профессора становятся под знамя, смеется над патриотическим подвигом своего народа, затем как вюртембергский профессор превозносит вюртембергского герцога и либеральничают и, наконец, как прусский чиновник возводит прусское *status quo* в идеал и является строжайшим консерватором. Мало того, в своих лекциях, обращенных к толпе боготворящей его молодежи, он часто позволяет себе двусмысленности и противоречия, слишком грубые, чтобы объяснять их как «*lapsus linguae*»⁴⁹. Это уже «*lapsus virtutis*»⁵⁰. В чем же дело? Перед нами, если угодно, в высшей степени любопытный психологический феномен, который оправдать нельзя, но можно объяснить. Ничтожеством в обычном смысле

⁴⁹ Погрешность языка (лат.). — Ред.

⁵⁰ Погрешность нравственности (лат.). — Ред.

слова великие люди не страдают, и потому не будем приписывать Гегелю каких бы то ни было низких побуждений вроде желания подслужиться и прочего. Но что у великих мыслителей зачастую не хватает нравственного мужества, чтобы высказать ясно понимаемую ими правду, слишком близко касающуюся действительности, — это, я думаю, не новость. Надо же было Декарту посвящать свою «Discours»⁵¹ Сорбонне, Эразму — отречься от Реформации и писать доносы на Гуттена, Платону — навещать Сицилию, Бэкону — брать взятки. Такие строгие нравственные личности, как Сократ, Бруно, Галилей, Спиноза реже еще, чем великие мыслители. Обидим ли мы поэтому тень Гегеля, приравняв его к Декарту или Эразму? Я думаю, что никто, называя его героем мысли, не станет называть его героем без эпитета... Это во-первых. Во-вторых, философия Гегеля проникнута индифферентизмом в нравственном отношении. Ее цель — познание, ее бог — разум. «Без самосознания, — говорит нам один из остроумнейших русских писателей, — нет деятельности; но работа самосознания не может быть содержанием деятельности. Самосознание есть только необходимое условие, а не сущность деятельности, предмет которой должен лежать вне личности. Если сознавший себя человек употребит свои силы исключительно на дальнейшее расширение и укрепление своего самосознания и самопознания, он сыграет в нравственном мире роль бесплодной смоковницы, заслуживающей проклятия как возмездия; он явит собой образец чистейшего эгоиста, который интересуется только собой, заботится только о себе». Это прекрасная характеристика Гегеля. Что хотел он? Поняв мироздание, разработать окружающее до степени идеи. Его ум был так устроен (я настаиваю на том, что устройство ума не всегда разложимый фактор), что он считал дело поконченным, раз ему удавалось понять его. Его идеи не требовали выхода в действительность: Гегель удовлетворялся процессом понимания, и это обстоятельство опять говорит нам о слабости его нравственного чувства.

Как поэт облегчает свою душу, воплотив свои муки в образе, так Гегель успокаивался, объяснив данное явление, как бы скверно оно ни было. Все его усилия сосредоточивались на диалектике; но диалектика даже великого ума, неоплодотворенного нравственной идеей и стремлением к идеалу справедливости, не может обойтись без примеси софистики.

Но сделаем и еще одно соображение, обратимся к личности Гегеля как человека, и, быть может, здесь найдем небесполезные указания. Преклонение перед фактом, стремление примирить идеал и действительность, уничтожив первый как проявление нравственного «я» человека и возведя вторую на его место, — таков общий смысл философии Гегеля. Его личный характер, слишком рассудочный и вообще не склонный ни к деятельности, ни к протесту; его душевный мир — трезвый и мало увлекающийся, далекий от энергичной любви к ближнему; его гениально пытливый ум, не оплодотворяемый нравственными стремлениями, — все вело Гегеля сначала к созданию философии, холодной, как лед, не отводящей места человеку как нравственному существу, а потом — к преклонению перед действительностью, к борьбе с проявлениями личного, верующего, нравственного чувства. Не о том, чтобы изменить факт жизни в пользу человеческих желаний, а чтобы доказать силу, величие, необходимость этого факта — к этому сводились все усилия гегелевской диалектики. И несомненно, что он достиг своей цели, что его философия, рассматриваемая с нравственной точки зрения, есть фатализм еще более ужасный, чем фатализм Магомета, так как в сути вещей лежат, по мнению

⁵¹ Вступительная речь, вступительное слово (франц.). — Ред.

Гегеля, бессознательная эволюция духа и исторический процесс, обусловленный лишь законами логики. Этот фатализм не может даже возбуждать протеста, так как он проникнут эстетическим созерцательным отношением к жизни. Среди этой эволюции духа, в мире этих понятий — что прикажете делать человеку с его желаниями?... Очевидно, ему надо отступать с некоторой даже совестью. Гегель презирал чувство, презирал массу, служащую этому чувству.

Уже в нем как гимназисте, ни разу не записавшем в своем дневнике ни одного слова о жизни своего сердца, спокойно переваривавшем все, что полагалось, и даже более того, видна эта слабость аффективной жизни, создающей наши желания, наши идеалы. А впоследствии, когда Гегель целиком ушел в создание системы, эта сухость личной жизни достигла совсем гиперболических размеров. Он стал педантом. Параллельно с этим в его характере развивалась другая черта — властолюбие. Человек гениальный и инстинктивно сознававший свою гениальность, он до тридцати лет жил в тени и еще десять лет не мог добиться ни от кого признания своей гениальности. А между тем у него, голодающего приват-доцента, была уже система. «Das System», то есть для немецкого мыслителя истинный патент на бессмертие. Но проходили целые годы и — увы! — дивный Абсолют возбуждал скорее недоумение, чем восторги. Гегель был самолюбив; более того, его сухая натура, "оживленная гордым сознанием, что система создана, влекла его в сторону деспотизма. Слишком долгие годы ожидания, слишком малая доза добродушия и любви к людям сделали эту деспотическую наклонность сконцентрированной и непримиримой. Он не терпел возражений, никогда не снисходил ни к кому. С высоты мысли он презирал людей. Как Кельвин (тоже рассудочная натура) не постыдился зажечь костер Сервета, так Гегель не постыдился обрушиться на Фриза, когда тот и так уже был под уголовным следствием. Гегель уничтожал своих противников, не стесняясь средствами. Он фанатически верил в себя. К его величию надо прибавить поздно проявившуюся властность натуры, и что же удивительного, если он соблазнился той ролью, которую представила ему Пруссия?

Он пошел на компромиссы и двусмысленности. Он стал играть словами и формулами.

Все действительное разумно. Все разумное действительно.

Обе эти противоположные формулы выводились из его философии. Первая — это формула квиетизма; вторая, правильно понятая, едва ли пришлась бы по вкусу herr Альтенштейну. Гегель не высказался до конца и, как говорит Гейне, «подсмеивался».

Но как бы ни возмущалось наше нравственное чувство, будем помнить слова одного из лучших и честнейших толкователей Гегеля: «Человек, имевший восторженными слушателями целую толпу высоких и благородных умов, никогда не мог быть низкой личностью по самому существу своему: ученики прежде всего разгадывают человеческое достоинство учителя». Но и добросовестные враги Гегеля, обвиняя его в заблуждениях, в ошибках, никогда не обвиняли Гегеля в подлости. Шеллинг, имевший много причин быть недовольным своим прежним другом, называя его чистейшим экземпляром внутренней и внешней прозы, не думал заподозривать его в «нечистых побуждениях». Легко было бы «заподозрить» Гегеля, но мы предпочитаем этого не делать: уважение к величию необходимо для нашей природы. Пожелаем только, чтобы будущие герои

человечества соединяли в себе великий ум Гегеля с нравственными стремлениями любящего сердца.

Что же касается философии Гегеля, то прибавим в заключение несколько слов и о ней. Несомненно, что в настоящее время она имеет только исторический интерес. Мы можем относиться к ней *sine ira et studio*⁵². Ясно различаем мы в ней реакцию против рассудочности, господствовавшей в XVIII веке; совершенно основательно отталкивает нас от нее ее произвольность, догматичность и акробатические фокусы гегелевской диалектики. Мы видим в ней одну из самых стройных и целостных попыток дать философское мировоззрение, независимо от истин точной науки, проникнуть в тайну мироздания одним смелым полетом гениальной мысли. Вместе с этим перед нами продукт грустного разлада между требованиями человека и скверной окружающей обстановкой, незаконного желания отрешиться от задач и обязанностей действительности, уйти в мир идей и оттуда свысока и с презрением смотреть на человеческие страсти, чувства, стремления к счастью. В конце концов ко всему этому примешивается филистерство. Как бы то ни было, система Гегеля существует теперь лишь как исторический факт: ее выводы и послышки разрушены наукой; ее оптимизм и самодовольство — жизнью; ее фанатизм и преклонение перед фактом — нашей нравственностью. Для строго научной философской системы не пришло еще время, не пришло еще время и для того, чтобы человек получил право быть довольным собой и мирозданием...

ГЛАВА IX

Значение биографии для понимания метафизической системы. — Метафизика и наука. — Философско-исторические взгляды Гегеля. — Безличная эволюция. — Пренебрежение к личности. — Связь с реакцией. — Гегель в России

Познакомив читателей с биографией Г. Ф. В. Гегеля мы намерены теперь изложить один из самых любопытных пунктов его учения — его взгляды на историю, на роль человечества на земле и во вселенной, на прошлые и грядущие судьбы людей. Таким образом мы надеемся избежать того, по-видимому, основательного упрека, который может быть сделан книгам, подобным нашей: «Какой смысл давать биографии тех лиц, чьи сочинения — настоящая книга за семью печатями для большинства всероссийских читателей?» Но не говоря уже о том, что каждый, тем более большой человек интересен, между прочим, как личность, в данном случае упрек был бы тем менее основателен, что без подробностей биографии автора ни одна метафизическая система не может быть правильно понята, вернее, совсем не может быть понята и что «в личности метафизика заключается уже его система». Метафизика — не наука, тем менее — наука точная. Научное мышление находится в подчинении у факта, научные истины могут быть открываемы людьми самых различных положений, характеров, убеждений. Что, например, общего между Ньютоном и Лейбницем? Однако оба они и в одно и то же время открыли дифференциальное исчисление. Как люди, Дарвин и Уэвелль ничуть друг на друга

⁵² Без гнева и пристрастия (лат.) — Ред.

не похожи, однако мысль о естественном подборе принадлежит им обоим. Человек науки берет свое содержание из фактов, он открывает законы, наблюдая отношение между фактами. Выводы его творчества прямо зависят от данных природы, то есть совершенно объективных. Даже гипотеза должна быть основана если и не на всех, то по крайней мере на некоторых подмеченных и несомненных взаимоотношениях вещей. Иначе никакой научной ценности она не имеет.

Не так поступает метафизик, не таковы условия метафизического творчества. Факт, явление, взятые сами по себе, не имеют в глазах метафизика никакого значения, никакой ценности. Это — преходящий символ, это видимая изменчивая оболочка того абсолютного, непреходящего, неизменного, что скрывается от глаз людей. На уразумение этой сущности, нумена, *Dinge an und fur sich*⁵³ и должны тратиться все усилия человеческого разума. Метафизик только по-видимому оперирует над тем же материалом, как человек науки, на самом же деле он ежеминутно переступает область опыта и наблюдений, чтобы вступить в царство чистой идеи, не зависящей от своей земной формы, в мир абсолютного и неизменного, спрятавшегося за видимой и изменчивой оболочкой жизненного факта и явления. Но все мы рассуждаем об известном и на основании известного. Метафизик говорит только о неизвестном, только око его интересуется. Этот «икс», эта вечная тайна, эта неуловимая сущность всего существующего является единственной целью его умствований. Ради достижения ее он постоянно забывает о земном, о том, что находится в действительности. Совершенно отрицая, что существуют непреходимые границы для человеческого разума, он то и дело с большей или меньшей ловкостью перескакивает через них. Для этого ему нужны некоторые непреложные истины, аксиомы, которые могли бы служить ему операционным базисом в дальнейших рассуждениях. Откуда же взять их?

Всякая метафизическая система начинается с аксиомы, все аксиомы, на которых основываются метафизические системы, произвольны. Выбор той или другой аксиомы зависит от личности метафизика, его характера, его настроения. Поэтому-то и говорят обыкновенно, что метафизики — это поэты, попавшие не на свое место. Как поэты они служат своему настроению, как поэты они все субъективны до последней степени, и если мы возьмем хотя бы сотню метафизических систем, ни одна из них не будет похожа на другую. Различие в системах сводится к различию в личности их творцов и эпохи. Почему Шопенгауэр пессимист, а Гегель оптимист? «Не обуславливается ли это различие между двумя философами их личными характерами, свойствами их ума?... Для Шопенгауэра это положительно верно: самоубийство его отца, его собственное мрачное настроение — весьма важные факты для объяснения его философии. Как Гегель скопировал с себя свой абсолютный дух, так и Шопенгауэр свое личное настроение вынес из себя, чтобы превратить его в выражение абсолютной ценности мира»⁵⁴. Личное «я» автора — вот ключ к пониманию метафизической системы. Не зная биографии автора, нельзя понять и ее. Очевидно поэтому, что нам надо было начать с биографии Гегеля, так как он не только метафизик, но и величайший из метафизиков XIX века.

Биографию Гегеля мы знаем, мы знаем и его личность, его настроение. Теперь уже нетрудно понять «систему». Но излагать ее всю не только невозможно, но и бесполезно: такое изложение не найдет себе читателей. Совершенно достаточно ознакомиться с его философией истории, «самой грандиозной попыткой конструирования истории», как называет ее Н. И. Кареев. «Философия

⁵³ Вещи в себе и для себя (нем.). — Ред.

⁵⁴ Н. И. Кареев «Основные вопросы философии истории», т. I, с. 179.

истории» имеет еще и то преимущество, что она понятна, по крайней мере более понятна, чем другие произведения Гегеля. К ней отнюдь не приложимы знаменитые слова Вольтера: «Когда тот, кто слушает, не понимает, о чем ему говорят, а тот, кто говорит, не понимает сам, что говорит, — это метафизика (*c'est de la metaphysique*)». В философии истории Гегель понятен, мало того, здесь — сущность его мирозерцания, центральный пункт его учения в отношении к человеку.

В основе философии истории Гегеля лежит та «простая», как называет ее сам Гегель, мысль, что разум управляет миром. Но разум этот не есть способность; его надо понимать в особенном социально-гегелевском смысле; разум — это сама сущность, субстанция, это не только мысль, но и мыслящее существо, это — всемирный дух, абсолютная, то есть неизменная истина. Что знаем мы об этом разуме? Мы, обыкновенные смертные, — ничего, Гегель — всё. Свойство разума, сущность этой сущности, говорит он, — свобода. Но почему свобода, а не что-нибудь другое, почему непременно и только свобода? «Потому, — объясняет нам Гегель, — что все постигается нами из своей противоположности. Мы знаем о существовании большого, потому что есть малое. Противоположность разума, духа — это материя. Свойство материи — тяжесть, поэтому свойство духа — свобода». Но что такое эта свобода? Как надо понимать ее? Для Гегеля эта свобода есть «*das Bei-sich-selbst-seyn*», то есть «у-себя-самого-бытие». Не пугайтесь слова: смысл его совершенно ясен. Быть у себя самого — значит не зависеть ни от чего другого, быть существом самодовлеющим, таким существом и является разум Гегеля. Он свободен, потому что кроме него нет ничего, он свободен, так как его деятельность — познание, но это познание самого себя — самопознание. И так как разум Гегеля ни в чем не нуждается, ни к чему не стремится, кроме самосознания, то есть опять-таки к самому себе. Поэтому он — свободен, тогда как материя — зависима, и эта зависимость ее выражается в тяготении к другому, вне ее находящемуся центру.

Мы боимся, чтобы читатель не воскликнул: «К чему такой огород городить?» Но немного терпения: все это не только понятно, но и поучительно.

Хотя сущность разума заключается в свободе, но сознавать эту свою свободу он начинает не сразу. Процесс истории в том и заключается, что «разум вырабатывает знание того, что такое он сам по себе». Цель истории — самосознание разума, этой цели служит все, что случается для того, чтобы служить этой цели. Поэтому все разумно и все необходимо. Что бы ни говорили Гегелю о страданиях, перенесенных человечеством, о жертвах, принесенных на алтарь истории, жертвах еще и теперь, через столько веков возмущающих нашу душу, у Гегеля на все это есть готовый ответ: «Нечего, — говорит он, — проливать слезы и жаловаться, что хорошим нравственным людям часто и даже большей частью плохо живется, тогда как дурным и злым — хорошо». Все это безусловно полезно и даже необходимо: мир таков, каким он должен быть: разум прекрасно пользуется для своих целей как страданиями, так и радостями людей, и не все ли равно, будут ли то страдания или радости, раз разум достигает своей цели: самосознания?... Для Гегеля это действительно было безразлично: самосознанию как цели он принес в жертву историю и человечество. При этом никакие соображения не останавливали его. Цели, поставленной разумом, он поклоняется; средства, которыми достигается цель, интересуют его очень мало, вернее, совсем не интересуют.

Итак, история есть жизнь абсолютного разума, стремящегося к самосознанию в человечестве. Любопытно отметить, что Гегель, понимая этот разум как существо

мыслящее, наделяет его собственными своими качествами, так сказать, писал его с самого себя. Суть жизни для Гегеля сводится к пониманию, для разума — тоже: поняв себя, он достиг конечной цели. Сам Гегель был оптимистом, его разум оптимист ничуть не менее. Как Гегель, так и разум одинаково утверждают: все к лучшему, и даже более того, совершается здесь на земле только единственно возможное, только необходимое: мир как раз таков, каким должен быть. Гегель презирал чувство, страсти, личность; разум одинаково презирает чувства, страсти, личность. Это не вечно страдающее существо Шопенгауэра — воля, а существо удивительно самодовольное. Ну что из того, что средства (то есть люди), которыми он пользуется для достижения своей цели, гибнут? Надо только уметь пользоваться этой гибелью, этими жертвами ради своей цели. Раз страдание открывает что-нибудь новое, нужное для полноты понимания, то оно полезно, оно необходимо. Мало и этого: Гегель был фаталистом; процесс развития разума одинаково фаталистический, обусловленный законами логики; разум стремится к цели, но это стремление не есть свободное творчество, а присущая разуму необходимость. Такую параллель можно бы продолжать очень долго, но для этого пришлось бы повторять биографию. Если из этой биографии читатель понял, что такое Гегель, то теперь он поймет, что такое гегелевский разум. Как Зевс был похож на грека, так разум Гегеля похож на него самого, ибо, повторяю: гегелевский разум не есть способность, но существо (Weltgeist); это прекрасно следует, между прочим, и из известного изречения Гегеля: «Нужно назвать хитростью разума, что он заставляет действовать для себя страсти». Как видите, разум даже хитер. Это знаменитое «die List der Vernunft» («хитрость разума»).

Посмотрим теперь, как живет разум в человечестве. Прежде всего надо отметить тот факт, что абсолютный разум переселяется от одного народа к другому и каждый отдельный народ есть в известное время его носитель на данной ступени его развития. Но далеко не каждому народу на земле разум делает честь поселиться в нем; он выбирает лишь небольшое количество наций, которые поэтому только и имеют историю. Мало того, побывав у одного народа, разум переходит в другой, и вместе с этим переходом заканчивается историческая жизнь первого. Дважды в одну и ту же нацию разум не поселяется, почему многие народы давно уже сошли с исторического, поприща, чтобы никогда более на него не вернуться. Историческая жизнь разума начинается в Китае, продолжается в Индии, переходит в Персию, Ассирию-Вавилонию, Египет, Грецию и т.д., чтобы закончиться наконец в германском мире, преимущественно в Пруссии.

«История начинается с Китая и монголов». Здесь господствует теократия: это полнейшее отрицание всякой индивидуальности во имя единства. Единство, общее однообразие являются господствующим началом жизни, здесь нет свободы, нет человека. Разум не понимает себя: он спит, и все его поступки похожи на поступки ребенка.

В Индии разум начинает уже грезить. Это страна необузданного воображения, не признающего ни преград, ни правил. В формах жизни господствует известное разнообразие, касты, но эти касты основаны не на личных особенностях, а на разделении занятий. Поэтому и здесь нет свободы, так как положение человека зависит от чисто внешних обстоятельств. Той независимости, того «у-себя-самого» бытия, которое составляет сущность свободы, разум еще не достиг. На сцене люди, но нет субъектов; мы видим лишь формы, категории, разряды (касты), но не видим отдельных людей. Природа господствует, как и в Китае, но свет самосознания еще не загорался.

Разум переселяется в Ассирию-Вавилонию, Финикию, Персию, наконец, в Египет. «Здесь произошло соединение вавилоно-ассирийского сенсуализма и финикийско-еврейского спиритуализма». Проще: разум понял уже, что он дух, но все еще находится в зависимости от материи. Это тяготит его; «беспокойно волнуясь», он стремится вырваться из оков материи, но пока его попытки тщетны. Символ Египта — сфинкс: человеческая голова (разум) смотрит из звериного тела. Это соединение несоединимого. Это загадка. Но разгадать ее удалось не Египту: он так-таки и не узнал, в ком же разум может проявить свою духовность во всей ее полноте, в ком или в чем может осуществить он свою свободу. Смотря на сфинкса, на это уродливое соединение высшей духовности и грубой материи, Эдип, грек, сказал: «Человек». Чудовище бросилось в море: разум нашел себе место.

Поэтому-то из Греции «мы впервые чувствуем себя дома». Здесь на сцене субъекты, индивидуумы; здесь дух сознал свою индивидуальность, свою особенность, отдельность от материи, но странно: чтобы понять, чтобы изобразить себя, он все еще черпает материал из природы. Это юность человечества, период, так сказать, человеческой чувственности в широком смысле слова. Грек недостаточно «духовен»: ему все надо видеть, осязать, чувствовать. Высшее выражение его деятельности — искусство, но и оно слишком материально, слишком телесно. Самый индивидуализм греческой жизни слишком резок и угловат: разум как бы разделен на тысячи кусков и частей; одна часть борется с другой, и разум не способен охватить себя целиком. Разрозненные в греческом мире индивидуальности нуждаются хотя бы во внешнем объединении.

Это объединение дано Римом. Принцип Рима — «абстрактная универсальность», Рим стремится наложить узы на нравственные индивидуумы, собрать все народы в одно всемирное государство, всех богов — в один пантеон. Он боролся против крайностей греческого индивидуализма и партикуляризма, его идеал — отвлеченное, всеобщее и вместе с тем глубоко практическое. Сама религия Рима — религия целесообразности прежде всего. Но, налагая узы на нравственные индивидуумы, принося в жертву содержание личности и саму личность кумиру всеобщности, Рим постоянно встречал противодействие. В его разрозненных, хотя и подчиненных одному принципу частях иногда не было духовного единения. Только империя, деспотизм цезарей дал этому громадному всемирно-государственному телу внешнее единство, которым «разум», однако, удовлетвориться не мог. Он ищет духовного и бесконечного: в Римской империи не было ни того, ни другого. Разочарованный в Риме абсолютный разум углубляется в самого себя, стремится к духовному миру, так как он дух, и уже познавший себя дух. Этого удовлетворения своей духовности он ищет страстно, с беспокойством. Земная материальная форма Римской империи, ее практические идеалы возбуждают в нем негодование и отвращение. Он хочет даже совершенно отрешиться от земли и ее интересов.

Тогда на сцену выступает величайшее, всемирное явление — христианство. Тут впервые человечество узнает, что природа людей духовка, что человек в сущности своей есть дух. Но время духовного Царства не пришло еще: люди не могут пока действовать на основании своей внутренней правды и свободы. Несмотря на сознание своей духовности, им нужна внешняя власть, которая, однако, не отрицала бы их духовности. Является государство церковное — папство. Принцип христианства, принцип внутренней свободы и духовности мог развиваться

только в германском мире. Здесь — старость разума. Только германский дух оказался способным постигнуть абсолютную истину и разум. поселившись в него после стольких блужданий, находит наконец возможным осуществить свою конечную цель — самопознание. Завершением истории является протестантизм, (но его появлению предшествуют суровые средние века. Прежде, однако, чем сказать о них несколько слов, сделаем маленькое отступление.

История для Гегеля есть история абсолютного разума. Как мы видели, на протяжении стольких веков он не знает ни минуты покоя. Начав с крайнего Востока, он все далее переселяется на Запад, «беспокойно волнуясь», переходит он от одного народа к другому. Что же двигает им? Какая таинственная сила заставляет его то и дело менять свое место, свою форму, стремиться к духовности, к внутренней свободе?

«Разум, — отвечает Гегель, — развивается по необходимости, процесс его развития начинается еще в то время, когда он слеп и бессознателен. Законы же его развития — законы логики». И в биографии мы уже видели, что «Логика» — это ключ к пониманию всей системы Гегеля. В конце концов, деятельность гегелевского разума безлична, это чисто логический процесс развития идеи, который наш философ воплотил, между прочим, и в истории человечества. На сцену выступает знаменитая гегелевская триада — тезис, антитезис, синтез, то есть положение, отрицание и примирение первого со вторым — те три ступени диалектического развития, через которые проходит и абсолютный разум. Для мало упражнявшегося в философии читателя подобная «триада» может показаться и произвольной, и затруднительной для понимания, не обойтись без ее разъяснения — нельзя; без нее нет и философии Гегеля. Простоты ради обратимся к примерам. Минуя частности, ГГегель делит историю на три крупные части: Восток, классический мир и мир христианско-германский. Первый представляет из себя тезис, второй — его отрицание, третий — отрицание этого отрицания и полное примирение всех противоречий. Эти противоречия: духовное и мирское, конечное и бесконечное. На Востоке, на первой ступени своего развития, разум не сознает своей свободы, подчиняясь деспотизму политическому и религиозному, он «спит», но в этой малоподвижной жизни заключается уже все то, что составляет сущность истории человечества, все ее содержание. Это, повторяем, тезис, положение: разум свободен, но он не сознает этой свободы, внутренняя его работа еще не начиналась: он молчит в Китае, грезит в Индии, но нет еще ни беспокойного метания, нет стремления выяснить себя, свою сущность. Он живет, но эта жизнь подобна прозябанию и процессу. Человек не борется, не протестует, он склонился перед фактом жизни и жизненной необходимостью, он не сознал себя как отдельное существо. Религия уничтожает его личность, поглощая ее в представлении о бесконечном; жизнь задавила его своим религиозно-политическим деспотизмом. Как же может разум сознать свою свободу? Для этого ему прежде всего надо пройти период отрицания своего прежнего положения. Вместо бесконечного и общего, господствовавшего на Востоке в формах ли религиозных представлений или государственной жизни, является господство конечного и индивидуального. Греческие боги — это люди, жизнь человека ограничена землей, каждый грек признает в себе отдельного человека. В государственной жизни господствует партикуляризм. Общее и единое Востока разделилось на тысячи частей. Это — антитезис. Разум идет дальше. Он уже выяснил себе, что существуют противоречия: конечного и бесконечного, общего и индивидуального. Как примирить их? Он достигает этого в новой Европе, где

личная свобода уживается с требованиями целого, то есть государства, где бесконечное (наши религиозные представления) воплотилось в конечных формах — церкви, где духовное примирилось с мирским и церковь слилась с государством. Разум, по-видимому, вернулся к своему исходному пункту, к тезису; на последней ступени, как и на первой, одинаково нет никаких противоречий, но теперь уже разум стал сознательным и свободным. Возьмем еще один пример. В первый период средних веков господствует внешнее единение под господством франков. Франкское государство поглотило нации, церковь, личность. Но под покрытием внешнего единства таятся противоречивые элементы — отдельных народов и франкской державы, индивидуума и деспотического государства, власти духовной и мирской. Противоречия быстро выступают на сцену: отдельные нации восстают против франков, отдельные лица против государства, церковь против мирской власти, результатом чего явилось распадение франкской монархии, феодальная система и отделение церкви, ее самостоятельное воинствующее положение. Противоречия остались, они только воплотились в жизненные формы и чем дальше, тем больше они развиваются. В их развитии, обострении проходит вся средняя история. Жизнь ужасна: она преисполнена отрицанием, и, чтобы найти правду, дающую возможность жить, люди отправляются на Восток для освобождения Гроба. Но неудача крестовых походов убеждает их, что истину надо искать в себе. Разум начинает метаться: Возрождение, книгопечатание, открытия и изобретения быстро следуют друг за другом. Наступает Реформация и примирение противоречий: церковь сливается с государством, личность примиряется с ним.

Этой своей триадой, этим движением противоречий Гегель объясняет всю историю как в частях, так и в общем. Надо согласиться, что у него получается очень стройная картина жизни человечества. История вытянута в одну линию, все служит одной цели, повсюду господство непреложного логического закона. Но вместе с тем очевидно, что так рассматривать историю нельзя: объяснение Гегеля произвольно, он берет только те нации, которые ему нужны и на столько времени, на сколько это ему нужно, а затем преспокойно отбрасывает их. О многих народах он совсем не говорит. Для него, например, не существует ни Византии, ни славянства. «Тогда как, — говорит Н. И. Кареев, — история представляет из себя течение многих параллельных рек, у Гегеля только одна река», им самим выдуманная.

Но критиковать Гегеля здесь не место. Спросим лучше себя, какой смысл его философии истории? В ней, очевидно, господствуют две идеи — идея развития и идея абсолютной бесценности личной человеческой жизни. Первая сближает философию Гегеля с философским движением XIX века вообще, вторая делает ее не особенно симпатичной, чисто фаталистической. Все части, все периоды истории Гегель представляет взаимно солидарными, взаимно друг друга дополняющими. У него нет ничего лишнего, случайного, произвольного: все строго логично и все безусловно необходимо. Каждая рассматриваемая эпоха есть необходимая стадия развития разума. Эта стадия предполагает известные политические и общественные формы, известные нравы, верования, убеждения. Стадия проходит и уносит за собой все обусловленное ею. На ее место является другая, логически необходимо вытекающая из первой. И так далее. Как оптимист, Гегель все развитие человечества объединяет под принципом прогресса в сознании свободы, в распространении этой свободы на всех. В конце концов каждый свободен, каждый сознает свою свободу. Достигло ли человечество такого состояния? Хотя Гегель и говорит иногда, что процесс развития разума бесконечен, однако на поставленный вопрос он отвечал утвердительно. Следовательно, дальше некуда

идти и совершенно правы гегелианцы, спрашивая себя: «Что делать дальше абсолютному разуму, раз он познал себя в философии Гегеля?» Эта философия как для ее автора, так и для его учеников являлась завершением всего умственного движения человечества. Принципы всех прежних систем как уничтоженные моменты содержатся в гегелевской философии, развития дальше, к высшему — нет. Проводя в своих сочинениях идею эволюции, трансформизма, Гегель, повторяем, шел рука об руку не только с философским, но и научным течением XIX века. Ставя этой эволюции точку, он совершил, конечно, грубую ошибку, но и эта ошибка характерна для него и может быть понята лишь из данных о его личной жизни, то есть из его биографии. Стоит только спросить себя, какую массу самодовольства, самоуверенности надо иметь у себя на душе, чтобы провозгласить себя завершителем того умственного движения, которое продолжалось целые тысячелетия; каким надо быть педантом и доктринером, чтобы наперекор фактам живой жизни, наперекор всеобщей неудовлетворенности признать бесплодными и ненужными усилия людей к счастью и справедливости? Гегель или не видел этого, или не хотел видеть; его личное настроение опять вторглось в систему и с точки зрения трансформизма круто повернуло ее на точку зрения абсолютного, уже достигнутого совершенства.

Уже одним своим утверждением, что дальше некуда идти, Гегель протягивал руку реакции. Но еще ближе подходил он к ней своим пренебрежением к личности, своим оптимизмом, своим фаталистическим мирозерцанием. На самом деле, рассматривая философию истории в ее целом, мы видим, что Гегель совершенно игнорирует личное творческое начало в жизни. Все нужно, все полезно, все хорошо не потому, что оно служит человеческому счастью, а самосознанию разума. В гегелевской истории мы не видим ни наций, ни людей; перед нами разум, абсолютное начало жизни и ее абсолютное содержание. Люди — средство; разум пользуется ими для своих целей и с хитростью эксплуатирует их страдания. Перед гегелевским разумом в начале его исторического поприща открывается неизвестная таинственная страна, которую он во что бы то ни стало должен изучить и исследовать. Но сам он в эту страну не идет, а отправляет туда людей, целые племена и народы. Исследовать таинственную область дело нелегкое и опасное: это своего рода меотийское болото, где ничего не стоит затеряться среди лесов, непроходимых топей, трясин и т.д. Хитрый разум как будто знает это и употребляет на пользу себе человеческие страсти. Он возбуждает честолюбие, стремление к славе, все другие чувства, лишь бы побудить смертных к трудному и опасному путешествию. Какое ему дело, почему идет человек в эту таинственную страну. Из-за славы, или от отчаяния? Важно одно — достижение цели, важно, чтобы каким бы то ни было путем смелые пионеры принесли весть, а перенесенные ими трудности становятся исключительно на их личный счет. Не беда, если многие погибнут даже: эти жертвы нужны. Такова в конкретном образе точка зрения Гегеля и его разума на человеческую жизнь и человеческое счастье. Человек — средство на всем пути развития истории. Что же такое человеческие идеалы? Для Гегеля никаких человеческих идеалов не существует. Он отрицает их безусловно. Ценность человеческой жизни относительна, а не абсолютна. Абсолютную ценность, то есть такую, которой все должно служить, имеет лишь идея. Идея эта, рассматриваемая как существо, проникнута иезуитской моралью, удивительным самодовольством и даже жестокостью. Надо согласиться, что, рисуя свой портрет, Гегель отнюдь не приукрашивал его.

Теперь уже связь гегелевского учения с реакцией очевидна. Реакция в общественной жизни, где бы и при каких бы обстоятельствах она ни происходила, всегда своим исходным пунктом имеет пренебрежение к личному творческому началу в жизни. Только это личное начало и создает идеалы, только оно и обуславливает движение вперед. Прогресса в природе никакого нет, прогресс — это наше собственное понятие, наше собственное стремление, внесенное в жизнь природы. Когда мы говорим, что такое-то явление прогрессивно, мы тем самым говорим, что оно благородно, справедливо, что оно содействует нашему счастью. А какое дело природе до благородства, справедливости и нашего счастья? Прогресс — наше собственное, человеческое, путь прогресса — это достижение человеческих идеалов. Гегель же признавал только прогресс разума, а о человеческой личности и человеческом счастье нисколько не заботился. Мы видели его в Берлине ратующим против немецкой молодежи, либерализма и прочего. Более последовательным нельзя было и быть. С одной стороны, мировой процесс завершен, с другой — какое право имеет человек выдвигать на сцену свою волю, свои чувства, раз лично он никакой ценности не имеет? Разве его счастье кому-нибудь нужно, разве разум выражается в нем? Представителем разума Гегель считал не личность, а государство. Поэтому-то он и учил, что государство всемогуще, что оно — земной бог и может делать с отдельным человеком все, что ему заблагорассудится. Повторяем, пренебрежение к личному началу в истории реакционно по самой сущности своей. Утверждая, что личность, ее идеалы ничего не значат, мы становимся или на точку зрения безличной эволюции, при которой нам нечего делить, или приходим к взгляду, что человек есть средство для какой-нибудь другой, вне его находящейся цели.

Этому, в сущности, и учил Гегель. Почему же так увлекались им русские люди, и притом лучшие люди в России? Перечислим только некоторые имена, чтобы, так сказать, конкретно изобразить значение гегелевской философии для России. Список длинен. Белинский, Герцен, Станкевич, Тургенев, Грановский — это лучшие, за ними еще целая масса. Не говоря уже о влиянии Гегеля на наших юристов: Чичерин, Редкие были гегелианцами. Правда, увлечение Гегелем было только эпохой в личной жизни каждого из деятелей 40-х годов, но этого увлечения не миновал почти никто. Что же такого увлекательного в философии Гегеля?

Нам уже не раз приходилось указывать на то, что эта философия обнимает собою всё. Гегель был прав, утверждая, что его система — итог всего, сделанного ранее метафизической мыслью. На воображение она производит впечатление грандиозное, поражающее. Один человек, одна система отвечает на все вопросы, выясняет смысл, цель и назначение бытия. Поверьте Гегелю — и для вас нет более загадок жизни. Затем, эта система наукообразна: подкопаться под нее дело нелегкое; для этого надо обладать такими же сведениями, какими обладал сам Гегель, а эти сведения громадны. Не только ведь русские люди верили Гегелю, ему верила одно время почти вся Европа. Что наука! Наука в это время была разрознена, представляла из себя грудку необобщенного, неразработанного материала. Она могла, как и теперь, удовлетворить только жажду познания, но ответить человеку на самые дорогие для него вопросы о сущности жизни, ее цели, ее назначении она была не в состоянии. Да и теперь эти вопросы для нее не существуют; а странно, как же можно жить не разрешив их? Когда отбрасываются ответы, даваемые религией, то что же остается? Пустое, ничем не заполненное пространство. Поверив же в философию Гегеля, с таким

затруднением встречаться уже не приходится: его система охватывает все, его система дает ответ на все.

Правда, бывают эпохи такой усиленной жизни чувства, такой бодрой общественной жизни, такой деятельной любви к ближнему, такой деятельной заботы о нем, что вопросы бытия отступают на второй план. Но подобные эпохи редки, исключительны. Тридцатые и сороковые годы во всяком случае к ним не принадлежат. Обиженный жизнью, окружающим ее формализмом, жестокостью, человек инстинктивно искал какого-нибудь примирения с действительностью, и не какое-нибудь, а с виду совсем хорошее, совсем разумное примирение давала ему философия Гегеля. В ней он находил программу для своей деятельности, она указывала ему на великое содержание жизни, успокаивала его тревожное личное чувство. Поражая воображение своим грандиозным размахом, она действовала, как гашиш, как представление о нирване. «Забыть о себе», «слиться с бытием», «созерцать» — таковы ее практические выводы. Надо согласиться, что они успокоительны.

Но это, так сказать, отрицательное значение гегелевской философии; у нее есть и положительное.

В тридцатые и сороковые годы русская мысль во всяком случае находилась в периоде младенчества. Не было ни науки, ни философии, но потребность того и другого была. И вдруг русскому человеку предлагают систему, охватывающую собою всё, дающую ответ на всё, примиряющую его с жизнью, с действительностью, оправдывающую его ничтожество, открывающую перед ним бесконечное созерцательное наслаждение!

Мудрено было не увлечься — и гегелианство стало дорогим гостем в России. Сколько надо было усилий ума, чтобы усвоить себе систему берлинского мудреца, сколько времени уходило на обсуждение диалектических тонкостей! Это наполняло жизнь, мало того, заставляло пересмотреть все свои взгляды, все свои убеждения.

Русские люди задумались и притом очень серьезно. Благодаря различию в индивидуальности тех, кто штудировал Гегеля, его философия произвела различное впечатление. Воспитавшись на ней, одни стали западниками, Другие — славянофилами. Началась та знаменитая борьба мнений, первым проявлением которой можно считать «Философические письма» Чаадаева, помещенные в «Телескопе» за 1836 год, — борьба, наполнившая собою всю деятельность Белинского и, в сущности, продолжающаяся еще и до сих пор. Вопрос, являющийся яблоком раздора, ставится, надо сказать, очень странно. Спрашивается, где истина: на Западе или в России? Крайние западники отвечают: истина только в Европе, крайние славянофилы — истина только в России. Поэтому первые проповедуют полное самоотречение, вторые — полное самодовольство. Первым и, пожалуй, самым крайним западником был Чаадаев. Рабски следуя за Гегелем, он вполне соглашался с положением последнего, что саморазвивающийся дух воплощается не во всех, а лишь в некоторых избранных народностях. Для настоящего времени такая народность — германцы. Их привилегированное положение будет продолжаться и в будущем, так как, пребывая в них, разум познал себя и больше ему делать нечего. Славяне к числу избранных народностей не принадлежат: разум не сделал им чести и не поселился в них; в их жизни не выражено никакой идеи; своего, нужного для разума, содержания у них нет. Поэтому им остается только

отречься от самих себя, забыть все свое прошлое и усвоить западную цивилизацию, в коей вся истина. Наше прошлое никому не нужно, наше будущее никому не интересно. Индивидуальности у нас никакой нет, так как индивидуальность — по Гегелю — представляет из себя стадию логического развития разума. Чтобы у народа была индивидуальность, необходимо, чтобы в нем поселился абсолютный разум. Раз этого условия нет, нет и индивидуальности. Следовательно, полное самоотречение, усвоение чужого, забвение своего — такова наша русская роль здесь, на земле.

Нельзя не согласиться, что трудно даже хватить далее через край. Чаадаев воспринял учение Гегеля до последней буквы и отнесся к России с безусловным отрицанием. Славянофилы тоже штудировали Гегеля, но отнеслись к нему совершенно иначе. Прежде всего они спросили себя, что же такое сам Гегель, что такое те начала, на которых зиждется западная жизнь? Гегель — рационалист, вся его философия — философия рассудка, сущность западной жизни в рассудочности. Но разве этой рассудочностью может жить человек? Разве у него в жизни нет другого начала; более мощного, несомненно безошибочного? Такое начало существует — это вера. Вера эта непосредственное, живое и безусловное знание, это зрячество разума. Не оплодотворяемый верой, разум создает только силлогизмы, вера же «улавливает связь явлений действительности с непроявляемым началом», она делает доступными все глубочайшие истины мысли, все невидимые тайны вещей божеских и человеческих. Но не требует ли вера отречения от разума и, наконец, во что же верить? Верить можно только в то, во что верует весь народ: в истины и в идеалы православия; только православие проводило всегда строгую границу между мышлением и откровением, почему и не производило никакого насилия над разумом. В православии разум и вера примирены. У него есть и еще достоинство — народность.

Критикуя Гегеля отчасти самостоятельно, отчасти «по Шеллингу», славянофилы сделали к его взглядам очень серьезное добавление. Разум Гегеля только познает. Это познающий разум. Разум славянофилов хочет. Это водящий разум. Но если для познания нужны законы логики, то для воли нужен идеал и нравственные основы. И то, и другое славянофилы нашли в православии и в русском народе: это любовь, общение.

Мы определили только исходные пункты учения славянофилов и западников. Было бы любопытно проследить дальнейшее развитие их мнений, но это, очевидно, не входит в нашу программу. Мы хотели только указать на связь этих крупнейших течений русской мысли с философией Гегеля и показать, что, не зная этой философии, нельзя знать и своего исторического прошлого. А это историческое прошлое хотя и не особенно богато, но дорого для нас, русских людей, и всякая работа, выясняющая его, приносит нравственное удовлетворение. Без знания этого прошлого само будущее темно и приходится жить ощупью, наугад. Но в заключение еще маленький вопрос: полезно ли было гегелианство для России? Такой вопрос по-нашему то же самое, что спросить себя: полезно ли думать, полезно ли пересмотреть все свои взгляды, убеждения, все свое прошлое и настоящее? Наряду с другим и философия Гегеля заставила сделать это. Многим русским, и притом лучшим русским людям, она впервые дала действительно философское мирозерцание и ввела в самый центр умственной жизни Запада. Этого, кажется, достаточно для дела рук человеческих.

Э. К. Ватсон

**А. ШОПЕНГАУЭРЪ ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
1891г.**

ВВЕДЕНИЕ

Артур Шопенгауэр, один из оригинальнейших и замечательнейших мыслителей девятнадцатого столетия, сделался известен и знаменит, собственно говоря, только после своей смерти. При его жизни профессиональные ученые и философы преднамеренно замалчивали его, а масса публики, по самому характеру и роду деятельности Шопенгауэра, не могла питать особого интереса к его творениям. Лишь несколько лет спустя после его смерти, с конца шестидесятых годов, интерес к его творениям и к его учению начинает проявляться не только на родине его, в Германии, но и во Франции, и у нас в России. Считаю нелишним привести здесь между прочим интересную выдержку из появившегося лишь несколько месяцев тому назад в печати письма Л. Н. Толстого к А. А. Фету от 30 августа 1869 года (напечатано в «Русском обозрении», май 1890 года, в статье «В. П. Боткин, И. С. Тургенев и гр. Л. Н. Толстой. Из воспоминаний А. А. Фета»). Вот что писал Л. Н. Толстой:

«Знаете ли, что было для меня настоящее лето? — Непрестояющий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения, и читал, и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей. Вы говорите, что он так себе, кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться его имя неизвестным? Объяснение только одно — то самое, которое он так часто повторяет, — что кроме идиотов на свете почти никого нет...» 14 февраля 1888 года Московское психологическое общество чествовало в торжественном собрании в актовом зале Московского университета столетнюю годовщину рождения «одного из самых крупных германских мыслителей нынешнего века, Артура Шопенгауэра», причем товарищ председателя общества, профессор Н. А. Зверев, сообщил важнейшие данные о жизни Шопенгауэра, а три другие оратора, члены общества, произнесли речи о значении его философии. Впоследствии эти речи были изданы в одном общем сборнике, с присоединением к ним более

подробного биографического этюда о Шопенгауэре, составленного членом означенного общества В. И. Штейном.

Вообще, с широким распространением в конце семидесятых годов пессимистической философии как в Западной Европе, так и у нас, началось и более близкое ознакомление с Шопенгауэром и с его учением. В 1881 году переведено было на русский язык главное сочинение Шопенгауэра «Мир как воля и представление», а в 1886 году — его же сочинения «О четверояком корне закона достаточного основания» и «Воля в природе» (оба перевода принадлежат А. А. Фету, исполнившему, таким образом, совет, данный ему, как мы видели, еще в 1869 году графом Л. Н. Толстым; к первому из этих переводов приложено предисловие Н. Н. Страхова). Переведены также шопенгауэровские «Афоризмы и максимы» и «Основные задачи этики», по своей сравнительной популярности получившие более широкое распространение в обществе.

О жизни Шопенгауэра до самого последнего времени было известно лишь очень немного. Все его биографы единогласно признают, что чрезвычайно трудно, даже почти невозможно написать сколько-нибудь обстоятельную биографию его, во-первых, потому, что он, подобно, например, Декарту, вел жизнь очень замкнутую и уединенную, а, во-вторых, потому, что для его биографии до последнего времени почти вовсе не было сколько-нибудь подходящих источников. Сам Шопенгауэр-289

эр относился крайне несочувственно к стараниям биографов собрать заблаговременно материалы для будущих жизнеописаний замечательных в каком-либо отношении людей, а к автобиографиям он питал положительную антипатию. Присланная им по просьбе редакции мейеровского «Conversations-Lexicon» автобиографическая заметка, напечатанная в 1-м выпуске «Трудов Московского психологического общества» и помеченная 28 мая 1851 года, занимает буквально не более 64 строк разгонистого шрифта.

ГЛАВА I

Предки Шопенгауэра. — Родители его. — Характеристика отца и матери Шопенгауэра. — Детские годы Шопенгауэра. — Воспитание его. — Многочисленные странствования его в детстве и отрочестве. — Шопенгауэр не желает сделаться купцом. — Смерть Шопенгауэра-отца

Большей частью случается так, что интерес к родителям и прародителям людей, сделавшихся знаменитыми в какой-либо области человеческой деятельности, возникает лишь тогда, когда жизнь этих прародителей успела уже в значительной мере окутаться туманом прошлого. Однако относительно предков и родителей Шопенгауэра этого нельзя сказать.

С отцовской стороны Артур Шопенгауэр является отпрыском довольно знатного данцигского семейства. Уже прадед его, Андрей Шопенгауэр, имел честь в качестве одного из самых зажиточных и уважаемых граждан Данцига принимать у себя

в доме Петра Великого и супругу его, Екатерину, во время путешествия их по Германии. Сын Андрея Шопенгауэра, дед. Артура, Иоанн Фридрих Шопенгауэр, значительно приумножил благосостояние семейства; проживал же он большей частью не в Данциге, а по соседству с городом, на своей вилле, близ местечка Ора. Бабка Артура, Рената, урожденная Сэрманс, также принадлежала к знатному семейству; после смерти ее мужа над нею и над старшим сыном ее, Андреем Михаелем Шопенгауэром, была учреждена опека, так как у них обоих обнаружилось расстройство умственных способностей. Младший сын ее, Генрих Флорис Шопенгауэр, отец. Артура, в молодости своей много путешествовал, а впоследствии унаследовал большую часть состояния своего отца и с честью поддерживал репутацию своего семейства.

Генрих Флорис Шопенгауэр был человек среднего роста, крепко сложенный, широколицый, как и сделавшийся впоследствии знаменитым сын его. Несмотря на то что по происхождению своему он принадлежал к местным патрициям и аристократам, он был проникнут идеями справедливости и свободы, что стяжало ему расположение и любовь его сограждан. Бесстрашие, прямота и откровенность составляли отличительные черты его характера, но, вместе с тем, это был человек чрезвычайно вспыльчивый и упрямый. Биограф Артура Шопенгауэра приводит следующий интересный эпизод, характеризующий решительность и прямолинейность отца его, стяжавший ему еще в большей мере уважение и расположение его сограждан: Данциг, как известно, до конца прошлого столетия составлял одну из ганзейских республик⁵⁵, окруженную со всех сторон владениями Польши. Когда после первого раздела Польши Фридрих Великий задумал присоединить и этот город, вместе с отошедшею в его владение частью нынешней западно-прусской провинции, к Прусскому королевству, граждане старинной ганзейской республики отказались признать владычество Пруссии и решили не впускать их (пруссиков. — Ред.) в город, вследствие чего прусские войска обложили город с суши и прекратили подвоз к нему съестных припасов. Командир блокирующего корпуса поселился на вилле Шопенгауэра. В виде награды за оказанное ему здесь, хотя и вынужденное, гостеприимство, он велел предложить владельцу пропуск в город — доставлять фураж для находившихся там лошадей Генриха Флориса Шопенгауэра, но тот велел поблагодарить генерала и объявить ему, что пока у него еще достаточно фуража, когда же фураж этот весь выйдет, он велит зарезать своих лошадей. Эту свою горячую любовь к независимости родного города Флорис выражал не только на словах, но и на деле: он отклонил сделанное ему прусским королем предложение поселиться в Пруссии, и когда в 1793 году присоединение Данцига к Пруссии было окончательно решено, он в течение двадцати четырех часов ликвидировал все свои дела в Данциге — что не могло совершиться без чувствительных потерь — и переселился в ганзейскую же республику Гамбург.

Генрих Флорис Шопенгауэр был не только горячий патриот и ловкий коммерсант, но и человек многосторонне образованный. Во время своих частых деловых поездок в Англию и во Францию он успел довольно основательно ознакомиться с литературой этих стран; любимым его автором был Вольтер. Государственный и семейный строй Англии до того нравился ему, что он даже некоторое время помышлял о том, чтобы совсем переселиться в эту страну. Хотя этот его план ему и не удался, но он устроил свой дом совершенно на английский лад, и не только сам

⁵⁵ Ганза — союз крупных торговых городов Северного и Балтийского морей. — Ред.

ежедневно прочитывал от доски до доски «Times», но и заставлял сына своего с самых ранних детских лет читать эту газету.

Тридцати восьми лет от роду Генрих Флорис Шопенгауэр женился на восемнадцатилетней Анне Генриетте Трозинер, дочери уважаемого, хотя и небогатого данцигского ратмане⁵⁶. Это была небольшого роста, грациозная, голубоглазая, светло-русая девушка. Образование она получила довольно поверхностное, как и все тогдашние молодые девушки не только среднего, но и высшего круга, но природный ум и остроумие отчасти дополняли этот недостаток образования. Домовитой хозяйкой она не сделалась во всю свою жизнь. Она сама откровенно сознавалась, что не питала никакой страстной любви к бывшему в то время более чем вдвое старше ее жениху своему, да тот и не претендовал на такую любовь; она прямо говорила, что выходила замуж за Генриха Флориса Шопенгауэра в расчете на более блестящую обстановку и жизнь, чем какую она находила в родительском доме. Биографы Артура Шопенгауэра подчеркивают то обстоятельство, что автор «Мира как воли и представления» обязан своим происхождением не браку по любви. Недостаточное образование, полученное ею в родительском доме, она отчасти пополнила впоследствии в течение многих лет сожителства сумным и образованным мужем. В этом отношении большим подспорьем служила ей прекрасная библиотека ее мужа, изобиловавшая лучшими тогдашними английскими и французскими книгами, причем в этом усиленном чтении она нашла дельного руководителя в лице друга своего детства, англиканского пастора в Данциге, Джемсона. Тотчас же после свадьбы она предприняла большое путешествие со своим мужем, имевшим прирожденную страсть к передвижениям. Они проехали через Берлин, Ганновер и Пирмонт во Франкфурт-на-Майне, который, по ее словам, очень напомнил ей богатый и свободный родной город ее Данциг, а оттуда через Бельгию и Париж в Англию. Здесь, по желанию Генриха Флориса, они предполагали пробыть подольше, для того чтобы первенец их, появления которого на свет ожидали супруги, родился именно в возлюбленной его Англии и тем как бы приобрел прирожденные права английского гражданства. Однако обстоятельства заставили их отказаться от этого плана, и они после весьма затруднительного путешествия прибыли в Данциг, где несколько дней спустя, именно 22 февраля 1788 года, родился старший их сын, которому при последовавшем 2 марта того же года

крещении дано было имя Артур. Это имя было избрано Генрихом Шопенгауэром потому, что оно не носит специально немецкого оттенка и произносится почти совершенно одинаково на других языках — французском и английском.

Отец Артура Шопенгауэра, уроженец и гражданин вольного ганзейского города Данцига, как мы видели выше, всегда отличался свободолюбивыми наклонностями и симпатией к Франции. Великая французская революция, вспыхнувшая с небольшим год спустя после рождения будущего знаменитого философа, еще более усилила эти наклонности и симпатии. Когда Артуру было пять лет от роду, в 1793 году, вольный город Данциг снова подвергся блокаде со стороны королевских прусских войск, и местные патриоты утратили всякую надежду на сохранение своего республиканского строя. Тогда Генрих Флорис Шопенгауэр решился совершенно выселиться из родного города, и в марте этого года, за несколько часов до вступления в Данциг пруссаков, родители его выехали со всем

⁵⁶ Ратман (нем.) — член городского совета. — Ред.

своим семейством из Данцига и направились, через принадлежавшую в то время Швеции Померанию, в вольный город Гамбург. I Здесь перед образованной зажиточной четой раскрылись двери лучших домов; к этому периоду относится знакомство их с Клопштоком, фельдмаршалом Калькрейтом, Нельсоном, леди Гамильтон и другими. Но с переселением из родного города страсть четы Шопенгауэр к передвижениям, кажется, еще более усилилась, и во время своего двенадцатилетнего пребывания в Гамбурге они предпринимали целый ряд более или менее отдаленных путешествий. Одной из целей этих частых путешествий являлось также желание Шопенгауэра-отца содействовать всестороннему развитию Артура, и впоследствии философ с благодарностью вспоминал об этом, не без основания сопоставляя свое многостороннее, отчасти благодаря этим путешествиям, развитие со односторонним развитием большинства немецких ученых. Девятилетним мальчиком он сопровождал своего отца во Францию, причем отец оставил его на два года у своего хорошего знакомого, гаврского купца Грегуара, с сыном которого маленький Артур обучался у лучших учителей этого города. Здесь он провел самую счастливую пору своего детства и совершенно офранцузился, чего и желал его отец, от всей души ненавидевший немецкое филистерство. Когда он возвратился, совершенно один, морем, из Тавра в Гамбург, то оказалось, что он почти совсем разучился немецкому языку и ему стоило некоторых усилий снова свыкнуться с последним. Одиннадцати лет от роду он поступил в частную гимназию некоего Рунге, в которой воспитывались сыновья самых знатных граждан; но так как программа этого училища имела в виду преимущественно коммерческую сторону, вследствие чего большая часть воспитанников были дети коммерсантов, то первоначальное образование Шопенгауэра оказалось довольно односторонним; так, например, латинскому языку, которому Артур начал учиться еще в Тавре, он, по его собственным словам, основательно выучился, и притом в течение полугода, лишь девятнадцати лет от роду. Мы говорили уже выше, что отец Шопенгауэра желал сделать из него купца; но, к великому огорчению представителя старинной данцигской торговой фирмы, Артур не выказывал к тому ни малейшей склонности, и в нем уже рано сказалась пламенная любовь к отвлеченной науке. Долгое время Генрих Флорис противился просьбам сына. Чтобы отвлечь Артура от мысли о поступлении в гимназию, он предложил ему сопровождать его во время нового путешествия, предпринятого им вместе с женою весною 1803 года в Бельгию, Англию, Францию, Швейцарию и южную Германию. Впоследствии сам Шопенгауэр выражал глубокое сожаление по поводу того, что столько драгоценного для школьного образования времени пропало у него почти даром на интересные, но все же не способные дать солидного образования скитания по белу свету. Впрочем, со свойственной ему энергией, он не преминул наверстать потерянное время усиленными трудами. В Англии они пробыли около полугода. Чтобы не останавливать совсем школьного образования сына, родители, отправившись сами путешествовать в северную Англию и в Шотландию, поместили его в дом одного пастора в Уимблдоне, близ Лондона. Здесь он положил основание солидному знакомству с языком народа, который, наравне с французами, был ему особенно симпатичен.

В этой школе, наряду с общеобразовательными предметами, обращалось серьезное внимание и на изящные искусства: игру на флейте, пение, рисование, верховую езду, фехтование и танцы. Однако живой и избалованный юноша, впервые разобщенный с семьею, не имея подле себя никого близкого и предоставленный самому себе, жалуется в письмах к родителям на отсутствие развлечений. На это мать его отвечала ему: «Рисование, книги, музыка, фехтование и прогулки верхом

представляют достаточное развлечение. Твоему возрасту, собственно, и не пристали более шумные развлечения. Для того, чтобы пользоваться последними, нужно сначала научиться жить, ты же пока к этому только подготавливаешься»... В другом письме она советовала ему меньше заниматься шиллеровскими трагедиями и драмами, а больше читать по-английски. «Я желаю, — писала она, — чтобы ты всех поэтов вообще и каждого из них в отдельности отложил куда-то в сторону и остановился на более серьезном чтении... Тебе всего пятнадцать лет, ты уже прочел и изучил лучших немецких, французских и английских поэтов, а между тем, за исключением тех книг, с которыми для тебя обязательно было знакомиться в учебные часы для удовлетворения требованиям г. Рунге, да за исключением еще нескольких романов ты совершенно не знаком с прозаическими сочинениями — историей, например... Чувство прекрасного на этом свете, каков он есть, не может служить нам руководящей нитью, и я желала бы видеть в тебе что угодно, только не так называемого "bel esprit"⁵⁷... С другой стороны, отец его, отчасти соглашаясь с тем, что сыну его жизнь в Уимблдоне не могла казаться особенно приятной, и разрешая ему для развлечения ездить каждую неделю в Лондон, скорбел... о дурном почерке своего сына и настойчиво убеждал его постараться исправить свой почерк. Подобные советы давались, очевидно, ввиду желания старого негоцианта когда-нибудь увидеть своего сына серьезно посвятившим себя торговым занятиям. Шопенгауэр, которому в это время было всего пятнадцать лет от роду, самым решительным и даже резким образом восставал против английского ханжества, которое, как он писал своей матери, «заставляет его по праздникам и воскресеньям слоняться без всякого дела и вселяло желание, чтобы истина наконец своим факелом осветила египетскую тьму, царствующую в Англии». На это мать довольно зло напоминала ему, что прежде ей «приходилось воевать с ним, когда по воскресеньям и праздникам он не хотел приниматься ни за что путное, ссылаясь на то, что это дни отдыха; теперь же вдруг он оказался пресыщенным праздничным отдыхом». Вообще у юноши, даже можно сказать у отрока, проявляется серьезность не по летам. Так, например, он пишет родителям, что осмотр Вестминстерского аббатства дал ему бесконечный материал для размышлений: «Видя в этих готических стенах останки и гробницы поэтов, героев и королей так, как их собрали вместе протекшие времена, задаешься вопросом, действительно ли они находятся в общении там, где их не разделяют ни кастовые рамки, ни понятия времени и места, и спрашиваешь, что же именно и по сколько в загробном мире сохранил каждый из блеска и величия, доставшихся им в удел на земле. Короли покинули на земле свои венцы и скипетры, поэты — славу; но из них истинно великие умом, блиставшие внутренними дарованиями, и в загробном мире сохранили все, чем пользовались здесь».

Из Англии Шопенгауэры через Голландию и Бельгию проехали в Париж, где они оставались более двух месяцев. Здесь они, пользуясь своими связями, имели случай познакомиться со многими из тогдашних выдающихся людей Франции, начиная с первого консула Наполеона Бонапарта, и изучить все парижские достопримечательности. Игра знаменитого актера Тальма не произвела особого впечатления на молодого Шопенгауэра, но зато ему очень понравились маленькие комедии и комическая опера. «Французский язык и французские актеры, — писал он, — как будто нарочно созданы для этого рода пьес; но к декламации французских трагиков, жестокой и ненатуральной, я едва ли когда-нибудь привыкну». Шопенгауэр и впоследствии к французским стихам и декламации

⁵⁷ "Человек с претензиями на остроумие" (франц.). — Ред.

относился неодобрительно, но французский прозаический стиль всегда восхвалял, в противоположность немецкой напыщенности слога. Что касается самих французов, с которыми Шопенгауэр, начиная с детства, имел многочисленные случаи ознакомиться, то он признавал их народом живым и веселым, но чувственным и самым легкомысленным из всех европейских народов, и вследствие этого своего темперамента французы не могли быть особенно симпатичны серьезному уму Шопенгауэра. И, действительно, в сочинениях его нередко встречаются довольно резкие отзывы о французах. Так, например, в своих «Parerga»⁵⁸ он говорит: «Другие части света создали обезьян, Европа же — французов. Одно стоит другого». Далее он порицает французов за чрезмерную заботу о чужом мнении, способствующую будто бы развитию нелепого честолюбия, смешного национального тщеславия и противного хвастовства. Благодаря тому и самые стремления французов получают такую неустойчивость, что служат предметом острот и насмешек для других народов.

В начале января 1804 года семейство Шопенгауэров направилось через Орлеан, Тур, Ангулем, Бордо и южную Францию в Гиер. Развалины римского амфитеатра в Ниме произвели на молодого Шопенгауэра очень сильное впечатление, граничившее с благоговением. В Тулоне он выходил из себя по поводу судьбы заключенных в нем каторжников. В Лионе он вспоминает о множестве лиц, погибших в этом городе на эшафоте во время господства здесь террора, и удивляется тому, что «лионцы теперь, как ни в чем не бывало, разгуливают по тем самым местам, где десять лет тому назад друзья их и родственники расставлялись рядами и расстреливались картечью». «Неужели, — восклицает он, — воображение им не рисует кровавого зрелища родственников, погибающих в муках! Можно ли поверить, что современные лионцы, проезжая через площадь, хладнокровно рассказывают, как здесь, на этом самом месте, были казнены их друзья? Поистине непонятно, как сила времени притупляет живые и ужасные впечатления».

Из Франции Шопенгауэры отправились в Швейцарию. Вид швейцарских Альп произвел на Артура весьма сильное впечатление, и он умолял отца своего позволить ему остаться подольше в Шамуни; даже под старость он приходил в волнение, когда ему приходилось говорить о Монблане. Между прочим, он сравнивает пасмурное настроение высокоодаренных умов с Монбланом, вершина которого обыкновенно закрыта бывает облаками; но «когда порою, особенно ранним утром, облачная завеса разорвется и вершина горы, окрашенная пурпуром солнечного восхода, покажется через облака в Шамуни, тогда всякое сердце заликует. Так и в гении, большею частью меланхоличном, своеобразное веселие, истекающее от совершенной объективности ума и возможное только для гения, кладет на его высокое чело сияние». Но если Шопенгауэр пришел в восторг от швейцарской природы, то сами швейцарцы ему очень не понравились, и эта нелюбовь к ним, родившаяся еще в отрочестве, сохранилась в нем на всю жизнь.

Через Швабию и Баварию Шопенгауэры направлись в Австрию, где их задержали на границе целую неделю вследствие какой-то неисправности в их паспорте; это путешествие с большим юмором описано молодым Шопенгауэром. Осмотрев Вену и Пресбург, путешественники направились через Моравию, Богемию, Силезию и Саксонию в Берлин. Отсюда Шопенгауэр-отец отправился по

⁵⁸ «Parerga und Paralipomena» (1851 год); parerga (лат.) — разные мелкие статьи, второстепенные произведения, paralipomena (первоначально греч.) — пропуски, пробелы. — Ред.

делам своим в Гамбург, а Артур с матерью — в Данциг. Здесь осенью 1804 года, шестнадцати с половиной лет от роду, он был конфирмован⁵⁹ в той же церкви Св. Марии, в которой его в 1788 году крестили. В декабре того же года он вернулся в Гамбург. Хорошо ознакомившись во время своих странствований по Франции и Англии с французскими и английскими языками и позанявшись ради исполнения желания своего отца каллиграфией, он в январе 1805 года, опять-таки по особому желанию отца, поступил в торговую контору гамбургского коммерсанта и сенатора Иениша. Но уже несколько месяцев спустя, весной 1805 года, скоропостижно умер его отец: он упал из окна чердака в глубокий канал и утонул. Ходили слухи, будто сделавшийся в последние годы своей жизни чрезвычайно раздражительным, особенно вследствие усилившейся с годами глухоты своей, Генрих Флорис Шопенгауэр преднамеренно бросился в канал; другие утверждали, что Шопенгауэр-отец лишил себя жизни в припадке умопомешательства, наследственного в его семействе (действительно, в нескольких поколениях семьи Шопенгауэров встречается не один случай умопомешательства); третьи же видели в смерти Генриха Флориса просто несчастный случай. Как бы то ни было, но смерть отца произвела на Артура сильное, удручающее впечатление. Хотя последний по натуре своей был далек от всякой чувствительности и сентиментальности, однако он до глубокой старости в разговоре с друзьями своими отзывался об отце с величайшей теплотой.) После смерти Артура Шопенгауэра между рукописями его было найдено написанное им еще в 1821 году, но в то время не напечатанное посвящение памяти отца второго издания его знаменитой книги «Мир как воля и представление». Вот это посвящение:

«Благородный, благодетельный ум, которому я всецело обязан тем, чем я стал. Твоя попечительная предусмотрительность охраняла и лелеяла меня не только в течение всего беспомощного детства и опрометчивой юности моей, но и в зрелом возрасте, по настоящий день. Дарован мне жизнь, ты в то же время позаботился о том, чтобы твой сын в этом мире, каков он есть, имел все способы существовать и развиваться, а без этой твоей заботливости я сотни раз оказался бы на краю гибели. В моем уме стремление к теоретическим исследованиям сущности бытия преобладало слишком решительно для того, чтобы я, ради обеспечения своей особы, мог, насилуя свой ум, предаться какой-нибудь иной деятельности и поставить себе задачею добывание хлеба насущного. По-видимому, именно в предвидении этого случая ты понял, что твой сын не способен ни пахать землю, ни тратить силы на механическое ремесло. Равным образом ты, гордый республиканец, понял, что сыну твоему чужд талант соперничать с ничтожеством и низостью или пресмыкаться перед чиновниками, меценатами и их советниками в тех видах, чтобы подло вымалывать себе кусок черного хлеба, или же, наконец, подлаживаясь к надутой посредственности, смиренно присоединяться к славословящей ее толпе писак и шарлатанов. Ты понял, что твоему сыну скорее свойственно вместе с почитаемым тобою Вольтером думать: "Так как нам дано лишь два дня жизни, то не стоит труда проводить их в ползании перед презренными плутами". Поэтому посвящаю тебе мое творение и шлю тебе, за пределы могилы, благодарность, которою обязан лишь тебе одному и никому иному. Тем, что силы, дарованные мне природою, я мог развить и употребить на то, к чему они были предназначены; тем, что, последовав прирожденному влечению, я мог без помех работать в то время, когда мне никто не оказывал содействия, —

⁵⁹ Конфирмация — у протестантов обряд приобщения к церкви юношей и девушек, достигших 14—16 лет. — Ред.

всем этим я обязан тебе, мой отец: твоей деятельности, твоему уму, твоей бережливости и заботливости о будущем. За это хвала тебе, мой благородный отец! Пусть же всякий, кто в моем творении найдет для себя радость, утешение и поучение, услышит твое имя и узнает, что если бы Генрих Флорис Шопенгауэр был не тем человеком, каким он был в действительности, то Артур Шопенгауэр успел бы сто раз погибнуть. Итак, да сделает моя благодарность то единственное, что в состоянии сделать для тебя я, которого ты создал: да разнесется имя твое так далеко, как только в состоянии будет разнестись мое имя».

ГЛАВА II

Артур Шопенгауэр поступает в университет. — Раннее проявление шопенгауэровского пессимизма. — Университетские годы Шопенгауэра. — Его литературные знакомства. — Охлаждение отношений между Шопенгауэром, и его матерью

После смерти своего мужа Анна Шопенгауэр переселилась со своей восьмилетней дочерью в Веймар: меркантильный Гамбург был ей антипатичен, и ее влекло в тогдашнюю «резиденцию муз». Она прибыла в этот город за два дня до сражения при Йене и несколько месяцев спустя, несмотря на тогдашние смутные времена, благодаря своей общительности, любезности и талантливости, успела уже познакомиться и сблизиться почти со всеми тогдашними веймарскими знаменитостями. Несмотря на некоторое расстройство дел ее мужа за последнее время его жизни, он оставил семье все же настолько значительное состояние, что вдова его могла вести довольно открытый и широкий образ жизни. В ее доме собирались по два раза в неделю такие люди, как Гёте, Воланд, Гримм, братья Шлегели, князь Пюклер и другие. Она нашла даже доступ к тогдашнему веймарскому двору, пользовалась дружбой и расположением герцога Карла Августа и его супруги, герцогов Саксен-Кобург-Готских, наследного принца Мекленбург-Шверинского и других. Несколько лет спустя она вступила, и притом не без успеха, на литературное поприще.

Тем временем Артур Шопенгауэр, глубоко потрясенный смертью отца, из уважения к памяти последнего продолжая еще некоторое время столь ненавистную ему коммерческую карьеру. Правда, делал он это больше для вида: сидя за своей конторкой и разложив конторские книги, он потихоньку от своего принципала⁶⁰ читал «Френологию»⁶¹ Галля или какую-либо другую подобную книгу. Но наконец и для него пробил час избавления: его мать прочла одно из его писем, в котором Артур горько жаловался на свою судьбу одному из своих веймарских друзей, Фернову, и тот убедил мать не противиться влечению сына, не принуждать его к продолжению коммерческой деятельности и позволить ему поступить в университет. Шопенгауэр, чуждый всякой сентиментальности, заплакал от радости, получив письмо матери, в котором та предоставляла полный простор его природным влечениям. По совету того же Фернова он переехал в Готу, где профессор Деринг взялся подготовить его из латинского языка для поступления

⁶⁰ Принципал (лат.) — здесь: хозяин. — Ред.

⁶¹ Френология — теория, утверждающая наличие связи между психическими, моральными свойствами человека и строением его черепа. — Ред.

в университет, а профессор Якобе занялся с ним немецкой литературой. Оба они отзывались с величайшей похвалой о замечательных способностях своего ученика. Но он позволил себе кое-какие насмешки над некоторыми из гимназических учителей, и те, узнав об этом, не допустили его к сдаче экзамена на аттестат зрелости. Тогда он решился перебраться в Веймар и там продолжать подготовку к университету; однако, по желанию матери, он не поселился в ее доме. Интересны мотивы, заставившие эту женщину, искренне любившую своего сына, отказаться от совместного с ним жительства в одном доме. Вот что она пишет по этому поводу Артуру, имевшему в то время девятнадцать лет от роду:

«Для моего счастья необходимо знать, что ты счастлив; но мы можем оба быть счастливы и живя врозь. Я не раз говорила тебе, что с тобой очень трудно жить, и чем больше я в тебя всматриваюсь, тем эта трудность становится для меня очевиднее. Не скрою от тебя того, что пока ты останешься таким, каким ты есть, я готова решиться скорее на всякую иную жертву, чем на эту. Я не отрицаю твоих хороших качеств; меня отдалают от тебя не твои внутренние качества, а твои внешние манеры, твои привычки, взгляды и суждения; словом, я не могу сойтись с тобою ни в чем, что касается внешнего мира. На меня производят также поистине подавляющее действие твое вечное недовольство, твои вечные жалобы на то, что неизбежно, твой мрачный вид, твои странные суждения, высказываемые тобою, точно изречения оракула; все это гнетет меня, но нимало не убеждает. Твои бесконечные споры, твои вечные жалобы на глупость мира и на ничтожество человека мешают мне спать по ночам и давят меня, точно кошмар».

Эти слова матери, писанные девятнадцатилетнему юноше, в высшей степени характерны: они показывают, что задатки пессимизма, проходящего красной нитью сквозь всю жизнь Шопенгауэра и сказывающегося чуть не в каждой строке его последующих произведений, весьма явственно и рельефно обнаружились в нем, к великому огорчению и неудовольствию его жизнерадостной матери, уже в таком возрасте, в котором мир для других людей обыкновенно представляется еще в самом радужном свете. Девятнадцатилетний пессимист поселился в Веймаре отдельно от живой, общительной матери. Молодой человек энергически стал стремиться к достижению новой намеченной им себе цели. Уроки нескольких дельных профессоров и прирожденная его способность к изучению языков позволили ему довольно быстро пополнить свое одностороннее и далеко не систематическое первоначальное образование. Поселившись в доме известного в свое время филолога Пассова, он под его руководством делал быстрые успехи в знакомстве с классическими языками и с классической древностью; кроме того, он занимался латинской грамматикой и латинским синтаксисом у знаменитого латиниста Ленца, директора Веймарской гимназии, пополняя в то же время свои исторические и математические познания. С замечательным рвением юноша работал не только целыми днями, но и по ночам, и когда он, двадцати одного года от роду, поступил в славный в то время Гёттингенский университет, то оказался настолько основательно и многосторонне подготовленным к слушанию университетских лекций, как немногие из его товарищей.

Сначала он записался на медицинский факультет и слушал лекции по естественной истории, но вскоре под влиянием Г. Е. Шульца заинтересовался философией и перешел на философский факультет. Этот Шульц имел самое решительное и благотворное влияние на будущего знаменитого философа, посоветовав ему прежде всего заняться тщательным изучением Платона и Канта и не брать в руки ни Аристотеля, ни Спинозу, пока он не ознакомится основательно с вышеназванными двумя мыслителями. Так, по крайней мере, Шопенгауэр сам

передает об этом в набросанных им впоследствии автобиографических заметках. В Гёттингене Шопенгауэр пробыл с 1809 по 1811 год, и здесь из университетских товарищей своих особенно близко сошелся со знаменитым впоследствии Бунзеном. Будучи нелюдим по природе, он не принимал почти никакого участия в обычной шумной студенческой жизни, и круг его знакомства ограничивался лишь очень немногими товарищами, к числу которых принадлежали поэт Эрнст Шульце, некто Люкке и американец Астор, сделавшийся впоследствии архимиллионером. Во время вакаций он делал экскурсии в Гарц, в Веймар и в Эрфурт, где ему пришлось побывать во время знаменитого Эрфуртского конгресса и быть отчасти очевидцем раболепия германских владетельных князей перед Наполеоном I. Но этот молодой мыслитель, уже носившийся в это время с планом своего будущего капитального труда о «мире как воле», по-видимому, не слишком-то интересовался этой волей, воплотившейся в человека и называемой Наполеоном. Гораздо более интересовал будущего знаменитого философа другой человек, гений которого представлял собою прямой контраст с гением Наполеона: он еще в доме матери своей познакомился с Гёте, который отнесся в высшей степени благосклонно к молодому человеку, и с этих пор стал питать к нему, вопреки основным свойствам своего характера, восторженное благоговение, называя его самым великим человеком германского народа.

В 1811 году двадцатитрехлетний Шопенгауэр переселился из Веймара в Берлин, куда его влекла громко гремевшая в это время философская репутация Фихте, но уже в это время у молодого философа сложилась слишком самостоятельная манера мышления для того, чтобы всецело идти по стопам этого мыслителя, часто ударявшегося, по мнению Шопенгауэра, в софистику. Он очень прилежно посещал лекции Фихте, неоднократно вступал с последним в диспуты во время коллоквиумов, устраиваемых последним, но уже вскоре априорное преклонение его перед Фихте, по его собственным словам, уступило место пренебрежению и насмешке. Одновременно с философией он усердно продолжал изучать в Берлине и естественные науки — физику, химию, астрономию, геогнозию⁶², физиологию, анатомию, зоологию; он не пренебрегал также классическими языками, слушая лекции Вольфа, Бека, Брингарди и других; только юриспруденция и богословие не привлекали его к себе, и в этом отношении в его образовании оказался значительный пробел, оказывавшийся во всей его последующей деятельности. Гораздо более лекций Фихте интересовали его лекции Шлейермахера по истории средневековой философии, хотя он находил последние не чуждыми пиетистской окраски. Наконец, он прослушал также курс по скандинавской поэзии, читал классических писателей эпохи Возрождения — Монтеня, Рабле и других.

Тогдашние смутные времена были, однако, не особенно благоприятны для мирных научных занятий. Во время пребывания его в Берлине стала меркнуть ярко блестевшая до сих пор звезда Наполеона, и всю Германию, не исключая и университетских кружков, овладел пламенный патриотический энтузиазм. Но Шопенгауэр, несмотря на свои двадцать четыре года, был совершенно чужд этого энтузиазма, что даже впоследствии неоднократно навлекло на него упреки в недостатке патриотизма. Он только что собирался держать в Берлине докторский экзамен, когда сомнительный исход сражений при Бауцене и Люцене заставил его покинуть Берлин и искать более спокойного для его научных занятий убежища в Саксонии. Во время его двенадцатидневного бегства в Дрезден он очутился в самом разгаре военной сутолоки; между прочим, бургомистр одного городка,

⁶² Геогнозия — наука, исследующая напластования, состав и свойства твердой земной коры (Даль). — Ред.

узнав случайно, что Шопенгауэр хорошо владеет французским языком, обратился к его услугам, и ему пришлось взять на себя роль переводчика. Лето он провел в деревне, недалеко от саксонского городка Рудольштадта, где он, среди окружавшего его военного шума, обдумывал план своего сочинения «О четверояком корне закона достаточного основания». В начале октября Йенские университет на основании присланной Шопенгауэром диссертации заглазно провозгласил его доктором философии, а на зиму он переселился к матери, в Веймар. Но здесь различие между характерами матери и сына сказалось сильнее, чем когда-либо. Умная, образованная, даже в известной мере талантливая Анна Шопенгауэр не могла понять и переносить обособленности и мизантропии своего сына. К этому различию в характерах присоединялось еще и то, что Шопенгауэр, бережливый и расчетливый с юных лет, не одобрял слишком широкого, по его мнению, образа жизни матери: он сознавал, и не без основания, что та деятельность, к которой он чувствовал влечение и к которой считал себя призванным, вряд ли в состоянии будет обеспечить его материальное существование, и поэтому особенно дорожил сохранением в возможной неприкосновенности оставленного отцом его своему семейству состояния.

Анна Шопенгауэр, как женщина очень неглупая, понимала, что она и сын ее положительно не сходятся характерами. Вот что она как-то писала ему по этому поводу: «Я полагаю, что ты найдешь для нас обоих полезным, если взаимные отношения наши установятся так, чтобы обоюдная наша независимость сохранила непринужденное, мирное и независимое спокойствие, которое вносит в мою жизнь отраду. Итак, Артур, устраивай свое существование так, как будто бы меня здесь вовсе не было, за исключением того, что между 1—3 часами ты ежедневно будешь приходить ко мне обедать. Вечера каждый из нас будет проводить как вздумается, кроме двух вечеров в неделю, когда у меня собирается общество: в эти вечера, само собой разумеется, ты будешь приходить, проводить время с гостями, и, если захочешь, оставайся хоть целый вечер и ужинай; в остальные дни недели ужинать и чай пить ты будешь у себя дома. Так оно будет лучше, милый Артур, для нас обоих: этим способом мы сохраним теперешние наши взаимные отношения. Да и твоя независимость через это выиграет. Что касается развлечений, то ты будешь располагать тремя вечерами для посещения театра, а два вечера — проводить у меня. Полагаю, развлечений достаточно, хотя боюсь, что мои вечера, пожалуй, покажутся тебе менее занимательными, чем для тех гостей, которые, будучи старше возрастом и имея перед тобою преимущество, играют на вечерах более видную роль. Ты окажешься единственным совсем молодым человеком в нашем обществе; но интерес находиться в одной среде с Гёте вознаградит тебя, нужно думать, за веселие, которого ты, быть может, у меня не найдешь... Ты будешь для меня желанным гостем, и, чтобы скрасить тебе пребывание в Веймаре, я сделаю все, что в состоянии буду сделать, не жертвуя, конечно, собственной свободой и покоем».

По мнению одного из биографов Шопенгауэра, Зейдлица, это письмо его матери, равно как и приведенное выше, писанное по поводу предполагавшегося переселения Артура в Веймар, вполне обрисовывают Артура Шопенгауэра и точно характеризуют его, каким он был не только в юности, но и в зрелом возрасте. «Мать из снисходительности относит к внешнему наложению то, что составляет неотъемлемую черту внутреннего существа сына, и то, что, вероятно, нередко проявлялось и в покойном муже ее, делая жизнь с ним довольно тяжелою. Привычку юноши и молодого человека произносить свысока приговоры можно

объяснить унаследованною самоуверенностью. Развитая в Артуре Шопенгауэре вера в свою непогрешимость, его мания величия и угрюмость бесспорно народились на почве прирожденной ненормальности нервной системы, и их, конечно, нельзя поставить в вину юноше как нечто, вытекающее из произвола, но вместе с тем нельзя не пожалеть о том, что никто не был настолько близок Артуру Шопенгауэру, чтобы ласкою и увещаниями прочно и благотворно повлиять на эти особенности его душевного строя».

С сестрой своей Аделью, которая была на десять лет моложе его и нисколько не походила на него ни наружностью, ни характером, он тоже не ладил и, таким образом, оставался одиноким, даже живя в семейной обстановке.

Около этого же времени он познакомился с известной в то время актрисой Ягеман и серьезно увлекся ею. Он впоследствии сам признавался, что одно время был даже не прочь жениться на ней, но этот его план расстроился, и Шопенгауэр остался на всю жизнь холостяком.

ГЛАВА III

Появление в свет первых научных трудов Шопенгауэра. — Путешествие его по Италии. — Шопенгауэр добивается университетской кафедры. — Прием, оказанный критикою его сочинениям. — Шопенгауэр как профессор. — Шопенгауэр покидает профессию и снова отправляется странствовать. — Процесс Шопенгауэра с госпожою Маркет. — Жизнь Шопенгауэра в Дрездене. — Вторичная попытка Шопенгауэра выступить на профессорской кафедре. — Шопенгауэр окончательно отказывается от профессорской деятельности и поселяется во Франкфурте-на-Майне

В 1813 году, когда Шопенгауэру было двадцать пять лет от роду, он издал на свой счет первый появившийся в печати труд свой, над которым он усердно работал сначала в Берлине, а затем в Рудольштадте: «О четверояком корне закона достаточного основания». Труд этот сразу обратил на себя некоторое внимание, вызвал похвальные отзывы в некоторых периодических изданиях и горячие похвалы со стороны учителя Шопенгауэра, геттингенского профессора Шульца. Однако среди большинства публики сочинение это прошло малозамеченным, что отчасти находит себе объяснение в тогдашних смутных военных и политических обстоятельствах, переживаемых Германией, и Шопенгауэр не только ничего не выручил от издания этой книги, но ему даже пришлось понести довольно чувствительные убытки. Здесь, кстати, не лишним будет привести очень характерный анекдот, рассказываемый его биографами. Когда он преподнес экземпляр своего сочинения матери, та, прочитав заглавие, воскликнула в шутливо-ироническом тоне: «А, здесь речь идет о корешках! Это, верно, что-нибудь по части фармации⁶³». Сын отпарировал эту насмешку матерю замечанием,

⁶³ Раздел фармакологии, занимающийся изысканием, исследованием, изготовлением, хранением и отпуском лекарственных средств. — Ред.

что его сочинения будут читаться, и усиленно читаться, в такие времена, когда о беллетристических произведениях госпожи Анны Шопенгауэр все уже давным-давно позабудут.

Хотя, как сказано выше, Шопенгауэр жил в Веймаре не в одном доме со своей матерью, а отдельно, однако все же ее общество и ее образ жизни до того ему не нравились, что он, прожив здесь около года, решился совершенно расстаться с матерью и поселиться в другом городе. Молодой философ-нелюдим находил, что жизнь в Веймаре слишком развлекает его и отвлекает от поставленной им себе цели. По этому поводу он следующим образом отзывается о призвании и целях философа в одном из последующих своих писем: «Философия — это альпийская вершина, к которой ведет лишь крутая тропинка, пролегающая по камням и терниям. Чем выше человек взбирается, тем становится пустыннее, и идти по этой тропинке может только человек вполне бесстрашный. Часто человек этот пробирается над пропастью, и он должен обладать здоровой головой, чтобы не подвергнуться головокружению. Но зато мир, на который он взирает сверху, представляется ему гладким и ровным, пустыни и болота исчезают, неровности сглаживаются, диссонансы не доносятся до него, он окружен чистым воздухом и солнечным светом, между тем как у ног его расстилается глубокая мгла». И вот весною 1814 года Шопенгауэр переселяется из Веймара в Дрездену знакомый ему еще по путешествиям, совершаемым им в детстве и отрочестве вместе с родителями его. Здесь он задумал и написал капитальное свое сочинение «Мир как воля и представление».

Несмотря на свойственную ему замкнутость, несмотря на граничившую с самомнением сдержанность его и саркастичность, молодой философ не жил в Дрездене полным анахоретом и пользовался в некоторых кружках исключительною любовью и уважением. Он особенно охотно посещал знаменитую Дрезденскую картинную галерею, основательное знакомство с которой пригодилось ему впоследствии в его трактатах об искусстве, и, с детства страстно любя природу, много странствовал по окрестностям.

Окончив осенью 1818 года свой труд «Мир как воля и представление», Шопенгауэр заключил договор с издателем Брокгаузом, уплатившим ему по одному червонцу за печатный лист, но, не дождавшись выхода в свет сочинения, над которым он работал целых четыре года и сделавшего его имя знаменитым, он отправился путешествовать по Италии, обладая довольно редкою у немцев способностью к языкам, он прекрасно владел итальянским языком, что ему чрезвычайно пригодилось во время его пребывания в Италии. В Риме, где ему пришлось пробыть целых четыре месяца, и в Неаполе большинство его знакомых были англичане; здесь он отчасти сбросил свою нелюдимость и вполне отдался наслаждению искусством, природой и итальянской жизнью вообще. Из итальянских поэтов Шопенгауэр особенно высоко ставил Петрарку, но недолюбливал Данте, находя его чересчур дидактичным, и не особенно высоко ставил Ариосто, Боккаччо, Лассо и Альфьери. В области искусства он обращал особое внимание на пластику и архитектуру древнего мира; к живописи же чувствовал меньше влечения, хотя еще будучи очень молодым человеком под влиянием бесед с Гёте написал очень ценный трактат о цветах и красках. Он охотно посещал оперу в Италии, и Россини был любимым его композитором.

Во время пребывания своего в Италии Шопенгауэр получил от сестры своей Адели письмо, извещавшее его о том, что данцигский торговый дом, которому его мать

вручила большую часть состояния своего и Адели, обанкротился, причем обе они потеряли все свое состояние; сам Шопенгауэр, по свойственной ему осторожности и подозрительности, поместил в этом торговом доме лишь небольшую часть своего состояния, так что банкротство г. М. отозвалось на нем лично лишь потерей 8000 талеров, между тем как большая часть доставшегося ему после отца состояния осталась неприкосновенной. Хотя, как мы видели выше, Шопенгауэр не особенно ладил с матерью, однако он предложил ей разделить с нею и с сестрою оставшуюся неприкосновенной часть своего состояния, но они по неизвестным причинам отвергли это предложение.

Вообще, насколько Шопенгауэр чтит память своего отца, настолько холодно и равнодушно он относился к своей матери. Биограф его, Линднер, по-видимому, не без некоторого основания полагает, что Шопенгауэр имел в виду именно свою мать в том месте своего труда «Parerga», где он говорит о влечении женщин к расточительности и об их неспособности к ведению имущественных дел. Вот, между прочим, что он говорит в этой главе: «Все женщины, за весьма немногими исключениями, наклонны к расточительности, поэтому настоятельно необходимо обезопасить всякое наличное состояние, за исключением тех редких случаев, когда они сами приобрели его, от их расточительности. Ввиду этого, я полагаю, что женщин, в каком бы возрасте они ни находились, никогда нельзя считать вполне совершеннолетними и что они постоянно должны находиться под мужской опекой — все равно, будет ли то опека отца, мужа, сына или правительственных агентов, — подобно тому, как мы видим это в Индии; что им никогда не следует предоставлять самовольно распоряжаться имуществом, а то, что мать назначается даже в силу закона опекуншей и распорядительницей отцовского наследия детей своих, я считаю положительной нелепостью. В большинстве случаев такая женщина способна лишь прожить со своим вторым мужем или любовником то, что с трудом и заботливостью припасено отцом для своих детей, как нас тому учит еще старик Гомер. Родная мать после смерти отца своих детей часто превращается в мачеху им...» и т.д.

Возвратившись из путешествия своего по Италии, Шопенгауэр, отчасти, может быть, вследствие уменьшения отцовского своего наследия, решился домогаться профессуры. При этом он имел в виду три университета: Гейдельбергский, Гёттингенский и Берлинский. Он написал трем своим знакомым профессорам: Эвальду, Блуменбаху и Лихтенштейну, подчеркивая, согласно тогдашним политическим условиям, что он намерен строго придерживаться области спекулятивной философии и далек от всякой мысли влиять на политический склад мыслей своих современников. Он писал, что его всегда занимало и по складу его ума будет занимать лишь то, что касается умственной деятельности людей всех эпох и всех стран, и что он считал бы ниже себя вдаваться в интересы данной страны или данной эпохи. По его глубокому убеждению, таковы должны быть взгляды всякого истинного ученого. В статье своей «Об университетской философии», напечатанной в его «Parerga», он, между прочим, говорит: «Если бы вред, приносимый науке людьми непризванными и неспособными, заключался лишь в том, что они не приносят ей никакой существенной пользы, как мы видим то по отношению к художествам, то еще куда бы ни шло. Но здесь они приносят положительный вред, прежде всего тем, что ради поддержания дурного они заключают тесный союз против всего хорошего и всячески стараются подавить его. Ничто не в состоянии примирить их с превосходством ума; так оно было, есть и всегда будет. И какое страшное большинство на их стороне!

Это — одна из главных помех всякого рода прогрессу человечества». «Люди, которые, вместо того чтобы изучать мысли философа, — говорит в другом месте Шопенгауэр, — стараются ознакомиться с его биографией, походят на тех, которые, вместо того чтобы заниматься картиной, стали бы заниматься рамкой картины, оценивая достоинства резьбы ее и стоимость ее позолоты. Но это еще — с полбеды; а вот беда, когда биографы начнут копать в вашей частной жизни и вылавливать в ней разные мелочи, не имеющие ни малейшего отношения к научной деятельности человека».

От гейдельбергской профессуры Шопенгауэр сам отказался, так как до него дошли слухи о господствовавших среди тамошнего ученого мира личных дрязгах. В Гёттингене ему предвещали благосклонный прием, но крайне ограниченное число слушателей; поэтому он в конце концов остановил свой выбор на Берлине, куда и прибыл летом 1820 года. Здесь Шопенгауэр надеялся найти достаточное число и обязательных, и добровольных слушателей, причем рассчитывал также и на то, что, сделавшись на первый раз приват-доцентом, он в скором времени будет приглашен на оказавшуюся вакантной со смертью Зольгера кафедру философии.

Шопенгауэр явился в Берлине не начинающим, мало кому известным философом, но автором большого, во всяком случае заслуживавшего внимания труда «Мир как воля и представление», года полтора тому назад появившегося в печати. Нельзя сказать, чтобы этот труд прошел незамеченным. Еще в третьем томе философского сборника «Гермес» профессор Герbart поместил обстоятельную рецензию на этот труд, в которой он, сам диаметрально расходясь с автором во взглядах, ставил его, однако, на одну линию с Фихте и Шеллингом. Известный Жан Поль Рихтер писал по поводу труда Шопенгауэра: «Это гениально-философское, смелое, многостороннее произведение, полное остроумия и глубокомыслия, но часто безнадежно и бездонно глубокое, напоминающее собою те обрамленные высокими, отвесными скалами норвежские озера, в которых никогда не отражается солнце, над которыми никогда не пронесется птица и которые никогда не подернутся игривою рябью».

Мог ли подобный человек ожидать успеха на философской кафедре тогдашнего немецкого университета, пропитанного духом филистерства, туманного идеализма и погони за абстрактом, долженствующим сгладить неприглядную действительность? Не отрицая в нем преподавательского дарования, которым он сам гордился и на которое единогласно указывают беспристрастные его современники, нельзя, однако же, не признать того, что по самому содержанию своего преподавания он так же мало подходил к общественной деятельности, как, например, Спиноза. Если к этому присоединить еще столь сильно господствовавшее в то время над молодыми умами влияние Гегеля и Шлейермахера и их менее даровитых последователей, относившихся явно враждебно к исходной точке шопенгауэровской философии, и упорный, неспособный на компромиссы характер Шопенгауэра, то нельзя не прийти к заключению, что с самого начала представлялось весьма мало шансов на успешность его профессорской деятельности. Уже в своей пробной лекции, прочитанной, согласно существовавшим в то время обычаям, на латинском языке, он не задумался объявить, что после истинного мыслителя Канта, сумевшего вывести философию на настоящую дорогу, арену философии запрудили софисты, дискредитировавшие философию и отбившие охоту заниматься серьезно ее изучением, но что не замедлит явиться мститель, который восстановит эту дискредитированную философию во всех ее правах. В оставшихся после смерти

Шопенгауэра бумагах нашлись конспекты его берлинских лекций, из которых видно, как добросовестно он отнесся к принятому на себя делу; но все же не подлежит ни малейшему сомнению, что его философия пришлась не ко двору тогдашней «молодой Германии», носившейся с довольно своеобразными политическими и научными идеалами. Он сам в этом не замедлил убедиться и после довольно неуспешной годовой профессуры, весной 1822 года, отряхнул университетскую пыль с ног своих и снова отправился путешествовать в столь любезные ему южноевропейские страны. В Берлине ему ничего не нравилось: ни университетские нравы, ни климат, ни образ жизни. Во время пребывания его в Берлине он очень мало вращался в университетской сфере: конкурентов своих в области философии он преднамеренно избегал, так как педантизм ученого мира был ему просто противен. Ближе он сходилась с несколькими представителями светского общества, хотя и здесь был крайне разборчив в знакомствах. Особенно опротивел ему Берлин после трагикомического эпизода, случившегося с ним здесь во время его непродолжительной профессуры. Дело это, довольно мелочное, крайне раздражало Шопенгауэра в течение довольно продолжительного времени. Заклучалось оно в следующем. В августе 1821 года знакомая его квартирной хозяйки госпожи Беккер, швея Каролина Маркет, привлекла Артура Шопенгауэра к суду за оскорбление словом и действием.) В письменном отзыве ответчика на жалобу обвинительница мы находим следующее изложение этого вздорного дела:

«Взводимое на меня обвинение, — пишет Шопенгауэр, — представляет чудовищное сплетение лжи с истиною... Я месяцев 16 занимаю у вдовы Беккер меблированную квартиру, состоящую из кабинета и спальни; к спальне примыкает маленькая каморка, которою я сначала пользовался, но потом за ненадобностью уступил хозяйке. Последние пять месяцев каморку эту занимала теперешняя моя обвинительница. Передняя же при квартире всегда состояла исключительно в пользовании моем и другого жильца, и кроме нас двоих и наших случайных гостей в переднюю никому не следовало показываться... Но недели за две до 12 августа я, вернувшись домой, застал в передней трех незнакомок; по многим причинам это мне не понравилось, и я, позвав хозяйку, спросил ее, позволила ли она г-же Маркет сидеть в моей передней? Она ответила мне, что нет, что Маркет вообще из своей каморки в другие комнаты не заходит и что вообще Маркет в моей передней нечего делать... 12 августа, придя домой, я опять застал в передней трех женщин. Узнав, что хозяйки нет дома, я сам приказал им выйти вон. Две из них повиновались беспрекословно, обвинительница же этого не сделала, заявив, что она — приличная особа. Подтвердив г-же Маркет приказание удалиться, я вошел в свои комнаты. Пробыв там некоторое время, я, собираясь снова выходить из дому, опять вышел в переднюю с шляпой на голове и с палкой в руке. Увидев, что г-жа Маркет все еще находится в передней, я повторил ей приглашение удалиться, но она упорно желала оставаться в передней; тогда я пригрозил вышвырнуть ее вон, а так как она стояла на своем, то я и на самом деле вышвырнул ее за дверь. Она подняла крик, грозила мне судом и требовала свои вещи, которые я ей и выбросил, но тут под тем предлогом, что в передней осталась какая-то не замеченная мною тряпка ее, она снова вторглась в мои комнаты; я опять ее вытолкал, хотя она этому противилась изо всех сил и громко кричала, желая привлечь жильцов. Когда я ее вторично выпроваживал, она упала, по всей вероятности, умышленно, но уверения ее, будто я сорвал с нее чепец и топтал ее ногами — чистейшая ложь: подобная дикая расправа не вяжется ни с моим характером, ни с моим общественным положением и воспитанием; удалив Маркет за дверь, я ее больше не трогал, а только послал ей вдогонку крепкое слово. В этом я, конечно, провинился

и подлежу за то наказанию; во всем же остальном — нimalo, так как я пользовался лишь неоспоримым правом охраны моего жилища от нахальных посягательств. Если у нее очутились ссадины и синяки, то я позволяю себе усомниться в том, чтобы они были получены при данном столкновении, но даже и в последнем случае она должна винить сама себя: таким незначительным повреждениям рискует подвергнуться всякий, кто держит в осаде чужие двери...»

В первой инстанции истце было отказано в иске, но суд второй инстанции отменил оправдательное решение относительно Шопенгауэра, который в то время путешествовал по Швейцарии, и приговорил его к уплате 20 талеров штрафа и к возмещению потерпевшей Маркет убытков, в обеспечение чего на капиталы Шопенгауэра, хранившиеся у банкира Мендельсона, наложено было запрещение. Дело это тянулось по разным инстанциям до 1826 года и кончилось тем, что Шопенгауэру все же пришлось платить Маркет пожизненно по 60 талеров в год. Он и выплачивал ей эту пенсию в течение целых 20 лет, до 1846 года, когда старуха наконец умерла. На предъявленном Шопенгауэру свидетельстве о смерти Маркет, освобождавшей его от дальнейшей уплаты пожизненной пенсии, Шопенгауэр сделал следующую надпись: «Obit anus, abit onus» («Отошла старуха, свалилось бремя»).

Весною 1822 года, когда еще тянулся процесс Шопенгауэра со старухой Маркет, он, отказавшись от берлинской профессуры, отправился путешествовать — сначала в Швейцарию, а затем в Италию, где провел осень 1823 года в Венеции и Милане, а зиму — во Флоренции. Весною 1823 года философ из Италии через Тироль проехал в Мюнхен, где прожил около года. В Италии он, как и во время первого путешествия своего, предпочитал общество англичан и тщательно избегал немцев. В Мюнхене Шопенгауэр вынес тяжелую болезнь, вследствие которой почти совсем оглох на одно ухо, и оттуда отправился летом 1824 года лечиться в Гаштейн. Из Гаштейна он снова приехал в Дрезден, который был приятен ему еще по прежним воспоминаниям. Понятно, что ни природа Саксонии, ни строй жизни саксонской столицы не могли сколько-нибудь резко измениться за последние десять лет. Но многих из прежних своих хороших знакомых Шопенгауэр теперь уже не застал здесь, а главное — личное настроение Шопенгауэра теперь уже не было то же, что прежде. Он теперь перестал уже ожидать для себя великой будущности и, не находя полного душевного успокоения, задумал здесь переводить творения замечательных, но малоизвестных мыслителей минувших времен, более или менее близких ему по духу, в надежде подготовить этим путем публику к усвоению его собственных философских взглядов. В таких видах Шопенгауэр принялся было за популярное изложение философских сочинений Давида Юма, написав длинное к нему предисловие. По неизвестным причинам затеянный перевод не состоялся, о чем, как пишет биограф Шопенгауэра Фрауэнштедт, «нельзя не пожалеть, так как при несомненной способности Шопенгауэра к переводам, о которой дают ясное понятие отдельные отрывки английских писателей, введенные в текст его сочинений, и перевод творений Юма оказался бы образцовым, тем более что Юм, подобно Вольтеру, принадлежит к числу писателей, наиболее родственных Шопенгауэру по духу, а потому им особенно часто цитируемых. Я отлично помню из бесед с Шопенгауэром, что он и мне рекомендовал прочесть диалоги Юма».

Перевод Шопенгауэром сочинений Юма остался недоконченным за внезапным отъездом Шопенгауэра в Берлин, вызванным вышеупомянутым процессом его с госпожой Маркет, проигранным ею в первой инстанции. К этому же времени относится и вторичная попытка его читать лекции в Берлинском университете,

в качестве уже приват-доцента. Но и эта попытка его оказалась неудачной: в числе записавшихся на его курс слушателей было очень мало действительных студентов, а фигурировали больше разные дилетанты. Раздосадованный Шопенгауэр закрыл свой курс и раз навсегда отказался от всякой дальнейшей мысли о профессорской деятельности. Но он продолжал жить в Берлине, усердно занимаясь, между прочим, испанским языком и переводом некоторых своих любимых английских поэтов на немецкий язык. К этому же периоду его берлинской жизни относится и знакомство его с Александром Гумбольдтом, в котором Шопенгауэр, впрочем, признавал больше учености, чем ума.

Наконец в 1831 году свирепствовавшая в Берлине холера заставила Шопенгауэра окончательно покинуть этот город. Он решил поселиться не в северной Германии, где он родился и где провел большую часть своей жизни до зрелого возраста, а в южной и избрал резиденцией своей Франкфурт-на-Майне. Отсюда он ненадолго переселился было в Мангейм, но в 1833 году вернулся во Франкфурт и с тех пор прожил в этом городе почти, безвыездно двадцать восемь лет.

ГЛАВА IV

Наружность и манеры Шопенгауэра. — Его любимые ответы. — Письмо его к наборщику. — Переписка его с Брокгаузом. — Шопенгауэр о столоверчении. — Взгляд его на самоубийство. — Образ жизни его. — Болезнь и смерть Шопенгауэра. — Похороны его. — Надгробная речь Гвиннера. — Памятник на могиле Шопенгауэра. — Размеры черепа Шопенгауэра

Наружность Шопенгауэра биографы его описывают следующим образом. Это был человек несколько ниже среднего роста, крепкого телосложения, стройный и с громадной головой; но особенно замечательны были его светлые, блестящие, голубые глаза, обращавшие на себя во время многочисленных его странствований внимание людей, совершенно ему не знакомых. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном; другие утверждали, что лицо его, и в особенности очертание его рта, напоминало собою Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, сохранив, впрочем, вопреки современным модам, покрой платья начала настоящего столетия. Малообщительный и в молодости, он после своих университетских неудач стал еще больше чуждаться общества. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало сходясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров; но, когда ему приходилось говорить в обществе, он никогда не говорил отвлеченными фразами: его разговорная речь была так же проста, наглядна, ясна, точна и жива, как и его слог. Сумев устранить от себя мелочные интересы, заботы, радости и огорчения семейной жизни и относясь довольно безучастно к явлениям жизни общественной, он сосредоточивал все силы своего ума на том, что в древности называлось диалектикой, то есть на искусстве вести разговор исключительно в области чистого мышления. Вместе с тем, он исходил из того основания, что глубина мысли не только не исключает красоты изложения, но, напротив, выигрывает от нее. Как

бы высказываемые им мысли ни казались порою односторонни, нельзя было не признать манеры его излагать их в высшей степени убедительною.

Шопенгауэр, задумывая полное издание своих сочинений, намеревался поставить в заголовке его эпиграф: «Non multa»⁶⁴. Этот эпиграф действительно как нельзя лучше характеризует его как ученого. Шопенгауэр знал много, но не многое. Ни начитанность, ни познания его не поражали своею обширностью. Он с юности привык ограничивать свои ученые занятия изучением сравнительно немногих, но зато капитальных сочинений. Так, например, он почти вовсе не следил за современной ему литературой во всех ее разветвлениях, но зато если он что читал, то читал это обстоятельно, внимательно и вполне овладевал своим предметом. Уже одно то обстоятельство, что он читал довольно медленно, показывает, что он не в состоянии был прочесть сравнительно много. Он утверждал, что не следует читать плохих книг, потому что подобные книги крадут у человека самое драгоценное его достояние — время. Он предпочитал книги на иностранных языках немецким и особенно охотно читал греческих и латинских классиков. Уже при изучении древних языков Шопенгауэр прочел наиболее замечательных классиков, с другими же ознакомился впоследствии; Платона и Аристотеля он перечитал по много раз. Из римлян любимым писателем его был Сенека. Вообще, он тщательно избегал знакомиться с писателями классического мира из вторых рук, из историй литературы; особенно возмущала его манера многих современных ему философов знакомиться с мыслителями древности не из первых, а из вторых рук, как то делали, по его убеждению, например, Фихте, Шеллинг и Гегель. Это нежелание его получать свои знания из вторых рук заставляло его также по возможности избегать переводов. Он требовал от истинного ученого знакомства по крайней мере с важнейшими литературными наречиями, хотя это и не мешало ему самому иногда заниматься переводами. Не знакомого с латинским языком Шопенгауэр просто считал неучем. Из новейших литератур он охотнее всего занимался английскою, причем ему особенно пригодились его основательное знакомство с английским языком. Он чувствовал особое влечение к аскетической и мистической литературе и одно время даже тщательно изучал германских мистиков. Всякое родственное буддизму явление на европейской почве привлекало к себе его внимание. Биограф его Гвиннер приводит следующий интересный список тех мировых произведений, которые составляли любимое его чтение. Это были 105-е письмо Сенеки, начало сочинения Гоббса «О гражданине», «Principe»⁶⁵ Макиавелли, обращения Полония к Лаэрту в «Гамлете», «Правила» Грасиана, французские моралисты, Шинстон и Клиндер. В течение всей своей жизни Шопенгауэр относился с чрезвычайным сочувствием и уважением к великим поэтам всех времен и народов, чаще всего он читал Шекспира и Гёте, затем — Кальдерона и Байрона; особенно же восхищался байроновским «Каином», очевидно, вследствие пессимистического духа, которым проникнуто это произведение. Из лириков он, после Петрарки, ставил особенно высоко Бёрнса и Бюргера, причем последнему, по непосредственности и силе лиризма, готов был отвести место тотчас же после Гёте; впрочем, Шопенгауэр относился с уважением и к Шиллеру, не следуя в этом отношении примеру «esprits forts»⁶⁶ его эпохи. Поэтов же второстепенных и третьестепенных он вовсе не читал, находя, что

⁶⁴ «Не многое» (лат.). — Ред.

⁶⁴ «Государь» (итал.) — Ред.

⁶⁶ Вольнодумцев (франц.). — Ред.

на чтение их не стоит тратить времени. Основательному усвоению им массы прочитанного способствовала его колоссальная память.

Но Шопенгауэр черпал свое знание далеко не из одних книг. Привыкши с юношеских лет внимательно всматриваться в окружающий его мир, знаменитый философ постоянно расширял умственный кругозор, разыскивая крупинки правды всюду, где была хотя бы малейшая надежда найти ее. Он тщательно следил за всяким небесным или земным явлением, причем, однако, большею частью резко расходился с общепринятым мнением: часто то, что привлекает других и что считается ими в высшей степени важным, он оставлял без всякого внимания, а, наоборот, то, что игнорировалось другими или над чем другие насмехались, получало в его глазах величайшее значение.

Образ жизни Шопенгауэр вел необыкновенно правильный. Раз он признал что-нибудь разумным и ввел в свой домашний обиход, он уже не переставал придерживаться того с педантической строгостью. Бывают такие люди, которые не умеют извлекать пользы из своего опыта; но для Шопенгауэра всякий новый опыт, сделанный в каком бы то ни было направлении, становился руководящим началом в дальнейших его действиях, и он продолжал идти в данном направлении с железной последовательностью. Шопенгауэр вставал летом и зимою между семью и восемью часами утра, причем пил кофе, который сам себе готовил: его экономке было раз навсегда строго-настрого приказано даже не показываться по утрам в его рабочем кабинете, так как он считал утренние часы, когда мозг достаточно отдохнул, самым лучшим рабочим временем и не терпел в этом отношении ни малейшей помехи. Он усидчиво работал до половины первого, затем около получаса играл на флейте и ровно в час отправлялся в ресторан обедать: во всю свою жизнь он не заводил у себя домашнего хозяйства и оставался верен своим ресторанным обедам. Но в общих табльдотных⁶⁷ разговорах он почти никогда не принимал участия. После обеда он возвращался домой, пил кофе, отдыхал с часок и затем занимался сравнительно более легким чтением. К вечеру он отправлялся гулять за город, выбирая преимущественно самые уединенные дорожки, только в дурную погоду он гулял по городским бульварам. Походка его до самой старости оставалась легка и эластична. Он любил гулять один, чтобы быть возможно ближе к природе и возможно дальше от человеческого общества. Он любил природу, понимал ее и выказал это свое понимание во множестве рассеянных по его сочинениям замечаний. «Как красива природа!» — восклицает он, например, в одной из своих заметок. «Всякое неовозделанное, запущенное, то есть предоставленное самому себе местечко, к которому человек не прикасается своею неуклюжей лапой, природа тотчас же разукрашивает с величайшим вкусом, одевает его растениями, цветами и кустарником, естественная грация и изящная группировка которых явно свидетельствует о том, что они выросли не под палкой великого эгоиста, называемого человеком». Летом он предпринимал более отдаленные прогулки, не продолжавшиеся, однако, никогда более одного дня. Большие путешествия, которые ему так нравились в молодости, он под старость считал бесполезными и даже неуместными; он зло насмехался над новейшей бесцельной страстью к путешествиям, над этим «катанием взад и вперед под предлогом отдохновения». Дальше Майнца, где он иногда навещал одного старого своего приятеля, и недалеких гор Таунуса он никогда не забирался в последний период своей жизни.

⁶⁷ Застольных (от франц. table d'hôte — общий стол). — Ред

После прогулки Шопенгауэр отправлялся в кабинет для чтения. С юных лет он усвоил себе привычку если не прочитывать, то, по крайней мере, пробежать ежедневно газету «Times»; кроме того, он просматривал еще кое-какие английские и французские журналы, а из немецких периодических изданий читал обыкновенно «Гёттингенские ученые записки», «Гейдельбергский ежегодник» и «Литературный листок» известного Вольфганга Менделя, который ему нравился за то, что «умеет писать занимательные и поучительные рецензии наподобие англичан и французов, между тем как немецкие критики и рецензенты только наводят туман на читателя и утомляют их». Задача рецензента, по его мнению, должна заключаться в возможно более точной передаче содержания книги, которая избавляла бы читателя от труда прочитывать самую книгу. Особенно злила его все более и более распространявшаяся в германской печати порча немецкого языка разными варваризмами. «Немец, — говаривал он, — не в состоянии уберечь даже то единственное богатство свое, которым он вправе гордиться».

В своей корреспонденции Шопенгауэр, несмотря на серьезность и даже кажущуюся суровость, является человеком в высшей степени остроумным. Собираясь, например, приступить ко второму изданию своего «Мира как воли и представления», он написал следующее остроумное письмо к своему наборщику:

«Любезный г. наборщик! Мы относимся друг к другу, как душа к телу; по примеру последних мы должны оказывать друг другу взаимную поддержку в видах создания такого труда, который заставил бы возликовать сердце господина Брокгауза (издателя. — Э. В.). Я с этой целью сделал все, что от меня зависело, и на каждой строчке, при каждом слове, даже при каждой букве, думал о вас — о том, сумеете ли вы прочесть написанное. Теперь сделайте же и вы то, что от вас зависит. Рукопись моя писана не изящным, но очень четким почерком. Тщательная отделка труда моего вызвала необходимость многих вставок, но при каждой вставке ясно обозначено, куда она относится, так что вы в этом отношении не можете впасть в ошибку, лишь бы вы были достаточно внимательны и прониклись уверенностью, что все в порядке и что нужно только подыскать для каждого значка на полях соответствующее слово. Прошу вас также обратить должное внимание на мое правописание и на мою пунктуацию, и, пожалуйста, не воображайте, будто вы смыслите в этом отношении более моего: повторяю, я — душа, а вы — тело. Если вам где-либо встретится зачеркнутая строка, то всмотритесь повнимательнее, не найдется ли в этой строке незачеркнутого слова; отнюдь не допускайте предположения, что здесь мог случиться недосмотр с моей стороны. Если вы не желаете создать для себя лишнего корректурного труда, то избавьте меня от необходимости производить многочисленные поправки на корректурных листах».

Не лишена также интереса переписка его с книгопродавцом Брокгаузом по поводу предпринятого им в 1843 году второго издания первого тома своего сочинения «Die Welt als Wille и пр.»⁶⁸ и издания второго тома того же труда. Он писал по этому поводу:

«Вы, надеюсь, найдете вполне естественным, что я обращаюсь к вам, предлагая вам издать второй том моего "Мира как воли и представления", только что мною оконченный. Быть может, вас удивит только то, что я закончил его лишь 24 года

⁶⁸ «Мир как воля и представление» (нем) — Ред.

спустя после первого, хотя я за все это время не переставал трудиться над ним. Но то, что должно существовать долго, создается медленно. Окончательная редакция его — труд последних четырех лет, и я приступил к ней, убедившись в том, что мне пора кончать: мне только что минуло 55 лет, значит, я вступаю в такой возраст, когда жизнь становится все более и более проблематичною; даже в том случае, если бы она еще продлилась, то все же умственные силы начинают слабеть. Этот второй том имеет значительные преимущества перед первым и относится к нему, как законченная картина к простому эскизу. Преимущество это заключается в солидности и богатстве мыслей и познаний, которые могут явиться лишь плодом целой жизни, проведенной среди усиленных занятий и размышлений. Во всяком случае этот том — наилучшее из всего, когда-либо мною написанного; он даже оттеняет значение и первого тома. К тому же я имел возможность выразиться теперь гораздо свободнее и прямее, чем 24 года тому назад: отчасти вследствие того, что изменилось самое время, отчасти же вследствие того, что решительный отказ от профессуры и отречение от университетской науки развязали мне руки... Я очень желал бы, чтобы вы решились перепечатать и первый том для того, чтобы произведение, значения и достоинств которого до сих пор не признавали, явившись в новом и улучшенном виде, могло бы привлечь на себя заслуженное внимание публики, что особенно желательно в настоящее время, когда упадок религиозного чувства усиливает запрос на философию, а следовательно, увеличивает и интерес к последней, а между тем, не достает того, что могло бы удовлетворить этот запрос: труды так называемых философов менее всего способны достигнуть этой цели. Поэтому я нахожу время как нельзя более удобным для того, чтобы снова выступить с моим произведением, и я, как нельзя более кстати, окончил именно к этому времени второй том его. Но все же ко мне будут относиться с той же несправедливостью, с какою относились доселе. История литературы учит нас именно тому, что все солидные, долговечные произведения находились вначале в пренебрежении, подобно моему, между тем как пользовалась незаслуженным вниманием и почетом посредственность. И мое время должно же когда-нибудь наступить, и наступит... Вопрос об уплате мне какого-нибудь гонорара предоставляю на ваше благоусмотрение: я работал не из-за денег. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что расходы по печатанию и на бумагу для такого объемистого труда будут весьма значительны и могут быть покрыты лишь в достаточно продолжительное время. Повторяю, я предоставляю вам установить условия этого издания. Кое-какую публику я уже теперь приобрел себе, и со временем эта кое-какая публика превратится в публику очень многочисленную, причем мой труд дождется многих изданий, хотя вряд ли мне придется дожить до них».

Когда же Брокгауз ответил на предложение Шопенгауэра отказом, франкфуртский философ-отшельник написал ему следующее: «Ваш отказ был для меня столь же неожидан, как печален. Я желал сделать публике подарок и притом весьма ценный; но вдобавок еще мне самому платить вам за этот подарок — это уже слишком. Если дело действительно дошло до того, что не находится издателя, который рискнул бы типографскими расходами для издания труда всей моей жизни, — между тем как гегелевская белиберда выдерживает по нескольку изданий, — ну, так пускай же мой труд появится в посмертном издании, когда народится то поколение, которое радостно встретит каждую мою строку. А время это когда-нибудь да наступит». В конце концов Шопенгауэр сговорился с Брокгаузом, и тот напечатал оба тома его «Мира как воли и представления» на предлагаемых Шопенгауэром условиях.

Когда в пятидесятых годах пошла мода на столоверчение, Шопенгауэр отнесся к этой странной моде совершенно серьезно, сумев, однако, со свойственным ему остроумием придать, и этой нелепости серьезную философскую подкладку. В апреле 1852 года Шопенгауэр писал Линднеру: «Вошедшее в последнее время в моду столоверчение доставит когда-нибудь полное торжество моей философии. Я глубоко убежден в том, что действующая в данном случае сила — отнюдь не электричество, как полагают иные, а именно воля, которая проявляет здесь свои магические свойства, влияя не только на собственное свое тело, но и на посторонние тела. Стол двигается, повинаясь единодушной воле всех, прикасающихся к нему: это — блистательнейшее подтверждение того, что уже давно высказано мною в моем труде "Воля в природе", а именно в главе "О животном магнетизме и магии". Если же в данном случае толкуют об электричестве, то происходит это вследствие нелепой привычки наших quasi⁶⁹-ученых сваливать на силу электричества все то, что представляется им темным и необъяснимым».

Интересен также взгляд Шопенгауэра на самоубийство, высказанный им в одном из своих писем к Линднеру: «Человек, прибегающий к самоубийству, доказывает только то, что он не понимает шуток, что он, как плохой игрок, не умеет спокойно проигрывать и предпочитает, когда к нему придет дурная карта, бросить игру и в досаде встать из-за стола».

Шопенгауэр был в денежных делах чрезвычайно расчетлив и, благодаря своей расчетливости и бережливости, сумел почти удвоить состояние, доставшееся ему от отца и значительно пострадавшее в молодости его. В последние годы его жизни значительный доход доставляли ему сочинения, для которых он в прежние годы с трудом находил даже даровых издателей, и он шутя говаривал, что большая часть людей зарабатывает себе деньги в молодости и в зрелые годы, а он — в таком возрасте, в котором другие люди уже перестают зарабатывать себе деньги. Жил он чрезвычайно просто и лишь пятидесяти лет от роду завел себе собственную свою мебель. В особом комфорте и эстетичности обстановки он, по-видимому, не чувствовал потребности. Самая лучшая и большая комната его квартиры была занята его замечательной библиотекой. На мраморной подставке в этой комнате, в которой он и умер, стояла настоящая позолоченная статуэтка Будды; на его письменном столе — бюст Канта; над диваном висел портрет Гёте, писанный масляными красками; на других стенах — портреты Канта же, Декарта, Шекспира, несколько семейных портретов и его собственные портреты, снятые в различные возрасты.

До последнего года своей жизни Шопенгауэр пользовался замечательным здоровьем. Лишь за несколько лет до его смерти с ним за столом случился обморок, не имевший, впрочем, никаких дурных последствий. Но в апреле 1860 года, возвращаясь после обеда домой обычной своей быстрой походкой, он вдруг почувствовал сердцебиение и стеснение в груди. Затем эти же явления повторились с ним еще несколько раз в течение лета и вынуждали его порою останавливаться на улицах; а так как он не в состоянии был освободиться от усвоенной им себе привычки ходить очень быстро, то он нашелся вынужденным сократить свои прогулки. Однажды, в августе месяце, утром с ним случился особенно сильный припадок удушья, вследствие которого он едва не задохся. Шопенгауэр чувствовал отвращение ко всякого рода лекарствам и называл глупыми тех, которые воображали себе, будто можно купить в аптеках за деньги

⁶⁹ Якобы (лат.). — Ред.

утраченное здоровье. В первых числах сентября припадок повторился, а призванный к нему 9 сентября утром большой поклонник его Гвиннер, также живший во Франкфурте, сразу же убедился в том, что у Шопенгауэра воспаление легких. Сам Шопенгауэр тут же объявил, что наступает конец его; однако по прошествии нескольких часов после минования кризиса он настолько поправился, что в состоянии был встать с постели и принимать гостей. Но десять дней спустя с ним снова сделался припадок. В этот вечер к нему пришел Гвиннер. Он сидел на диване и жаловался на сердцебиение, впрочем, голос его был силен и звонок. Гвиннер застал больного за чтением «Литературных курьезов» Дизраэли. Раскрыв то место книги, в котором Дизраэли говорит о писателях, разоривших своих издателей, Шопенгауэр шутя заметил: «И меня едва не довели до этого наши милые профессора философии». Затем он сказал, что его нимало не беспокоит мысль о том, что его тело скоро будут точить черви, но зато он не может без ужаса подумать о том, как будут точить его ум господина профессора философии. Он очень интересовался делами объединявшейся в то время Италии, высказывая, однако, весьма метко и, по-видимому, справедливо опасение, что объединенная, нивелированная Италия будет играть меньшую роль в умственной жизни Европы, чем какую играла Италия политически разъединенная. Во время разговора больной выразился, что для него было бы весьма некстати умереть именно теперь, так как он только что задумал серьезно переделать и пополнить свой труд «*Parerga und Paralipomena*». «К тому же, — говорил он, — если прежде я желал возможно долгой жизни для энергической борьбы с моими врагами, то теперь я охотно прожил бы еще для того, чтобы хотя под старость насладиться столь долго заставившим ждать себя, но зато доносящимся теперь до меня отовсюду признанием моих научных заслуг». Шопенгауэр радовался тому, что его начинают понимать и ценить не только профессиональные ученые, но и так называемые дилетанты. Он, между прочим, прочел Гвиннеру выдержки из только что полученных им из разных мест, от совершенно незнакомых людей, сочувственных писем. «Вообще, — говорит Гвиннер, — во время этого нашего последнего разговора Шопенгауэр был таким общительным и мягким, каким я его никогда не видел. Уходя от больного из опасения чересчур утомить его, я далек был от предчувствия, что видел его в последний раз, в последний раз пожал его руку. Прощаясь со мною, Шопенгауэр сказал совершенно серьезно, что для него было бы истинным благодеянием обратиться в ничто, но что, к сожалению, пока на это еще мало надежды. "Впрочем, — прибавил он, — будь что будет, а интеллектуальная совесть моя чиста и спокойна"».

Два дня спустя, 20 сентября утром, с Шопенгауэром сделались такие сильные спазмы в груди, что он упал на пол и расшиб себе лоб. Днем он несколько оправился и ночь провел относительно спокойно. 21 сентября Шопенгауэр встал в обыкновенное время и уселся на диван пить кофе, но когда несколько минут спустя в комнату вошел доктор, он застал его опрокинувшимся на спинку дивана и безжизненным: паралич легких положил конец его жизни. Лицо его дышало спокойствием, и на нем не видно было никаких следов предсмертной агонии. Он всегда рассчитывал на легкую смерть, утверждая, что тот, кто провел всю свою жизнь одиноким, сумеет лучше всякого другого отправиться в вечное одиночество, в радостном сознании, что он возвращается туда, откуда вышел столь богато одаренным, и в уверенности, что он честно и добросовестно вытолкнул свое призвание.

Согласно письменно выраженному им желанию, его не вскрывали. Чело его было увенчано лавровым венком, и 26 сентября смертные останки его были преданы земле.

Ученик и впоследствии биограф его, Гвиннер, произнес на его могиле следующую надгробную речь:

«Гроб этого замечательного человека, прожившего около 30 лет среди нас, но все же остававшегося для нас как бы чужеземцем, вызывает особые размышления. Никто из здесь стоящих не связан с ним узами крови: он жил одиноким и умер одиноким. Но я позволю себе сказать, что усопший нашел некоторую компенсацию за свое одиночество. Это страстное желание познания вечного, которое является у большинства лишь в виду близкой смерти, было неизменным спутником всей его жизни. Будучи пламенным поклонником правды, в высшей степени серьезно относясь к жизни, он с юных лет привык бесцеремонно отворачиваться ото всякой лжи и притворства, не страшась риска оттолкнуть от себя людей и испортить свои с ними отношения. Этот мыслящий и глубоко чувствующий человек провел всю свою жизнь одиноким, непонятый, оставаясь верен самому себе. Его свободный ум не преклонился под тяготами жизни. Богато одаренный судьбой, он всю жизнь стремился к тому, чтоб быть достойным этих даров, и, имея в виду свое высокое призвание, всегда готов был отказаться от всего того, что радует сердца других людей. Много, много лет современники его отказывались отдать ему должную справедливость; лавры, украшающие в настоящее время его чело, достались ему лишь в последний час; но тем не менее вера в свое призвание не переставала корениться в его душе! В течение долгих годов незаслуженного одиночества он не отступил ни на единую пядь от предначертанной им себе дороги и поседел в неукоснительном служении своей возлюбленной — Истине, постоянно памятуя слова Ветхого Завета: "Велико могущество истины, и она в конце концов победит". Те из нас, которые имели счастье стоять ближе к "франкфуртскому мудрецу", никогда не забудут его ясного, светлого взгляда, его живой, убежденной речи. Ручательством тому, что этого человека не забудут, служит нам то, что он в течение всей своей жизни упорно отказывался идти по пути обыденного. Учение его будет стоять незыблемо даже и тогда, когда давным-давно исчезнут всякие следы этой только что вырытой нами могилы. Многие видели в нем только мизантропа; но какого бы низкого мнения он ни был о человеке, он сочувствовал людям, сострадал им. Ему не суждено было судьбой основать свой дом, обзавестись семьей; но все же им построено здание, двери которого он широко раскрыл перед всем мыслящим человечеством».

Могила Шопенгауэра украшает простая надгробная плита, обвитая плющом. На этой плите высечены только два слова: Артур Шопенгауэр, и больше ничего — ни года его рождения, ни года смерти, ни какой-либо иной надписи. Это сделано по специально выраженному им перед смертью желанию, так как он исходил из того убеждения, что все остальное, касающееся его личности и деятельности, предоставляется знать потомству. Когда Гвиннер как-то спросил его, где бы он желал быть похороненным, Шопенгауэр отвечал: «Это безразлично, они уже сумеют отыскать меня». Заметим здесь, впрочем, что за самое последнее время «Frankfurter Zeitung» выступила со статьей, в которой она ратует за открытие подписки на сооружение памятника Шопенгауэру.

Немецкие газеты сообщают также, что, за минованием 21 сентября настоящего года⁷⁰ установленного немецкими законами тридцатилетнего срока для права наследников на литературную собственность умершего писателя, предполагается приступить к новому полному изданию сочинений Шопенгауэра.

Заметим здесь еще в дополнение к кратким биографическим данным о жизни Шопенгауэра, что, как показывает снятая с его головы после смерти его модель, череп его отличался необыкновенными размерами, превосходя размеры черепов Канта, Шиллера, Наполеона I и Талейрана. Быть может, эти необычайные размеры черепа могут служить некоторым указанием на то, что у автора «Мира как воли и представления» ум стоял на первом плане, а чувство — далеко на заднем.

ГЛАВА V

Отличительные свойства философского мировоззрения Шопенгауэра. — Что понимает Шопенгауэр под словом «воля». — Воля и разум. — Три основные свойства воли: тождественность, неизменность, свобода. — Воля как представление. — «Воля в природе». — Опыт как основа философии. — Значение и роль метафизики. — Взгляд Шопенгауэра на психологию

Философия Шопенгауэра находится в резком противоречии с метафизическими воззрениями трех знаменитых его современников: Фихте, Шеллинга и Гегеля. Он различает два мира, две сферы: с одной стороны — мир как явление, как представление; и над ним, отделенный от него целою пропастью — мир реальный, мир-воля. Первый из них подвержен причинности, как и все, находящееся во времени и в пространстве; второй — свободный и находящийся вне всяких стеснений, стоящий вне времени и пространства. Тщательно различить оба эти мира, точно определить их пределы, сделать их доступными зрению и слуху — вот, по мнению Шопенгауэра, первая из задач философа, и вот что он поставил себе задачей на первой же странице капитального труда своего «Мир как воля и представление». «Мир — это мое представление», — так он начинает свое сочинение, сосредоточивая в этих четырех словах и идеалистскую философию Индии, и сущность новейших систем Лейбница, Беркли, Юма и Канта. Что может быть проще и бесспорнее этой основной формулы? Глаз видит краски, ухо слышит звуки, рука ощущает поверхности и тела.

Но нам неизвестны сами по себе ни формы, ни звуки, ни цвета; нам известны лишь изображающие их органы: «все это лишь представляется» нам. Таким образом, мир, как нечто представляемое, не есть нечто реальное: в мире явлений — все только кажущееся. Но мир состоит из двух половин, из двух полушарий: одно из них — область видимости и не имеет в себе ничего реального; другое, неизведанное и таинственное по существу своему, — это воля.

Во избежание всяких дальнейших недоразумений нужно заметить, что Шопенгауэр придает слову «воля» не обыденное, а совершенно особенное значение. Здесь не может быть речи о воле как о чем-то разумном и сознательном, а о воле как о чем-то инстинктивном, аналогичном желанию жить или инстинкту

⁷⁰ 1890 г. (Шопенгауэр умер в 1860 году). — Ред.

самосохранения, словом, о воле в самом широком смысле этого слова. «Вне воли и разумения, — говорит Шопенгауэр, — не только ничто нам не известно, но даже ничто не может быть мыслимо. Невозможно искать в чем-либо другом реальности для применения ее к телесному миру. Эту волю, это хотение нужно строго отличать от сопровождающего его сознания и от определяющего его мотива. Все это — не сущность воли, а лишь проявление ее. Так, например, если я говорю, что сила, заставляющая камень тяготеть к земле, по существу своему, сама по себе и вне всякого представления, есть воля, то это не значит, чтобы камень двигался в силу известного ему сознательного мотива, так как в этой последней форме воля проявляется только у человека».

По мнению Шопенгауэра, воля (хотение) обладает следующими тремя основными свойствами: тождественностью, неизменностью, свободой.

Хотя волю можно проследить повсюду, но легче всего она обнаруживается в человеке и в человеческом сознании. Она составляет фундамент психологии, ибо истинная, неразрушимая сущность человека — это воля. Шопенгауэр доказывает преобладание воли над сознанием. Последнее — нечто физическое, воля — нечто метафизическое; сознание — это проявление, воля — это сущность; сознание — нечто случайное, воля — нечто незыблемое; сознание — свет, воля — теплота. Воля — это прототип всякого познания, она сказывается везде и во всем. Воля — нечто первичное, разум — нечто вторичное; воля неизменна, разум подвержен изменениям; воля может заглушить, парализовать, смутить разум, она же в состоянии поднять и экзальтировать его. Разум — это голова, воля — сердце.

Различение воли и познания составляет, без сомнения, кульминационную точку шопенгауэровской философии и самую новую сторону его учения; но, вопреки другим мыслителям, он отводит воле, разумея ее в указанном нами смысле, первое место, а разуму — второе. Разум у человека — а в известной мере и у животного — является лишь продуктом воли; даже на высшей точке своего проявления он обнаруживается лишь после воли. Таким образом, он есть не первичное, существенное состояние человека, а лишь вторичное, случайное. Разум погибает вместе с человеком, но воля остается: «Для меня, — говорит Шопенгауэр, — вечным, неразрушимым в человеке является не душа, а, прибегая к химическому термину, основание души есть воля».

Можно сказать, что Шопенгауэр доказывает, что воля не подвергается в мире никаким изменениям. Она всегда остается одна и та же, будучи совершенно тождественной как у человека, так и у клеща; ибо если насекомое чего-либо желает, то оно желает этого столь же решительно, как и человек: вся разница заключается лишь в объекте желания, в мотиве желания и в освещающем это желание разумении. Порядок природы неизменен, и неизменность эта зависит не от разума. Разум — это нечто подвижное, прихотливое, нечто, влагающее в мир бесконечное разнообразие. Орган же воли, сердце, — это нечто постоянное, не меняющееся сообразно времени и месту. Следовательно, мерилом должна служить воля, то есть тождественное и неизменное, а не разум, нечто подвижное и изменяющееся. Воля — это мерило жизни.

Наконец, воля, хотение — свободны, свободны и физически, и морально. От них самих зависит утверждать или отрицать себя, и в этом заключается основа самой возвышенной нравственности, той нравственности, которая рождает героев

и святых. Но, конечно, эту свободную волю не следует понимать в смысле «произвола».

Шопенгауэр сам ставит себе в особую заслугу разложение человеческого я на волю и представление. «Лавуазье, — говорит он, — разложил воду на водород и кислород и тем создал новый период в области физики и химии; я же разложил душу, или дух, на два весьма различных составных элемента — волю и представление. Все существовавшие до сих пор метафизические системы исходили или из материи, результатом чего являлся материализм, или из духа, что приводило к спиритуализму; но и то, и другое в дальнейших своих выводах приводило к нелепостям и оказывалось несостоятельным. Я же отвожу одной из составных частей души, или духа, воле — первое место, тому же, что должно быть познаваемо, — второе место; а материя является неизбежным, соотносительным понятием субъекта, познаваемого, так как материя немыслима без представления, но и представление немыслимо без материи: материя как таковая существует лишь в представлении, способность же представления немыслима иначе, как одним из свойств организма».

Начало философии и возможность ее лежат в самом человеке; но не потому, как учили предшественники Шопенгауэра, что он думает (декартовское «Je pense, donc je suis»⁷¹), а потому, что он в то же время хочет. Если бы человек только думал, то для него формы созерцания и прежде всего цепь мотивов и действий, причин и следствий, являлись бы такою же верной руководной нитью, как, например, для животного — наблюдательность и проистекающий отсюда инстинкт. Но он не только думает, но и хочет. Отсюда вытекает капитальный вопрос: каким образом могут существовать вместе и одновременно идеальная и реальная сторона психической деятельности человека, представление и воля? Эту связь — внешнего (представления) с внутренним (волей) — он старается достигнуть тем, что всякое движение, по внешнему своему проявлению, он считает простым представлением, то же, что лежит в основе этого явления как внутренняя причина, хотя бы и в так называемой мертвой природе, он называет волей. Двояким, даваемым двумя совершенно различными способами, познанием нами нас самих и всего нас окружающего он пользуется как ключом для объяснения сущности всякого явления природы. Там, где даже самоочевидная, по-видимому, причина вызывает известное действие, все же существует нечто таинственное, какой-то X, составляющий самую суть, мотив явления, которое все же доступно нам лишь в виде представления. Этот-то X во всех замечаемых нами явлениях тождествен с тем, что при действиях нашего тела мы разумеем под словом «воля».

Эти общие тезисы, впервые изложенные Шопенгауэром в его книге «Мир как воля и представление», он впоследствии подробнее, хотя не столь убедительно и несколько парадоксально, развил в своем сочинении «Воля в природе», появившемся в 1836 году, и в «Дополнениях», появившихся в 1844 году. Здесь он исходит из того положения, что человек не может знать всего; всезнайство — это ложь. Философия должна честно примириться с этим основным положением и, не гоняясь за недостижимым, искренне и просто вступить на путь опыта, для того чтобы создать такую метафизику, которая основывалась бы на наблюдениях, интуициях, а не на чистых идеях, которая старалась бы охватить совокупность опыта, а не ту или другую часть его. Даже при таком ограничении области философии сфера ее окажется достаточно обширной. Эта философия вообще,

⁷¹ «Я мыслю, следовательно существую» (франц.). — Ред.

философия, так сказать, метафизическая, значительно рознится от специальной философии каждой науки. Специальные науки имеют объектом установление связи между явлениями согласно закону причинности, господствующему над всею областью явлений. Они ограничиваются констатированием причинной связи между различными явлениями, каждая из них останавливается там, где кончается констатирование и объяснение этой связи, не входя в рассмотрение сути вещей как чего-то необъяснимого, непознаваемого. Философия же начинается там, где останавливаются науки. Она не предполагает ничего известного. Она хочет и обязана все объяснить — и взаимную связь явлений, и узлы причинности, от которых эта связь зависит. То, что другие науки предполагают, то, что они берут за основу для своих объяснений, — это составляет самый материал философской проблемы. Каждая наука имеет свою собственную философию, являющуюся лишь обобщением и согласованием главных результатов ее, рассматриваемых в совокупности. Эти главные, общие результаты представляют собою данные для философии в тесном смысле слова, избавляя последнюю от необходимости самой доискиваться их в каждой отдельной науке. Таким образом, философии специальных наук являются некоторым образом посредниками между науками и философией вообще. Последняя находит в них подтверждение и проверку, так как общая истина может быть подтверждена лишь частными истинами. Но как бы значительны ни были выгоды, представляемые разделением эмпирического труда, каковы бы ни были результаты этих специальных наук, необходимо, чтобы они сделались достоянием философии.

Так как критерием истины является опыт, то философия должна начинать с внутреннего опыта, или познания. Это сознавали еще Декарт и Бэкон. По мнению последнего, философия опирается на опыте; не на производстве того или другого опыта, как другие науки, а на опыте вообще, то есть на сущности его содержания, на его внутренних или внешних элементах, наконец, на форме и материале его. Из этого становится ясным, что прежде всего следует наблюдать среду опыта, форму и природу его. Эта-то среда и есть шопенгауэровское представление, или то, что другие называют «познанием». Поэтому всякая философия должна начинать с изучения законов и форм познания, его ценности и тех пределов, которыми оно ограничено. Это исследование составляет первую ступень философии (*philosophia prima*), распадающуюся на две части: одна касается первичных представлений, создаваемых путем созерцания, ее можно было бы назвать теорией разума; другая имеет дело с представлениями вторичными, отвлеченными, и управляющими ими законами, это есть логика, или теория разума. Метафизика, по мнению Шопенгауэра, должна объяснять всю область опыта, но только с точки зрения более возвышенной, чем опытная наука, не выходя, однако, из пределов опыта. Наконец, она должна объяснять то, чего другие науки не в состоянии объяснить. Для достижения этой цели она комбинирует внутренний опыт с опытом внешним, с концепцией явления, взятого в совокупности в различных его смыслах, в его внутренней связи и в сложности его. По мнению Шопенгауэра, Кант был неправ, объявляя метафизику невозможной: он был неправ в том отношении, что, сделав исходной точкой опыт, утверждал, будто метафизика не имеет ничего общего с опытом, чем он открыл широкий доступ скептицизму.

Но восстанавливая в опровержение Канта возможность метафизики, Шопенгауэр, резко расходясь в этом отношении с Гегелем, желает строго разграничить ее пределы. Он отнюдь не претендует на то, чтобы все объяснить с ее помощью, найти

для всего соответствующие «почему» и «как». Человека окружает глубокий мрак; разумение его весьма несовершенно, рассудок наш часто обманывает нас и вводит нас в заблуждение; но строго придерживаясь опыта, беря исходной точкой живое созерцание, а не мертвую отвлеченность, мы можем надеяться несколько разобраться в этой темноте. Мы в состоянии будем понять, конечно, не саму природу, но то, что есть в природе, а это уже что-нибудь да значит. Поступая медленно и осторожно, мы переходим от явления к действительности, от того, что является, к тому, что должно являться, словом, к метафизике — к метафизике не туманной, отвлеченной и притязательной, а к единственной реальной и истинной метафизике, которая представляет собою совокупность опыта.

Шопенгауэр смотрит на жизнь души не с материалистической точки зрения, он не видит в ней лишь продукт действующих механически и химически атомов материи; с другой стороны, он не смотрит на нее с точки зрения чисто спиритуалистической. Он видит в ней проявление сил природы, в котором самое существенное каждой из сил природы, воля, проявляется на более высокой ступени, чем то замечается в других проявлениях сил природы, исключительно механических и химических. Эти высшие силы природы находятся, правда, в связи с низшими, нуждаются в последних, но в то же время возвышаются над ними и употребляют их на свои цели. По мнению Шопенгауэра, в материализме следует считать истинным и непреходящим объяснение всякого рода деятельности, как высшей, так и низшей, при помощи свойственных природе сил, как одно из проявлений деятельности природы; неверно же и несостоятельно желание уничтожить всякое различие между силами природы, сведение крайне разнообразного мира явлений к серенькому однообразию материи, действующей лишь механическим образом. Жизнь, по словам Шопенгауэра, есть одна из функций организма, образованного жизненной силой, или, что одно и то же, желанием жить; внутри органической жизни роль души как одной из функций мозга вступает в свои права лишь тогда, когда организм, вследствие более усложненных потребностей, начинает чувствовать потребность в аппарате, который регулировал бы его отношения к внешнему миру и направлял бы его шаги в нем. Подобно тому, как всему существующему даны известные органы для обороны и для нападения, так и воле жить дан разум, в виде средства для сохранения особей и вида. Разум предоставлен в услужение воле. Лишь в исключительных случаях разум превосходит меру, требуемую назначением его как слуги воли, эмансипируется от этой роли и возвышается до степени гения, созерцающего мир чисто объективным образом.

Это шопенгауэровское объяснение жизни и деятельности души далеко не может считаться материалистическим, хотя его нельзя назвать и спиритуалистическим. Душа, согласно образному определению Шопенгауэра, есть светильник, который зажигает себе проявляющееся в организме желание жить, для того чтобы найти свою дорогу во внешнем мире; это — руководитель и советник воли. Таким образом, Шопенгауэр счастливо избегает спиритуалистического дуализма между телом и душой, человеком и животным. Материю как явление он выводит из представления; самое же представление он выводит из реальной стороны материи, из воли, — в том виде, в каком последняя проявляется на степени животного существования. В этой, набросанной в общих чертах программе нет места так называемой рациональной психологии. Действительно, Шопенгауэр отказывается отвести последней место в ряду метафизических наук, предоставляя это «филистерам и гегельянцам». Исходя из того, что истинное существо человека не может быть понято иначе, как в совокупности мира, что и микрокосм

и макрокосм объясняются один другим, и даже тождественны, он не признает необходимости особой науки о душе. Он скорее готов был бы заменить такую науку широкой антропологией как опытной наукой, опирающейся на анатомию и физиологию, основывающейся на наблюдении умственных и нравственных проявлений, на изучении свойств рода человеческого и на проявлении индивидуальных особенностей.

ГЛАВА VI

Характер и смысл Шопенгауэрова пессимизма. — Отношение Шопенгауэра к истории. — Его политические и социальные взгляды. — Его равнодушие к национальным интересам

Не только среди массы публики, но и среди профессиональных ученых Шопенгауэр известен преимущественно как один из главных представителей пессимистического направления в философии. Он считается как бы родоначальником этого направления в современной философии. Число последователей этого направления стало особенно сильно возрастать в последнее время, и пессимистическая философия получила особенно широкое распространение в Европе с конца шестидесятых годов, почти одновременно с появлением в свет «Философии бессознательного» Эд. Гартмана, написанной в духе Шопенгауэра. Поэтому мы считаем не лишним несколько подробнее остановиться на характере и смысле шопенгауэровского пессимизма, составляющего если не самую яркую и выдающуюся, то, во всяком случае, наиболее известную массу публики стороны его учения.

Многие задавались вопросом о причинах, происхождении и характере шопенгауэровского пессимистического мировоззрения, сказавшегося у него еще в очень молодых годах. При этом указывалось на то, что он родился, воспитался и прожил среди весьма удовлетворительных внешних условий, что он был человек вполне обеспеченный, который мог беспрепятственно следовать своим влечениям. Исходным пунктом подобных недоумений является странное предположение, что для того, чтобы быть оптимистом или пессимистом, нужно находиться в счастливых или несчастных обстоятельствах или же что пессимизм является результатом вынесенных в жизни разочарований и огорчений. Но, во-первых, отнюдь не верно то, чтобы всякий, кому плохо живется или приходится жить в печальные времена, необходимо становился пессимистом, и, наоборот, всякий, кому жизнь улыбается или кто живет в хорошее время, делался оптимистом. Правда, у многих людей так и бывает, что оптимизм и пессимизм их проистекают из чисто субъективных источников, что они свою внутреннюю окраску переносят на внешние предметы. Светло и весело человеку на душе — для него светел и весел весь мир; мрачно и грустно в его душе — грустен и мрачен весь мир. Такие люди в состоянии быть сегодня оптимистами, а завтра пессимистами, и наоборот. Но подобные оптимизм и пессимизм не имеют никакого философского значения, так как это — оптимизм и пессимизм чисто субъективные. Но существуют и другого рода оптимизм и пессимизм, так сказать, философского характера, причина которых не имеет ничего общего ни с субъективными условиями, ни с условиями времени. Вот именно такого-то рода и был пессимизм Шопенгауэра.

Шопенгауэр считает одною из величайших ошибок почти всех метафизических систем то, что они считают зло чем-то отрицательным; напротив, оно есть нечто положительное, нечто дающее себя чувствовать. Зло, по его мнению, неизбежно как следствие утверждения желанья жить. Но существует не только утверждение желанья жить, но и отрицание, даже полное упразднение его: в этом последнем случае являются совершенно иной мир, совершенно иное существование, о котором мы, правда, не имеем понятия и которое кажется нам ничем, но ничем не абсолютным, а лишь относительным. Собственно о пессимизме может быть речь лишь тогда, когда зло считается неисцелимым, а страдающий от него — безвозвратно потерянным. Шопенгауэровский же пессимизм не такого рода: он считает освобождение от мирового зла возможным, хотя, правда, лишь путем радикального лечения, полного возрождения и обновления. Одни находят утешение против существующей в мире массы зла в религии, другие — в искусстве; Шопенгауэр же ищет и находит его в росте познания. «Единственная хорошая сторона жизни, — писал Шопенгауэр еще в 1814 году, — заключается в том, что рядом с волей существует и познание; это обеспечивает воле конечное освобождение». Обыкновенный пессимист, пессимист из эгоистических побуждений, пессимист, которому надоела жизнь, искал и находил бы утешение в самоубийстве. К этому утешению действительно и прибегали спокон веков безнравственные пессимисты, которым жизнь становилась в тягость. Напротив, Шопенгауэр, этот пессимист по преимуществу, самым решительным образом отвергает самоубийство, и притом на основании глубоко нравственных соображений.

Доказательство пессимизма Шопенгауэра — в общепринятом, а не в исключительно философском значении этого слова — иные усматривают еще в его учении о неизменности характера, чем он будто бы отнимает у человека надежду на улучшение. Отсюда выводится прямое заключение, что его учение морально безнадежно; что он, объявляя характер неисправимым, тем самым лишает жаждущего исправления грешника нравственного утешения, подобно тому, как врач, объявляющий болезнь неизлечимой, лишает жаждущего исцеления больного утешения физического. Но в опровержение этого можно указать на учение Шопенгауэра о свободе воли, причем, конечно, эта свобода заключается не в отдельных действиях и проявлениях воли, а вообще в сути, во всем направлении ее. Действия всегда соответствуют эмпирическому характеру и поэтому неизбежно носят и отпечаток его. Если, поэтому, эмпирический характер эгоистичен, доступен лишь эгоистическим мотивам, то и действия неизбежно окажутся эгоистическими. Но характер вообще может быть и иного рода, так как человек не связан на веки вечные со своим эмпирическим характером. Пока он эгоист, он неизбежно должен поступать как эгоист; но он может и перестать быть эгоистом, и тогда его действиями будут руководить уже не эгоистические, а моральные мотивы. Неизменность характера, о которой говорит Шопенгауэр, касается лишь характера эмпирического, а не характера умственного, вещественного (*intelligibler Character*); таким образом, неизменность эта имеет значение лишь относительное, а не безусловное. Поэтому едва ли есть основание считать его учение о неизменности характера учением безнадежным. Вряд ли можно было бы также усмотреть безнадежность его в том, что, согласно этому учению, нравственного блага можно достигнуть лишь при том условии, что весь человек сделается другим. В таком случае следовало бы считать безнадежным, неутешительным и христианство, так как и оно ставит спасение человека

в зависимость от возрождения или обновления его. Считать его безнадежным значило бы считать безнадежным и слово врача, обещающего больному излечение лишь под тем условием, что тот изменит весь свой образ жизни, перестанет насиловать свою природу.

Подобно тому, как философу Фихте неоднократно ставилось в упрек ненадлежащее понимание им природы, Шопенгауэру ставилось в упрек то, что он в своей системе не отводит надлежащего места истории в области человеческих знаний. Действительно, то пренебрежение, с которым он относится к истории, принадлежит к числу наиболее слабых мест в его системе, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать того, что оно является вполне логическим выводом из его основной идеи.

Сущность взгляда Шопенгауэра на историю в том виде, в каком она изложена в его «Мире как воле и представлении», заключается приблизительно в следующем:

История не есть наука, так как ей недостает основного характера науки — взаимных причинностей трактуемых ею явлений, вместо которых она представляет одно только соотношение; поэтому и не может существовать никакой системы истории, между тем как существуют системы всякой иной науки. История — знание, а не наука, ибо нигде она не приходит к познанию единичного при помощи общего, но вынуждена непосредственно усваивать себе единичное и, так сказать, подвигаться ощупью в области опыта, между тем как истинные науки, усвоив себе более широкие понятия, стоят выше единичных фактов. Науки, представляя собою системы понятий, постоянно трактуют о родах, история — лишь об индивидах; науки трактуют о том, что существует постоянно, история — только о том, что существовало и перестало существовать. К тому же, так как истории приходится иметь дело только с личным и индивидуальным, — что по самой природе своей бесконечно разнообразно, — то она обо всем имеет лишь неполное, несовершенное понятие; и, наконец, ей приходится с каждым днем, с каждым новым фактом приобретать все новые и новые данные и знания, что лишает ее всякого характера законченности. История, имея постоянно в виду лишь единичные, индивидуальные факты, считая только факты чем-то исключительно реальным, представляет собою, по мнению Шопенгауэра, прямую противоположность философии, смотрящей на все существующее с самой общей точки зрения и имеющей объектом своим лишь общее, то, что остается тождественным в частном. Между тем как история учит нас тому, что в каждое данное время существовало что-либо новое, философия старается убедить нас в том, что во все времена было, есть и будет одно и то же. В действительности сущность человеческой жизни, подобно сущности природы, всюду и всегда вся налицо, и поэтому для того, чтобы надлежащим образом понять ее, нужна только известная глубина концепции. История же надеется на возможность заменить глубину шириной и длиной; для нее настоящее является лишь каким-то обломком, который должен быть пополнен прошлым и длина которого бесконечна, теряясь в бесконечном будущем. Разница между философами и историками, *по мнению Шопенгауэра, заключается в том, что первые желают постигнуть, а последние желают перечислить.

Шопенгауэр утверждает, что история стоит неизмеримо ниже не только науки и философии, но и искусства. Содержание искусства — идея, содержание науки

понятие, и поэтому и искусство, и наука занимаются тем, что существует вечно, и притом одинаковым образом, а не тем, что теперь есть, а прежде не было и после не будет, что теперь существует так, прежде существовало иначе, а после будет существовать опять иначе. Другими словами, и искусство, и философия имеют дело с тем, в чем еще Платон видел объект истинного знания. Содержание же истории, напротив, это — единичное, это — мимолетные сцепления и переплетения зыбучего рода людского, на которые могут влиять самые ничтожные обстоятельства. С этой точки зрения область истории едва ли может считаться чем-либо, достойным серьезного изучения ума человеческого. Вполне соглашаясь с Аристотелем в том, что поэзия, так сказать, философичнее истории, Шопенгауэр отводит первой гораздо более важное место, чем последней. Поэзия сделала и делает для познания сущности человечества более, чем история. Правда, и опыт, и история научают нас познавать человека или, вернее, людей, то есть они скорее дают нам эмпирические сведения о взаимных отношениях людей между собою, но не позволяют нам заглянуть в глубь внутреннего существа человека. История относится к поэзии так же, как, например, портретная живопись к исторической: первая передает сходство единичное, последняя — сходство более общее, первая имеет в виду истину явления, последняя — истину идеи; поэт преднамеренно и по выбору ставит выдающиеся личности в выдающиеся положения; историк берет и те, и другие в том виде, в каком они попадают ему под руку; ему приходится смотреть на события не с точки зрения значения их внутреннего, истинного, выражающего идею значения, а с точки зрения значения их внешнего, кажущегося, относительного, в связи с последствиями и усложнениями их, ибо его созерцания исходят из принципа причины, и он в данном явлении видит лишь внешнюю форму последней. Поэт же, напротив, схватывает идеи, суть человечества, вне всякого отношения ко времени и к обстоятельствам.

Исходя из этой точки зрения, Шопенгауэр придает даже более важное значение, чем истории, простым биографиям, отчасти потому, что последние дают более точные и полные положительные данные, чем первая, отчасти же ввиду того, что в истории играют видную роль не столько отдельные люди, сколько народы и войска, и что очень трудно в крупных размерах исторических событий проследить деятельность единичных личностей. Напротив, верно переданная жизнь отдельной личности изображает собою, в более суженной сфере, деятельность людей во всех ее оттенках и образах; к тому же, в смысле внутреннего значения случившегося, — что одно и имеет важность, — совершенно безразлично, мелки или крупны события, происходят ли они в крестьянских избах или в королевских дворцах: все это само по себе не имеет значения, а получает таковое лишь благодаря отношению своему к воле. Подобно тому, как круг диаметром в дюйм и круг диаметром в 40 миллионов миль обладают одинаковыми геометрическими свойствами, так и события и дела какого-нибудь селения и обширного государства в сущности одинаковы, и человечество можно изучить и познать как на первом, так и на последнем.

К этим двум причинам пренебрежительного отношения Шопенгауэра к истории — к тому, что она, собственно, не наука, так как имеет дело лишь с единичным, временным, случайным, и что она гораздо менее дает для познания сути человечества, чем искусство, поэзия и биография, — у него присоединяется еще и третья, а именно та, что истории недостает единства, целостности, логической связи. Он энергически полемизирует против попыток послегегелевской философии представить историю «чем-то построенным по определенному плану», создать из

нее «органическое целое». Так как только индивид, а не род людской, обладает действительным, непосредственным единством сознания, то и единство течения жизни рода людского — чистейшая фикция. К тому же, подобно тому как в природе вообще лишь вид реален, а род — простая абстракция, так и в роде людском лишь индивид и его жизнь — реальны, народы же и жизнь их — нечто отвлеченное. Лишь то, что происходит внутри человека как проявление его воли, действительно, так как только воля может считаться чем-то реально существующим, чем-то «an und fur sich»⁷².

Шопенгауэр видит задачу широко и философски понятой истории в том, чтоб указать на постоянно остающееся одинаковым и тождественным ядро среди разнообразных постоянно меняющихся оболочек. Лишена значения не история сама по себе, а поверхностное, неразумное понимание ее сущности и ее задач, останавливающееся на рассмотрении скорлупы и не старающееся ближе ознакомиться с ядром. Нисколько не умаляя значения истории, Шопенгауэр хвалит древних историков именно за то, что они изображают частности так, что «выступает наружу высказывающаяся в них идеальная сторона человечества». Самое предпочтение, отдаваемое Шопенгауэром биографиям перед историей, становится понятным лишь постольку, поскольку эти биографии отвечают вышенамеченным, им самим поставленным условиям. И не только биографии, но и эпические и драматические произведения становятся тем более цельными, чем прочнее они стоят на исторической почве; исключительно вымышленные характеры и деяния отнюдь не способны внушить нам того же интереса, как исторические, знакомящие нас с действительными судьбами, с реальной борьбой человечества. Поэтому-то все действительно великие поэты черпают материал для своих произведений из истории. Трагедии, по мнению Шопенгауэра, удовлетворяют в нас не чувство прекрасного, а чувство возвышенного; возвышенные же характеры и действия мы можем встретить преимущественно в истории. История для рода людского — это то же, что рассудок для отдельного индивида. Благодаря рассудку, человек получает возможность не ограничиваться, подобно животному, узким наглядным настоящим, но становится способным постигнуть и гораздо более широкое прошлое, с которым связано это настоящее и из которого оно вышло; а также на основании настоящего и прошлого делать выводы и относительно будущего. Народу, не знающему своей собственной истории, по необходимости приходится ограничиваться знакомством с современным ему поколением; отсюда следует, что он вовсе не знаком с самим собою и со своим настоящим, так как он не в состоянии связать последнее с прошлым и объяснить настоящее при помощи прошедшего; еще менее в состоянии он провидеть будущее. Одна только история придает народу полное самосознание. Поэтому на историю следует смотреть как на разумное самосознание рода людского; для последнего она является тем же, чем является для отдельного индивида обусловленное разумом связанное самосознание, благодаря отсутствию которого животное замкнуто в тесную область осязательного настоящего. Поэтому же всякий пробел в истории является пробелом в самосознании человечества. Таким образом, «история есть разумное самосознание рода людского; она является непосредственно присущим целому роду самосознанием, так что лишь благодаря ей последний действительно становится одним целым, одним человечеством».

Из этих слов Шопенгауэра видно, что в последующих своих произведениях он несколько разошелся сам с собою относительно роли, отведенной им в первых

⁷² «В себе и для себя» (нем.) — Ред.

своих произведениях истории, что он перестал относиться к ней с прежним пренебрежением, видеть в ней лишь продолжительный, тяжелый и смутный сон и что наконец он решился отвести истории более почетное место в ряду наук, в области человеческого знания.

В связи со взглядами Шопенгауэра на историю, на ее роль и значение находятся и взгляды его на современные ему политические и социальные порядки. Из изучения истории он пришел к тому убеждению, что в очень редких случаях торжество остается на стороне правого дела, что правое дело чаще всего само себя компрометирует и гибнет вследствие избытка принципиальности: так, например, избыток монархического принципа вызвал республику, избыток республиканского рвения повел к террору 93-го года и к цинизму Директории. Он исходит из того начала, что государство мыслимо лишь под условием двойного ограничения воли единичной личности, а именно ограничения не только физического, но и нравственного. Отдельная личность, налагая сама на себя ограничения, делает это ради разумно понятых собственных интересов своих. Государство не только не направлено против эгоизма как такового, но, напротив, само проистекает именно из эгоизма разумно понятого, методически поступающего, возвышающегося с односторонней точки зрения на более общую и являющегося результатом суммирования целой массы отдельных эгоизмов. Поэтому государство создано отнюдь «не для противодействия эгоизму, будто бы противному началам нравственности, а лишь для противодействия вредным последствиям столкновения множества личных эгоизмов, что могло бы вредно отозваться на благосостоянии отдельных личностей. Однако этим первым ограничением личного эгоизма, или своеволия, дело еще не кончается: неизбежно нужно иметь в виду интеллектуальное несовершенство и моральную слабость отдельных индивидов, образующих государство, что вызывает необходимость дальнейшего ограничения воли отдельного лица и, тем самым, дальнейшее отклонение от чисто этического направления. Первое ограничение заключалось в подчинении всех одному общему правилу — закону и могло считаться нравственно целесообразным; второе же ограничение совершается на счет отвлеченного права, так как власть государства, для того чтобы последнее могло существовать, должна опираться не только на силу, но даже отчасти и на неправду.

Таким образом, по мнению Шопенгауэра, правовое государство есть не что иное, как фикция, и политика, чем яснее она сознает свою задачу, тем скорее становится наукой, имеющей в виду прежде всего ближайшие потребности. Что касается самого принципа власти, то Шопенгауэр, с одной стороны, отрицает за каким-либо смертным право властвовать над народом против воли последнего, но, с другой стороны, называет этот самый народ «вечно несовершеннолетним державцем», который постоянно должен находиться под опекой и которому нельзя предоставить права самому управлять собою, не подвергая его величайшим опасностям, так как он, подобно всем несовершеннолетним, легко становится игрушкой в руках ловких плутов, называемых демагогами». Правом же, которым я не в состоянии пользоваться, я в действительности не обладаю». Поэтому Шопенгауэр сводит всю государственную власть к установлению ее законом природы, проповедует, согласно со всеми истинными философами, начиная с Аристотеля и кончая Шлейермахером, государственную связь не этическую, а чисто физическую. Республики он считает чем-то «противоестественным, искусственно созданным, порожденным рефлексией»; поэтому он оправдывает монархический принцип, не отрицая, однако, и системы представительства; он

остроумно замечает, что право химически аналогично алкоголю, синильной кислоте, фтору и т.д., которые никогда не встречаются в чистом и изолированном виде, а лишь в известных соединениях, придающих им необходимую плотность; что поэтому право, для того чтобы иметь возможность существовать и действовать в нашем реальном и материальном мире при своих идеальных эфирных свойствах, неизбежно нуждается в примеси произвола и насилия, без которой оно улетучилось бы без остатка. Произвольно и искусственно созданная Линнеем классификация растений не может быть заменена никакою естественною классификацией, как бы рациональна ни была последняя, так как таковая будет лишена той прочности и ясности определений, которые присущи классификации искусственной; точно так же искусственная и произвольная основа государственного устройства не может быть заменена основой чисто естественной. Справедливость подобного взгляда доказывается, по мнению Шопенгауэра, неудачными попытками южноамериканских республик создать свое государственное устройство на принципе отвлеченного права: там идут рука об руку самый низменный утилитаризм, грубость, всякого рода политическое пройдошество, возмутительное рабство, отречение от своих долгов, грабеж и все более и более усиливающаяся охлократия — с одной стороны, и самые громкие политические фразы, самые усовершенствованные формы якобы политической свободы — с другой стороны.

«Всюду и во всякие времена, — говорит Шопенгауэр, — существовало сильное недовольство правительствами, законами и общественными учреждениями, но происходило это большею частью вследствие того, что люди всегда готовы свалить на правительства, законы и учреждения ответственность за зло, неразлучно присущее человеческому существованию, послушать некоторых велеречивых демагогов. Мир сам по себе, по своему устройству, прекрасен, создан для всеобщего счастья и благополучия; все же, что встречается дурного в этом прекраснейшем из миров, они приписывают правительствам: если бы последние сделали то, что им следует делать, то на земле было бы царствие небесное, то есть все люди могли бы без всякого труда и усилий есть, пить, множиться и умирать, сколько душе угодно».

Хотя политические убеждения Шопенгауэра коренились в признании необходимости решительного преобладания в государстве принципа авторитета, хотя он настойчиво требовал «уважения к монархам», так как уже простое существование их является выгодным, потому что они, по его убеждению, являлись защитой против охлократии и анархии, однако, отсюда еще отнюдь не следует, чтоб он являлся поборником деспотизма. По поводу случившихся в последние годы его жизни событий в Италии он выражался, что легитимность не дает еще права на успех. Для того, чтобы обеспечить себе успех, правительство должно стоять в интеллектуальном отношении выше управляемой им массы; в моральном же отношении оно не должно быть слишком благородно, как, например, Тит, но, с другой стороны, оно не должно также стоять и ниже общераспространенного правового сознания.

Шопенгауэр был совершенно чужд национального самомнения; он даже сам утверждал, что весь его патриотизм сводится к пользованию немецким языком. Он даже не любил, чтобы его считали немцем, и не упускал случая указывать на свое голландское происхождение. Для этого энергического человека были до того противны хвастливость и подражательность немецкой политики, что он беспощадно порицал у немцев то самое, что оставлял незамеченным или даже

извинял у других народов. Для широты взгляда философа это абсолютное отсутствие узкогерманского патриотизма пришлось даже кстати. Он никогда не касался частных политических, а тем менее местных вопросов, он стоял выше их и относился с олимпийским величием к крупным политическим событиям. Только когда они слишком близко подходили к нему и угрожали нарушить его умственный и душевный покой, он начинал волноваться. Во время сентябрьских дней 1848 года его опасение перед наступлением господства охлократии достигло высшей степени, и он серьезно подумывал о том, чтобы бежать из Франкфурта. Но в более спокойные времена он находил, что журналисты уходят гораздо дальше его в своем пессимизме, хотя это делается большею частью не из убеждения, но ради личной выгоды. Он любил повторять, что в политическом отношении людям менее всего известно, что для них полезно и что бесполезно, и послужит ли данное событие к пользе или ко вреду их.

ГЛАВА VII

Взгляды на женщин и на любовь. — Манера творить Шопенгауэра. — Парадоксальность его

Шопенгауэр по убеждениям своим являлся не только мизантропом, — впрочем, только условным, как то было объяснено нами выше, — но и мизогиним (ненавистником женщин) и мизогамом (ненавистником брака). Он утверждал, что сама природа обделила женщину в отношении духовном, рассудочном. Она отличается умственною близорукостью, склонна принимать видимость вещей за сущность дела и отдавать мелочам предпочтение перед серьезным делом. Умственный взор женщины, по преимуществу непосредственной, способен различать находящиеся вблизи предметы, но не в состоянии выйти из ограниченного кругозора; все прошедшее, отдаленное, отсутствующее производит на женщину лишь слабое впечатление. Вследствие этой же прирожденной ее недалекновидности женщина склонна к расточительности. С другой стороны, именно потому, что женщина более мужчины отдается настоящему и более его способна наслаждаться сколько-нибудь сносной жизнью, ей присуща большая веселость и ясность духа. Кроме того, воспринимая вещи иначе, чем мужчина, и намечая всегда кратчайший путь к цели, женщина отличается большею трезвостью взглядов, чем мужчина, и видит в вещах лишь то, что в них действительно заключается. Таким образом, именно вследствие слабости женского разума все видимое, непосредственное, реальное имеет над женщиной гораздо большую власть, чем отвлеченные идеи; поэтому женщина легче поддается чувству сострадания, участливости, но зато уступает мужчине в отношении правосудия, справедливости, добросовестности. Как существо более слабое, женщина находит орудие самозащиты в хитрости.

«Она, — говорит Шопенгауэр, — инстинктивно лукава, но, вместе с тем, по неразумию и малой сообразительности вздорна, капризна, тщеславна, падка на блеск, пышность и мишуру; в отношениях друг к другу они проявляют большую принужденность, скрытность и враждебность, чем мужчины в отношениях между собою. Женщинам чуждо истинное призвание к музыке, поэзии и вообще к искусству; даже наиболее блестящие представительницы женского пола никогда

не создавали чего-либо действительно великого и самобытного в художественной области; еще менее способны они удивить мир ученым творением с непреходящими достоинствами. Объясняется это тем, что женщина всегда и во всем обречена только на посредственное господство через того мужчину, которым одним она владеет непосредственно... Женщины во всех отношениях — второй, ниже мужчин стоящий, слабый пол... По самой природе своей женщины несомненно обречены на повиновение; видно это уже из того, что любая из них — раз она попадет в независимое положение — добровольно отдается под опеку любовника или духовника, лишь бы только какой-нибудь мужчина властвовал над нею».

При подобном взгляде на женщин становится понятным и скептицизм Шопенгауэра относительно любовного чувства — скептицизм, доходящий иногда чуть не до цинизма. По его мнению, любовь, как бы она ни казалась платонична, везде и всегда была, есть и будет не что иное, как более определенное и строго индивидуализированное половое стремление, конечная бессознательная цель которого — рождение будущего человека. В этом смысле любовь как половое влечение есть «воля к жизни сама по себе», человек, чувствуя любовь и влечение к женщине, в сущности только повинуетя инстинкту, направленному к пользе и выгоде рода. Истинною целью любого житейского романа является произведение на свет новой особи. Конечно, любовь имеет многочисленные градации: она бывает тем страстнее, чем более любимая особа своими качествами удовлетворяет нуждам и потребностям любящего; но что любовь в сущности есть не что иное, как инстинкт, направленный к сохранению родового типа и к возможно сильному размножению его, это видно из тех мотивов, которыми руководствуется индивид при самом выборе объекта, страсти. Эти мотивы, по мнению Шопенгауэра, тройкого свойства: мотивы, способствующие сохранению родового типа в физическом отношении; мотивы, имеющие в виду поддержание духовных родовых свойств, и, наконец, в-третьих, мотивы, имеющие целью исправление недостатков обоих производителей.

Тем обстоятельством, что в основе любви лежат, по мнению Шопенгауэра, инстинкты, направленные исключительно ко благу рода, он объясняет и то, что самое чувство, связывающее влюбленных, оказывается скоропреходящим: с того момента, как любовь удовлетворена, мужчина начинает охладевать к предмету своих влечений «Итак, — говорит Шопенгауэр, — благо целого рода — вот объект любви. В сравнении с этою задачею ничтожны личные стремления; гений рода охотно поступает всеми индивидуальными интересами, неукоснительно преследуя главную и единственную свою цель — поддержание рода и среди смятений войны и неурядиц гражданской жизни, и во время чумы, и в тиши монастырей». Это приводит Шопенгауэра к рассмотрению вопроса о моногамии и полигамии, причем он самым решительным образом, опять-таки в интересах рода, склоняется в пользу полигамии или, вернее сказать, тетрагамии (четвсробрачия).

Высказывая свои отчасти парадоксальные, отчасти даже расходящиеся с общепринятыми понятиями о нравственности взгляды на брак, двоебрачие, многобрачие, Шопенгауэр выказывает, однако, решительное предпочтение безбрачию. Как бы для вящего посрамления тех, которые упрекали его учение в безнравственности, он Выставляет добровольное девство единственным средством освобождения из мира греховности и бедствий. Останавливаясь на вопросе о том, где скорее — в брачной жизни или в безбрачии — достижимо то

безмятежное существование, которое необходимо для людей умственного труда, для ученых, Шопенгауэр охотно ссылаясь на Картезия, Мальбранша, Спинозу, Лейбница и Канта, всю жизнь остававшихся холостяками. Он любил также повторять вместе с Петrarкой: «Тот, кто ищет спокойствия, должен избегать женщин — этого вечного источника споров и тревог». Он полагал, что мыслитель по рассудочности своей натуры мало доступен радостям и наслаждениям домашнего очага и что он рискует из-за несущественных и безразличных, с его точки зрения, мелочей поступиться своею независимостью, замкнутостью и мирными умственными самонаслаждениями.

Шопенгауэр по характеру своему не принадлежал к числу рассудочных людей, к числу тех спокойных, ровных характеров, которые живут преимущественно понятиями. Его, скорее, следует отнести к категории людей живых, порывистых, находящихся под влиянием настоящего, живущих преимущественно личными взглядами своими, все равно, относятся ли последние к области действительности или фантазии. При этом невольно напрашивается вопрос: годится ли такой характер для философа? Не следует ли именно философу быть самым хладнокровным существом в мире? Ведь говорят же о людях, сохраняющих хладнокровие там, где другие горячатся: это — философы. На это Линднер объясняет, что если смотреть на дело с точки зрения того общепринятого понятия, которое соединяется со словом «философия», то к последней способен лишь холодный, рассудочный человек, которого ничто не может сильно потрясти, вывести из себя. Но именно этот-то взгляд Шопенгауэр и считал неверным, поверхностным. По его мнению, философия исходит из того же источника, как и искусство; она есть, в сущности, искусство, мышление в словах, то есть в понятиях; другими словами, деятельность разума имеет то же значение, как и техника в искусстве: для мыслителя отвлеченные понятия то же, что для живописца — полотно и краски. «Философия, — говорит он, — далеко не то, что алгебраическая задача, и Вовенарг безусловно прав, утверждая, что великие мысли исходят из сердца». — Если признать подобную точку зрения справедливою, то само собою падает замечание, что Шопенгауэр не мог быть хорошим мыслителем только потому, что ему недоставало хладнокровия. Раз философия — искусство, необходимость хладнокровия является лишь тогда, когда приходится виденное, глубоко прочувствованное изобразить наглядным образом; но для того, чтобы видеть и чувствовать, не нужно быть хладнокровным. Это одинаково применимо как к поэту, так и к мыслителю. Подобно тому, как поэту необходимо пережить те стремления и состояния, которые он изображает, или, по крайней мере, глубоко сочувствовать тем, которые их пережили, так и мыслитель должен, в общем, испытать на самом себе сущность той жизни, картину которой он нам представляет; он должен, так сказать, расширить свою душу до размеров мировой души. Как у поэта, так и у мыслителя необходимость хладнокровия является лишь тогда, когда требуется пережитое и прочувствованное внутри представить объективно, как нечто имеющее всеобщее значение. А таким хладнокровием, необходимым для изображения пережитого и прочувствованного, Шопенгауэр обладал в высшей мере; он обладал им в области философии в такой же степени, в какой Гёте и Шекспир обладали им в области поэзии. Этим и объясняется объективность изображения им мира как воли, жизненная правда этого изображения. В том же смысле, как о Гёте говорили, что он был поэт на случай, можно сказать и о Шопенгауэре, что он был мыслитель на случай: его философские положения написаны большею частью по поводу чего-либо пережитого и испытанного и затем уже систематизированы; это доказывает, между прочим,

и самая форма его рукописей, состоящая преимущественно из афоризмов. Поэтому относительно Шопенгауэра скорее, чем относительно какого-либо другого мыслителя, на основании его произведений можно составить себе заключение о его личности.

Эта манера творить Шопенгауэра объясняет также и то, что умственный труд был для него вовсе не таким легким делом, как бы о том можно было заключить, судя по его слогу. При виде того, как легко и ясно он выражает самые глубокие мысли, можно было бы заключить, что ему приходилось только записывать то, что диктовал ему гений. Но хотя мышление было для Шопенгауэра так же легко, как, например, хождение, хотя ход его мыслей был так же быстр и эластичен, как и его физическая походка, но из этого было бы ошибочно заключать, что мысли рождались готовыми в его голове и что ему не приходилось думать, и притом много, усиленно думать. По этому поводу он сам выразился следующим образом: «Глаз притупляется вследствие долгого смотрения на один и тот же предмет, и кончается тем, что он перестает различать предметы; так и ум, вследствие продолжительного размышления об одном и том же предмете, притупляется и перестает схватывать отличительные свойства этого предмета; тогда нужно бросить это дело, с тем чтоб возвратиться к нему впоследствии со свежими силами. В мозгу тоже бывают своего рода приливы и отливы». В одном из своих писем, писанных в 1813 году, когда ему было всего двадцать пять лет от роду, он выражается следующим образом: «Когда какая-нибудь мысль возникает в мозгу моем в неясной форме и рисуется передо мною в туманных очертаниях, то мною овладевает непреодолимое желание схватить ее; я бросаю все и преследую эту мысль, как охотник — дичь, по всем извилинам стараюсь заступить ей дорогу, пока не схвачу ее, не одолею и не изложу на бумаге. Но иногда случается, что мысль все же ускользнет от меня; тогда мне приходится терпеливо ждать, пока какой-нибудь другой случай снова не подымет ее с места. Если при подобной погоне за мыслью мне помешает какой-нибудь внешний шум, то я испытываю чисто физическое страдание». Этим в значительной мере объясняется чувствительность Шопенгауэра ко всякому шуму и желание его водворить вокруг себя по возможности идеальную тишину. Как в своем «Мире как воле и представлении», так и в своих «Parerga» он посвятил особые главы вопросу о шуме.

Помимо того труда, которого стоила Шопенгауэру мыслительная работа, а в особенности при внешнем шуме, работа эта шла в мозгу его с какою-то, так сказать, естественною неизбежностью. Он сам говаривал, что всегда работал и писал, точно повинаясь какому-то бессознательному инстинкту. «Ручательством за верность, а потому и за прочность моей философии, — писал он в 1824 году, — для меня служит то, что я вовсе не создал ее, а что она сама себя создала. Мои философские положения возникли во мне без всякого моего содействия, в такие моменты, когда всякое хотение во мне точно засыпало и разум без всякого преднамеренного направления его в ту или другую сторону схватывал впечатления действительного мира и заставлял их идти параллельно с мышлением, опять-таки без всякого содействия моей воли. Но вместе с волей исчезает и всякая индивидуализация. Поэтому личность моя была здесь ни при чем: здесь слагалось в понятие созерцание, чисто объективное созерцание или, другими словами, сам объективный мир, избравший ареной мою голову, так как он находил ее подходящею для этой цели. А то, что не исходит от индивида, не может составлять достояние одного индивида: оно принадлежит лишь разуму и тождественно (по своему характеру, а не по степени) у всех индивидов, поэтому со временем на этом

должны сойтись все индивиды. Я просто в качестве зрителя и очевидца записал то, что в подобные моменты представлялось мне пониманием, чуждым всякого участия воли, и затем воспользовался записанным для моих творений. Это-то и служит гарантией их истины, и это сознание не даст мне возможности сбиться с пути, как бы мои творения ни оставались непризнанными» (1824 год).

Сам Шопенгауэр, при таком взгляде на умственную работу, без всякой ложной скромности был очень высокого мнения о своем уме. «Мерилом моего ума, — писал он, — могут служить те случаи, в которых я при объяснении совершенно специальных явлений конкурировал с выдающимися людьми: с Ньютоном и Гёте — в теории красок, с Винкельманом, Лессингом, Гёте — в толковании статуи Лаокоона, с Кантом и Жан Полем — в объяснении смешного». С другой стороны, будучи высокого мнения о своем уме, Шопенгауэр признавал в то же время, что ум и вообще интеллект как нечто физическое, как мозговая деятельность органического тела может цвести лишь сравнительно непродолжительное время, что, достигнув кульминационного пункта, ум идет на уклон, и это сознание Шопенгауэр переносит и на свой ум. Когда ему минуло тридцать восемь лет, он считал свой ум уже идущим на ущерб. «В то время, — писал он в 1826 году, — когда ум мой стоял на своей кульминационной точке, когда при благоприятных обстоятельствах мозг мой в состоянии был достигнуть высшей степени напряжения, тогда, на какой бы предмет ни упал мой взор, я имел дело с откровениями, и в голове моей появлялся целый ряд мыслей, заслуживавших того, чтобы быть записанными, и потому записывавшихся. Теперь же, когда мне стукнуло 38 лет, когда я старею, когда идет на убыль небесное вдохновение, может случиться так, что я буду стоять перед рафаэлевой Мадонной, и она ничего не будет говорить мне». Вообще. Шопенгауэр придавал расцвету мужского ума такую же продолжительность, как и расцвету женской красоты, то есть приблизительно около пятнадцати лет, от двадцати до тридцатипятилетнего возраста. «Двадцатые и первая половина тридцатых годов, — писал он, — для разума человеческого то же, что май месяц для деревьев, которые только в это время цветут и дают завязи плодов». Действительно, если сравнить старческие произведения Шопенгауэра, — он сам озаглавил их «*Senilia*»⁷³, — с более ранними его произведениями, то нельзя не прийти к тому заключению, что он в известной мере был прав, что и на его уме сказался общий закон природы. Вообще, наиболее оригинальных, основных взглядов Шопенгауэра следует искать в более ранних его произведениях, между тем как позднейшие представляют собою лишь дальнейшее развитие и подтверждение этих взглядов.

Одно только проходит красной нитью через все его произведения, и ранние, и более поздние, — это парадоксальность его мировоззрения. Эту парадоксальность он сам сознавал, но он не только не считал ее недостатком, а, напротив, усматривал в ней благоприятный признак. Так, например, он писал в 1815 году: «Если кто с предубеждением относится к парадоксальности какого-либо труда, то это происходит, очевидно, вследствие убеждения, что в обращении находится уже достаточное количество истины, что человечество вообще достигло уже очень многого и что ему разве только остается исправлять и дополнять частности. Но тот, кто подобно Платону и Гёте убежден в том, что мир преисполнен нелепостей, всегда увидит в парадоксальности какого-либо произведения симптом благоприятный, хотя, впрочем, и не решающий. Мир, конечно, был бы прекрасен, если бы истина в нем могла быть не парадоксальна, если бы добродетели в нем

⁷³ «Старческое» (лат.). — Ред.

не приходилось страдать, если бы все прекрасное заслуживало всеобщее одобрение. Но где его возьмешь — такой мир?» В том же 1815 году он писал: «Того, кто написал великое, бессмертное произведение, прием, оказанный этому произведению публикой, и суждения о нем критики так же мало способны огорчить или взволновать, как, например, брань и оскорбления сумасшедших способны оскорбить психически здорового человека, расхаживающего по больнице для умалишенных, предполагая, конечно, что человек этот имеет надлежащее понятие о том, где именно он находится». Нужно, впрочем, заметить, что Шопенгауэр, очень чувствительно относясь к нападкам своих ученых противников, сам несколько расходился с теоретически высказанными им в вышеприведенных словах взглядами.

В. И. Яковенко

ОГЮСТЬ КОНТЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ 1894

ВВЕДЕНИЕ

Великая французская революция завершила критическую работу передовых мыслителей XVIII века. Будучи выражением по преимуществу критики, она оказалась непреодолима в своей разрушительной работе. Правда, рука об руку с разрушением были провозглашены и права человека, которые предполагалось положить в основание предстоящей созидательной работы. Но «права» хороши как орудие борьбы, как боевой клич; построить же на них прочное социальное здание, удовлетворяющее лучшим человеческим требованиям, невозможно. «Права», одни только права, всегда вели и неизбежно ведут к развitiю индивидуализма, а индивидуализм, при низком нравственном уровне, неизбежно выражается в эгоистических формах. Для того, чтобы создать что-либо положительное, люди должны наряду с правами признавать и обязанности. Мало того, тот только в состоянии осуществлять свои права в должной мере и отстаивать их надлежащим образом, кто сознает свои обязанности и умеет выполнять их. Это — неопровержимая истина, подтверждаемая самыми разнообразными наблюдениями. Нет ничего, однако, удивительного, что мыслители, положившие отпечаток своего гения на весь XVIII век, не обратили должного внимания на обязанности человека, не разработали тех положительных начал, которые должны быть заложены в основу нового общественного порядка. Обязанности? Но разве не вечным напоминанием именно об обязанностях представители старого порядка вещей гипнотизировали людей и превращали их в Панургово стадо? Положительные начала? Но разве не эти именно положительные начала держали народные массы на протяжении целых веков в состоянии рабства, невежества, нищеты и т.д.? Не надо нам ваших обязанностей и ваших положительных начал! Пусть человеку будет возвращена его естественная свобода и его естественные

права, и он устроится наилучшим образом. Так неизбежно должны были думать мыслители, а за ними — и руководители общественного переворота XVIII века. Но когда переворот совершился, когда пришлось приступить к организационной работе в широком смысле, тут-то и обнаружилась односторонность этих, в сущности отрицательных, учений. Дело общественного преобразования ни в частности, ни в общем не может остановиться на одном только разрушении. Когда какие-либо критические отрицательные теории окажут свое полное действие, на смену им должны явиться положительные учения, уже по одному тому, что, руководствуясь только отрицательными теориями, невозможно делать положительного дела. И действительно, не говоря уже о старых положительных учениях, мы видим, что в первой половине XIX века выступает целый ряд мыслителей с положительными проектами социального преобразования человечества. Так, укажем на Сен-Симона, Фурье, Кабэ, Огюста Конта; все они родились в конце XVIII века, и каждый из них представил свой проект реорганизации человечества, каждый из них горячо проповедовал свою, если хотите, утопию. Как, скажет, пожалуй, иной читатель, известный позитивист Огюст Конт проповедовал какую-то социальную утопию? Да. Мало того, он не только проповедовал социальную реорганизацию общества, но даже написал свой знаменитый «Курс положительной философии» в интересах такой пропаганды. Философия как философия, наука как наука его мало интересовали. Обладая громадным умом, он, без сомнения, занял бы одно из самых выдающихся мест в ученом мире, если бы посвятил свои силы какой-либо специальной науке. Но ум его с юности до последних дней был прикован к человеческим делам, к человечеству. Царившая в сфере мысли и дела анархия (безначалие), как прямой результат всего предыдущего развития, произвела на него, можно сказать, потрясающее впечатление.

Юношей он объявляет ей борьбу, в возмужалом возрасте пишет два своих главных сочинения, которые должны служить опорой в этой борьбе, и с приближением старости берется за практическое осуществление своего положительного учения. Это поистине был человек, относительно которого на вопрос, что такое жизнь великого человека, можно ответить словами Альфреда де Вины: «Мечта юности, осуществленная в зрелом возрасте». Мы можем находить мечту юности здоровой и разумной, а способ осуществления ее в старости неправильным, даже нелепым, но это не дает права насильственно разделять его на две части и одну возводить на философский трон, а другую отправлять в сумасшедший дом. Между тем с Контом это проделывают почти в буквальном смысле слова. Я не погрешу против истины, если скажу, что такое несправедливое отношение к великому человеку, вовсе не подтверждающееся при сколько-нибудь внимательном изучении его жизни и его произведений, объясняется в большинстве случаев нерешительностью, половинчатостью или двоедушием его критиков. В переходные периоды истории, когда старый строй разлагается, а новый только еще нарождается, многие даже из числа выдающихся умов не могут на самом деле отрешиться от старой культуры, хотя они и осуждают ее основы. Для таких людей Конт, как личность, и его учение, как целое, всегда будут казаться исполненными противоречия. Они не прочь признать все то, что подрывает разрушающийся строй; но они не могут разделить стремление выйти на новый путь, так как не могут в действительности, как сказано, отряхнуть прах от ног своих. Совершенно иначе отнесется к Конту последовательный приверженец старого или нового строя жизни, старых или новых учений. Будучи сам цельным человеком, он легко поймет цельность и единство в учении и жизни великого французского позитивиста. Само собой понятно, что это нисколько не обязывает его ни всецело

соглашаться, ни всецело отвергать рассматриваемое учение. Одно дело понять внутреннюю связь известного ряда мыслей и то, как они развивались в голове человека и к чему они обязывали его, и другое — оценить эти мысли, отделить пшеницу от «плевел». Вторая задача, замечу здесь кстати, не может составлять предмета этой биографии. Что же касается первой, то я надеюсь показать, что Огюст Конт как личность представлял замечательно цельного человека и что через все его учение проходят одни и те же основные мысли. Затем, чтобы правильно понять учение и личность Конта, необходимо переместить самый центр тяжести нашего изучения. Пока мы будем рассматривать его как философа по преимуществу, хотя бы позитивного, до тех пор мы не гарантированы от многих заблуждений. Только став на социальную точку зрения и рассматривая Конта как социального реформатора, мы в состоянии будем охватить одним взглядом всю жизнь его и все учение его и понять то единство, которое, наперекор всем ходячим мнениям о нем, пронизывало насквозь этого необычайного человека. Так мы и поступим.

Глава I

УЧЕНИЧЕСТВО

Семья. — Мать. — В лицее. — Политехническая школа. — Чтение. — Серьезность не по летам. — История в Политехникуме. — Исключение и высылка на родину. — Возвращение в Париж. — Поиски работы. — Умственные занятия. — Знакомство с Сен-Симоном. — Учение Сен-Симона. — Влияние Сен-Симона на Конта. — Юношеские произведения Конта. — Раздор с Сен-Симоном. — Содержание статьи «План научных трудов» и других. — Связь юношеских произведений Конта с последующими. — Предшественники Конта

Огюст Конт (носящий, кроме того, еще имена Исидора Мария Франсуа Ксаверия) родился в 1798 году в Монпелье (Montpellier), где отец его, Огюст Луи Конт, служил сборщиком податей. Семья, вскормившая великого позитивиста, была, по видимому, заурядной чиновничьей семьей, ни богатой, ни бедной. Исполненная общественных и религиозных предрассудков, она не могла ни возбудить дух пытливости в ребенке, ни внушить ему стремлений и правил поведения, сколько-нибудь расходящихся с общественной рутинной. Несмотря на вихрь революции, потрясшей всю Францию, эта чиновническая чета не чувствовала никакой потребности в обновлении. Напротив, старые боги для нее стали, вероятно, еще милее. По крайней мере мать Конта, по его же собственному свидетельству, была чрезвычайно набожная, преданная католичка. Была ли она действительно религиозна — трудно сказать: в ту пору, как и теперь, и мытарство, и фарисейство — все одинаково называли религиозностью. Это католическое рвение матери находилось, конечно, в прямом противоречии с теми новыми стремлениями, которые скоро обнаружились у юноши Конта, а затем и с тем новым учением, которое он стал проповедовать. Таким образом, при известной неуступчивости и строптивости обеих сторон, разрыв был неизбежен; причем как матери, так и сыну пришлось немало страдать от этих несогласий, как мы увидим несколько ниже. Но впоследствии, когда Конт был увлечен культом женщины и когда католическая нетерпимость казалась ему синонимом глубокой веры, он

вполне примирился в своей мысли и в сердце с матерью и считал ее одним из своих трех ангелов-хранителей. К этому именно времени относятся следующие его слова в «Исповедях»: «Нравственные задатки перешли ко мне от моей нежной и пламенной матери. Она всю жизнь свою не знала тех высоких наслаждений сердца, которых вполне заслуживала... Я виноват перед моей бедной Розалией (так звали его мать. — В. Я.), лишая ее сыновних объятий в течение 22 лет». Очень возможно, что свой не терпящий противоречий, неуступчивый и вместе с тем до болезненности чувствительный и самолюбивый нрав Конт действительно унаследовал от матери. Те чувства, которые у матери нашли исход в католическом рвении, у сына вылились в позитивистическом поклонении перед его святой Клотильдой.

Девяти лет Огюст отдан был в лицей в Монпелье интерном. Из католико-роялистской атмосферы родной семьи он попал совсем в другую среду. Любопытно, что уже в этой школе мальчик обнаружил некоторые особенности своего нравственного склада. Он питал отвращение ко всякому внешнему авторитету и регламенту и подчинялся лишь умственному и нравственному превосходству. Эту особенность Конт сохранил до конца дней своих и ее, можно сказать, положил в основание всей своей социальной схемы. Когда мальчику приходилось иметь дело с директором или наставниками, то он оказывался непокорным, пускался в рассуждения, что называется у нас, задира. С учителями же своими он был, напротив, совсем другой; относился к ним с почтением и великим послушанием. Естественно, что первые преследовали его всячески и наказывали, а вторые отстаивали и защищали. Притом же Огюст был трудолюбив, понятлив и относительно своих познаний всегда оправдывал ожидания учителей. Слабый и болезненный на вид, он держался в стороне от школьных игр, тем не менее товарищи любили его; он всегда готов был выручить товарища: подсказать, помочь тайком и т. п.

Из учителей Конта следует отметить одну далеко недюжинную личность — пастора Анконтра, преподававшего в то время математику в лицее. Обладая обширными философскими познаниями и редкими нравственными качествами, он оказал громадное влияние на Огюста. Он не только внушил ему критическое отношение к католическим и роялистским симпатиям родной семьи, но и зажег в нем, как утверждает биограф Робине, пламя гения, которое с тех пор никогда не потухало. Конт относился к нему с большим почтением и посвятил ему одно из своих последних произведений («Субъективный синтез»). Пятнадцати лет Огюст окончил лицей. Теперь ему предстояла прямая дорога в Политехническую школу, где могли получить надлежащее развитие его математические способности. Но туда принимали юношей и девушек не моложе шестнадцати лет. Следовательно, Конту нужно было обождать еще год. Он остался при лицее и помогал одному часто болевшему учителю преподавать математику. Эту новую обязанность он исполнял блистательно под надзором самых строгих критиков. В 1814 году он держал поверочный экзамен и, выдержав одним из первых, поступил в Политехническую школу в Париже. Школа эта играла очень большую роль во всей жизни Конта. Скажем о ней несколько слов.

Парижский Политехникум — одна из самых популярных школ во Франции. Этим она обязана, во-первых, своему двойственному характеру, будучи гражданской и военной школой, во-вторых, большому числу замечательных людей, вышедших из нее, и, в-третьих, своим прогрессивным традициям. Детище Великой

французской революции, она свято сохраняла дух ее. Под именем Центральной школы общественных работ она была учреждена Конвентом в 1794 году для образования инженеров всякого рода, в которых чувствовался недостаток в эпоху революции и вызванных ею войн. Выработка, программ поручена была известному математику Монжу, и хотя школа с течением времени несколько раз подвергалась переделкам, но основной характер ее не изменялся. Она давала подготовку молодым людям, желавшим поступить в одно из таких высших специальных заведений, где требовалось основательное знание математики. Курс сначала принят был трехгодичный, а затем — двухгодичный. Ученики помещались в общежитии и пользовались значительными общественными субсидиями. Совместная жизнь сплачивала и порождала много общих житейских интересов. Ученики дружно боролись за право отлучек, дружно восставали против нелюбимых наставников и т.д. Но, кроме этих, так сказать, домашних дел, они принимали с самого основания школы деятельное участие в политических движениях своей страны. Поступая в школу, они клялись в преданности республике и в ненависти к абсолютизму. Когда роялисты выступили со своими происками, политехники в общей массе остались верны республиканскому духу. В то время подверглись исключению те, кто обнаружил неприязненное отношение к республике и принимал участие в роялистских возмущениях. Но это были единицы. Ученики отнеслись несочувственно к консульству Наполеона I, к его диктатуре и, наконец, к учреждению империи. Наполеон хотел было «подтянуть» школу, стал заводить там военные порядки, но научные и политические традиции были сильны и спасли школу. Во время вторжения союзников во Францию ученики составили особый отряд и сражались с врагами. При Бурбонах у них выходили частые столкновения с правительством, и школа снова подверглась реорганизации. Но особенно горячее участие принимали ученики в революции 1830 года. Школа была занята королевской гвардией. Тогда политехники отправились на баррикады и сражались здесь вместе с народом. Лафайет в особом приказе прославлял их подвиги; из разных мест Европы и Америки они получали приветствия; наконец сам Луи-Филипп хотел наградить их, как защитников «свободы и отечества». Но это не соответствовало республиканским наклонностям политехников, и они отказались от награды. В 1848 году повторилось то же самое. Вообще техники принимали участие во всех внутренних переворотах и политических движениях Франции XIX века и всегда заявляли себя ярыми республиканцами. Но мы ограничимся сказанным, так как полагаем, что для читателя уже с достаточной ясностью обрисовалась та политическая атмосфера, в которую попал шестнадцатилетний Огюст, уже отрешившийся от католико-абсолютистских верований своей семьи. Таким образом, его стремление к выработке нового мирозерцания получало полное удовлетворение с поступлением в Политехническую школу. Здесь он ревностно изучает математику и другие точные науки и таким образом вырабатывает навык правильно, методично мыслить и ограничивать поле своих размышлений только тем, что подлежит точному наблюдению и опыту. Кроме того, он приобретает массу научных знаний, которые будут необходимы ему для его философской энциклопедии. Но эти занятия не поглощают его всецело. У него остается немало времени или он, во всяком случае, умеет найти время для чтения по вопросам литературным, философским, социальным. При этом его интересует преимущественно великое умственное и социальное движение XVIII века; он читает энциклопедистов: Адама Смита, Юма, Кондорсе; затем — де Местра, Биша, Галля и т.д. Уже в этих чтениях он ищет разрешения основного вопроса, поставленного переворотом XVIII века: к какому новому положительному строю идет человечество? Юноша Конт, понятно, не мог решить этого вопроса; но он

копил знания, необходимые для разрешения, — знания, которыми он, благодаря своей громадной памяти, пользовался впоследствии всю свою жизнь. Заботился ли Конт о систематическом чтении, мы не знаем, так как не встретили никаких указаний на этот счет в биографических материалах, но, несомненно, что это было обдуманное чтение, то есть чтение, которое должно было выяснить ему его положение среди людей и дело, которое он должен делать.

По-видимому, Огюст не знал юности в том смысле, как это обыкновенно понимается: он не знал юного веселья, забав, развлечений, не знал горячего увлечения, страстных споров, возвышенных мечтаний. Нет, чем-то серьезным, холодным, положительным веяло от этого молодого политехника. Вечно серьезный, вечно занятый своими мыслями, он резко выделялся из среды сотоварищей и производил впечатление скорее зрелого человека. Его громадный ум при непреклонном характере угнетал, словно тяжесть, всякое непосредственное проявление юной жизнерадостности. Но это нисколько не мешало ему быть одним из самых задорных учеников и в расприх с начальством идти во главе других; поэтому он подвергался нередко взысканиям и лишался тех отличий, на какие ему давало право его умственное превосходство, признаваемое самими профессорами. Одно из таких столкновений оказалось роковым как для него, так и для всех его товарищей. Огюст был уже на втором курсе и должен был кончить школу. В то время на первом курсе вышла «история» из-за грубого обращения одного из репетиторов. Старшие вмешались и заступились за своих товарищей. Они потребовали удаления грубияна. «Как нам ни прискорбно, — заявляли они ему в письме, — принимать такую меру по отношению к старому учителю школы, но мы требуем, чтобы вашей ноги не было больше здесь». Письмо было написано Контом, и его фамилия стояла первой под вышеприведенными словами. Правительство воспользовалось случаем (дело происходило в 1816 году), чтобы закрыть школу, которая уже страшно надоела своим вольнодумством и беспрестанными волнениями. Конт был препровожден на родину и отдан там под надзор полиции. Так плачевно закончились ученические годы Конта, и ему пришлось вступить в жизнь восемнадцатилетним «недоучившимся», как сказали бы у нас поклонники дипломированного знания, юношей. Однако этот недоучка скоро превратился в высокообразованного философа. Несчастье не смутило его. Он имел уже определенную цель и шел к ней тем путем, который казался ему кратчайшим при наличности известных условий. Но, скажут, карьера его была испорчена. Какая карьера? Во всяком случае не та, которую пролагают себе великие независимые умы.

Нетрудно представить себе, как встретила Огюста родная семья, всецело погруженная в свои мещанские интересы, прикрытые слегка правоверным католицизмом. Вне семьи также не представлялось ничего утешительного. Там, в этом маленьком Монпелье, где каждому известна вся подноготная другого, строптивый юноша с обширнейшими планами в своей молодой голове и громадным самолюбием едва ли бы нашел себе дело даже при лучших условиях. Поэтому Огюст покидает Монпелье через несколько месяцев после своего невольного переселения туда и отправляется в Париж. Полиция не препятствовала ему, так как дело, за которое он был выслан, не носило политического характера. Но семья старалась всячески удержать его, и отец отказал ему в материальной поддержке. Таким образом, очутившись в Париже, Огюст должен был рассчитывать исключительно на самого себя, на свой ум и энергию. Недостатки и лишения не могли испугать его. Со свойственным ему упорством и прямоотой он ставит свое «быть или не быть» и возлагает все надежды на свою великую способность к труду.

В Париже Конту первым делом пришлось изыскивать средства к существованию. Ему помогли профессор Политехнической школы Поинсо, заметивший необыкновенные дарования своего ученика еще на школьной скамье, и известный ученый Блэнвилль. Оба они еще не раз протянули руку помощи нашему философу в его борьбе с цеховыми учеными и в его страшной болезни. Обеспечив себе кое-какие скудные средства существования, Конт снова принялся за чтение по физическим наукам, биологии, истории. Одно время ему улыбалось место профессора по аналитической математике в проектированной по французскому образцу Политехнической школе в Соединенных Штатах. Но проект этот не получил осуществления. Затем он поступил домашним секретарем к богатому банкиру, видному члену парламента, а впоследствии министру, Казимиру Перье. Секретарство это продолжалось только три недели: будущий философ и будущий министр слишком расходились в убеждениях, чтобы сотрудничать в каком-либо деле; простым же наемником Конт, очевидно, не пожелал быть. Тем временем правительство допустило к выпускным испытаниям исключенных им раньше политехников и выдержавшим успешно экзамен дало, по обыкновению, разные места. Конт не держал экзамена и тем вторично отрезал себе обычный путь к обычной карьере.

Литтре следующим образом описывает умственное состояние Конта в это время.

«Вглядываясь в него, — говорит он, — мы увидели бы молодого человека с чрезвычайно рано развитыми, чрезвычайно деятельными и чрезвычайно обширными способностями, вполне изучившего все неорганические науки (к биологическим наукам он перешел немного позже), сведущего по части исторических документов и желающего проникнуть далее в мир идей и спекулятивной политики. По общему духу, царившему в его семье, он должен был бы быть католиком и легитимистом⁷⁴, а на самом деле он был свободным мыслителем в религии и революционером в политике. Республиканский дух, сохранявшийся еще в Политехнической школе, несмотря на деспотизм Наполеона и военного режима, не мешал развитию такого склада ума. Но индивидуальность его сказывалась пока только в той связности, которую он придавал усваиваемым доктринам. Конт является в эту пору просто одним из новобранцев под знаменем, поднятым другими руками, или, выражаясь точнее, под знаменем, поднятым руками XVIII века и революции. Если Конт должен был сделаться со временем тем, чем он был на самом деле, ему необходимо выйти из этого состояния и перейти к другому порядку идей».

То есть от чисто отрицательных идей XVIII века Конт должен был перейти к тем положительным социальным идеям, которые составляют достояние нашего XIX века. Такой поворотный момент в его развитии совпадает со знакомством с Сен-Симоном. Хотя впоследствии Конт считал за несчастье это свое знакомство, однако едва ли можно отрицать, что близкое общение с Сен-Симоном оказало большое влияние на выработку его мировоззрения. Укажем вкратце на те мысли Сен-Симона, которые развивает впоследствии и Конт, только гораздо систематичнее и продуманнее.

Характерной особенностью науки Сен-Симон считает предсказывание. Он указывает на смену астрологов астрономами, алхимиков — химиками и на предстоящую смену метафизиков, моралистов и философов — физиологами как

⁷⁴ Легитимисты — монархисты — сторонники так называемой легитимной (буквально — «законной») династии, свергнутой революцией (во Франции — династии Бурбонов). — Ред.

на замечательнейшие моменты в развитии человеческого духа. Он говорит о всевозрастающем значении физицизма (совокупности научных и положительных представлений относительно явлений) и упадке сверхъестественных представлений и превозносит Декарта за то, что он вырвал скипетр мира из рук воображения и передал его в руки разума. Само выражение «позитивная философия» встречается впервые у Сен-Симона в 1808 году, то есть когда Конт был еще ребенком. Главной задачей науки и философии Сен-Симон считал преобразование общества, его морального, религиозного и политического строя и ставил таким образом общественную реформаторскую деятельность в зависимость от научной системы. Все отрицательное, революционное, анархическое было ему противно. С этой точки зрения он осуждал протестантизм, считая его задержкой на пути развития положительной философии. Реформы, которые он проектирует, должны умиротворить общество; он не предлагает отнимать имущество у богатых; он желает увеличить только общее богатство. Вместо эксплуатации человека человеком он выставляет эксплуатацию земли человеком; на осуществлении этой задачи должны сойтись ученые и промышленники. Мы не станем входить в дальнейшие подробности плана общественного переустройства, спроектированного Сен-Симоном, так как в самом этом плане найдется мало общего с планом, разработанным впоследствии Контом. Мы хотели лишь указать в самых общих чертах ту идейную атмосферу, с которой пришлось соприкоснуться Конту, когда он познакомился с Сен-Симоном. Многие, проповедуемое последним, высказывалось другими мыслителями раньше его, как это обыкновенно бывает. Но только став учеником, сотрудником, другом Сен-Симона, Конт перешел от своего отрицательного мирозерцания и от простого накопления знаний к работе над положительной системой и при этом несомненно усвоил некоторые из мыслей, высказанных учителем. Ниже мы укажем на других мыслителей, которых сам Конт признает своими предшественниками; но все это были уже великие или замечательные мертвецы, а Сен-Симон действовал на него непосредственно своей живой личностью.

Конт познакомился с Сен-Симоном в 1818 году, когда ему было 20 лет, и поступил к нему в качестве секретаря с жалованием в 300 франков в месяц; но деньги эти он получил только за первую четверть, а затем должен был удовлетворяться одними обещаниями со стороны своего принципала. Не в материальной стороне, однако, дело. У Сен-Симона было определенное учение, и Конт, как он сам признавал, был вначале его учеником. Мы не говорим, что он усвоил себе это учение, как нечто законченное и требовавшее только практического осуществления. В ту пору еще не было школы сен-симонистов и само учение только разрабатывалось. Важно то, что под руководством Сен-Симона Конт начал серьезно работать над социальными вопросами; в окончательных же выводах он мог разойтись со своим учителем, как это и случилось на самом деле. Что Конт действительно работал над теоретическими социальными вопросами, показывают напечатанные им в это время работы. Так, в 1819 году в журнале «Censeur»⁷⁵ была напечатана небольшая статейка «Separation generate entre les opinions et les desirs»⁷⁶, в которой он развивал мысль, что масса, народ, должна высказывать свои желания; ученые, публицисты — разрабатывать и указывать средства и пути удовлетворения этих желаний; правительство — осуществлять предложенные меры. В 1820 году он напечатал в журнале «Organisateur»⁷⁷ статью «Sommaire appreciation de l'ensemble du passe

⁷⁵ «Критик» (франц.). — Ред.

⁷⁶ «Основной разрыв между воззрениями и желаниями» (франц.). — Ред.

⁷⁷ «Организатор» (франц.). — Ред.

moderne»⁷⁸, в которой проводит различие между двумя главнейшими эпохами человеческого развития — эпохой критической и эпохой положительной. Наконец, в 1822 году он печатает в серии, издаваемой Сен-Симоном уже весьма солидную работу: «Plan des travaux scientifiques necessaires pour reorganiser la societe»⁷⁹. Работа эта была напечатана в 1824 году подзаглавием «Politique positive»⁸⁰ опять-таки в серии Сен-Симона, и затем Конт прекращает не только всякое сотрудничество со знаменитым реформатором, но даже знакомство. Он созрел для вполне самостоятельной работы; он перерос уже своего учителя, и сам мог явиться в роли учителя. Кроме упомянутых юношеских произведений, перепечатанных впоследствии Контом в его четырехтомном «Systeme de politique positive», он написал еще несколько, о которых, однако, сам отзывается, как о «незрелых, навеянных пагубной связью» и потому «искусственных». Какие именно это произведения — неизвестно, но ясно, что дело идет о статьях, написанных под влиянием и в духе Сен-Симона.

По мере того как выяснялось и определялось собственное миросозерцание Конта, между ним и Сен-Симоном естественно должно было возникать все большее и большее разногласие. Жена Конта, присутствовавшая при их дебатах, говорит, что в то время, как один обнаруживал мощную силу ума, другому не доставало простого внимания и уважения. Сен-Симон, конечно, замечал необычайные дарования своего ученика, но он хотел воспользоваться ими в интересах своих теорий. «Сен-Симон, — пишет Конт в одном письме, — старался держать меня в черном теле и присвоил себе львиную долю той славы, которая могла выпасть на долю моих трудов». В этих словах сказывается большое самомнение. Ведь слава-то витала еще в облаках... Конт действительно был чрезвычайно самолюбив, склонен к раздорам и уже по одному тому не мог примириться с таким положением. Но несравненно важнее то, что с написанием упомянутой третьей статьи «Plan...» его философское и социальное направление, как он сам говорит, окончательно определилось. В этой статье он излагает свое «главное открытие» — социологический закон трех состояний. В то время как Сен-Симон стал клониться к сентиментализму и религиозности, Конт на всех парах шел к своему позитивизму. С большой натяжкой Сен-Симон мог втиснуть эту работу в свою теорию. И, однако, он всячески старался отодвинуть действительного автора ее на задний план. Он не хотел даже выставить имени Огюста Конта. Это окончательно рассердило последнего, и он настаивал на своем праве подписать статью. Тогда Сен-Симон объявил ему, что так как он не желает подчиняться его указаниям, то между ними не может быть более единения.

«Я, — рассказывает об этом эпизоде Конт, — никогда не ожидал услышать от него такого заявления ввиду наших отношений, длившихся в продолжение семи лет и поддерживаемых мною по личному моему чувству к нему и вопреки собственным интересам». «Наше расхождение, — говорит он в другом месте, — которое окончилось бы простым разногласием в мнениях, будь у Сен-Симона иной характер, привело и должно было привести при его характере к полному разрыву. Сен-Симон отличается тем самолюбием, которое делает всякий союз с ним в продолжение долгого времени действительно невозможным, исключая разве только посредственности и человека, готового стать его орудием».

⁷⁸ «Краткая оценка совокупности обновленного прошлого» (франц.). — Ред.

⁷⁹ «План научных работ, необходимых для реорганизации общества» (франц.). — Ред.

⁸⁰ «Система позитивной политики» (франц.). — Ред.

В этой характеристике Сен-Симон похож немного на самого Конта, по крайней мере на того Конта, каким он будет впоследствии. Первосвященник позитивизма отличался также достаточной нетерпимостью и с раздражением выслушивал возражения своих учеников. Но это в будущем. Пока же он сам находился в положении ученика. Он принял вызов учителя и вышел из его кружка, хотя некоторое время продолжал еще относиться к нему, по крайней мере с внешней стороны, почтительно. Работа же Конта, приведшая к этому окончательному разрыву, вышла с двумя предисловиями, написанными: одно — Сен-Симоном, другое — автором. Остановимся несколько на ней, так как она не только сама по себе интересна, но и важна, как свидетельство единства взглядов Конта, начиная с первых серьезных шагов его на литературном поприще и до самых последних произведений. Вот основные мысли, изложенные в этой статье.

В жизни западноевропейских обществ, начиная со средних веков, наблюдаются течения двоякого рода: положительное и отрицательное, созидательное и разрушительное. Последнее преобладает до позднейших времен. Но теперь, когда разрушение совершило свое дело, эта отрицательная тенденция представляет величайшее препятствие для прогресса цивилизации и даже для дальнейшего разрушения старой системы. Чтобы выйти из этого состояния, цивилизованные народы должны оставить отрицательный путь и перейти на путь органического развития, должны направить свои усилия к образованию новой социальной системы. «Такова, — говорит Конт, — главная потребность современной эпохи, такова также и главная цель моих трудов». «Назначение общества, достигшего зрелости, — продолжает он, — вовсе не в том, чтобы оставаться навеки в ветхой и дрянной лачуге, построенной во дни детства его, и не в том, чтобы вечно жить без всякого крова... Оно должно, пользуясь приобретенным опытом, построить из всех собранных материалов здание лучше, чем прежнее, приспособленное к его нуждам и потребностям. Таково великое и благородное дело, предстоящее настоящему поколению». Выработка плана социальной реорганизации должна начинаться с разработки основной цели, то есть нового принципа, который должен быть положен в основу социальных отношений и который должен дать систему общих идей, служащих для руководства общества. А затем уже следует приступить к выработке различных утверждений, соответствующих этой системе. Нарушение этого естественного порядка порождает все современные неурядицы. Если новый принцип не установлен, то невозможно покончить со старой системой, хотя бы даже люди думали, что они покончили с нею. Отсюда проистекают и все неудачи разных широковещательных конституций: они пытаются упорядочить частности, прежде чем был обдуман и установлен принцип. Вследствие этой основной ошибки простые перемены в старой системе принимаются за ее полное преобразование, а между тем изменяется в сущности только форма, а основа остается все та же.

Из такого разграничения теории и практики вытекает и основное разделение власти на духовную (умственную, теоретическую) и светскую (материальную, практическую). Ученые, представители умственной власти в будущем обществе, пользуются уже достаточным доверием, чтобы взять на себя почин в деле реорганизации Запада. Одни только они обладают в настоящее время общими идеями и общим языком, имеют в виду одну и ту же цель общей и постоянной деятельности. Ученые должны поднять политику на высоту опытной науки. Но для того, чтобы новая социальная система, предназначенная позитивной политикой, действительно осуществилась, недостаточно только уяснить ее; необходимо еще

вызвать в массе соответствующие чувства, воодушевить массу. Кроме указания на необходимость и возможность известной системы, необходимо еще представить одухотворенную картину улучшений, которые должны воспоследовать в человеческой жизни. Только такая перспектива может подвинуть людей к моральному обновлению, необходимому для осуществления новой социальной системы. Только одна она может рассеять эгоизм и пробудить общественную апатию. Это — дело художников. На долю же промышленного класса выпадает само проведение в жизнь установленной учеными системы.

Кроме изложенных мыслей, Конт развивает в рассматриваемой статье свой известный закон трех состояний. Но о нем мы будем говорить ниже. Таким образом, уже в этой своей первой серьезной работе Конт, во-первых, указывает вполне определенно основную цель, ради которой он затем принимается за построение своей положительной философии, а позже — положительной политики; цель эта — социальная реорганизация общества. Она-то и придает то замечательное единство всем его произведениям, которого позитивисты многих толков не хотят признавать. В этой же статье он, во-вторых, намечает общий план своих будущих работ (он начнет с перестройки общих понятий) — план, в действительности выполненный им, и, наконец, прямо высказывает многие мысли, которые впоследствии развивает обстоятельно и многословно в «Курсе положительной философии» и в «Системе положительной политики».

В последующих затем работах, которые также относятся к периоду «ученичества» в широком смысле слова, к периоду «пробы пера», именно: «*Considerations philosophiques sur les sciences et les savants*»⁸¹ (1825 год, журнал «*Producteur*»⁸²) и «*Considerations sur le pouvoir spirituel*»⁸³ (1826 год, там же), Конт, стоя все на той же точке зрения необходимости социальной реорганизации, продолжает набрасывать наскоро мысли, развитые им впоследствии. В особенности любопытна в этом отношении вторая из упомянутых статей. Здесь Конт указывает на отрицательный по существу характер принципов, выставленных Великой французской революцией: свобода совести, верховенство народа, равенство — все это были лишь орудия для ниспровержения старого порядка и, как таковые, они вполне законны и действительны. Но для положительной работы нужны иные принципы. И Конт, понимая прекрасно, с какими предрассудками ему придется столкнуться, прямо ставит себе целью показать необходимость учреждения умственной власти, отдельной и независимой от светской власти, и определить существенные черты новой нравственной организации, соответствующей современным обществам. Мало того, он сам указывает на сходство во многих отношениях своей будущей организации духовной власти с католицизмом средних веков и просит только читателя (хотя и не надеется, чтобы его голос был услышан) не понимать его превратно. Таким образом, сильно ошибаются те, кто симпатии Огюста Конта к католицизму приурочивает к последним годам его жизни. Католическая организация мелькала уже, можно сказать, перед его умственным взором, когда он писал свой знаменитый «Курс позитивной философии». Если произведения второй половины жизни Конта признавать за резкое отступление от того, что он писал в первую половину (то есть, как это обыкновенно считается, от

⁸¹ «Философские размышления о науках и ученых» (франц.). — Ред.

⁸² «Производитель» (франц.). — Ред.

⁸³ «Размышления о духовной власти» (франц.). — Ред.

«Курса положительной философии»), то как поступить тогда с этими юношескими его произведениями, юношескими относительно, так как он написал их на двадцать восьмом-тридцатом году жизни? Тоже признать отступлением, только предварительным, в область мистики, или, что еще проще, вовсе позабыть об их существовании. Шаг назад, два вперед и снова три назад — вот в каком виде должна представляться умственная работа Огюста Конта позитивистам буржуазного склада, которым так по вкусу пришелся «Курс положительной философии». Но не такова она была в действительности. Конт, начиная с юности, неизменно шел к своей основной цели: социальной реорганизации современного западноевропейского общества. Он мог ошибаться, заблуждаться и т.д., но он никогда не изменял себе.

В заключение главы об ученичестве нелишним считаем указать на некоторых предшественников Конта (я имею в виду его социально-исторические взгляды) — предшественников, признаваемых им самим, а следовательно, имевших непосредственное влияние на выработку его социального мирозерцания. Неоднократно и с особенной похвалой он упоминает о Кондорсе, называя его «знаменитым и злополучным» автором известного сочинения о завоевании человеческого духа. Он первый, по мнению Конта, попытался дать истинно позитивную теорию политики. Кондорсе же обязан своему не менее знаменитому другу Тюрго, у которого мы встречаем уже мысли о преемственности исторического развития, о постепенной замене теологических представлений абстрактными (по Конту метафизическими) и наконец иными гипотезами, построенными на механической зависимости явлений и на опыте, и т.д. Наконец упомянем еще о Канте, статья которого под заглавием «Идея всемирной истории с точки зрения человечества» была известна Конту в рукописном переводе и вызвала вполне одобрительные отзывы с его стороны. Конечно, все эти работы указанных мыслителей носили слишком отрывочный характер или были недостаточно научно разработаны, чтобы служить основанием для Конта при выработке им своего социального мировоззрения. Мы упомянули о них, как о предшественниках, у которых он нашел многие из мыслей, разработанных им в целую систему. Вместе с тем любопытно отметить, что Конт, как он сам говорит, никогда, и ни на каком языке не читал ни Канта (кроме упомянутой маленькой статьи), ни Гердера, ни Гегеля, ни Вико, ни многих других.

Глава II

БОРЬБА ЗА СРЕДСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ

Материальная необеспеченность. — Лекции по философии. — Болезнь. — Возобновление лекций. — Место репетитора и экзаменатора в Политехнической школе. — Верх материального благополучия. — Неудачные попытки получить профессорскую кафедру. — Гизо. — Конт как экзаменатор. — Процесс с издателем. — Материальный кризис. — «Мозговая гигиена». — Как Конт работал. — Однообразие внешней жизни. — Первая оценка «Курса положительной философии» в Англии. — Брюстер. — Милль. — Переписка с Миллем. — Помощь трех англичан. — Обращение к Западу. — Подписка в пользу основателя позитивизма. — Более чем скромная жизнь

Конт, как мы сказали, явился с голыми руками в Париж. Его тянула туда страсть к знанию, и на первых порах он не обращал почти никакого внимания на свое материальное положение. Год проходил за годом, а он все пробивался частными уроками, посвящая все свои силы научным занятиям. В 1824 году после разрыва с Сен-Симоном он пишет одному своему другу:

«Я намерен наконец заняться в продолжение этих вакаций упорядочением моего материального положения на основаниях, несколько более прочных, чем это было до сих пор. Всякие заботы подобного рода на меня нагоняют страшную тоску, но я убедился теперь, что придавал до сих пор слишком малое значение материальной стороне жизни, из-за чего нередко страдал и буду страдать еще более, если такое положение продлится; я убедился, что настало наконец время подумать об этом немного посерьезнее...»

Но он не возлагает никаких надежд на свои литературные работы. Хорошо, если доходы от них окупят издержки по напечатанию. Что же остается? Опять-таки те же частные уроки по математике.

«Нет ничего более смертельного для моего ума, — пишет он несколько позже в другом письме, — как эта необходимость... думать ежедневно о том, что будешь есть завтра... К счастью, я думаю мало и редко об этом; но когда случается задумываться, то переживаю минуты страшного уныния и даже настоящего отчаяния; если подобные состояния станут обычными, то придется отказаться от всех своих занятий, от всех философских проектов и превратиться в дурака...»

Он делает попытки проникнуть в Политехническую школу или в университет, но безуспешно: ему запрещена была педагогическая деятельность в учебных заведениях. Он грозит, что если положение не изменится к лучшему, то он оставит Францию и переселится в Англию... Но вместо того юный философ женился в 1825 году на неимущей девушке. У нее было немного денег на «обзаведение». Новобрачные совершили маленькое путешествие в провинцию, а по возвращении сняли квартиру побольше, обмелировали ее и стали поджидать учеников-пансионеров. Они дождались только одного ученика. Пришлось снова переезжать на квартиру поскромнее.

Среди всех этих волнений и невзгод один из друзей подал ему мысль устроить публичные лекции по философии, над разработкой которой Конт упорно трудился, несмотря на свое печальное материальное положение. Мысль эта понравилась ему, тем более что таким путем он мог не только заработать кое-что, но и заявить себя творцом той новой философии, которая начинала уже распространяться. В марте 1826 года он выпустил объявление о чтении своего курса, рассчитанного на 72 лекции. Две первые лекции по программе он предполагал посвятить изложению цели и плана курса, 16 следующих — математике, 30 следующих — наукам физическим (астрономии, физике и химии) и 20 последних — наукам, изучающим органические тела: физиологии и со-389

циальной физике. С незначительным изменением этот же план сохранен и в написанном впоследствии «Курсе положительной философии». Цель этих лекций, говорит Конт в другом объявлении, сводится в конце концов к философскому обозрению всех наук. Пусть читатели не рассчитывают услышать частности и подробности: он займется лишь главнейшими результатами, основными методами, духом каждой науки и естественными отношениями

и связью между всеми ними. Но в число явлений, подлежащих научному изучению, он включает также и социальные явления, которые до сих пор, говорит он, были всецело предоставлены во власть теологических и метафизических теорий. Чтение лекций началось 2 апреля. Конечно, билеты раздавались между знакомыми или знакомыми знакомых. На какую небольшую аудиторию Конт мог рассчитывать, видно из того, что он решил читать лекции у себя на дому. Но среди этих немногих было немало людей избранных, как, например, Гумбольдт, Блэнвилль, Поинсо и другие; затем молодежь, подававшая большие надежды: Карно, Серклэ и другие. Очевидно, молодой философ, перебивавшийся жалкими уроками, пользовался уже некоторой известностью. На этот раз, однако, ему пришлось прекратить чтение на третьей лекции.

Всякий, кто читал или видел эти шесть внушительных томов «Курса положительной философии», кто познакомился с содержанием их хотя бы по одним оглавлениям, ясно представит себе, какую громадную работу совершил Конт в течение десяти лет с того времени, как он покинул родительский кров и отправился в Париж. Для того, чтобы совершить такую энциклопедическую работу, ему нужно было работать за десятерых. Затем не забывайте, при каких тяжелых материальных условиях он работал: Конт не пользовался ни «получками» от родителей, ни «стипендиями» и «пособиями», раздаваемыми молодым людям для научных работ, ни даже «местечком», хотя бы и плохоньким, но дававшим досуг... А тут еще всякие личные раздоры. Сенсимонисты не могли простить ему, что он ушел от них, а Конт, самолюбивый, раздражительный, даже прямо сварливый человек, не способен был отвечать молчанием на их выходки. Дело чуть было не дошло до дуэли. К довершению всего, у него начались несогласия с женой. Его организм не мог вынести такого напряжения сил и таких душевных потрясений. Он подвергся довольно жестокому душевному расстройству. Вначале жена его не понимала, в чем дело, и разные выходки мужа приписывала его раздражению и злобствованию. Но вот в один день он исчез совсем. Через некоторое время жена получила от него письмо и бросилась разыскивать его. Зная, что Конт любил проводить время в Монморанси, она отправилась туда и действительно нашла его, но уже в очень печальном положении: Конт находился в чрезвычайно возбужденном состоянии и отвергал всякую врачебную помощь. Поуспокоившись немного, он предложил жене прогуляться, привел ее к озеру, бросился в воду и пытался увлечь ее за собою. Будучи особой довольно сильной, она схватилась за корни и не только сама удержалась, но и спасла своего сумасшедшего мужа. По крайней мере так впоследствии рассказывала об этом эпизоде сама госпожа Конт, других же свидетелей не было. С большим трудом удалось увести больного в ближайшую гостиницу. Поручив его надзору двух жандармов, госпожа Конт поспешила в Париж, чтобы разыскать Блэнвилля, знавшего лично Конта и относившегося к нему с большой симпатией, и при помощи его перевезти мужа в больницу. Благодаря участию, принятому знаменитым ученым, Конта удалось поместить в больницу к Эскиролю. Жена боялась взять его к себе в дом, так как он страдал буйным помешательством.

Когда мать узнала о болезни сына, она немедленно приехала в Париж и стала хлопотать, чтобы Конт был признан невменяемым и чтобы над ним была учреждена опека. Она рассчитывала отстранить от него таким образом жену, с которой Конт не был обвенчан церковным браком, и увезти его в родительский дом, уповая больше на молитву, чем на медицину. Однако госпожа Конт расстроила ее происки. Хотя она не была обвенчана с Контом, но брак их значился в городских

книгах, и потому ее нельзя было устранить из семейного совета, который решал вопрос об опеке над больным. Конт остался у Эскироля, а несколько месяцев спустя жена взяла его к себе в дом. Буйный период помешательства еще не кончился. Конт и у себя дома бушевал, бросал ножом в жену, однажды убежал из дома и бросился в Сену, но мало-помалу стал успокаиваться и поправляться. В конце лета 1827 года он мог предпринять уже маленькое путешествие к своим родителям в Монпелье; но он все еще находился в угнетенном и растерянном состоянии. В 1828 году Конт уже работал и написал между прочим статью «*Ehatep du traite de Broussais sur l'irritation de la folie*»⁸⁴, в которой воспользовался своим печальным личным опытом. Во время болезни он пользовался материальной поддержкой со стороны отца и некоторых друзей.

В начале января 1829 года Конт в состоянии был уже возобновить свои лекции. Читал он их опять на дому перед столь же ограниченной и вместе с тем избранной аудиторией. Правда, Гумбольдта на этот раз не было; зато присутствовал Бруссэ, Эскироль; даже Араго, которого впоследствии Конт считал своим злейшим врагом, хотел прийти. С содержанием этих лекций читатель познакомится ниже при изложении содержания «Курса положительной философии». Краткое изложение основных мыслей своей философии Конт прочел затем в одной из общественных зал Парижа и в 1830 году приступил к печатанию своего капитальнейшего произведения. Однако в материальном отношении вся эта поистине гигантская работа дала жалкие гроши, собранные со слушателей лекций. Конту по-прежнему предстояло трудиться бескорыстно в области мысли и зарабатывать себе существование уроками по математике. Знакомства, завязанные им благодаря лекциям с некоторыми учеными и профессорами, теперь пригодились. В 1832 году он получил место репетитора в Политехнической школе по теоретической механике и высшему анализу с жалованьем в 2000 франков; в 1837 году — там же место экзаменатора с жалованьем в 3000 франков, наконец, в частных учебных заведениях он зарабатывал еще около 3000 франков в среднем, так что весь его ежегодный доход колебался между 7000—10 000 франков. Эти троякого рода занятия, рассказывает Конт в одном письме, не дали ему в течение шести лет даже двадцати дней подряд отдыха; он работает, как простой рабочий, с той лишь разницей, что получает больше, но зато и обязательные расходы его были больше. Однако это был верх материального благополучия, какого только достиг наш неудачливый в житейских делах философ. А сколько неудач ему пришлось претерпеть!

В 1831 году он выставил свою кандидатуру на вакантную кафедру высшего анализа и теоретической механики в Политехнической школе, но на его заявление не обратили внимания, а в следующем году он получил, как мы сказали выше, лишь место репетитора при этой кафедре. В 1832 году Конт обратился к Гизо, в то время министру народного просвещения, с предложением учредить при *College de France* кафедру всеобщей истории и философии физических и математических наук. В докладной записке, представленной им по этому поводу, он обстоятельно доказывал необходимость, своевременность и возможность учреждения такой кафедры; в лекторы же он, естественно, предлагал самого себя.

«Человеку, имеющему 35 лет, — писал он в частном письме к тому же Гизо, — следует позаботиться наконец о прочном и соответствующем его способностям положении. Те же самые обстоятельства, которые могли быть полезными для

⁸⁴ «Рассмотрение трактата Бруссэ о возбуждении помешательства» (франц.). — Ред.

человека, заставляя его хорошенько продумать свои убеждения и привести их в систему, становятся вредными, если они длятся слишком долго и мешают выполнению задуманного плана. Для такого ума, как мой, — вы его знаете, милостивый государь, — существует, осмелюсь я сказать, лучшее в интересах общества употребление, чем ежедневное преподавание пяти или шести уроков по математике. Я не забыл, как в ваших философских беседах... вы высказывали не раз, что считаете меня способным поработать на пользу нашего высшего образования... Я не прибегаю ни к чьему посредничеству и сам обращаюсь к вам одному. Дело идет об единственном представившемся случае поручить мне подходящее дело, не нарушая ничьего интереса, и основать учреждение высокой научной важности...»

Разговоров, происходивших между Контом и Гизо, конечно, никто не стенографировал, но вот что записал в своих «Мемуарах» по этому поводу министр: «Я принял Конта, и мы беседовали некоторое время... Он сбивчиво и непонятно излагал мне свои взгляды на человека, общество, цивилизацию, религию, философию, историю. Это был человек простой, честный, глубоко убежденный, глубоко преданный своим идеям, скромный по наружности, хотя в глубине души ужасно гордый и искренне считавший себя призванным открыть для человеческого духа и человеческого общества новую эру... Я не пытался даже оспаривать его: его искренность, его преданность и ослепление внушили мне то печальное почтение, которое выражается молчанием... Если бы я решил создать подобную кафедру, я, конечно, ни одну минуту не подумал бы пригласить на нее Конта...»

Мы видим, как жестоко заблуждался молодой философ, слишком сосредоточенный на самом себе и мало обращавший внимания на окружающее. Впрочем, может быть, Конт имел основания возлагать надежды на министра Гизо, он знал его раньше, когда тот был еще простым смертным и писал ему, что он «принимает почти все его принципы», когда он высказывал сожаление, что не мог присутствовать на его лекциях, и т.д. А в «Мемуарах» Гизо уже пишет, что он вовсе не знал Конта и никогда не слышал о нем... Так или иначе, мечта Конта создать и занять кафедру по истории и философии положительных наук не осуществилась. Много лет спустя, в 1846 году, он снова возобновил свою попытку, но ее постигла такая же неудача. В 1848 году после революции с подобным же проектом выступил Литтре, ученик Конта, но и он не имел успеха. Таким образом, Конту не удалось найти в официальных сферах места, соответствующего его стремлениям. И, быть может, это обстоятельство имело немаловажное значение в его дальнейшей судьбе. Но возвратимся к его неудачам.

В 1835 году Конт снова выразил желание занять одну кафедру, ставшую вакантной в Политехнической школе, но Академия Наук, через которую должно было проходить назначение, отклонила его предложение. В 1836 году он исполнял некоторое время, за смертью расположенного к нему математика Новее, обязанности профессора, но на кафедру все-таки не попал, хотя лекции его заслужили одобрение как со стороны инспектора Политехникума, так и студентов. Последние устроили даже маленькую демонстрацию для поддержания Конта. В 1840 году снова освободилась кафедра по высшему анализу и теоретической механике. Конт, не имевший обыкновения отступать ни перед какими затруднениями, снова заявляет свои права, и снова ему отказывают. Тщетны были также его попытки проникнуть в Академию политехнических и социальных наук. Одним словом, ученые всякого рода, начиная с математиков и кончая историками,

встречали в высшей степени недружелюбно этого непатентованного философа, обладавшего громадным умом и обширнейшими познаниями. Переписка Конта, его многочисленные предисловия, обращения и воззвания к публике переполнены жалобами на несправедливость и педантизм ученой корпорации. Словно богатырь сказочных времен, сражается наш философ с этой современной стоглавой гидрой, с этой педантократией, как он называет ее, воспользовавшись словом Конта. Будем, однако, беспристрастны. Как ни велики заслуги Конта в философском и социальном отношении, но ведь он домогался главным образом кафедры по высшей математике. И ненавистные ему геометры, пожалуй, вправе были спросить его: «Где же ваши ученые работы, дающие вам право на профессию подобного рода?» Его «Курс положительной философии», который стал выходить отдельными томами с 1830 года, уже по одной своей оригинальности не мог проложить ему дорогу в среду всегда рутинных академиков. Как репетитор и экзаменатор, Конт безупречно исполнял свое дело. Он экзаменовал юношей, желавших поступить в Политехническую школу. Экзамены производились не в Париже, а в разных провинциальных городах, куда он и должен был ездить в определенное время. На первых порах его приемы экзаменирования, неожиданные и замысловатые вопросы, искусно обнаруживавшие действительные познания кандидатов, и вместе с тем его полное беспристрастие и справедливость вызвали всеобщее одобрение как среди преподавателей, так и среди молодежи. Но все эти вопросы скоро также превратились в рутину своего рода. Кандидаты заранее знали, что спросят у них и какие ответы следует давать. Конту указывали на это, но он продолжал неизменно держаться своей системы. Таким образом, едва ли одно только недружелюбие и педантизм ученой корпорации были причиной тому, что положение Конта в Политехнической школе начало колебаться.

В 1842 году он затеял процесс с издателем своего «Курса положительной философии», наделавший немало шума и еще больше ухудшивший положение философа в Политехнической школе. Дело возникло из-за знаменитого ученого Араго. Конт во всех своих неудачах винил последнего и в «личном предисловии» к VI тому прямо говорит, что неразумные и притеснительные распоряжки, установившиеся в течение десяти последних лет в Политехнической школе, должны быть приписаны главным образом губительному влиянию Араго, этому истинному виновнику всех пристрастий и заблуждений ученого класса. Нужно заметить, что это «личное предисловие», знаменитое, как называет его Конт, было написано с той целью, чтобы поставить ребром вопрос о его положении среди ученых математиков и чтобы при содействии публики оказать давление на последних. Араго не обратил внимания на выходку раздраженного экзаменатора. Но издатель, большой поклонник знаменитого ученого, напечатал от себя несколько строк и привел слова Араго, объяснившего злобное отношение к нему философа тем, что он не признал за ним ни больших, ни малых заслуг по части математики. Конта взбесили и слова Араго, напечатанные при его же труде, и дерзость издателя, даже не предупредившего его о своем предисловии. Таким образом возник процесс. Конт сам защищал свое дело и выиграл его. Суд постановил уничтожить предисловие издателя и обязать его покрыть все убытки, причиненные автору. Но благополучный исход дела не доставил ему того торжества, которого он добивался. Напротив, поставленный ребром вопрос сильно накренился в сторону, для него вовсе не желательную. Дело в том, что избрание экзаменатора в Политехнической школе подвергалось, по установленным правилам, ежегодной перебаллотировке. При хороших отношениях экзаменатора со школьным советом это была одна лишь формальность. Конт переизбирался обыкновенно единогласно. Но по мере того, как отношения портились, им

естественно все больше и больше овладевало беспокойство потерять место. Действительно, мучительно находиться в подобной зависимости даже человеку молодому, а Конту было уже за сорок.

«Вы знаете, — писал он Миллю, — что у меня нет никакого имущества и что я не мог до сих пор сделать никакого сбережения; отсюда следует, что если зловещий кризис разразится надо мною, то я лишусь сразу целой половины только-только достаточного заработка и попаду в весьма тягостное материальное положение... Потеря одного места почти наверно повлечет за собою и потерю другого, а раз меня удалят из Политехнической школы, я потеряю и уроки в частном заведении...»

Так Конт описывает свое положение перед баллотировкой в 1843 году. На этот раз опасность миновала; несмотря на бурные прения в совете и на то, что вопрос о его переизбрании несколько раз откладывался, он был избран в конце концов единогласно. Но ближайшее будущее нисколько не прояснилось. Конт обращался к министру с ходатайством уничтожить этот порядок переизбрания и назначить его постоянным экзаменатором. Он указывает на то, что во время процесса с издателем ему угрожали потерей места в Политехнической школе, если он упомянет в своей речи имя Араго. Он утверждал, что подвергается преследованию не из-за личной неприязни, а из-за своих философских взглядов, за порицание ложного духа, царящего в области знания, и в особенности в математике, и т.д. И хотя министр был на его стороне, но установившегося порядка не мог изменить по поводу частного случая. В следующем 1844 году испытанному экзаменатору был предпочтен какой-то неизвестный человек. Материальное крушение, предусмотренное Контом, началось. Но он был этим взволнован далеко не так сильно, как можно было бы ожидать. У него сложился уже иной взгляд на то, каким образом философ-реформатор должен быть обеспечен в своих средствах существования.

Итак, материальный кризис наступил, когда Конт достиг вершины развития своих умственных сил, когда он закончил и отпечатал «Курс положительной философии». Упорнейший труд целых шестнадцати лет ничего не принес ему в материальном отношении. И какой труд! Поставивший Конта во главе философского развития мысли XIX века! Скажем теперь, как он трудился над своим сочинением.

Конт обладал удивительной памятью. Весь свой громадный запас знаний он приобрел в юности и удерживал его в голове до последних дней. Приступив к выработке собственной системы, он стал придерживаться так называемой им «мозговой гигиены». В 1842 году он писал, что вот уже двадцать лет, как перестал читать произведения, имеющие близкое отношение к тому вопросу, которым он сам занимался, исключая только случаи, когда он рассчитывал приобрести новые фактические сведения, казавшиеся ему полезными. Такое самоограничение, говорит он, несколько стеснительно, зато благодаря ему он выигрывает в последовательности и ясности своих мыслей; может быть, в частности он делает погрешности и упущения, но читатель не должен требовать от него специальных познаний во всех отраслях науки. Переходя в последних двух томах «Курса» к социальным вопросам, он еще дальше проводит свою мозговую гигиену; он перестает совсем читать политические и философские журналы, даже ежедневные газеты и т.д., ограничиваясь одними только известиями Академии Наук. Он хотел бы убедить всякого истинного философа, насколько подобный умственный режим, находящийся, по его словам, в тесной гармонии с его уединенной жизнью, может содействовать в настоящее время возвышенности воззрений и беспристрастности

чувств, давая возможность лучше и вернее представлять себе общий характер событий, затемняемые обыкновенно периодической печатью и парламентскими речами в интересах разных вопросов дня. По этому пути отрешения от современной литературы Конт ушел очень далеко, что, конечно, отразилось плачевнейшим образом на всех его последующих трудах. Как бы мы ни относились к этой своеобразной «мозговой гигиене», несомненно одно, что она находилась в самой тесной связи с его чрезвычайным самомнением. Для человека, возвестившего людям наступление новой эпохи, для первосвященника человечества, — что такое вся эта текущая пресса с ее преходящими радостями и горестями, вся эта современная литература, шумливая и мятущаяся, порывающая связи с вековыми традициями и не дающая взамен их никакого нового столь же могучего, столь же властного руководящего начала?... С вершины своего величия Конт предлагает проходить мимо ее с закрытыми глазами. Только безграничная вера в собственный ум, только ненормальное самомнение могло внушить ему мысль о «мозговой гигиене». Впрочем, вначале она имела еще сравнительно безобидный характер: Конт, казалось, только хотел быть вполне самостоятельным при выработке собственной философской системы и лишь отложить до поры до времени знакомство с разными современными учениями. Но, совершив свой великий труд, он уверовал в непогрешимость его, и тогда «мозговая гигиена» превратилась в своего рода аскетизм.

Благодаря громадной памяти, Конт удерживал в голове не только всю нужную ему массу фактов, но и весь последовательный ход развития своих мыслей. Приступая к работе, он сначала долго обдумывал ее, выяснял вполне план и основные идеи, обдумывал все подробности до мельчайших и само изложение. Так что, прежде чем писать, у него в голове было уже совершенно закончено и отделано задуманное произведение. И все это делалось без всяких набросков, заметок, конспектов. Затем он говорил себе, что книга собственно уже готова, остается только написать ее, и он приступал к этой чисто внешней для него операции. Взявшись за перо, он оставлял его, только дописав последнее слово, только изложив на бумаге все то, что было у него в голове. Он превращался в пишущую машину, писал почти без помарок и тотчас же отдавал в типографию, поспевая работать за наборщиками. В корректуре он также не делал почти никаких исправлений и читал всего лишь одну корректуру. Да не подумает читатель, что мы говорим о каких-либо мелких статьях. Нет, таким образом был написан и отпечатан шеститомный «Курс положительной философии», чем, вероятно, и объясняются встречающиеся в нем повторения, длинноты и местами тяжесть слога. Всего этого Конт легко мог бы избежать, если бы перечитывал несколько раз написанное или по крайней мере делал исправления в корректуре.

Экзаменаторство и репетиторство в Политехнической школе, частные уроки, затем чтение публичных лекций и, наконец, работа над философской системой поглощали все время у Конта. Внешняя жизнь его отличалась чрезвычайным однообразием. Поездки, которые он совершал для производства экзаменов, носили официальный характер. Все время вне занятий, посвященных для зарабатывания средств существования, проходило в постоянных размышлениях или писании. Единственным развлечением служили прогулки или, как называл их Конт, философское фланирование. Но из самого названия уже видно, что и тут размышления не оставляли его. Не без затруднений госпоже Конт удалось уговорить своего отшельника отправиться в театр на итальянскую оперу. У Конта, по-видимому, была некоторая склонность к музыке. Он имел хороший голос и сам пел с большим воодушевлением и выразительностью «Марсельезу» и другие песни.

Итальянская опера очень понравилась ему, он абонировался и с тех пор стал постоянно посещать ее. Впоследствии он придавал громадное значение этому своему пристрастию, видя в нем первый признак пробуждения его души к новой жизни сердцем. Мирное течение жизни нарушалось лишь ссорами с женой да личными счетами с разными математиками и учеными, не дававшими, как мы видели, ему ходу. Если бы Конт поменьше думал обо всей этой «педантократии», не давал бы всяким личным неприятностям и неудачам взять силу над собой и придерживался бы того прекрасного правила, о котором говорила ему жена, а именно, что великим сердцам не подобает выносить перед людьми свои беспокойства и внутренние страдания, то, наверное, он вышел бы победителем из своей борьбы с ученым миром. Теперь же, раз крушение началось, философ, не сумевший по-философски отнестись к жизни, неизбежно должен был катиться под горку, пока не выкатился совсем за пределы политехнического и вообще педантократического мира.

Потеряв место экзаменатора, он некоторое время еще колеблется и сомневается, то ему кажется, что он потеряет и все другие занятия, то надеется, что его непременно снова изберут на следующий год в экзаменаторы. Поэтому, не подыскивая никаких новых занятий, он решился воспользоваться пока для пополнения дефицита в своем годовом бюджете предложением трех англичан. Надо заметить, что «Курс положительной философии» обратил на себя внимание выдающихся мыслителей в Англии раньше, чем во Франции, или по крайней мере в первой раньше нашлись мыслители, печатают заявившие свое одобрение французскому мыслителю. Так, знаменитый физик Брюстер написал в 1838 году журнальную статью по поводу первых томов «Курса», в которой он признает за Контом обширные познания, глубину мыслей, полное беспристрастие и т.д., хотя, как истого англичанина, его приводит в недоумение крайность и дерзость некоторых взглядов Конта, и он говорит, что, благодарение Богу, в английских школах невозможен еще подобный преподаватель. Но в особенности много сделал для Конта Милль. Он сам признается в своей «Автобиографии», что более всех содействовал распространению контовых теорий в Англии и что он многое почерпнул у Конта.

«Я был пламенным поклонником сочинений Конта, — говорит знаменитый англичанин, — прежде чем вошел с ним в какие-либо отношения; во всю мою жизнь я его никогда не видел, но в продолжение нескольких лет мы поддерживали постоянную переписку, пока она не сделалась слишком полемической и наша ревность в этом отношении не охладела. Я первый стал реже писать, а он первый вовсе прекратил переписку...»

Переписка эта возникла в 1841 году и продолжалась до 1845 года. В ней не только обсуждались различные философские и общественные вопросы, но Конт посвящал своего философского друга и в свою личную жизнь, описывая ему подробно борьбу с учеными и собственные материальные невзгоды. Милль принимал близко к сердцу тяжелое положение уединенного мыслителя и, когда ему стала угрожать опасность потерять место, предложил некоторую денежную помощь. Конт принял предложение.

«Вы видите, — пишет он ему по поводу потери места, — что это случайное происшествие сводится, строго говоря, к простому денежному убытку, какой могло бы причинить мне воровство, пожар, болезнь и т. п. К несчастью, у меня нет, как вы знаете, никакого имущества и никаких сбережений, а потому такой убыток, каковы бы ни были причины, вызвавшие его, чрезвычайно тяжело отзовется на моем положении. Я не могу в течение года изменить свое личное существование, ни что-

либо убавить в тех удобствах, которых по справедливости может ожидать от меня болезненная женщина (его жена. — В. Я.)... С другой стороны, я не могу приискивать новых источников существования, так как в таком случае я получил бы средства уже тогда, когда они мне будут не нужны. Поэтому-то я вынужден искать против бедствия случайного и преходящего средства подобного же рода, то есть обращаться к помощи моих друзей и покровителей».

Затем Конт говорит, что во Франции у него нет богатых друзей, а брать деньги от людей, столь же неимущих, как и он сам, он не может. К тому же во Франции, где покровительством наук занимается больше правительство, подобного рода патронатство развито слабо. Другое дело Англия. Там, ему кажется, нетрудно было бы собрать сумму в 6000 франков среди богачей, сочувствующих позитивной философии.

«Было бы между прочим небесполезно испытать в настоящее время, пользуется ли позитивная философия в Англии достаточным кредитом для того, чтобы там можно было быстро реализовать заем в 6000 франков, так как я хотел бы быть обязанным в этом отношении только моим действительным единомышленникам, относящимся ко мне с почтением и симпатией...»

Затем он указывает прямо на некоторых лиц, могущих, по его мнению, принять участие в подписке, но он не желал бы, чтобы Милль жертвовал чем-либо из своих средств. Милль без всяких, по-видимому, затруднений собрал 6000 франков. Их дали известный историк Грот, писатель и политический деятель Молесуорт и Райке Кэрри. Конт был очень обрадован. «Все, по-видимому, — пишет он Миллю, — складывается теперь самым благоприятным образом, чтобы сделать для меня нечувствительным временный удар, нанесенный моему материальному положению».

Посылая деньги, Милль, однако, советовал Конту приискивать себе работу и предлагал ему сотрудничество в английских журналах. Едва ли такая мысль могла бы особенно нравиться Конту. Хотя он и принял предложение, хотя он и говорит даже, о чем намерен писать, однако из этого ничего не вышло. Конт в это время не только не писал уже журнальных статей, но и не читал вовсе журналов. Относительно же критического разбора разных книг он прямо говорит, что этим делом могут заняться — он, Милль, по части английских книг, а Литтре — по части французских, что такое занятие было бы противно его установившимся привычкам, и просит пощадить его силы и время, нужные для работы над основными вопросами. Действительно, Конт был сильно занят обдумыванием своего второго капитального произведения «Системы положительной политики»; он создавал свою положительную религию, в которой предназначал себе великую роль основателя и первосвященника. Уже перед его умственным взором мелькали многочисленные толпы последователей, которые естественно не допустят своего верховного наставника добывать себе средства существования посторонними заработками. А тут предлагают писать журнальные статьи, рецензии!... Он, видимо, уклонился.

Надежды Конта снова попасть на место экзаменатора не оправдались: его не выбрали ни в 1845 году, ни в следующем 1846-м.

Между тем англичане отказались продлить еще на год свою субсидию. Это сильно раздражило философа. В письме к Миллю он высказывает уже прямо мысль, что

поддержка со стороны лиц, сочувствующих его философии, должна быть не временная, а постоянная, что он, как бывший экзаменатор Политехнической школы, в высшей степени признателен за оказанную ему услугу, но, как автор «Системы положительной философии», находит, что лица, поддержавшие его, недостаточно сильно прониклись новыми убеждениями, иначе они не отказывались бы от того, что составляет их прямую обязанность. Милль защищал своих друзей. Переписка приняла несколько острый характер; к тому же переписывавшиеся философы сильно разошлись по некоторым общественным вопросам. Точное научное понимание практичного англичанина восставало против сентиментального сердечного элемента, все резче и резче дававшего себя чувствовать в произведениях и письмах утописта-француза. За охлаждением скоро последовал полный разрыв, и переписка прекратилась в 1846 году.

Нельзя сказать, чтобы Конт в это время сильно нуждался. Он сохранял за собою еще место репетитора в Политехнической школе и преподавателя математики в частном учебном заведении, что давало ему 5000 франков. Но он разошелся с женой и обязался выдавать ей ежегодно 3000 франков, ввиду стеснительных обстоятельств он уменьшил эту сумму до 2000. Все же ему не хватало указанных средств, чтобы поддерживать прежний образ жизни. Частных уроков или каких-либо других занятий не подыскивалось. Конт слишком был занят своей социальной системой. Поэтому, чтобы покрывать ежегодные недочеты, он прибегал к займам у друзей или просто пользовался безвозвратными субсидиями. В 1848 году он лишился места в частном заведении и остался, следовательно, лишь при 2000 франках, и то крайне ненадежных. В таком положении оставаться было уже невозможно. И вот Литтре, в то время один из самых преданных его учеников, предложил своему учителю устроить правильную подписку между последователями. Несколько раньше сам Конт обратился с любопытным воззванием ко всему западноевропейскому обществу. Он говорит о беспримерных преследованиях, претерпеваемых им от злобствующей педантократии; она, эта ученая клика, не останавливается ни перед какими безнравственными средствами, лишь бы только они имели законный вид. К счастью, прошли уже те времена, когда посягали на жизнь и свободу, и теперь он может поплатиться только своим имущественным положением. И вот, когда прожито уже полвека, он должен снова возвратиться к скромному и трудному занятию первых годов своей юности, то есть снова существовать на средства, зарабатываемые частными уроками. Поэтому-то он взывает без всяких обиняков к западноевропейскому обществу и просит, чтобы ему, как простому пролетарию, была доставлена наконец возможность приложить свои профессиональные знания. Это — социальный долг как тех, кто принимает все учение его целиком, так и тех, кто разделяет только его философские принципы; в особенности первые должны позаботиться, чтобы «главный орган позитивизма» не изнывал в несправедливой беде в пору своей наибольшей зрелости. «Такое воззвание, — справедливо замечает Литтре, — обращенное к Западу, который был слишком обширен, чтобы оно могло быть услышано, и во имя позитивизма, который насчитывал еще слишком мало последователей, чтобы его влияние могло дать себя почувствовать, естественно должно было остаться без последствий».

Тогда Литтре предложил Конту устроить подписку. Последний одобрил мысль своего ученика.

«Я убежден, — писал он ему, — что всею совокупностью своих работ заслужил уже того, чтобы общество дало мне средства существования даже в том случае, если бы причиной моего теперешнего бедственного положения был и не прямой грабеж... Поэтому-то я всегда буду готов принять не только без всякой совестливости, но и даже с гордостью коллективную подписку, которая облегчит мне окончание моего великого труда, сберегая время и силы от напрасной растраты».

Литтре немедленно составил циркулярное послание, отлитографировал его и разослал за подписью двенадцати ближайших последователей Конта лицам, заведомо сочувствующим позитивизму. Желательная сумма сборов определялась в 5000 франков, но в первые годы она далеко не достигала этой цифры. Конт в одном из своих ежегодных циркуляров указывает, что в подписке участвуют главным образом позитивисты сердца, а из позитивистов ума лишь немногие лица и что, следовательно, содержание его падает преимущественно на лиц, ожидающих от позитивизма обновления и преобразования всего общественного строя. Конт был очень доволен, что это случилось именно так. С течением времени подписка все увеличивалась: в 1849—1851 годах она колебалась между 3 и 4 с лишним тысячами франков, в 1852 году она дала 5600, а начиная с 1853 года превышала несколько 7000 франков. В 1851 году Конт лишился последнего своего места — репетиторства в Политехнической школе и стал жить всецело на средства последователей и людей, сочувствовавших ему. С этого же года он взял в свои руки и само дело подписки, рассорившись с Литтре.

Таким образом, Конт достиг цели: он избавлен был от необходимости зарабатывать себе средства существования каким-либо посторонним трудом и мог всецело отдаться своему призванию, всецело посвятить себя служению новому созданному им учению. Успех завидный, выпадавший на долю немногих из известных социальных реформаторов. Конечно, он ошибался, приписывая все свои неудачи в ученом и политехническом мире злобе и тупости царивших там людей. Не только педанты, но и настоящие ученые, занятые своей специальностью, не особенно-то долюбливают, когда в их среду врывается вдруг человек с громадным обобщающим умом, — человек, дерзко попирающий рутину, призывающий науку служить на благо общества и потому естественно переносящий весь центр тяжести научной системы в социологию. Помимо тупости и недомыслия, они ясно видят, что такой человек, в качестве репетитора или экзаменатора по математике, оказывается не на своем месте. Действительно, что общего между первосвященником религии человечества и скромным экзаменатором Политехнической школы? Не мог же весь Политехникум превратиться в храм новой религии и не мог человек, взяв на себя права и обязанности «связывать и разрешать» на новый лад, серьезно заниматься испытанием способностей молодых людей к математике! В 1844 году Конт не считал еще себя первосвященником, но он уже трудился над разработкой своей новой социальной системы и своего религиозного учения. Занятия в Политехнической школе для него были скорее помехой, чем естественным приложением сил. Уже одни эти бесконечные жалобы, постоянные упоминания при всяком удобном и неудобном случае о несправедливости и произволе, наряду с большой готовностью перейти на общественное иждивение и даже прямыми требованиями подобного рода — показывают, что он напрасно приписывал все свои неудачи злобе ученых. Как натура в высшей степени цельная, он не мог раздваиваться и во время экзаменов или репетиций забывал, что он — творец нового общественного учения.

Долго и упорно Конт боролся за свое материальное существование. Только под конец жизни ему довелось насладиться утешительным сознанием, что средства существования он получает от исполнения своей миссии. Правда, средства эти были довольно ограничены, но для него достаточные. Конт всегда вел скромный образ жизни, а последние десять лет он еще больше ограничил свои потребности. Любопытные подробности о жизни философа сообщает один англичанин, посетивший его в 1853 году. Конт жил тогда, как и раньше, и позже до самой смерти, на улице Monsieur le Prince, где собираются и теперь еще его, так сказать, последовательные последователи, позитивисты сердца. Квартира эта превратилась в своего рода храм позитивистов.

«Служанка ввела англичанина в маленькую уютную комнату (цитирую по фельетону "Новостей". — В. Я), в камине горел огонь, у стены стоял столик, на котором лежала бумага, очевидно приготовленная для посетителей, желающих вписать свое имя. Два шкафа были наполнены книгами... Все они были в хороших переплетах, но было видно, что редко вынимаются из шкафа. Скоро вошел сам Конт, маленький сгорбленный человек в длинном сюртуке, с красноватыми глазами, цветущим здоровым румянцем, короткими волосами и приятными чертами лица, незначительным лбом... Заговорив о субсидии, Конт показал лист подписчиков... и выразил сожаление о том, что квартира несколько дорога для его бюджета; он платил за нее 1600 франков, но зато остальное его содержание, благодаря его экономке, стоило ему с небольшим 1 тысячу франков в год. Он прибавил, что ему было бы тяжело расстаться именно с этой квартирой, с которой связаны самые дорогие для него воспоминания, оказывающие влияние на его умственное состояние. При этом Конт указал на соседнюю маленькую комнату, которая была почти пуста, в ней не было даже ковра».

Из других источников известно, что Конт еще раньше отказался от употребления кофе, табака и что в пище он отличался вообще большим воздержанием. Единственное развлечение, которое он позволял себе, было, как мы говорили, итальянская опера, но и от нее он отказался в эти годы своей жизни. При такой скромности, доходящей до аскетизма, и при полном бескорыстии ему хватало тех средств, которые доставляла ежегодно подписка, и он действительно мог сказать англичанину, что «считает себя счастливым с тех пор, как он отставлен от всяких профессиональных занятий и имеет возможность посвящать свое время своему капитальному труду».

Борьба за средства существования — это только одна из печальных страниц в жизни великого философа новых времен, теперь мы раскроем перед читателем другую.

Глава III

КАРОЛИНА МАССИН И КЛОТИЛЬДА ДЕ -ВО

Несчастье и счастье Конта в любви. — Каролина Массин. — Женитьба. — Побег жены. — Окончательное расхождение. — Письмо Конта по этому поводу к Миллю и Аиттре. — Взгляд Конта на брак. — Пенсия жене. — Завещание. — На холостом положении. — Настоящая любовь. — Клотильда де Во. — Переписка. — Смерть Клотильды. — Превращение платонической любви в культ женщины

Интимная жизнь Конта представляет чрезвычайное своеобразие. Он был, можно сказать, глубоко несчастлив в своих отношениях с женщинами и вместе с тем в своей любви, оставшейся платонической и неразделенной, нашел такое возвышенное удовлетворение, что она произвела целый переворот в его жизни и привела к созданию культа женщины. Философ, споривший с Миллем по поводу женского вопроса, утверждавший, что женщина по своей природе ниже мужчины, что ни воспитание, ни социальные учреждения не в состоянии восполнить пропасти, разделяющей их, превращает в конце концов свою религию человечества в культ женщины. Впрочем, верховным первосвященником является у него все-таки мужчина и, первым делом, сам философ. Как бы там ни было, едва ли человек, не испытывавший глубокого всеохватывающего чувства любви к женщине, и притом чувства, не получившего своего обыкновенного исхода, мог бы достигнуть такого спокойного уравновешенно методического обоготворения женщины, каким веет на читателя со страниц Контовой «Исповеди». Личное чувство у Конта нередко выходило из узких берегов личной жизни и затопляло все поле не только общественной мысли, но и общественного дела. Так случилось и в данном случае. Канва его романа, в сущности, очень проста: он женился на девушке, которой, собственно, не любил и которая не могла составить его счастья, после семнадцати лет супружеской жизни они разошлись; затем он полюбил женщину, с которой не мог соединиться браком, но отношения с которой, продолжавшиеся около года, доставили ему, по его собственным бесчисленным заявлениям, неизреченное блаженство. На этой простой канве своеобразная духовная природа философа вырисовывает, однако, довольно сложные и любопытные узоры. У Конта были своя Ксантиппа и своя Беатриче.

Двадцатитрехлетним юношей он встретил на одном народном гуляши молодую девушку Каролину Массин. Дочь кочующих провинциальных актеров, она не получила никакого серьезного образования, хотя обладала далеко незаурядными умственными способностями. Родители ее скоро после рождения дочери разошлись в разные стороны. Ее взяла на воспитание бабушка, затем она перешла к матери и кончила тем, что стала вести «легкий образ жизни». Конт, по-видимому, сблизился с ней и часто посещал ее. Отношения их поддерживались около двух месяцев. Затем Каролина возвратилась к своему первому любовнику, и Конт встретился с ней уже год спустя. У нее была тогда небольшая книжная лавка. Однако дела ее, вероятно, шли плохо, так как она решила продать свою лавку. Но еще раньше она пригласила Конта давать ей уроки по алгебре. От алгебры молодые люди перешли к вопросу о совместной жизни, а затем и браку. Отец Конта не хотел и слушать о затее сына. Тем не менее гражданский брак их со всеми необходимыми формальностями состоялся 29 февраля 1825 года. Огюст скоро убедился, какую страшную ошибку он сделал. Он не любил, собственно, Каролину и рассчитывал на признательность и благодарность той, которую избавил от позорного ремесла.

«Не считая себя ни красивым, ни даже приятным, но вместе с тем испытывая живую потребность любви, — рассказывает он сам довольно прозаически об этом союзе, — я выбрал себе жену, которая должна была любить меня в силу особой внутренней признательности, обусловливаемое исключительными условиями этого брака, хотя оба мы были одинаково бедны. Если бы эта справедливая надежда осуществилась, я мог бы привязаться к ней навсегда. Мои предположения оправдались бы, вероятно, по отношению ко всякой другой женщине».

Но Каролина Массин руководствовалась другими побуждениями. Умная от природы и энергичная, она в ученой карьере мужа думала найти удовлетворение своему честолюбию; а затем она не желала ни в чем стеснять себя... К тому же Конт несомненно ревнив и нетерпимо относился ко всякому преимуществу, оказываемому его женой какому-либо постороннему человеку. При таких условиях скоро и неизбежно должны были начаться семейные раздоры.

«Если бы она была только порочной, — заявляет философ, — то, быть может, я прощал бы ей ее проступки, но она проявляла бессердечие, не обнаруживала ни малейшей нежности, и я неизбежно должен был почувствовать к ней в конце концов презрение».

Сделавшись женой Конта, Каролина с первых же шагов, по-видимому, стала давать поводы к разным недоразумениям, подозрениям и ревности. Пользуясь самыми ничтожными предлогами, она уходила от мужа и проживала неделями в меблированных комнатах. Философ смотрел на это, как на шалости не особенно еще большой руки. Первая крупная ссора между ними произошла год спустя после женитьбы, в 1826 году. Конт был сильно потрясен и, плача, рассказывал причину этой ссоры «своему другу и исповеднику» Ламене. Вслед за тем он заболел душевно и едва не покончил самоубийством. Уход жены за ним во время болезни несколько примирил выздоровевшего философа. Даже в пылу своих обвинений он признавал, что поведение жены его в этом случае — единственный, заслуживающий признательности, поступок ее. Трудно сказать, однако, насколько Каролина даже в этом случае действовала бескорыстно и по внушению доброго чувства. В первый момент она обнаружила явное желание сбить больного со своих рук в больницу. Быть может, она опасалась буйных припадков мужа. Родные Конта негодовали. Шестидесятилетняя старуха-мать отправилась сама в Париж, чтобы ухаживать за сыном. Она оставалась при нем около семи месяцев. Только с приездом ее Конт стал поправляться. Каролина как бы очнулась и принялась энергично отстаивать свои права жены. Она взяла к себе в дом полувыздоровевшего уже Конта и впоследствии приписывала своему уходу окончательное излечение философа. Мать Конта, как мы сказали, была чрезвычайно набожная католичка и никак не могла примириться с гражданским браком сына. По ее настояниям больной еще Конт был обвенчан церковным порядком с Каролиной. Эта церемония произвела на него потрясающее действие: на слова священника он отвечал антирелигиозными рассуждениями и, расписываясь в книге, прибавил к своей подписи слова: «Brutus Bonaparte». Католическая ревность не смущалась тем обстоятельством, что перед алтарем стоял полупомешанный человек.

По выздоровлении Конт всецело погрузился в свой «Курс положительной философии», от которого его отвлекала только необходимость зарабатывать тем или другим путем средства существования. Среди этих забот раздоры с женой

несколько притихли. Только в 1833 году отношения между ними снова обострились: Каролина ушла из дома вторично и отсутствовала около пяти месяцев. Побег этот, говорит Конт, вызван был исключительно жаждой необузданной свободы и досадой, что она не могла распоряжаться во всем по-своему. Как ни интересно было бы для характеристики Конта, как человека, воспроизвести все обстоятельства этих расхождений и жизни неоднократно покидаемого философа, но у нас нет для того никаких сведений. Мы не знали бы, пожалуй, совсем ничего об этой семейной драме, если бы некоторое постороннее обстоятельство не вынудило Конта, выступившего уже в роли жреца новой религии, изложить перед своими последователями историю своего расхождения с женой и затем описать ее вкратце в особом письме к Литтре. Не думаем, чтобы Конт искажал или преувеличивал факты. Уже одно то, что он никого, кроме Ламене, не посвящал в свое семейное несчастье, говорит в пользу его. Напротив того, когда ему, например, пришлось коснуться этого вопроса в переписке с Миллем, то он говорил о своей жене, как мы увидим сейчас, не только сдержанно, но даже почтительно. Поэтому мы можем верить указанному единственному документу, приподнимающему несколько завесу с семейной жизни злополучного философа. В третий раз Каролина ушла от него в 1838 году «вследствие моего, — говорит он, — справедливого отвращения к преступным посещениям». На этот раз она находилась в отсутствии только три недели. За год перед этим Конт получил место экзаменатора в Политехнической школе — место, сопряженное с частыми поездками по провинциальным городам. Казалось бы, что супруги, постоянно ссорившиеся точно по поговорке «вместе — тесно, а розно — скучно», должны были бы быть рады такому обстоятельству: оно давало им возможность «разъезжаться и съезжаться», не дожидая жестоких распрей. Но на деле вышло иначе. «Ежедневная постыдная борьба» между супругами продолжалась, и в 1842 году госпожа Конт ушла от мужа в четвертый раз. Это был ее «последний побег из-под супружеского крова». Решительному шагу, по обыкновению, предшествовала довольно продолжительная размолвка. Супруги сидели по своим комнатам и даже обедали отдельно. Наконец Каролина заметила Огюсту: «Мы или слишком близко, или слишком далеко друг от друга». На это муж отвечал: «Если Вы не обедаете за столом, то это потому, что Вам неуютно; не могу же я посылать всякий раз жандарма разыскивать Вас». Каролина решила уйти тотчас же совсем, но философ попросил ее повременить немного, пока он окончит шестой том своего «Курса положительной философии». Он тоже понимал и соглашался, что окончательное расхождение необходимо, и принял в этом отношении бесповоротное решение, но для него, как для философа, задумавшего целый переворот в области мысли, важнее всяких семейных несогласий была его работа. А между тем переход на положение «соломенного мужа» нарушил бы правильное течение ее. Поэтому-то он и просил отсрочки.

В письме к Миллю Конт писал:

«Личная дружба между нами, принимающая все более и более определенный характер и возникшая раньше всякого личного знакомства, побуждает меня посвятить Вас немедленно в мои частные дела. Я говорю о серьезной перемене, скорее в хорошую, чем в дурную сторону, происшедшей со времени моего последнего письма к Вам в моем домашнем положении, вследствие добровольного и, вероятно, бесповоротного ухода госпожи Конт. Семнадцать лет тому назад я женился по какому-то фатальному влечению на женщине, одаренной редкими способностями, как нравственными, так и умственными, но и воспитанной

в порочных правилах и в ложных убеждениях относительно роли, какую женщина должна играть в человеческом обществе. Ее несдержанные, деспотические наклонности, при отсутствии всякого влечения ко мне, не смягчались даже теми проявлениями нежности, которые составляют неотъемлемую привилегию женщин и облагораживающую силу которых им мешает понять надлежащим образом современная анархия. Таким образом, все мои философские труды подготовлялись и выполнялись не только под тяжелым давлением разных материальных затруднений, известных вам, но также среди еще более печальных и еще более угнетающих треволнений, обусловливаемых непрерывной гражданской войной самого интимного рода. Теперь, раз все это совершилось, я надеюсь, что, хотя мне будет не доставать внутреннего счастья, для которого я создан, но от которого я уже давно должен был отказаться, зато я буду располагать по крайней мере спокойствием печального уединения, с этого момента полного для меня... Как бы там ни было, вы видите теперь, что не без печального личного опыта я так часто указывал пагубное влияние современной анархии на все усиливающееся разложение семейных уз, регулируемых до сих пор исключительно теологическими или метафизическими верованиями. Об этом уходе, уже много раньше задуманном и, в сущности, неизбежном, мне было объявлено внезапно, в июне месяце, как раз в самом разгаре моей заключительной философской работы... Понимая всю опасность подобного кризиса в такой момент, я потребовал и настоял, чтобы дело было отложено до августа, что дало мне возможность окончить вполне свою работу. Пятого числа этого месяца (августа) состоялось наше разлучение... Оно представляется мне все более и более полезным для моей дальнейшей судьбы, так как я освободился от почти непрекращавшихся угнетения и беспокойства, в которых держало меня до сих пор ожидание новой супружеской распри. Заслуживает полного сожаления лишь то обстоятельство, что испытываемые мною столь сильно потребности любви останутся неудовлетворенными, хотя я и не считаю себя заслужившим того...»

В этом письме Конт сохраняет еще, как видим, довольно почтительный тон по отношению к своей жене. Отсутствие любви с ее стороны, несоответствие характеров — вот причины, по его мнению, их неудавшейся супружеской жизни. Он признает еще за своей женой не только выдающиеся умственные способности, но также и нравственные. Иное впечатление производят некоторые письма его к жене и, в особенности, письмо к Литтре, написанное в 1851 году, когда Конт, ввиду разных толков, решил дать объяснение о своих отношениях к жене перед собранием позитивистского братства.

«В течение долгого времени, — говорит он в письме к жене, — вы довольно-таки ложно понимали меня и приписывали слабости характера излишнюю снисходительность и долготерпение мое, которые проистекали на самом деле от моей сердечной доброты. Опыт должен теперь научить вас, что если моя воля проявляется несколько медлительно, зато она бывает в конце концов непреклонна... После вашего третьего серьезного побега из моего дома я предупреждал вас, что, раз подобная история повторится еще, мы разведемся окончательно... Если по своей глупой надменности вы были уверены, что я никогда не буду в состоянии обойтись без вас, то опыт должен скоро разубедить вас в этом».

Таким образом, в течение пяти лет, протекших со времени разрыва, раздражение Конта не улеглось; скорее можно сказать, что оно обострилось, что принятое им решение было действительно решение бесповоротное и непреклонное и что на робкие заявления жены относительно примирения он отвечал полным отказом.

В том же письме он предупреждает ее, что если бы она вздумала возвратиться к нему и войти в его дом каким-либо насильственным образом, то он будет защищать свое спокойствие всеми законными средствами и обратится в суд с просьбой о формальном разводе. Быть может, философ и в этот раз примирился бы с женой, если бы не страсть к Клотильде де Во, охватившая его всецело и преобразившая всю его духовную жизнь. Когда он писал указанное письмо, Клотильды уже не было в живых, но чувство Конта к ней не только не угасло, а, напротив, достигло настоящего обожания. Он носился тогда с мыслью публичного прославления своего «ангела хранителя», как он называл Клотильду, что и исполнил в предисловии к «Системе положительной политики». Для гордой Каролины это был жестокий удар. Разлучение с философом для нее, по-видимому, было не тяжело; но публичного предпочтения, оказываемого другой женщине, которую он при этом прямо называет своей истинной супругой, — предпочтения, доходящего до полного восторга и преклонения, она не могла переварить. Она не любила Конта. Выходя замуж за него, она рассчитывала превратить его в «академическую машину, доставляющую ей деньги, почести» и т.д. Отсюда ее постоянное стремление удержать Конта от раздоров с разными академиками и учеными, отсюда и ее сочувственное отношение к его философским работам. И вдруг на долю другой женщины выпадает вся честь быть ближайшим другом, даже «истинной супругой» гениального философа. Нет, она этого не допустит.

Она обращается к помощи Литтре, самого выдающегося из учеников Конта, и при помощи его пытается примирить философа с собой или по крайней мере отклонить его от предполагаемого прославления «другой» женщины. Ее агитация вызвала разговоры в среде учеников основателя позитивизма, — разговоры, заставившие его объясниться с ними на общем собрании, а затем Литтре написал ему по этому поводу письмо, в котором касается между прочим своей семейной жизни и призывает учителя к примирению. Конт был раздражен вмешательством жены в его отношение к Клотильде и в ответном письме Литтре излагает историю ее побегов, тяжесть своей жизни с нею и т.д. Он говорит, видимо, искренне и гораздо резче, чем в письме к Миллю.

«Госпожа Конт, — пишет он, — привычная комедиантка; она почти всегда держится точно на сцене, в особенности в сношениях с вами... Между мною и нею никогда не было нравственного единения... Главная причина тому заключалась в особенностях характера этой совершенно лишенной всякой женственности натуры... Одаренная большим умом, а раньше и громадной энергией, она почти совсем лишена той нежности, которая составляет главную отличительную особенность ее пола». Поведение ее во время их супружеской жизни было «чрезвычайно непристойное»; она не питала ни к кому чувства истинной привязанности; ей «более чем чужды» были два других альтруистических чувства: уважение и доброта; она «везде отыскивает свои права и игнорирует свои обязанности»; «ум служит ей только для придумывания софизмов, чтобы оправдать свои порочные склонности, а характер, чтобы восставать против всяких моральных правил»; она стремилась главным образом «к полному и грубому господству»; «полное отсутствие нравственных принципов позволяло ей прибегать к самым крайним средствам и поступкам, доходившим нередко до решительных побегов, когда я противился ее преступным действиям».

В таком же тоне говорит Конт о жене и в своих «Исповедях», постоянно называя ее «недостойной супругой».

Трудно сказать, насколько философ беспристрастен в этой своей характеристике. Мы привели ее, так как, во-первых, не располагаем другими материалами для выяснения отношений между Контом и его женой; во-вторых, считаем ее не особенно далекой от истины и, в-третьих, если она и не совсем правильна, то, во всяком случае, точно и достоверно передает отношения и чувства самого Конта, а они-то и представляют для нас в данном случае наибольший интерес. Как бы там ни было, Конт чувствовал себя глубоко несчастным в своей семейной жизни. Из-за этой женитьбы он разошелся с родными; у него не было детей; таким образом, вся сила его интимных чувств сосредоточивалась невольно на одной привязанности к жене. Как человек в высшей степени чувствительный и сентиментальный, хотя больше головным, чем непосредственным образом (мы убедимся в этом из отношений к Клотильде), он искал нежной женской души, а этого-то именно и недоставало Каролине. Он мог простить ей многое, простить даже ее преступные «шалости», но никак не мог примириться с тем, что вместо нежного чувства встречал с ее стороны холодный расчет или, в лучшем случае, холодный ум. К тому же Конт был чрезвычайно самолюбив. Он до конца жизни своей не мог простить Каролине, что она как-то поставила одного журналиста выше его, тогда еще неизвестного философа. Понятно, что при таких условиях (мы не говорим уже о «побегах» и т. п. Каролины — может быть, они вызывались не одними ее «преступными шалостями», а и тяжестью жизни с самолюбивым, придирчивым философом) оставался один выход — разойтись. Удивительно еще, как они прожили вместе целых семнадцать лет.

На брак у Конта был свой довольно оригинальный взгляд. Он различал в нем единение легальное от единения нравственного. Первое может быть нарушено только в случаях чрезвычайной важности, и беспристрастие Конта было так велико, что он не признавал себя в подобном положении. Что же касается второго, нравственного, единения, то оно всегда может быть прекращено при недостойном поведении одного из супругов, и если при этом детей нет, то все отношения сводятся к материальным обязательствам. «Общество не может и не должно требовать, чтобы сердце отказалось от дальнейшего развития только потому, что его первый шаг не удался безукоризненно». Но разошедшиеся супруги обязаны в своих любовных отношениях сохранять чистоту, и «моя святая страсть, — говорит Конт о своих отношениях к Клотильде, — навсегда останется столь же чистой, как и глубокой». В этой «чистоте», требуемой философом, много, однако, тумана. Сам же он упрашивал свою возлюбленную дать ему более реальное доказательство своих чувств и, если бы она не отклонила его настойчивых требований, то что бы случилось с его пресловутой чистотой? В материальном отношении Конт обеспечивал свою жену пенсией сначала в 3000 франков, а позже, когда его собственное материальное положение ухудшилось, — в 2000 франков. Деньги эти он выплачивал до конца жизни своей и завещал своим последователям продолжать выдачу пенсии, если жена его откажется от всяких прав на оставляемую им собственность в виде трудов и домашней обстановки. Дело в том, что Конт был связан брачным контрактом, по которому признавалась полная общность имущества, какое окажется у супругов. Для последователей религии человечества была, само собой понятно, дорога вся обстановка, в которой жил их первоучитель; затем он оставлял разные реликвии от культа Клотильды, наконец сочинения и т.д. На все это могла предъявить свои права жена. Конт рассчитывал

удовлетворить ее пенсией и в таком духе составил завещание. Но распря между супругами продолжалась и за могилой философа. Каролина не могла переварить прославления и обоготворения Клотильды. Она отвергла горделиво пенсию, уничтожила судебным порядком силу духовного завещания и завладела всем достоянием своего, четыре раза бросаемого супруга. Само завещание, в высшей степени характерное и важное как биографический материал, с «Исповедями», перепиской с Клотильдой и т.д. долго лежало под спудом женской непримиримости и ненависти и увидело свет Божий только в 1884 году.

Так жестоко поплатился Конт за свою необдуманную женитьбу. Ему было 44 года, когда он разошелся окончательно с Каролиной. Едва ли он мог рассчитывать на новое счастье, новую любовь. Философские занятия всецело поглощали его, и он, пожалуй, даже рад был покою и уединению, наставшему наконец в его жизни. Теперь ни бесплодные беспокойства и тревога, ни подозрения, ни ревность, ни вообще вся эта масса неприятностей, вытекающих из мелочных ежедневных столкновений — я не говорю уже о побегах жены и тому подобных крупных обстоятельствах — не будут нарушать спокойное течение его жизни. Он посвятит всего себя своему призванию. Даже материальный вопрос потеряет до некоторой степени свою остроту, так как ему, отныне скромному холостяку, можно будет вести и соответствующий образ жизни. Но сердце, не изведавшее еще настоящей любви, не разделяло доводов рассудка. Конту суждено было на пятом десятке лет полюбить настоящим образом, полюбить так, как любит человек только раз в своей жизни. Жестокая судьба и тут подстерегала нашего злополучного философа. Любовь эта осталась собственно неразделенной, и трудно сказать, чем бы она кончилась, если бы неумолимая смерть не унесла в преждевременную могилу предмета его страсти. Философ полюбил со всем пылом юноши и не только оставался верен до конца дней своей любви, но даже превратил ее в поклонение и молился на свою Клотильду, как на действительное божество. Роман развивался очень быстро, но в течение какого-нибудь года все было кончено, и Конту оставалось жить одними только воспоминаниями. Но в течение этого года он, видясь ежедневно по несколько раз со своей возлюбленной, успел написать ей 96 писем и получить от нее почти столько же. Такова была энергия его запоздавшей любви! Эта переписка вместе с следовавшими затем ежегодными «Исповедями» Конта служит прекрасным материалом для выяснения отношения между ними. Ввиду громадного значения, какое неожиданно вспыхнувшая страсть философа имела для всей его остальной жизни и для его учения, мы остановимся подольше на этом моменте.

Клотильда де Во была несчастнейшая женщина. Она вышла замуж за какого-то мерзавца, не зная того, — мерзавца, скоро угодившего на каторгу. Тридцатилетняя замужняя женщина, но без мужа, неопытная в житейских делах, не обладавшая никакими профессиональными знаниями, к тому же болезненная, осталась на руках своих небогатых родных. Она была довольно красива, обладала добрым, нежным сердцем и хорошим природным умом; в период знакомства с Контом у нее обнаружили даже литературные склонности: ей предложили писать фельетоны по части педагогики и критики женских романов в одной ежедневной газете; затем она написала роман, впрочем, не увидевший света. Как бы то ни было, это была не совсем заурядная женщина. Она представляла собой прямую противоположность сухой, положительной, рассудительно-материалистической Каролине. Конт встретил ее в первый раз в 1845 году в одном знакомом семействе. Некоторая общность их семейного положения сразу сблизила их. От обаятельного

образа страдающей женщины повеяло добротой, нежностью, лаской, повеяло тем, чего измучившийся философ тщетно ожидал целых семнадцать лет от рассудительно-умной, но бессердечной и нечувствительной Каролины. Скоро между ними возникла переписка. Уже в четвертом письме своем философ пишет ей, что его не удовлетворяют одни возвышенные влечения всеобщей любви, вызываемые в нем его собственными философскими размышлениями, и что действительные потребности любви не находят удовлетворения в смутных философских концепциях. Одни эмоции несколько не противоречат другим; напротив, по его мнению, они находятся в соответствии и взаимно возбуждают друг друга. Красота физическая, нравственная и умственная обладают внутренним сродством и, благодаря этому сродству, получают надлежащую взаимную оценку. Нравственный подъем духа наравне с умственным особенно необходим в такого рода работах, какими занимается он, — в той социальной философии, которая стремится развивать, насколько возможно, величие человеческой природы, а это последнее зависит больше от благородства, чем от широты понятий. «Без всякой сентиментальной аффектации, — прибавляет философ, — я должен сказать, что своим сладким нравственным возрождением я обязан вам. И какой громадный контраст представляет это состояние по сравнению с тем, в каком я находился раньше!...» Клотильда поняла, какое чувство заговорило в Конте; ей было неприятно, и она написала, что если бы она не привыкла в продолжение долгого времени скрывать своего сердца, то она вызвала бы у него скорее сожаление, чем нежное чувство. «Вот уж год, — говорит она, — как я каждый вечер спрашиваю себя, буду ли я иметь силы прожить следующий день... С такими мыслями не делают безрассудных поступков». Конт сознается в своей ошибке, обещает побороть себя, подчинить «восхитительную страсть, охватившую его», «чувству нравственного совершенства», признавать и уважать добродетельные границы, в которые возвратила его Клотильда. Он обвиняет в грубости мужской пол.

«Вы должны были заметить во мне, — пишет он, — згу странную и поразительную особенность, которая дала мне возможность сохранить при полной физической зрелости всю свежесть и горячность юности со всеми преимуществами ее непосредственности и со всеми неудобствами ее неопытности... Но вы не можете знать, насколько мое экспансивное сердце, ни разу не раскрывшееся еще как следует, отличается чувствительностью. Так маловероятным представлялось, чтобы вы могли встретить во мне единое, чистое, глубокое чувство... И, однако, нет ничего более верного, так как моя формальная женитьба была вызвана в сущности не истинной страстью, а необдуманном благородством... Да послужит это обстоятельство извинением мне в ваших глазах за мои чувства...»

Клотильда увидела необходимость еще решительнее заявить о невозможности тех чувств, о которых говорил и писал ей философ.

«Именем того чувства, — отвечает она ему, — какое вы питаете ко мне, прошу вас, работайте над обузданием страсти, которая сделает вас несчастным. Любовь без надежды убивает душу и тело... Вот уже два года, как я люблю одного человека, от которого меня отделяет двойная преграда. Тщетно я пыталась превратить это губительное чувство в любовь матери, в нежность сестры, в преданность друга — оно терзало меня во всяком виде. И я снова начала жить только тогда, когда набралась храбрости уйти, удалиться. Теперь мне особенно необходимо спокойствие и деятельность. Сохраните вашу дружбу ко мне и верьте, что я ценю, как следует, ваше сердце... Я желаю, чтобы вы не приходили ко мне. Пощадим наши чувства друг к другу...»

Теперь только Конт убедился, что он ошибался и что судьба наваливает на его плечи страшную тяжесть неразделенной любви.

«Благодарю вас сердечно, — пишет он ей, — за ваше мучительное доверие... Конечно, было бы еще лучше, если бы это решительное заявление было сделано тотчас после фатального проявления моих злополучных чувств, которые в таковом случае не могли бы так глубоко вкорениться в моем сердце. Как бы там ни было, лекарство, я думаю, будет принято еще вовремя, чтобы помешать нежелательному развитию страсти, могущей погубить во мне даже рассудок... Я думал, что мне необходимо только обуздать мои чувства и ввести их в границы, желательные вам, сохраняя их в душе... Но теперь дело идет о гораздо большем. Ради вас и ради самого себя я должен употребить все мои силы, чтобы погасить единственную истинную любовь, какую я только способен чувствовать... Верьте, сударыня, я успею овладеть собою. Моя любимая философия, не распускающаяся в пустых словах, может, смотря по надобности, вдохновить человека на отречение так же, как и на деятельность. Она предохранит меня от всякой безумной борьбы с явно непреодолимыми препятствиями. Я снова буду искать, как мне уже не раз приходилось, отвлечения и вознаграждения за незаслуженные несчастья моей личной жизни в общественной деятельности... Пусть человечество извлечет пользу из этой чрезвычайной, но неизбежной жертвы! Я должен с этих пор удвоить свою любовь к нему. История показывает, что человечество никогда не будет неблагодарным. Но — увы! — оно наградит меня своей святой вечной любовью лишь много времени спустя после того, как я буду неспособен уже воспринять это неизреченное утешение, которое доступно бывает людям только в виде идеального предвкушения...»

Но да не подумает читатель, что Конт в самом деле принял крепкое решение подавить свою страсть. Впрочем, может быть, он и искренне принимал такое решение, но ему не удалось привести его в исполнение. Несколько позже, обращаясь снова к своим чувствам, он говорит, что если станет свободным человеком, то не женится ни на ком другом, кроме Клотильды, а если она не пожелает этого, то останется вдовцом. «Мое сердце, — заключает он, — видит в вас в конце концов истинного друга в настоящее время и достойную супругу в мечтах о будущем». С этих пор философ начинает величать Клотильду, несмотря на ее то решительные отказы, то уклончивые ответы, своей истинной супругой. Так, на вышеупомянутое письмо она отвечала:

«Я несколько раз перечитывала ваше письмо, стараясь проникнуть в чувства, которые подсказали вам его... Но я совершенно не могла понять вас... Я чувствую к вам глубокое уважение и искреннюю привязанность. Величайшим удовольствием для меня было также дать вам положительное доказательство моих чувств к вам... Но в моем положении нет ничего мистического и мне нечего поверять вам, кроме того, что я уже сказала... Что касается моего сердца, то позвольте мне не думать о нем. Я буду вашим другом всегда, если вы хотите этого, но больше того — я не буду для вас никогда. Смотрите на меня, как на женщину уже несвободную, и будьте вполне уверены, что при всех моих печалях у меня найдется место для великих привязанностей. Никто больше меня не страдает бурям сердца, но они разбились меня, и я чувствую себя беспомощной ввиду них... Я прошу извинения, что посылаю вам такое письмо. Ложные и двусмысленные положения для меня невозможны: я пыталась, как могла, рассеять ваши сомнения относительно меня...»

Тут все ясно. Но Конт не унывает. Он находит, что сладко любить и без взаимности. Она будет дамой его сердца, а он — рыцарем, ведущим борьбу с анархическим разложением современного общества, и она будет вдохновлять его в предстоящей работе (философ обдумывал тогда свой второй капитальный четырехтомный труд — «Систему положительной политики»). Клотильда поколебалась.

«Ваша нежность ко мне и ваши высокие качества привязали меня искренне к вам и побуждают меня подумать о судьбе обоих нас. Я попробовала обсудить с самой собою вопросы, на которые в разговоре с вами обыкновенно набрасывала покрывало молчания. Я спросила себя: как в положении, подобном моему, можно было бы подойти ближе всего к счастью, и пришла к мысли, что для этого необходимо довериться серьезному чувству. Со времени моих несчастий моей единственной мечтой было материнство. Но я дала себе слово соединиться только с человеком достойным и способным понять это. Если вы считаете себя в силах принять всю ответственность, налагаемую семейной жизнью, скажите мне, и я решу свою судьбу... Отвечайте мне со всем спокойствием и рассудительностью, требуемыми таким важным вопросом. Я вам выскажу определенно свои чувства. Не приходите ко мне... Я вам доверяю остаток своей жизни...»

Конт читает и перечитывает это письмо на коленях перед «алтарем» (креслом) Клотильды. Конечно, он принимает на себя все последствия и все обязательства их окончательного сближения. Конечно, он также мечтает о возвышенных чувствах отца, и как сладко ему будет быть обязанным в этом отношении своей Клотильде. Конечно, он будет считать себя с сегодняшнего дня неразрывно связанным с нею, все равно получают или не получают общественную санкцию их отношения. Отныне она — его действительная супруга. Пусть она не медлит с полным и решительным доказательством своих чувств по отношению к нему. Без этого, говорит он в следующем письме, наше соединение все еще не будет отличаться прочным характером и его будет смущать малейшая вещь. Без такого запечатления их союза он не будет уверен, что она так же безусловно принадлежит ему, как он ей. Он с великим беспокойством ожидает ее решительного ответа. Казалось, настала пора осуществиться всем его мечтам, настала пора неизреченного счастья, которого он ожидал так долго и так тщетно. Разве он не заслужил его своей безупречной нравственной жизнью и разве он не был способен взять и насладиться им? Это был, так сказать, апогей счастья Конта, но — увы! — счастья в мечтах. Клотильда остановилась перед решительным шагом. Почему? По-видимому, она сознавала, что недостаточно любит философа, чтобы стать его действительной женой, а поступить в данном случае по расчету... может быть, не было расчета.

«Простите мое неблагоприятие, — отвечала она на предложение Конта, — я чувствую себя бессильной перед всем тем, что дышит страстью. Прошлые еще терзают меня, и я обманывалась, рассчитывая, что могу справиться с ним... Дайте мне время...»

Такой ответ для Конта был неожиданностью. Он отвечал укорами:

«Как! — пишет он. — В пятницу вы сами пообещали мне неожиданное блаженство в близком будущем, в субботу вы подтвердили это, в воскресенье вы уже уклоняетесь, а в понедельник вы берете назад свое слово! Не значит ли это немного злоупотреблять женскими правами?...»

Клотильда не чувствовала, однако, себя виновной.

«Я не способна отдаваться без любви, — отвечает она ему. — Я знаю брак и знаю себя лучше первого ученого в мире. Умоляю вас, не говорите о своих правах и своих жертвах в воскресенье: и то, и другое — иллюзия. С женщиной тридцати лет не обращаются как с маленькой девочкой. Я была виновата, признаю и сознаю это. Я страдаю из-за своего поступка, но я страдаю слишком сильно для того, чтобы вы еще напоминали мне об этом... Наш разговор в воскресенье изменил мой взгляд на наши отношения: ничто не заставит меня отказаться от моего плана».

Она предлагает ему дружбу, советует забыть, что она женщина, и жить, как живут вообще холостые люди. Философ соглашается принять ее дружбу, хотя заявляет, что никогда не перестанет любить ее. Что же касается второй половины ее советов, то он отвергает их, находя их невозможными для себя.

«Это все равно, — говорит, — что отдать свою душу вам, а тело кому-либо другому, мое сердце не способно на такое раздвоение. Я умею страдать и уважать, но ни лгать, ни раздваиваться. Я не могу глядеть на вас иначе, — прибавляет он все-таки, — как на своего истинного друга в настоящее время и на свою достойную супругу в близком будущем».

Запоздалая любовь философа близилась, однако, уже к развязке, не зависящей от рук человеческих. У Клотильды, женщины вообще слабой и болезненной, открылась чахотка. В то же время она всеми силами души своей рвалась выбиться на дорогу независимой трудовой жизни. Попытки ее устроиться в газете окончились неудачно. Среди всех этих невзгод и видя страдания Конта, она еще раз возвращается к мысли принять его любовь, но так нерешительно, что сам философ отклоняет ее. В конце концов он примирился со своим положением и пишет ей:

«Воодушевленный, хотя — увы! — несколько поздно благородной страстью, которая одна должна господствовать надо мной, я вынужден подчиниться достойным образом своей неизбежной судьбе, какой бы суровой она ни представлялась мне. Я сознал наконец необходимость искренне подготовить себя к самому неблагоприятному разрешению нашего вопроса, но вместе и самому вероятному, принимая, что ваше отношение ко мне никогда не перейдет за границы дружбы».

С этих пор он будет смотреть на себя и на нее, как на жениха и невесту, разлученных непреодолимыми обстоятельствами, или как на супругов, вынужденных по мотивам первостепенной важности жить по-братски. За себя он мог ручаться, что не изменит своей любви и не даст повода к ревности. А Клотильда? Ведь она могла полюбить другого. От этой мысли на Конта веяло ужасом, и он старается дать понять Клотильде, что она должна пообещать, что их платоническая любовь никогда не будет нарушена таким жестоким образом. Трудно сказать, дала бы подобное обещание Клотильда, так как она резко заявляла ему, что «никогда не впадала в посмешище спиритуализма». Всякие платонические чувства, по-видимому, были совсем не по натуре этой живой и непосредственной женщине. Но сама судьба, отнимая у философа единственное утешение всей его личной жизни, спасала его, быть может, от горчайших терзаний и мучений. Чахотка быстро развивалась у Клотильды, и, проболев несколько месяцев, она умерла на руках Конта.

Не стало любимой женщины, но любовь продолжала гореть в душе философа ровным, чистым пламенем. Живая Клотильда могла причинить ему боль и горе, могла вызывать раздражение, с нею у него могли быть и были несогласия. Мертвая

же она сразу стала образцом недостижимого совершенства. Чувство, не нашедшее себе реального удовлетворения, обратилось в спокойно-рассудительный религиозный экстаз. Не к человеку, облеченному плотью красивой, молодой женщины, обращался теперь духовный взор Конта, а к эфирному образу идеальной женщины, матери всего человечества, а потому — истинному представителю собирательного человечества! На первых порах, прославляя ее в своих «Исповедях», он вспоминает еще о «чистых ласках», «любовных взглядах, возбуждающих энергию мысли и дающих чувствовать всю прелесть существования», и т.д. Но скоро всякий намек на что-либо плотское исчезает и остается одно только платоническое восхищение и религиозное преклонение. Если вначале он протестовал в глубине души против разных преград, которые она ставила развитию их чувства, то теперь радуется, что их общение не потеряло своего исключительно чистого характера.

«К началу второго полувека, скоро наступающего мне, — пишет он там же, — я освободился, благодаря тебе, от чувственных вожделений, не сделавшись от того менее чувствительным к сладостным душевным движениям. Я достиг, хотя поздно, того высшего нравственного совершенства, того непрерывного вдохновения всеобщей любовью, которого многие люди, даже знаменитые, никогда не достигали... Это высшее господство над самим собою составляет последнее приобретение каждого человека и вместе с тем самое ценное. Без тебя я никогда не мог бы оценить его надлежащим образом».

В своих «Исповедях» Конт постоянно обращается к Клотильде, как к живой, сообщает ей о всех успехах позитивной религии, о своем положении первосвященника и т.д. и пишет их аккуратно каждый год. Он перечитывает ее письма и, чтобы сделать наслаждение постоянным и длительным, читает по одному письму и именно в то число, когда оно было написано. Он преклоняется перед креслом, на котором обыкновенно сидела Клотильда, хранит, как религиозные реликвии, цветы, присланные ею, наконец начинает прямо молиться на нее. Клотильда превращается в настоящую святую, в его ангела-хранителя.

«Единственно тебе, моя святая Клотильда, — читаем в ежедневных молитвах, составленных философом, — я обязан тем, что не умру, не испытав должным образом возвышенных чувств, свойственных человеческой природе». «Благородная и любящая покровительница, — читаем мы в другом молении, — твое непреходящее восхитительное влияние коренным образом улучшило всю мою нравственную и даже физическую природу. В особенности я благодарен тебе за то, что ты вдохнула в меня чистое чувство, истинного смысла которого я не понимал до того и которое, я надеюсь, будет поддерживаться и далее, благодаря естественной устойчивости твоего свободного влияния. Твое ангельское вдохновение будет все больше и больше овладевать мною и направлять мою дальнейшую жизнь, как общественную, так и частную, совершенствуя мои чувства, расширяя мысли и облагораживая поведение...» «Мертвая, как и живая, ты, моя святая Люция (героиня повести, написанной Клотильдой. — Б. Я.), навсегда должна остаться истинным центром моей второй жизни, которой я тебе главным образом обязан».

В завещании Конт просит положить его тело, когда он умрет, в один гроб с Клотильдой, а если это окажется невозможным, то по крайней мере схоронить их в одной общей могиле, перед которой в свое время «преклонится с признательностью коллективное знамя возрожденного Запада».

Я привел достаточно подлинных выдержек, чтобы читатель мог составить себе ясное понятие об этой необычайной любви нашего философа. Основатель позитивной школы оказывается повинным в самом идеальном платоническом чувстве. От платонического чувства, которое всегда бывает лишено здоровой человеческой страсти, он легко переходит к рассудительному религиозному поклонению, причем женщине естественно отводится первое место. С течением времени Клотильда получает себе в сотоварищи Розалию (так звали мать Конта) и Софью (служанку Конта, у которой он крестил вместе с Клотильдой ребенка). Нас поражает эта удивительная способность отрешаться от действительной жизни и жить фантомами собственной мысли! Уединенный, изолированный мыслитель, лишенный собственно всяких семейных и родственных связей, без друзей, всецело погруженный в свои размышления и мечты о будущем устройстве человечества, создает, взамен реальных недочетов в своей жизни, идейные утехи. Отцом (своего еще живого отца он считал «недостойным») для него является Кондорсе, матерью — его мать Розалия, с которой при жизни он также не ладил и которую признал только после ее смерти, супругой — Клотильда, дочерью — упомянутая София, братьями и сестрами — также посторонние люди, которых он и не видел, быть может, даже в лицо. Клотильда, его отношение к ней послужили толчком для подобного рода фантастических построений. Раз вступив на этот путь, он скоро дошел и до своих великих фетишей. Если мысль о религии человечества явилась прямым последствием всего философского учения Конта, как это допускает и Милль, то далеко нельзя сказать этого относительно его религиозного культа. Тут несомненно сказалось громадное влияние Клотильды, и не самой ее личности, вообще довольно жизненной, как мы видели, а сложившихся между ею и Контом отношений.

Глава IV

УЧАСТИЕ КОНТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Адрес к Луи-Филиппу. — Отказ от поступления в национальную гвардию. — Трехдневный арест. — Бесплатные лекции по астрономии. — Защита Армана Марра. — Конт и февральская революция. — Свободная ассоциация для распространения позитивных знаний. — Примирение с Араго. — Позитивистическое общество. — Три комиссии: труда, образования, правительства. — Общество принимает религиозный характер. — Публичные лекции по всеобщей истории человечества. — «Позитивный катехизис». — Позитивная библиотека. — Отношение к декабрьскому перевороту. — Письмо к Николаю I. — Письмо к Решид-Паше. — Сношения с генералом иезуитов. — Конт в качестве жреца человечества. — Позитивистский календарь

Конт не был философом-отшельником, разрабатывающим в тиши кабинета философские схемы и принципы. Уже по самому характеру своей положительной философии, в которой первенствующее значение отводится социологии, он должен был чутко относиться к различным общественным движениям своего времени. Кроме того, юность, проведенная в революционных кружках и в обществе Сен-Симона, была хорошей закваской на всю жизнь. С течением времени мог

измениться взгляд на тот или другой вопрос, могло измениться даже само мировоззрение, но не могло пропасть тяготение к общественной жизни и деятельности. Конт не только признавал, но и на собственном примере показал, что действительная философия не замыкается в схоластических выкладках и метафизических отвлеченностях, а, напротив, отвечает на все запросы жизни и руководит человеком. Остановимся на более крупных фактах. На глазах Конта разыгрались две революции — 1830 и 1848 года. И в том, и в другом случае он не оставался посторонним зрителем, хотя и не кидался в самый разгар политических страстей, вообще чуждых ему. Июльскую революцию он приветствовал, как желательное явление. Когда же надежды, возлагаемые на нее, не оправдались и недовольство против правительства Луи-Филиппа начало принимать острый и опасный характер, тогда Конт во главе постоянного комитета политехнической ассоциации выступил с адресом к королю. В этом адресе, отредактированном философом, указывается на всеобщее недовольство массы населения, ожидавшей от «великой июльской революции» какого-либо положительного улучшения в своем политическом и социальном положении, между тем как все дело свелось к простой перемене власти. Причины тому — легкомысленное самохвальство законодателей, пожелавших присвоить себе славу и выгоды общественного обновления, по отношению к которому они были собственно совершенно посторонними лицами; чрезвычайно небрежное отношение палат и министров ко всему, что касается народного образования, их презрение к желаниям народа принимать участие в общественных выгодах в меру своих трудов на общую пользу; наконец, признанная несостоятельность в умственном и нравственном отношении тщеславной аристократии, которая не имеет никаких других прав на руководящую роль в обществе, кроме своего рождения и богатства. Таковы, по мнению адресатов, коренные, явные и скрытые причины обнаружившегося недовольства народа. Подавленное в данный момент, недовольство это неизбежно проявится вновь при всяком удобном случае. Поэтому, считая, что палаты по своей политической неспособности и нравственной дряблости не доведут до сведения его величества об истинном положении вещей и средствах, могущих поправить дела, комитет политехнической ассоциации считает себя вправе обратиться прямо к нему и предложить его величеству свое содействие против всяких анархических попыток, но вместе с тем просить его выступить на путь самых широких прогрессивных реформ — на единственный путь, согласный с истинным духом современного общества. В этом адресе высказывается уже, хотя скромным образом, основная мысль Конта — борьба с анархией при помощи самых широких общественных реформ, и в частности указываются три области, где необходимость таких реформ чувствуется всего сильнее, именно: народное образование, экономическое положение трудящихся классов и отжившие свой век привилегии аристократии. Адрес остался без последствий.

Вскоре после этого Конт попал в переделку, которая могла плохо кончиться для него. Он уклонился от зачисления в национальную гвардию, когда того потребовали власти. Призванный к ответу перед дисциплинарным судом, он заявил между прочим, что национальная гвардия, по мысли закона, учреждается для того, чтобы защищать правительство, устанавливаемое Францией для себя. «Если бы, — продолжал он, — дело шло единственно о поддержании порядка, я не уклонялся бы от тягостей, налагаемых этим законом, но я отказываюсь принимать участие в исключительно политической борьбе. Я никогда не брошусь на правительство с оружием в руках. Но, будучи республиканцем по сердцу

и мыслям, я не могу присягнуть, что буду защищать, с опасностью для своей жизни и жизни других людей, правительство, с которым я вступил бы в бой, если бы был человеком действия». За уклонение от поступления в национальную гвардию суд приговорил его к аресту на три дня. Только какая-то случайность спасла философа от более жестокого наказания за такое свободное объяснение. Под арестом Конту сиделось, по-видимому, недурно: он захватил с собой много книг, бумаги, чернила и т.д.; ученики, которым он давал уроки, приходили к нему в камеру, и он продолжал там заниматься с ними. Жена тотчас же навестила его, одним словом, Конт сразу же устроился в тюрьме, как дома и как бы рассчитывая пробыть в ней целые месяцы.

В 1831 году Конт начал читать свои общедоступные бесплатные лекции по астрономии в здании мэрии, продолжавшиеся до 1848 года. Чтения происходили по воскресеньям. Они предназначались для публики, не обладавшей математическими познаниями, и посещались даже рабочими. Последних, да и вообще всю собиравшуюся на лекции публику привлекала не столько астрономия, сколько те общие идеи, которые излагал попутно философ: значение астрономии, связь ее с другими позитивными науками, наконец основные идеи позитивизма вообще. Конт невольно стремился превратить свои лекции по астрономии в философские чтения, в курс позитивизма. От отвлеченной науки он переходил к социальным вопросам времени и, ввиду бесконтрольного и безграничного господства капитализма, говорил о необходимости вмешательства государства в отношения между предпринимателями и рабочими. Само собой понятно, что такие речи нравились и вызвали одобрение публики, собиравшейся слушать их. Два раза философ заходил так далеко в «неподлежащие сферы», что вызвал вмешательство администрации. Раз он позволил себе сделать несколько иронических замечаний по поводу того лицемерия, которое так часто выдается за религиозное чувство. Духовные журналы забили тревогу. Министр народного просвещения послал на лекцию инспектора послушать, что говорит философ. Это был Жоффруа Сент-Илер. Он дал заключение в пользу Конта, и тот мог беспрепятственно продолжать чтения. Но в другой раз ему сделали замечание, чтобы он не выходил из пределов своего предмета, и на его стремления превратить лекции по астрономии в лекции по позитивной философии пригрозили прекратить их совсем. С течением времени Конт обработал свои лекции в общедоступный курс по философии астрономии, изданный им в 1845 году.

В 1835 году мирные занятия философа были нарушены политическими событиями. В Лионе вспыхнуло восстание, которое привело многих людей на скамью подсудимых. Между последними находился между прочим Армен Марра, редактор революционной газеты, а впоследствии президент учредительного собрания. Он выбрал себе в защитники Конта. Философ не отказался от такой чести, хотя и рисковал скомпрометировать свое положение как репетитора в Политехнической школе.

Наиболее деятельное участие в политической жизни своего времени Конт принял в бурные дни революции 1848 года. Он не сражался на баррикадах и не призывал народ к оружию. Он всегда был далек от каких бы то ни было насильственных действий, а в 1848 году более, может быть, чем когда-либо раньше. К этому времени у него уже было совершенно определенное воззрение и на устройство будущего общества, и на те пути, которыми человечество вернее всего может достигнуть его. Но вместе с тем мыслитель-реформатор не мог молчать, когда все общество, казалось, было потрясено до самых основ своих и готово было обратиться от политических реформ, перемещавших власть из одних рук в другие,

к социальным, обеспечивавшим за трудящейся массой участие в благах цивилизации. Насколько Конт чувствовал себя одиноким среди политических партий того времени, боровшихся за власть, показывает его письмо к Миллю, написанное еще в 1845 году. Существующий порядок, говорит он, не отличается ни малейшей устойчивостью, он неизбежно рухнет со смертью Луи-Филиппа, и две партии вступят в борьбу за власть. Одна из них — ретроградная, слишком непопулярная, чтобы иметь какой-либо серьезный успех; другая — революционная, воодушевленная не столько принципами, сколько страстями, и имеющая много действительных шансов на временный успех. Обращаясь к своему положению среди этих партий, он замечает, что от ретроградской он может ожидать если не признания, то по крайней мере терпимости, тогда как среди торжествующих революционеров, в особенности тех из них, которые воодушевляются учением Руссо, он встретит много противников, и притом противников, «привыкших систематически к гильотине, как к средству единообразного разрешения всех социальных несогласий».

«Помимо сильной личной ненависти, какую питают ко мне коноводы, — пишет философ, — нетрудно понять, что предрассудки, свойственные массе этих буянов, легко могут побудить их освободиться насильственным образом от человека, философские взгля-434

ды которого прямо противоречат их гибельным утопиям. Наиболее благоразумные из деловых людей начинают понимать, что позитивизм представляет у нас единственную умственную преграду, которую они могут с надеждой на успех противопоставить в настоящее время анархическому разливу коммунизма...»

Ввиду всего этого Конт думает, что в случае торжества революционной партии ему придется искать убежища в Англии.

Расхождение между Контом и французскими революционерами 40-х годов было одним из тех общественных противоречий, какими движется человеческий прогресс. Конт, будучи, можно сказать, основателем социологии, не мог, конечно, отрицать всей силы и важности внешних условий человеческой деятельности, но центр тяжести для него все же лежал во внутренней природе человека. Он призывал людей первым делом к духовному перевороту, он требовал, чтобы они решительно и последовательно отказались от старого мистического и метафизического мировоззрения и усвоили новое позитивное учение. Только личность, возродившаяся умственно и нравственно из анархии разлагающегося общества, только личность, восстановившая гармонию между своей личной и общественной жизнью, только личность, воодушевленная любовью к другим, является истинным деятелем на пользу общественного порядка и прогресса. Так думал Конт и полагал, что с революционерами, выдвигавшими на первый план общественный или даже просто политический переворот и не придававшими особенного значения тому умственному и нравственному сумбуру, который царил повсюду вокруг них, у него не может быть ничего общего. Мало того, зная, что в пылу страстей простое несогласие представляется противодействием, припоминая исторические параллели и придавая своей проповеди позитивизма непомерное, не соответствовавшее действительности значение, он опасался всяческих бед для себя лично в случае торжества революционеров. Однако дальнейшие события не оправдали его опасений. Переворот совершился. Общественная власть перешла на время в руки революционеров. Национальное

собрание обсуждало вопрос об организации труда и, хотя обнаружило при этом крайнюю несостоятельность, однако не отказалось сделать некоторый опыт. Что же наш философ, проповедник антианархического, антиреволюционного, антиполитического учения? Он не только не собирается бежать в Англию, но выступает со своей программой общественных преобразований. Оказалось, что те, кого он называл революционерами, нисколько не помешали ему говорить печатно со всеми, желавшими слушать его, собирать приверженцев, проектировать упразднение существовавших властей, ставить на их место другие и т.д.

В то время, как на улицах Парижа раздавалась пальба, Конт обдумывает свою прокламацию ко всему европейскому Западу, в которой он предлагает организовать свободную ассоциацию для распространения позитивного образования среди народа под девизом «Порядок и прогресс».

«Предварительная переработка убеждений и нравов, — говорит Конт, — составляет единственное прочное основание дня постепенного преобразования учреждений; преобразование это будет совершаться по мере того, как общество будет свободно усваивать основные принципы того окончательного устройства, к которому всегда стремились все лучшие силы человечества. Таким образом, разумное народное образование становится теперь главной, действительно необходимой мерой для естественного завершения великой революции. Эта необходимость хорошо понимается самими пролетариями, которые, несмотря на все удивительное благородство своих непосредственных инстинктов, сознают, как необходимо для них систематическое развитие».

Ассоциация «Порядка и прогресса» ставила себе целью знакомить народ путем даровых лекций, доступ на которые должен быть свободным и неограниченным, с одной стороны, с науками математическими, физическими, химическими, биологическими, а с другой — с историей, составляющей необходимое преддверие истинной науки об обществе. Не предпрешая частных и предоставляя их на усмотрение лекторов, прокламация устанавливала лишь общий характер чтений: все они должны быть проникнуты социальным чувством, и ум должен рассматриваться, как первый министр сердца, так как в сущности есть одна только наука, именно наука о человечестве, которой подчинены все прочие. Деятельность ассоциации не ограничивается Парижем, даже Францией, она распространяется на пять передовых народов, «составляющих со времен Карла Великого западную республику, в недрах которой, несмотря на национальные раздоры и религиозные распри, совершается умственное и социальное развитие, не имеющее ничего себе подобного в остальной Европе». Народы эти, кроме французов, — немцы, англичане, итальянцы и испанцы. Ввиду своего международного характера, позитивная ассоциация всегда должна держаться независимо от правительства упомянутых стран.

Конт призывал людей Запада подчинить индивидуалистический ум социальному сердцу и дружно приняться за общую работу. Желая дать пример другим и быть последовательным, он первый обратился со словом примирения к своему злейшему врагу, Араго, игравшему тогда большую политическую роль. Последовательность Конта всегда была больше головная. Проповедуя подчинение ума сердцу, он, однако, всегда и всецело находился во власти своих отвлеченных философствований; голова у него всегда господствовала над сердцем. Едва ли можно указать в его жизни поступки, проистекающие непосредственно из

сердечных влечений. Он полюбил Каролину потому, что ему нужно было полюбить женщину. Он полюбил Клотильду и дал волю своей сентиментальности, потому что того требовали его окончательно сложившиеся социально-философские взгляды.

Так во всем. Так и теперь. Голова решала, что необходимо заявить во всеуслышание о примирении с Араго, и он заявляет, не спрашиваясь у сердца. Конечно, тут не было никакого корыстного в политическом смысле расчета, так как Конт прямо заявляет, что он уже давно решил не выступать на политическом поприще и что всякий философ-позитивист должен поступить таким же образом, посвятив себя исключительно жречеству пред алтарем человечества. Он просто считал нужным показать свое беспристрастие и подать пример другим для солидарной деятельности в решительные февральские дни 1848 года. Примирение это не имело, по-видимому, никакого влияния на дальнейшую деятельность Конта в качестве проповедника нового учения.

В марте месяце того же 1848 года Конт выпускает новую прокламацию, написанную чрезвычайно растянуто, тяжело, вообще слишком уж философски положительно для прокламации. Но она интересна не только как ответ философа на текущие вопросы жизни, но также как предложение организовать позитивистическое сообщество. В этой прокламации Конт выступает перед всей западноевропейской публикой в качестве социального реформатора, берущего на себя смелость завершить бурный революционный период в истории развития человечества, поставить своего рода точку над разрушительной работой целых веков. «Я основал, — говорит он, — под девизом "Порядок и прогресс" политическое общество, преследующее в этот второй период великой революции, по преимуществу органический, те же задачи, какие общество якобинцев так плодотворно выполняло в первую эпоху революции, по необходимости критическую». Позитивным обществом в этой прокламации называется та свободная ассоциация для распространения позитивного образования в народе, о которой говорилось выше. Оно должно воздерживаться от всякого активного, непосредственного вмешательства в общественные дела, уже по одному тому, что число членов его крайне ограничено. Но, кроме того, Конт настаивает и здесь на строгом разграничении власти умственной, духовной, направляющей от власти исполняющей, осуществляющей, действующей. Подобно якобинскому клубу, позитивистское общество будет обсуждать политические вопросы текущей жизни и своими решениями, прениями и тому подобным влиять на общий ход дел; оно будет иметь, следовательно, совещательный характер. Обсуждая совершающиеся факты и принимаемые меры с точки зрения новой позитивной науки, выясняя действительные тенденции и указывая наилучшие средства достижения общепользовных целей, оно будет содействовать постепенному торжеству своих основных принципов и окончательной организации человечества. Революционные программы, построенные на метафизических началах, несостоятельны. Они не соответствуют стремлениям и потребностям переживаемого момента. Вот хотя бы взять сферу экономическую. Здесь стремятся, следуя метафизическим принципам, разрешать законодательным путем те затруднения, которые могут быть устранены только посредством глубокой переработки воззрений и нравов. Некоторый успех революционных учений в переживаемое время Конт считает делом преходящим и непрочным, само же провозглашение республики — фактом в высшей степени важным. Республика — это окончательное и бесповоротное отрицание всяких ретроградных надежд и чаяний, раздиравших Францию в течение столь продолжительного времени, и вместе с тем это — универсальная программа истинного социального устройства человечества. Республика, по

мнению Конта, провозгласила подчинение политики морали, а только в этом направлении он видел единственный выход из переживаемого человечеством критического во всех отношениях состояния. Итак, Конт проектирует общество, которое должно создавать общественное мнение, содействовать переработке верований и убеждений, а следовательно, и нравов, направлять общественные дела, но не делать непосредственно этих самых дел; оно может обращаться с петициями в народное собрание или к центральной власти, но должно отказаться от всякого практического вмешательства в общественные распорядки. Для того, чтобы обеспечить полную солидарность между членами общества, Конт, как основатель, сохраняет за собой исключительное право судить об умственной и нравственной пригодности желающих поступить в него, хотя выбор его должен всякий раз подвергаться одобрению старых членов. От вновь поступающего обязательно требовалось, чтобы он разделял основные воззрения позитивизма, то есть признавал, во-первых, закон трех состояний (переход общества от теологического состояния к метафизическому и затем позитивному); во-вторых, относительность человеческих знаний; в-третьих, метод, идущий от мира к человеку, а не от человека к миру; в-четвертых, иерархическую классификацию наук и, в-пятых, философию, построенную на научных основаниях и устанавливаемую таким образом однородность всех наших понятий. Кто не мог проштудировать шеститомный «Курс позитивной философии», тому предлагались сочинения менее обременительные. Неприемлющий приведенных пяти положений не мог попасть в члены общества. Хотя от позитивиста-философа, желающего посвятить всю свою жизнь человечеству, требовалось решительное отречение от всякой политической деятельности, однако простой позитивист, член общества, мог занимать какое угодно положение. Особенности надежды Конт возлагал на пролетариев, которые, по его мнению, и в умственном, и в нравственном отношении обнаруживали большую склонность к позитивизму. Собрания позитивных якобинцев, впредь до увеличения числа членов общества, должны были происходить у Конта каждое воскресенье.

Таким образом, в более чем скромной квартире философа-отшельника, на улице Принца, открыл свои заседания небольшой кружок лиц, поставивших себе целью радикально реформировать современное общество, не прибегая ни к каким насильственным действиям, а пользуясь исключительно силой убеждения и слова. Известный Литтре, тогда еще слепо следовавший во всем за своим учителем, с удовольствием вспоминает об этих заседаниях. «Всякие события, — говорит он, — находили себе отголосок на них и не раз вызывали со стороны Конта блестящие замечания, смелые философские обобщения, оригинальные исторические сближения». Но жизнь ли была иная, люди иные и задачи иные, только позитивистское общество не имело и тени того влияния, каким пользовался в свое время знаменитый клуб якобинцев.

Принимаясь за разработку текущих вопросов, оно выделяло из себя три комиссии: одна занялась вопросом о труде, другая — выработкой плана позитивистской школы, третья — вопросом о сущности и организации нового революционного правительства. В последней принимали участие наиболее известные позитивисты того времени: Литтре, Лаффит, Магнин. По вопросу о труде комиссия высказала довольно скромные пожелания. Конт и вообще позитивисты относились пренебрежительно к политической экономии, и едва ли от них можно было ожидать каких-либо радикальных проектов по части реорганизации труда. А между тем этот-то именно вопрос и был поставлен на очередь революцией 1848 года.

Комиссия рекомендовала устройство в разных местах общественных работ. Инициативу должно было взять на себя правительство, оно же должно доставить и средства; в качестве совещательного органа предлагались местные собрания граждан. Еще более скромным оказался проект по части позитивистской школы. Казалось бы, что в этом именно случае позитивное общество, задавшееся целью преобразовать человечество путем влияния на его верования и убеждения, вступит с планами широких и глубоких изменений в школьном деле. Вовсе нет. Комиссия предлагала лишь прибавить к программе существовавшей уже Политехнической школы биологию и социологию, а к программам Медицинской школы — физикоматематические науки и надеялась, что из таких школ выйдут люди с новыми воззрениями на жизнь, люди, способные отдать все свои силы на служение человечеству. Странное заблуждение. Мы знаем, что самые точные познания в биологии и социологии могут свободно уживаться с совершенно нечеловеколюбивыми, антисоциальными стремлениями. Что касается третьей комиссии, то, удивительное дело, она-то и предлагала самый радикальный, самый крайний проект. Философы, отказавшиеся, по крайней мере за свой личный счет, от всякой политической деятельности, потребовали весьма и весьма существенных преобразований. Во-первых, говорили они, исполнительная власть должна состоять из триумvirата, избираемого исключительно Парижем; во-вторых, триумвиры должны избираться из среды пролетариев; в-третьих, полномочия их не должны ограничиваться никаким сроком, но наряду с этим признавалось достаточным получить заявления нескольких десятков граждан, чтобы подвергнуть их новой перебаллотировке; в-четвертых, палата депутатов должна избираться всеобщим голосованием, а деятельность ее — ограничиваться вотинованием налогов и контролем над употреблением этих налогов. Такая организация признавалась временной, пригодной лишь для переходной революционной эпохи. Полную несостоятельность ее признает сам Лит-тре; рассказывая обо всем этом, он говорит, что находился тогда всецело под влиянием Конта, увлекавшегося в свою очередь некоторыми мыслями, высказанными Конвентом великой французской революции. Громадную исполнительную власть в лице триумвира философ соглашался предоставить лишь пролетариям, считая их наиболее свободными от всяких сословных и классовых пристрастий; людям же богатым, капиталистам и т.д., он предоставлял решение финансовых вопросов, признавая за ними надлежащую компетентность в этой сфере. Итак, неимущие распоряжаются и управляют, а имущие дают средства и подчиняются! Слишком уж фантастичный это был проект, чтобы он мог иметь малейшее практическое значение. Любопытно, что в нем уже сказалось предпочтение Конта диктатуры самоуправлению. Он не разделял радужных надежд, возлагавшихся в то время на представительное правление, и считал, по крайней мере несколько позже, что единоличный правитель может сделать больше для распространения позитивизма, чем любое представительное собрание.

Созданное Контом общество не имело никакого влияния на дальнейший ход французской революции и вообще политические и общественные события того времени. Позитивные якобинцы не удались. Но общество не распалось. Напротив, число приверженцев нового учения росло. С течением времени образовались отдельные центры в Голландии, Америке и других странах. По мере того, как Конт разрабатывал и уяснял себе культ человечества, собрания позитивистов принимали все более и более религиозный характер: на них совершались разные обряды и обсуждались вопросы, относящиеся к делу служения человечества. Таким образом, позитивистское общество как бы последовательно осуществляло свой

принцип воздержания от политических дел. Тем не менее глава их не упускал случая обращаться к лицам, обладавшим политической властью, со словом увещания и предложения содействовать распространению нового мировоззрения. Со времени возникновения сообщества Конт сознательно и открыто выступает в качестве первосвященника позитивизма и духовного руководителя всего человечества. Он не только пишет книги, но говорит поучения и мечтает о том времени, когда он будет произносить проповеди в одной из первостепенных церквей Парижа. Он берется наставлять и руководить как простых смертных, приходящих на его скромную квартиру за советом, так и могущественных властителей Востока. Он воспринимает новорожденных и произносит именем человечества суд над умершими. Отрешившись от сферы материальной, он присваивает себе сферу духовной жизни всего человечества и считает себя призванным «вязать и разрешать». Взглянем поближе на дела Конта-первосвященника, Конта-жреца возрождающегося человечества

В 1849 году он открыл даровые публичные лекции во «Дворце кардиналов» по всеобщей истории человечества. Теперь он мог высказывать вполне и до конца свои заветные убеждения. Лекции распадались на две части. В первой части философ развивал свои теории социального развития человечества, касался прошедшего и настоящего положения человечества; во второй он обращался к будущему, рисовал картину окончательного, завершительного состояния человечества, а также той переходной стадии, через которую ему необходимо будет пройти, чтобы достигнуть идеала. Лекции длились по три, по четыре часа с небольшим перерывом. Конт не знал утомления. На публику, предрасположенную к его учению, он производил, по-видимому, сильное впечатление. Так, один из его последователей говорит: «Впечатление от этих лекций не могло сгладиться течением времени, и до сих пор еще, то есть по прошествии сорока лет, воспоминание о них глубоко трогает сердце наше... Да, в эти исключительные часы, когда возвещались столь великие судьбы, мы чувствовали дыхание человечества, мы предвосхищали его реальность, его величие, мы убеждались в нем, и священный энтузиазм доказательной веры навеки возгорался в наших сердцах». Лекции эти не были напечатаны, но вышедший в 1852 году «Позитивный катехизис», представляющий резюме положительной части их, может дать о них некоторое понятие. Свободная речь проповедника новой социальной религии не могла нравиться политикам, пробравшимся к власти и замышлявшим новый переворот. Лекции запрещались, затем возобновлялись и наконец переворот 2 декабря сделал их совершенно невозможными.

С теми же пропагандистскими целями Конт составил в 1854 году, под заглавием «Позитивная библиотека», список книг для чтения. Сначала библиотека эта предназначалась преимущественно для пролетариев, из среды которых вербовались главным образом последователи нового учения, но затем получила общее значение. Список состоит из 150 томов, разделенных на четыре отдела. Первый включает в себе поэзию, второй — науку, третий — историю, четвертый — синтез (философию и религию). Наряду с первоклассными произведениями тут встречаются и потерявшие уже всякое значение. Из Байрона предполагаются только избранные произведения, но отнюдь не «Дон Жуан»; наряду с Боссюэ рекомендуется кое-что из Вольтера; из Адама Смита предлагается лишь «Опыт по истории астрономии»; настойчиво рекомендуется чтение книги «Подражание Иисусу Христу» в подлиннике и переводе, но тут же указываются «Философские опыты» Юма и т.д. Одним словом, основатель позитивизма, по-видимому, не стеснялся сводить лицом к лицу религиозных реформаторов

со скептиками, полагая, что всякие недоразумения и сомнения, могущие возникнуть при этом учителя, легко разрешаются рекомендуемым им тут же «Курсом положительной философии», «Системой позитивной политики», «Позитивным катехизисом» и т.д.

Когда проект триумvirата из пролетариев не удался и сама революция 1848 года не оправдала возлагавшихся на нее надежд, Конт обращает свои взоры к консервативному лагерю и пытается привлечь четырех консерваторов на сторону нового учения. Он начинает с того, что открыто высказывается в пользу единоличной диктатуры и одобряет событие 2 декабря 1851 года. По этому поводу в позитивистском обществе происходят бурные прения, оканчивающиеся выходом из состава общества Литтре и еще нескольких членов. В письме к сенатору Вьельярду, бывшему воспитателю Наполеона, тогда уже готовившего свой переворот, философ пишет:

«Наш последний кризис сделал, мне кажется, обязательно необходимым переход Французской республики из фазы парламентской, которая приличествует лишь отрицательной революции, в фазу диктаторскую, единственную соответствующую видам положительной революции, которая, примирив порядок с прогрессом, положит конец современному ненормальному состоянию Запада». «Позитивизм, — пишет он дальше, — разлагая различные современные партии, с тем, чтобы поставить на место их истинную созидательную партию, одинаково объединяет как всех достойных консерваторов, которые по существу не бывают ретроgrадами, так и всех честных революционеров, которые не бывают в действительности анархистами».

Наполеон не оправдал, однако, надежд Конта и вместо распространения позитивизма стал домогаться императорской короны. Как бы раскаяваясь в своей опрометчивости, философ начинает теперь усовещивать того же сенатора Вьельярда, настаивая, что он должен, во имя своих позитивистских воззрений, противодействовать проискам претендента и в случае надобности потребовать в сенате предания суду узурпатора.

Несмотря на то, что Конт всю свою социальную организацию строил на разделении власти духовной (умственной и нравственной) от власти светской (правительства) и ратовал за полную независимость первой, он постоянно искал случая поставить позитивизм под защиту могущественных властителей, старался убедить их и превратить в орудие распространения нового учения, как бы следуя и в этом случае примеру католицизма. Разочаровавшись в диктатуре Наполеона, он переносит свои надежды на императора Николая I. Востока не коснулась еще тлетворная зараза скептицизма, критицизма, анархизма с их конституционизмом, парламентаризмом и «диким коммунизмом», угрожающим Западу. Поэтому там, на Востоке, позитивизм может найти себе истинного защитника и покровителя, достаточно могущественного, чтобы обеспечить целым многочисленным массам народа мирный переход от древних отживших понятий к новым положительным воззрениям. Не имея никакого представления о России, Конт останавливает свое внимание сначала на Николае I.

«Государь, — так начинает он свое письмо (1852 года), — философ, неизменно придерживающийся своих республиканских убеждений, посылает одному из неограниченнейших в настоящее время правителей систематическое изложение

плана человеческого возрождения, как социального, так и умственного. Но такое обращение нетрудно понять, если принять во внимание некоторые особенные обстоятельства. Именно, этот философ, начиная с первых решительных шагов, с 1822 года, постоянно боролся против верховенства народа и равенства, боролся, во имя прогресса, более решительно, чем любая ретроградная школа. С другой стороны, этот самодержец, со времени восшествия на престол в 1825 году, никогда не переставал стоять во главе гуманного движения в своих обширных владениях, предохраняя их с мудрой твердостью от западноевропейских волнений».

Затем Конт излагает довольно пространно сущность своего учения, хвалит русское правительство за то, что оно не допускает со своей стороны свободного обращения заграничных книг, проникнутых анархическим духом, и указывает, между прочим, что его капитальный труд «Курс позитивной философии» пропущен и разрешен для всеобщего чтения (это было в 1852 году). Любопытны еще для нас некоторые суждения Конта о русских делах.

По отношению к крепостному праву позитивизм присоветовал бы не следовать слепо примеру Западной Европы и не уничтожать крупной поземельной собственности, так как повсюду теперь в Западной Европе, и в особенности во Франции, сознается, какую помеху для практической реорганизации общества и даже социальную опасность представляет недостаточная концентрация богатств; позитивизм советовал бы царю уважать накопленные богатства и лишь превратить собственников в промышленных «вождей» и преимущественно в вождей земледельческих... По отношению к развитию мысли и литературы в частности позитивизм присоветовал бы русскому правительству еще более усилить опеку и требовать от писателей известной гарантии их способности и честности, что значительно подвинуло бы вперед дело окончательного торжества позитивной религии... Всякого же рода академические труды он предлагает просто уничтожить, как «пустые и даже вредные»... Такие советы давал нам, русским, философ-позитивист из своего прекрасного далека.

Едва ли их можно объяснить незнанием русской жизни: он не входит в частности, а высказывает общие соображения, которые вытекали из его общих мыслей.

Скорее тут следует видеть страстное желание человека, взбравшегося на первосвященнический трон, священнодействовать, и священнодействовать во что бы то ни стало. Какое уж при этом изучение потребностей народа и соображение с последними даваемых советов! *Fiat justitia, pereat mundus*⁸⁵! Да царствует позитивизм на варварском Востоке, с какими бы нелепостями не было это сопряжено! К счастью, само письмо философа осталось гласом, вопиющим на снежных равнинах России...

Не дождавшись ничего от русского царя, Конт пишет в 1858 году письмо к Решид-паше, в котором развивает мысль о возможности прямого перехода от ислама к позитивизму. Но Восток и в этом случае не оправдал особенных надежд первосвященника позитивизма. Тогда он снова обращается к Западу и пытается завязать сношения с иезуитами. Известно, что чем дальше Конт уходил в своем учении, тем больше и больше заимствовал от католической церкви. Из глубины прежних веков он пересаживал на почву самоновейшего позитивизма догматы, обряды, культ. Все это естественно должно было в конце концов сблизить его, по крайней мере, в мысли, с современными представителями католицизма.

⁸⁵ Пусть погибнет мир, но торжествует правосудие. — Ред.

Могущественная иезуитская организация, поддерживавшая свой авторитет при самых неблагоприятных условиях и умевшая обходиться без светских властей, представляла для него заманчивую перспективу. Генералу иезуитов он предлагал добиваться общими силами отмены церковного бюджета, так как только при таком условии и старая, и новая вера будут поставлены в надлежащие отношения друг к другу и получают возможность свободно утверждаться в сердцах людей. Беспристрастие Конта было так велико, что он выразил желание вносить ежегодно по 100 франков на нужды католического духовенства и даже в своем «Завещании» не позабыл упомянуть об этом обязательстве.

Все эти попытки Конта привлечь на свою сторону людей властных не удались. Но, в качестве первосвященника вновь возникающего учения, ему постоянно приходилось иметь дело и с обыкновенными смертными. Он поучает, наставляет, руководит, разъясняет сомнения, укрепляет энергию. У него были определенные часы, в которые он принимал желающих. И люди, склонные к новому учению, находили много утешительного и бодрящего в его личных наставлениях.

«Немало было таких, — говорит один из последователей философа, — которых слова его в эти священные Часы избавили навсегда от сомнения, тоски, нерешительности, от мучений и опасностей революционной болезни, от нравственного самоубийства, от этой всепожирающей язвы эгоизма, губящей в наши дни такую массу заблудших! И многие могли бы засвидетельствовать, что они никогда не приближались к этому великому человеку без того, чтобы не становились сами лучше, чище, убежденнее...»

Конечно, это слова преданного прозелита⁸⁶, но ведь мы и говорим теперь о значении Конта для его правоверных последователей. Быть может, для человека стороннего, смотрящего на жизнь открытыми глазами и знающего, как легко морализировать и как трудно осуществлять на деле личный идеал, все эти насильственные собеседования показались бы немного педантичными, немного суховатыми и бледноватыми, лишенными даже обыденной прелести горячей живой проповеди, к которой вовсе не был способен наш философ.

Установив не только догму, но и культ нового учения, Конт естественно должен был взять на себя и обязанности по исполнению обрядов, что доставляло ему громадное удовлетворение. В своих ежегодных исповедях и циркулярах он с особенной любовью рассказывает, как он воспринимал новорожденных и посвящал их на служение Великому Существу, как венчал желающих вступить в брак и соединял их на неразрывную совместную жизнь, как совершал поминовение усопших и т.д. Он устанавливает девять таинств, восемьдесят четыре праздника для отправления общественного культа, составляет молитвы, указывает самым точным образом, в какое время какие молитвы следует произносить, сколько времени проводить в молитве, какую позу принимать и т.д. На моление он тратил ежедневно целых два часа. Его молитвы — это надуманное излияние чувств, посредством которого он старается настроить себя на возвышенный лад. Он обращается в них к матери, супруге, дочери, человечеству. Вот примеры:

«Любовь как принцип и порядок как основа; прогресс как долг. Любовь ищет порядка и толкает к прогрессу. Порядок укрепляет любовь и направляет прогресс.

⁸⁶ Прозелит — новообращенный (греч. букв. пришелец), здесь — новый горячий приверженец чего-нибудь. — Ред.

Прогресс развивает порядок и приводит к любви...» «Один — соединение, единство, непрерывность; два — упорядочение, соединение и три — эволюция, последовательность...» «Любовь всемирная поддерживается верой доказуемой, направляет мирную деятельность. Человек становится более и более религиозным...» «Среди самых тяжелых мучений, какие только могут проистекать из любви, я не переставал чувствовать, что существенное для счастья состоит в том, чтобы всегда иметь сердце, достойно исполненное... даже скорби, да, даже скорби, самой горькой скорби»... «Жить для других — вот истинное счастье, а также истинный долг». «Любить еще лучше, чем быть любимым. Нет ничего реального в мире, кроме любви». «Люди устают мыслить и даже действовать, но они никогда не устают любить, даже говорить о любви».

В таком роде все молитвы Конта. Это — набор отдельных мыслей, в которых постоянно звучат слова: любовь, жизнь для других, прогресс, порядок. Хорошие слова звучат, но сердце всякого постороннего человека едва ли отзовется на них, так как сердце человеческое не имеет обыкновения отзываться на все деланное, надуманное, лишенное непосредственного чувства.

Особенно большое значение в новом учении получает поминовение. «Мир управляется мертвецами», — говорит Конт. В качестве первосвященника он считает своей обязанностью произносить окончательный суд над усопшими и с этой мыслью выступает с надгробным словом на могиле известного ученого Блэвилля, дружившего когда-то с философом, но впоследствии разошедшегося с ним. Он признает за покойным научные заслуги, но вместе с тем открыто и прямо заявляет, что главный порок его, вредивший и его научной деятельности, был эгоизм. Как первосвященник Конт должен был естественно заботиться не столько о поминовении отдельных усопших, сколько о создании всеобщего культа коммеморации⁸⁷. С этой мыслью им был составлен еще в 1849 году «Позитивистский календарь», посвященный прославлению выдающихся мыслителей и деятелей человечества. В этом календаре в строго иерархическом порядке он распределяет по месяцам, неделям и дням свыше 500 имен.

Все наши теперешние названия дней и месяцев упразднялись и заменялись именами тех передовых борцов человечества, воспоминаниям о которых они посвящались. Так, месяцы в их обычном порядке, с прибавкой тринадцатого, у позитивистов носят следующие имена: Моисей, Гомер, Аристотель, Архимед, Цезарь, св. Павел, Карл Великий, Данте, Гуттенберг, Шекспир, Декарт, Фридрих и Биша. Затем каждая неделя в свою очередь посвящалась какому-либо выдающемуся представителю человечества и его имя присваивалось воскресенью; наконец каждый день в неделе имел своих великих мертвецов, а в иных случаях даже несколько. Таким образом, перед взором позитивиста выступает все человечество в лице своих лучших представителей, взятых из всевозможных сфер: тут и властители, тут и завоеватели, тут и религиозные первоучители, и философы, и астрономы, и естествоиспытатели, и изобретатели, и поэты, и мыслители, и т.д.; тут и евреи, и римляне, и греки, и французы, и немцы, и англичане и т.д.

Календарь должен служить ежедневным напоминанием того, что сделало человечество для живущих поколений, связывать прошедшее с настоящим и в конце концов возбуждать отвращение к анархии, которая не признает ничего заветного и святого в достоянии, завещанном предками, и все здание долголетней

⁸⁷ Ознаменования памяти (франц.). — Ред.

человеческой культуры стремится превратить в руину. Вводя в повседневный обиход имена великих людей, Конт надеялся тем сильнее закрепить в сердцах людей положительный культ человечества.

Два капитальных произведения Конта — «Курс положительной философии» и «Система положительной политики» — также относятся к его общественным деяниям. Но они заслуживают более обстоятельного изложения, которое читатель и найдет в последующих главах.

Глава V

ПОЗИТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Единство двух половин жизни Конта и двух его капитальных трудов. — Что такое положительная философия? — Относительный характер позитивной философии. — Метод. — Содержание «Курса положительной философии». — Классификация наук. — Основной закон трех состояний. — Науки. — Социология. — Социальная статика: индивид, семья, общество. — Социальная динамика: фетишизм, политеизм, монотеизм

«Посвятив по естественному влечению, начиная почти с самого детства, все силы мои, — пишет Конт, — на служение великому делу социального преобразования, бесповоротно провозглашенному моими предшественниками, я имел счастье своевременно убедиться, что такое благородное предназначение всей моей жизни потребует прежде всего большой научной подготовки. Покончив вполне с этим трудным основным условием, путем продолжительных систематических и добровольных усилий, я должен был направить вслед за тем мои первые личные труды на духовную реорганизацию современного общества, которая одна только может служить солидным основанием для дальнейшего действительного обновления собственно политического строя. Но самым ходом этих первоначальных занятий я скоро был приведен к тому (вот уже 20 лет), что всякое подобное общественное предприятие окажется неизбежно преждевременным, пока оно не будет опираться на полную систематизацию всех наших истинных представлений — систематизацию, следуя которой общественный разум подвергся бы предварительно подобному же постепенному умственному посвящению, какое пережил я индивидуально и от чего я до тех пор думал, что можно будет освободить публику. В силу такого убеждения я должен был, почти на пороге своей карьеры, отложить свою великую политическую работу, чтобы посвятить первую половину моей общественной жизни основам истинной философии, необходимой опоры всех дальнейших трудов по части общественного обновления. Мой личный кризис в 1826 году, принявший столь ужасное течение, благодаря нравственным страданиям, терзавшим меня среди напряженных умственных занятий, завершился установлением внутреннего равновесия и привел меня к общему представлению о новой философии, долженствующей наконец придать XIX веку спекулятивный характер, в отличие от предшествовавшего века. Кроме чрезвычайных умственных трудностей, встретившихся при построении такой философии, заботы о собственном здоровье и разные личные помехи, внешние и внутренние, сильно затянули выполнение этого великого предварительного предприятия, которое, как нам быть может известно, окончено всего лишь три года тому назад. Покончив

с этим делом, я должен был, следуя естественному плану всей своей общественной жизни, возвратиться, пользуясь установленным уже широким и прочным базисом, к своей первоначальной работе над общественной реорганизацией, которая, как я только что заявил, должна составлять неперемennую цель второй половины моей деятельности. Таков, следовательно, должен быть общий ход моей философской эволюции, разделенной в силу необходимости на две великие эпохи: одна по преимуществу умственная, где социальная точка зрения представляется лишь в качестве главного повода к отвлеченной систематизации, и другая вполне социальная, где дело идет наконец о перестройке, сообразно с установленным раньше учением, нравственной жизни человечества. Если бы я упорно настаивал на систематизации чувств прежде, чем систематизировать идеи, то мое философское развитие, несогласное с естественной связью явлений, приняло бы неизбежно смутный и даже мистический характер, в конце концов опасный, так как он способствовал бы поддержанию существующей анархии вместо того, чтобы покончить с нею. Но теперь, когда умственное основание заложено надлежащим образом, я должен обратить свои главные усилия прямо к нравственной части моего великого предприятия... В моем главном труде дух исследования и даже дух критики должен был преобладать, чтобы я мог подняться постепенно, следуя естественному порядку различных наших понятий, к истинной точке зрения человеческой мудрости. Теперь, когда я укрепился здесь твердо, дело будет заключаться в догматизации социального характера на основе уже допущенных принципов, — догматизации, которая должна иметь в виду систематизацию наших главных чувств. Одним словом, я могу теперь считать, что превосходство позитивизма в умственном отношении установлено с достаточной ясностью, по крайней мере для всех передовых умов, и что мне остается, следовательно, в своем втором великом труде установить также его нравственное превосходство, единственное серьезно оспариваемое в настоящее время».

Так рассказывает сам Конт о двух половинах своей умственной жизни и двух своих главных трудах, между которыми большинство критиков и толкователей позитивного учения находят глубочайшее противоречие. В глазах самого Конта, как мы видим, не только не было никакого противоречия, но, напротив, вся жизнь его и вся работа его совершались, можно сказать, по заранее обдуманному плану и исполнены полного единства. Я мог бы привести массу цитат из самих сочинений, подтверждающих эту же мысль, но письмо к человеку, которого Конт боготворил и с которым никогда не позволил бы себе быть неискренним, мне кажется, лучше всяких рассуждений, предназначенных для посторонних людей, раскрывает суть дела. Конт действительно был глубоко убежден в единстве и цельности своей философско-социальной теории. Он обдумывает как единое то, что впоследствии критики расчлениают надвое и считают исполненным глубочайшего противоречия. Он заранее уже предreshает, какие шаги должен будет сделать, чтобы достигнуть поставленной себе цели, а критики находят, что он сделал шаг вперед, чтобы затем сделать два назад. Если бы идеи, изложенные в «Позитивной политике», возникли в голове Конта во второй период его жизни, то, может быть, упомянутые критики были бы и правы.

Но мы знаем, что дело вовсе не так, что идеи эти не только ясно представлялись Конту в первый период его жизни, но что под прямым влиянием именно их он создает и саму «Позитивную философию». Каким же образом он мог бы создать великое произведение, как это признается критиками, нося в душе своей и даже лелея вопиющее противоречие? Так представляется дело с точки зрения психологического анализа. Но если мы вникнем в сущность позитивной философии

и в сущность социальной теории Конта без всякого предубеждения, что одно прогрессивно, а другое — ретроградно, то также не найдем возможным отрицать совместимость обоих этих учений в одной философской голове. Пора снять обвинение в противоречии того, что кажется противоречивым только под влиянием разных политических симпатий и убеждений. Если позитивная философия Конта может мирно уживаться и с его социальными теориями, и с другими буржуазно-либеральными политическими теориями, то это говорит только о всеобъемлемости ее.

Я не имею ни намерения, ни возможности вдаваться здесь в какую бы то ни было критику учения Конта и в нижеследующих главах постараюсь лишь отметить самым беглым образом важнейшие мысли, развиваемые им главным образом в двух сочинениях: «Курсе положительной философии» и «Системе положительной политики».

Что такое положительная философия? Конт употребляет термин «философия» за отсутствием другого, более подходящего к целой совокупности его учения. Согласно древним, он понимает под философией общую систему человеческих познаний. Он надеется, что прибавляемое им прилагательное «положительная» рассеет всякие недоумения, возникающие при слове «философия». Его учение имеет дело только с положительными, то есть наблюдаемыми фактами. Положительные же, наблюдаемые факты составляют предмет и различных отдельных наук. Одной из них, именно социологии, он придает особенное преобладающее значение в ряду других. Поэтому и вся его философия получает преимущественно социальный характер. Затем прилагательным «положительная» Конт отметил еще одну характерную особенность своего учения. Он находил, что время критической разрушительной работы прошло и что настала пора созидательной, положительной работы. Естественно поэтому, что так называемый критицизм играет в его философии весьма второстепенную роль. Итак, философия Конта не есть лишь просто совокупность отдельных наук (или, вернее, их общих утверждений), а совокупность эта, устанавливаемая на основе положительно-социальной в противоположность критическо-познавательной. Своим строго научным характером позитивная философия глубоко различается от всяких теологических учений, а также и от метафизических систем, которые, по выражению Конта, являются своего рода уклонком, преходящей примесью между теологическим и позитивным мировоззрением. Задача позитивной философии — объединить отдельные науки и послужить таким образом основанием новой социальной религии. «Социальная доктрина, — говорит Конт, — есть цель позитивизма, а научная доктрина — средство».

Относительный характер положительной философии. Основываясь на науках, положительная философия отказывается от исследования «конечных» и «начальных» причин, отвергает всякий абсолютизм. Она отмежевывает себе только область явлений, единственную, доступную нашему знанию; она изучает соотношения между явлениями во времени или пространстве и, подмечая известное постоянство, устанавливает законы.

Метод. Положительная философия признает только научный метод, то есть индукцию и дедукцию, большее или меньшее приложение которых зависит от характера изучаемых явлений. Конт полагал, что метод выясняется лучше всего из самого дела, из той работы, которую совершает человек, руководствуясь тем или

другим методом. «Метод, — по его мнению, — изучается только тогда, когда прилагается». Поэтому у него в «Курсе положительной философии» нет того, что называется методологией.

Содержание «Курса положительной философии». Изучая природу, человек изучает также и способы воздействия на нее. Отсюда — две совершенно различные области: науки теоретические и науки прикладные. Конт считает невозможным, по крайней мере в настоящее время, систематизировать и объединить те и другие в одном философском изложении. Для этого он считает необходимым предварительную научную разработку специальных понятий, которые должны затем послужить основанием для общих выводов прикладной науки. Но таких промежуточных доктрин между чистой теорией и непосредственной практикой еще не существует; можно указать лишь их зародыши. Поэтому в «Курсе положительной философии» рассматриваются только научные теории и вовсе опускается их приложение. Затем следует различать еще абстрактные и конкретные науки. Первые, общие, занимаются изучением законов, управляющих известными группами явлений, причем захватываются все явления данного рода, какие только можно себе представить. Вторые, частные, описательные, занимаются приложением этих законов к действительной истории и жизни различных существующих и существовавших предметов. Или иначе, абстрактные науки имеют дело с явлениями, а конкретные — с существами или предметами. Конкретные науки, не обладающие еще научными теориями, также не могут быть включены в «Курс положительной философии», который, следовательно, обнимает одни только абстрактные науки. В будущем же позитивная философия должна систематизировать весь цикл человеческих познаний: науки прикладные (искусство), науки конкретные и науки абстрактные.

Классификация наук. Классификация наук — один из основных пунктов «Курса положительной философии». Всякая классификация, по мнению Конта, обязательно страдает недостатками, будучи если не произвольной, то во всяком случае искусственной. Невозможно расположить науки в таком порядке, чтобы они строго соответствовали своему естественному развитию и своей взаимной зависимости. Положение всякой науки можно вести двояким образом: историческим или догматическим. Излагая исторически, мы нередко будем грешить против взаимозависимости отдельных наук. Излагая догматически, нередко будем грешить против их естественного развития. Насколько затруднительно выработать совершенную классификацию, указывает между прочим то обстоятельство, что выбирать приходится между 720 различными комбинациями, так как число основных наук нельзя считать меньше шести. По мнению Конта, изложение наук должно носить догматический характер; того требует современное состояние наших знаний и задачи умственного образования. Данные из истории наук могут служить только вспомогательным элементом. Итак, науки, составляющие позитивную философию, должны быть распределены соответственно их взаимозависимости; эта же последняя определяется взаимной зависимостью соответствующих явлений, то есть взаимной зависимостью явлений, изучаемых отдельными науками.

Обращаясь к самим явлениям, мы находим, что их можно распределить на небольшое число групп таким образом, что разумное изучение одной группы явлений будет покоиться на знании основных законов предыдущей группы и, в свою очередь, служить основанием для изучения явлений, отнесенных к последующей группе. В первую группу естественно должны попасть явления,

отличающиеся наибольшей простотой и общностью, и все дальнейшие группы будут определяться возрастающей сложностью и убывающей общностью явлений. Таким образом, науки должны классифицироваться по их возрастающей сложности и уменьшающейся общности; мы должны начинать с наиболее общих и наиболее простых явлений и последовательно переходить к наиболее сложным и потому наиболее трудным. Все окружающие нас явления распадаются первым делом на две большие группы: явления неорганических тел и явления органических тел. Первые, в силу только что установленного принципа, должны изучаться раньше вторых. Первые дают начало неорганической физике, вторые — органической физике. Неорганическая физика распадается на физику небесную, астрономию и физику земную, состоящую из двух наук, физики собственно и химии. Физика органическая занимается, с одной стороны, явлениями, относящимися к особи, с другой — явлениями, относящимися к виду или обществу; а отсюда две науки: физиология и социальная физика. Таким образом, положительная философия распадается на пять основных наук: астрономию, физику, химию, биологию и социологию. Первые изучают самые общие и самые простые явления, имеющие самую отдаленную связь с человечеством. Последняя же, социология, наоборот, имеет дело с явлениями наиболее сложными, наиболее специальными и конкретными, наиболее тесно связанными с человеческими интересами. В начале этого научного ряда Конт ставит еще математику, как науку, занимающуюся самыми общими и наименее сложными явлениями. Конт находит, что предложенная им классификация наук, во-первых, совпадает с естественным распределением знаний, принимаемых учеными в различных отраслях изучения природы; во-вторых, соответствует действительному историческому ходу развития наук; в-третьих, указывает относительную степень совершенства различных наук; в-четвертых, — чему Конт придает особенно большое практическое значение, — она определяет общий план рационального образования. Всякую данную науку можно плодотворно изучить, лишь изучив предварительно те основные науки, которые предшествуют ей в ряду классификации; так, тот, кто хочет посвятить себя позитивному изучению явлений общественной жизни, должен изучить предварительно астрономию, физику, химию и биологию. На этой же мысли должно быть построено и будущее воспитание человечества. «Если лучшей классификацией, — говорит Милль, — должна считаться та, которая обоснована на свойствах наиболее важных для наших целей, то классификация Конта вполне соответствует этому требованию. Располагая науки в порядке сложности их предметов, она представляет их в порядке трудности. Каждая наука предлагает себе более трудную задачу, чем та, какую имеют науки, предшествующие ей, и, следовательно, совершенство останется для нее всегда менее доступным и если будет достигнуто, то, вероятно, позже. Вдобавок к этому каждая наука для установки своих истин нуждается в истинах всех предыдущих наук». С течением времени, однако, эта классификация подверглась довольно существенным изменениям. Была прибавлена седьмая наука — позитивная этика; затем многие последователи Конта признавали необходимым ввести в нее психологию и политическую экономию.

Основной закон трех состояний. Закону трех состояний Конт придает чрезвычайно важное значение. В ограниченном смысле он относится к собственно социологии, при изложении которой Конт и развивает его с достодождливой аргументацией и обстоятельностью. Но вместе с тем он есть основание и оправдание самой позитивной философии. Философия, как и человечество вообще, проходит в своем развитии три последовательные ступени. Без победы социальных инстинктов над

эгоистическими невозможно было бы общество. Поэтому уже на самых первых ступенях развития человечества всякая теория, содействующая такому торжеству, должна была приветствоваться как благо. Руководители человеческого общества не могли, если бы даже им и пришло в голову это, ожидать, пока опыт раскроет им действительную природу мира; они, или вообще все люди, хватались за первое учение, которое ослабляло себялюбивые индивидуалистические стремления и приводило к большему единению. Все такие учения неизбежно носили антропоморфический характер. О неизменных законах тогда не имели еще понятия и на место их ставили волю многих или одного существа. Полное торжество этого мировоззрения заключало в себе зародыши разложения, так как поле деятельности сверхъестественного существа было постепенно ограничиваемо и наконец отодвинуто всецело в область прошедшего. Человечество вступило в метафизический фазис развития. Сверхъестественные антропоморфические деятели заменены были отвлеченными силами, сущностями, способными производить все наблюдаемые явления. Однако при ближайшем рассмотрении эти сущности оказываются просто названиями известного рода явлений и, помимо этих явлений, не заключают в себе никакого положительного содержания. Из своих абстракций метафизика не могла создать учения, какое необходимо людям для того, чтобы устроить и упорядочить свою жизнь. Но она явилась могущественным орудием в деле критики и разрушения. Она согнала, можно сказать, прежних сверхъестественных деятелей с их седалищ, но сама оказалась бессильна, по своей внутренней пустоте, занять их место. С развитием метафизических идей связаны многочисленные революции как в области мысли, так и в области человеческой жизни. Таким образом расчищалась почва и подготавливалось наступление третьего момента в развитии человечества и третья фаза его философствования — позитивизм. В позитивном состоянии ум человеческий, отказывается от выработки абсолютных понятий, от исследования начала и конца мира, от познания основных причин и так далее и стремится открыть лишь действительные законы явления. Третья позитивная ступень развития человечества есть таким образом торжество науки, зародыши которой мы находим уже на первой теологической ступени и настойчивые стремления к которой порождают собственно промежуточный период, названный Контом метафизикой. Достигнув позитивного состояния и выработав себе положительное учение, человечество получает наконец возможность выйти из состояния анархии и создать новый общественный строй, в котором эгоизм будет всецело подчинен альтруизму.

Обращаясь к наукам, составляющим содержание «Курса положительной философии», мы должны заметить, что они также подчиняются в своем развитии закону трех состояний. Все они зарождаются в теологическом состоянии, переживают метафизическую фазу и затем вступают в позитивное, окончательное состояние. Но, понятно, не все они одновременно проходят через эти моменты. В то время, как, например, астрономия стала уже вполне положительной наукой, биология не может освободиться от некоторых метафизических представлений, а социология страдает даже от теологических тенденций. Положительная философия, как систематизация наук, была немыслима, пока социология находилась всецело во власти теологических и метафизических идей. Поэтому-то Конт, прежде чем задумать ее, работал над социальными вопросами и, только открыв закон трех состояний, нашел возможность приступить к философской систематизации знаний; поэтому же он и в своем «Курсе» отводит социологии целых три тома, как науке, которую нужно было не только изложить в ее самых существенных чертах, но и разработать. Таким образом, «Курс положительной

философии» является, в глазах Конта, последним словом в постепенном переходе человечества от состояния теологического через метафизическое к позитивному.

Науки. Мы не будем останавливаться здесь на лекциях, посвященных математике, астрономии, физике (с ее подразделениями на барологию, термологию, акустику, оптику и электрологию), химии и биологии, и ограничимся лишь общим замечанием по поводу их Милля. «Касательно первых пяти основных наук своего ряда Конт достиг, — говорит английский мыслитель, — предположенной цели с успехом, которому едва ли можно достаточно надивиться. Даже менее изумительную часть его общего обозрения, — том о химии и биологии, который уже тогда стоял ниже действительного состояния этих наук и находился далеко позади нынешнего положения их, — даже этот том нам никогда не случалось открывать без того, чтобы не почувствовать каждый раз всей обширности умозрения, заключенных в нем, и не убедиться, что путь поставить эти науки на совершенно рациональную ногу, далеко еще не вполне усвоенный большинством занимающихся разработкой их, нигде так успешно не был указан». Заметим еще, что Конт отрицает психологию как науку. Он не находит нужным выделять психические явления из общей сферы биологических явлений и применять к изучению их какие-либо особенные методы. Вместо того, он признавал френологию Галля. Считая эту науку недостаточно разработанной, он во всяком случае принимал разделение мозга на три области: склонностей, чувств и ума. Впрочем, в «Курсе положительной философии» Конт касается лишь слегка всех этих вопросов и развивает обстоятельнее свои взгляды в «Системе позитивной политики». На шестом члене Контова ряда — социологии — мы должны остановиться несколько дольше.

Социология. Наука об обществе находится еще в хаотическом состоянии. Она не освободилась еще от тео-лого-метафизических воззрений и потому во многом напоминает собой то, чем была астрология перед астрономией, алхимия — перед химией и т.д. Излагаемые учения отличаются безусловным характером, а практикуемый обыкновенно метод отдает предпочтение воображению над наблюдением. Позитивная социология отказывается от всяких абсолютных представлений. В смене и сосуществовании общественных явлений она стремится уловить известные постоянные соотношения и представить их, как подчиненные известным законам. Что же касается метода, то она обращается, как и другие науки, к наблюдению, опыту, сравнению. При этом наблюдение общественных явлений (как, впрочем, и всяких иных) не может совершаться успешнее, если наблюдатель не руководствуется никакой предварительной теорией и не знает, на что ему собственно следует обращать внимание. В социологии индуктивный метод следует предпочитать дедуктивному, так как всякие выводы из общих свойств человеческой природы, ввиду чрезвычайной сложности изучаемых явлений, легко могут оказаться крайне ошибочными. Для индукции же представляется широкое поле благодаря массе накопленного историей материала. Затем в социологии следует идти не от частей к целому, а, наоборот, от целого к частям, от всей совокупности социальной жизни — к отдельным ее сторонам. Социология распадается на два больших отдела — статику и динамику. Первая занимается изучением условий существования общества; вторая — условий их непрерывного движения, или, иначе сказать, первая имеет дело с порядком, а вторая — с прогрессом обществ.

Социальная статика. Общие условия социальной жизни должны быть рассмотрены, во-первых, по отношению к личности, во-вторых, по отношению к семье и, в-третьих, по отношению к обществу, которое в своем дальнейшем развитии должно обнять все человечество. Обращаясь к личности, Конт находит, что у человека эмоциональные способности преобладают над умственными, хотя и в меньшей степени, чем у других животных. Затем человеку свойственно естественное стремление к общественности, к совместной жизни, независимо от личных расчетов и нередко даже наперекор личным интересам. Инстинкты низшие, эгоистические преобладают в человеке над более благородными. Хотя общество держится на социальных инстинктах, но личные также необходимы для социального развития, которое совершается, можно сказать, в сфере антагонизма между теми и другими. Подобного же рода антагонизм наблюдается и между отношением личности к труду, как к чему-то неприятному, желанием избежать его и необходимостью труда для удовлетворения потребностей. Тот или другой склад общества зависит главным образом от того, в какой степени лучшие побуждения в обоих указанных случаях преобладают над худшими. Семья составляет основной элемент всякого общества и является первоначальным основным типом его устройства. По мере развития общества семья претерпевает различные изменения, иначе семья, а вместе с нею и обществу угрожает опасность разрушения. Особенности эти: первая — подчиненность пола, вторая — подчиненность возраста. Жена должна быть подчинена мужу, и дети — родителям. Брак — нерасторжим. Равенство полов — пустое революционное разглагольствование, которое начинает терять кредит под влиянием биологической философии. Мужчина является представителем ума, женщина — привязанности. Такая неизменная экономия человеческой семьи не может быть нарушена, пока не произойдет каких-либо коренных изменений в нашей физической организации. Затем только в семье человек получает надлежащую подготовку к общественной жизни, научаясь повиновению, поэтому-то подчинение детей родителям представляет в высшей степени важное обстоятельство в организации всякой семьи. Нигде повиновение не может быть так полно и так добровольно, покровительство так трогательно и преданно, как в семье. Семейная жизнь является школой общественной жизни, идеалом повиновения и власти. Кроме того, она создает и поддерживает традиции, связывает настоящее с прошедшим и будущим, а всегда будет чрезвычайно важно, чтобы человек не считал себя рожденным накануне.

Общество. Разделение труда составляет главное основание общественного единения; оно же производит и все возрастающее усложнение общественного организма. Разделение труда благотельно не только в материальном отношении, но также и в нравственном, способствуя развитию общественного инстинкта. Постепенно усложняясь, разделение труда охватывает все человечество и превращает его таким образом в один организм. В идеале общество распределяет занятия между своими членами так, чтобы поставить каждого в положение, наиболее соответствующее его способностям, воспитанию и всему прошедшему. Но разделение труда имеет и свою отрицательную сторону. «Возрастающая специализация занятия, то есть разделение рода человеческого на бесчисленное множество незначительных групп, из коих каждая имеет дело с самой маленькой долей всей работы общества, имеет свои неудобства как в умственном, так и в нравственном отношении, неудобства, которые, если не будут исправлены, могут повести к серьезному сокращению выгод развивающейся цивилизации. Интересы целого — направление всего к целям общественного союза — все менее

и менее становятся доступными умам людей, которые имеют ограниченную, тесную сферу деятельности. Незначительная частность, составляющая все их занятие, бесконечно малое колесо, которое они помогают вертеть в машине общества, не в состоянии возбудить или удовлетворить какое-либо чувство общественности или сознание своего единства с себе подобными... Ум человека становится ограниченное, его сознание великих идей человечества тускнеет все более и более при сосредоточении всех мыслей, положим, на классификации нескольких насекомых или на решении нескольких уравнений точно так же, как и при сосредоточении их на точении булавок или насаживании на них головок» (Милль). Возникают корпорации, которые объединяют людей, посвятивших себя одним и тем же занятиям, но вместе с тем отдаляют их от прочего человечества и лишают их возможности понимать надлежащим образом общечеловеческие интересы. Общество неизбежно разложилось бы, если бы из недр его не возник класс, который руководит и направляет разъединенные действия людей к одной общей цели, поддерживая всеобщее сознание солидарности. Класс этот — правительство в широком смысле слова. В первоначальные времена в лице правителей соединялись власть материальная и власть духовная. Но католицизм резко и бесповоротно разделил их. Организованная духовная власть, пользующаяся полным авторитетом в умственной и нравственной сфере, представляет теперь такую же необходимую особенность всякого нормального состояния общества, как правительство, как само разделение труда. Характер же этой духовности зависит от умственного и нравственного развития общества. В средние века он был один, в настоящее время — другой.

Социальная динамика. Прогресс общества состоит в развитии человеческих свойств — нравственных, умственных и эстетических — преимущественно перед животными. Человечество все ближе и ближе продвигается к своей цели, хотя и не в состоянии вполне достигнуть ее. Умственный прогресс играет первенствующую роль в этом движении. Нельзя сказать, чтобы умственная сторона была самая сильная в человеческой природе, но она всегда является в роли руководительницы и действует не одними своими силами, а совокупностью всех способностей и чувств, какие только она успевает увлечь за собою. Чувства и наклонности тогда только проявляются с полной силой, когда во главе их становится разум. Только общие верования, убеждения приводят к согласному действию массы людей, движимых разнообразными страстями, и превращают их в коллективную силу. Поэтому умственное развитие человечества можно принять за показатель его умственного развития вообще, и ступени, проходимые человечеством в его умственном развитии, будут последовательными ступенями его развития вообще. Таким образом, определяются три последовательных периода: теологический, метафизический и положительный, с соответствующими им экономическими фазами, представляющими переход от военного состояния к промышленному. Первоначальную ступень развития составляет фетишизм. Человек считает все окружающие тела одушевленными жизнью, сходной со своей. В этом состоянии зарождаются уже искусства, промышленность, торговля. Наблюдение со временем приводит к обобщениям и вместо индивидуальных фетишей являются боги, обобщающие собою уже целые ряды явлений. Наступает эпоха политеизма. В научном отношении политеизм впервые пробуждает работу спекулятивной мысли и содействует развитию духа наблюдения и наведения. В эстетическом отношении он дает могущественный толчок развитию искусств. В военном возбуждает дух завоеваний и облегчает дело постепенного слияния племен, благодаря тому, что побежденные могли соединиться с победителями, не отказываясь от своих

верований и обрядов. При политеизме возникает учреждение рабства, заменившее поедание пленников или принесение их в жертву и представляющее в этом отношении громадный шаг вперед; рабство же является школой, в которой масса людей приучается впервые к тягелому, усиленному труду; таким образом, кладется прочное основание дальнейшему развитию промышленности. Политеизм не знает разделения светской и духовной власти: авторитет мысли, в то время чисто религиозной, и исполнительная власть, по существу военная, всегда соединялись в одном лице. В нравственном отношении общества, державшиеся на рабстве, стояли на низкой ступени развития; смешение светской и духовной властей вело к подчинению нравственности политике, то есть к нарушению нормального положения, когда нравственная точка зрения, как общая и неизменная, должна господствовать над политической, как специальной и преходящей. Только с переходом человечества к монотеизму и, в частности, к католицизму это отношение радикально изменяется. Духовная власть резко и совершенно отделяется от светской и приобретает полную независимость; вместе с тем нравственность освобождается от подчинения политике и получает принадлежащее ей по праву направляющее, руководящее значение. В политическом отношении происходит глубочайший переворот. Последний смертный, в силу общепринятого кодекса нравственности, получает право напоминать всесильному властелину о непреклонных требованиях исповедуемого им учения. Среди порядка вещей, основанного единственно на рождении, богатстве, военных заслугах, образуется многочисленное и могучее сословие, которое открыто признает, что право на руководительство, преобладание дает одно только умственное и нравственное превосходство. Небывалое расширение избирательного принципа, безбрачие духовенства, непогрешимость папы, его светская власть, исповедь, монастырь, распространение народного образования и многое еще другое — все эти особенности в организации католической церкви имели громадное социальное значение. Древний мир, претерпевший такое глубокое преобразование в духовном отношении, начинает естественно преобразовываться и во всех других. Военная деятельность изменяет постепенно свой наступательный характер в оборонительный. Рабство заменяется крепостным состоянием. Возникает рыцарство, имевшее свою социальную миссию. В нравственном отношении католицизм выдвигает на первый план личные добродетели, придавая им общественное значение. По отношению к семейной нравственности он утверждает родительскую власть, уничтожая вместе с тем почти безграничный деспотизм, господствовавший до того времени в отношении родителей к своим детям; он упрочивает и улучшает положение женщины, обеспечивая за нею справедливую долю свободы и учреждая неразрывный брак. По отношению к общественной нравственности он ставит на место узкого патриотизма, руководившего поступками людей древнего периода, высокое чувство всемирного братства. В чисто научном и эстетическом отношении влияние католицизма выразилось слабее, но уже в его недрах зародилось то могущественное движение, которое развилось в последующий переходный период. В промышленном отношении громадным шагом вперед было уничтожение рабства и начавшееся движение в сторону полного освобождения закрепощенного народа; наконец в эту же эпоху возникает стремление к замене человеческого труда механической силой. Этот блестящий католико-феодальный строй начинает разлагаться в XIV веке по внутренним причинам, раньше каких бы то ни было нападков на него со стороны отрицательных учений. В развитии человечества наступает переходный метафизический период. Разрушение старого порядка совершается сначала бессознательным путем, и только с возникновением

протестантизма начинается сознательная разрушительная работа. Таким образом, великая подготовительная (метафизическая) эпоха разделяется на три последовательные фазы. До конца XV века духовное и светское разложение совершается главным образом самопроизвольно, с этого момента оно становится систематическим и до половины XVII века совершается под знаменем протестантской критики. Наряду с разрушением старого порядка совершается выработка положительных элементов будущего строя. В экономическом отношении отмечаются следующие моменты: окончательное освобождение крепостных, развитие промышленных городских общин, уничтожение кастовых различий, возрастающее значение богатства, приобретаемого трудом, расширение торговых сношений, открытие Америки, изобретение компаса, огнестрельного оружия, книгопечатания и в конце концов паровой машины — таковы наряду со многими другими важнейшие приобретения переходного периода. В эстетическом, научном и философском отношениях — выработка новых литературных языков, развитие математики и наук неорганического мира, схоластическая и метафизическая философия и т.д. Все это движение, как в сфере эстетики, так и в сферах научной и философской, получает все более и более общественный характер по мере приближения к критическому моменту, к великой французской революции. Процесс политического разложения совершается, однако, быстрее процесса социального преобразования. В то время, как сознается уже с полной ясностью необходимость окончательного преобразования, характер последнего остается невыясненным надлежащим образом, а положительные элементы невыработанными. Вследствие этого революционный кризис принимает неправильное направление. Но он был необходим. Иначе бессильная дряхлость старой системы оставалась бы неизвестной и пятивековая работа передового человечества лежала бы скованная под спудом закореневших традиций. В самой революции Конт различает два момента: первый (учредительное собрание), когда метафизики-конституционалисты мечтали о неразрывном соединении абсолютического принципа с началами народоправства и католической системы — с умственной эмансипацией; второй (национальный конвент), когда люди, лучше понимавшие дух революции, восстали против подобных политических мечтаний и сделали попытку решительно выступить на новый путь общественного преобразования. Затем последовала реакция. Люди, становившиеся во главе правления, оказывались не на высоте своего положения; они решительно не хотели понять того переворота, который совершился уже в умах людей. Поэтому умственная и нравственная сила попадает в руки каждого, кто хотел и мог овладеть ею. Возникает новая могущественная сила — пресса, и как бы несовершенна она ни была, она во всяком случае красноречиво свидетельствует, какое громадное значение в современных обществах приобретает духовная власть человека над человеком.

Анализом революционной эпохи Конт заканчивает собственно изложение социологии как науки. Когда он проектирует план будущего, то он выступает уже в роли социального реформатора, так как социология до сих пор не дает еще возможности делать предсказания, оставаясь на строго научной почве.

Глава VI

КОНТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР

Отрицательное значение принципов великой французской революции. — Анархия. — Что такое религия по Конту. — Культ. — Социократия. — Личность. — Семья. — Правительство. — Жречество

За выставленными французской революцией всеобщими принципами Конт не признает положительного значения. Абсолютное право свободного исследования, как прямое последствие неограниченной свободы совести, неизбежно влечет за собой безусловную свободу печати, воспитания и вообще всякого рода общения между людьми. Но, как бы ни был плодотворен в свое время этот принцип, его ни в коем случае нельзя считать органическим, творческим началом; в конце концов, когда общество от разрушения переходит к созданию, к упрочению нового порядка вещей, он является даже помехой. Общественный порядок не может установиться там, где всякий человек пользуется безусловным правом беспрестанно оспаривать основные принципы общественной жизни. Точно так же Конт относится и к принципу равенства: по отношению к старому порядку это — прогрессивный принцип, так как он содействовал разложению уже отжившего строя; по отношению же к новому он неизбежно превращается в орудие анархии, мешая действительной способности получить надлежащее значение в общем ходе дел. Наконец относительно принципа верховенства народа Конт находит, что и он препятствует установлению правильного порядка вещей, подчиняя людей избранных, лучших произволу толпы. Господство упомянутых принципов оказалось чрезвычайно печальным для общества. Умственная анархия достигла крайних пределов. Теперь трудно найти нескольких человек, действительно согласных в своих политических, этических, вообще общественных взглядах. Беспрестанные же споры, не имея под собой реальных, всеми признаваемых принципов, опутывают и роняют обычные идеи нравственности, подвергая их сомнению. «Систематическое развращение, как организованное, необходимое средство управления», является неизбежным следствием такого положения общественного порядка, и так как его нельзя достигнуть путем убеждения, то обращаются к подкупу в узком и широком смысле слова. И среди этой всеобщей расшатанности убеждений легко уже получают преобладающее значение вопросы материального и временного характера. Единственный выход из такого положения Конт видит в предлагаемом им социальном учении, получившем у него религиозную форму.

Религия, по мнению Конта, означает единство всех сторон жизни человека, физической, нравственной и умственной, жизни личной и общественной. Религия охватывает все наше существование и устанавливает во всех наших отправлениях полную гармонию. Она предполагает, во-первых, наличность известного мировоззрения; во-вторых, подчинение всех мыслей и действий этому воззрению, в силу чего устанавливается гармония человека с миром, с другими людьми и наконец с самим собой; в-третьих, чувство, которое делает возможным такое единство и направляет человека к одной цели. Слово «религия», говорит Конт, означало бы то же, что и синтез, если бы это последнее не приурочивалось обыкновенно к одной только умственной деятельности. Но такое единство или

гармония не может получиться от свободной игры личных или эгоистических мотивов. Поэтому религия предполагает подчинение со стороны человека чему-либо находящемуся вне его, что охватывает его жизнь со всех сторон и по отношению к чему он становится в неприязненное отношение, как только начинает руководствоваться своим эгоизмом. «Конт верит, — говорит Милль, — в то, что разумеют под бесконечной природой долга, но обязанности, вытекающие отсюда так же, как и все чувства преданности, он относит к конкретному предмету, в одно и то же время идеальному и действительному. Этот предмет — род человеческий, понимаемый, как непрерывное целое, включающее в себя прошедшее, настоящее и будущее... Люди искренние, какого бы верования они ни придерживались, легко могут допустить, что человек, имеющий какой-либо идеальный предмет, к которому он питает привязанность и чувство долга, достаточно сильный, чтобы контролировать и направлять все прочие его чувства и наклонности и предписать ему известное правило жизни, что такой человек имеет религию. Далее, хотя человек естественно предпочитает свою собственную религию всякой другой, однако каждый должен согласиться, что если предмет указанной нами привязанности и чувства долга есть совокупность людей, то такая религия не может быть названа порочной по своему существу... Многие замечали власть, которую в обоих отношениях, и как источник чувства, и как двигатель поступков, может приобрести над нами мысль об общем интересе всего человечества. Но мы не знаем, чтобы кто-либо прежде Конта выставил так полно все величие, какого способна достигнуть эта идея. Он восходит до невидимых пределов прошлого, обнимает собою многостороннее настоящее и проникает в неопределимое и непредвидимое будущее. Представляя нашему уму коллективное существо, начало и конец которого нельзя обозначить, эта идея напоминает о чувстве бесконечного, которое глубоко коренится в природе человека и является необходимым элементом всех наших высших понятий». Человечество представляется Конту тем благодетелем, от которого всецело зависит жизнь отдельного человека. Жизнь человека есть то, что она есть в силу прогрессивного движения человечества, и чем позже человек появляется на свет Божий, тем большим он обязан всему человеческому роду. В состав человечества входят не только люди, оказавшиеся достойными своего назначения, но и животные, работающие наряду с людьми на общую пользу, привязывающиеся к ним и готовые жертвовать за них своей жизнью, как это бывает, например, с собаками. Каждый человек должен служить человечеству, или, иначе, «жить для других», стараясь вовсе забыть о себе. «*Amen te plus quam me, nec me nisi propter te*» («Люблю тебя больше, чем себя, и себя люблю только ради тебя») — таков девиз религии альтруизма (слово, введенное в употребление Контом). Под конец своей жизни, увлекаемый все более и более аллегориями, Конт создал еще два объекта поклонения: «*Grand Fetiche*» (землю) и «*Grand Milieu*» (пространство), как необходимые условия развития человечества, но он не упускал из виду, что это во всяком случае фикция, поэтические вымыслы, могущие восполнять недостаточность наших научных познаний и возбуждать симпатические движения сердца. В своем учении Конт различает догму, культ и *regime*, как, он называет, то есть само устройство жизни. К догматике относится установление тех социальных законов, статических и динамических, о которых речь была в предыдущей главе, причем Конт в дополнение к своему ряду наук прибавляет еще мораль, обосновывая ее на усовершенствованной теории Галля. Затем сюда же относится рассуждение о методе объективном и субъективном, учение о преобладании сердца над умом и наконец установление четырех провидений, руководящих человечеством: морального, умственного, материального и правящего.

Что касается культа, то Конт, лишенный, по совершенно верному замечанию Милля, чувства комического, доходит в этом отношении до чрезвычайно смешных измышлений. Смешны, конечно, не сами стремления Конта дать символическое выражение чувствам, наполнившим его душу, а эта мания все регламентировать, все предусматривать и таким образом живое, непосредственное чувство заковывать в мертвенный, неподвижный ритуал. Культ разделяется на личный, семейный и общественный. Сущность личного культа составляет поклонение женщине, как истинной представительнице человечества и благодетельному ангелу-хранителю; он выражается в молитвословиях. Молитва не включает в себе просьбы. Она состоит из двух частей: воспоминания и излияния. В молитву допускается вставлять отрывки из лучших поэтов. Предметом молитвенного прославления, как сказано, является женщина, именно: мать, супруга и дочь, олицетворяющие прошедшее, настоящее и будущее и вызывающие три основных социальных чувства: почтение, привязанность и доброту. Молитва произносится три раза в течение суток: утром — самая продолжительная: она должна длиться час, среди дня — самая короткая и вечером, на сон грядущий — которая должна длиться около получаса, пока сон не сомкнет глаз. Культ семейный состоит главным образом из девяти таинств, которыми позитивизм освящает важнейшие моменты в жизни человека, именно:

- 1) представление — новорожденный представляется жрецу и при восприимниках принимается в число служителей человечества;
- 2) посвящение — дитя четырнадцати лет заканчивает воспитание в семье и поступает для дальнейшего образования под руководство жреца;
- 3) допущение — юноша двадцати одного года получает от жреца разрешение служить человечеству, от которого он до этого момента все получал, ничего не возвращая;
- 4) выбор призвания — молодой человек двадцати восьми лет определяет окончательно дело, которым он будет заниматься, и решение санкционируется жрецом; только в особых, исключительных случаях дозволялось переменить занятие;
- 5) брак — он признается нерасторжимым и связан с обетом вечного вдовства; мужчина может вступить в брак до тридцатипятилетнего возраста, женщина — до двадцати восьми лет;
- 6) зрелость — она наступает в сорок два года; жрец наставляет достигшего зрелости мужа, что проступки его против человечества с этого момента не будут прощены ему при окончательной оценке его жизни;
- 7) удаление — в шестьдесят три года мужчина удаляется от практических дел и сохраняет за собой только совещательный голос;
- 8) превращение, то есть смерть, по учению Конта, переход из состояния объективного в состояние субъективное и
- 9) причисление усопшего к слугам человечества или вообще оценка его жизни, что делается семь лет спустя после смерти.

Общественный культ состоит из ряда праздников, посвящаемых ежемесячно прославлению, во-первых, самого человечества и главнейших связей, поддерживающих общество (как-то: брака, отношений отцовских, сыновних, братских и наконец прислуги), во-вторых, главных моментов подготовительного развития человечества (фетишизма, политеизма и монотеизма) и, в-третьих, провидения, руководящего нормальной, установившейся жизнью человечества (провидения морального в образе женщины, интеллектуального в образе жречества, материального в образе патрициата и общего в образе пролетариата).

Общество, устроившееся на началах, проповедуемых Контом, получает название социократии. Этого совершенного состояния человечество достигает медленным и трудным путем подчинения эгоистических инстинктов социальным чувствам. Уже в борьбе с природой человек учится подчинению: он может узнать законы природы, только покоровшись сначала природе, а узнав их, уже подчиняет себе и саму природу. Таким образом, человек привыкает подчинять свою волю условиям правильного труда и работать совместно с другими людьми. Можно представить себе и иной путь развития. Если бы все люди, подобно богам, были поставлены в условия, при которых всякое естественное желание удовлетворяется без усилий и борьбы, то социальные склонности скоро бы взяли верх над эгоистическими стремлениями. Так как если бы последние были вначале и чрезвычайно сильными, то они все-таки постепенно замерли бы за отсутствием всяких поводов к проявлению. Всего было бы в изобилии и хватало бы для всех. Поэтому интеллектуальная деятельность, не обостряемая борьбой за существование, приняла бы эстетическую окраску и направилась бы на изобретение форм для выражения социальных симпатий, а последние, наполняя всю жизнь человеческую, развились бы могущественным образом. Переход к позитивному совершился бы без всяких переходных ступеней; любовь, ограничивающаяся сначала семьей, распространилась бы сразу на все человечество, пропуская промежуточный момент — племя, нацию; сердце господствовало бы над разумом, духовная власть — над светской и женщина — над мужчиной. Но в действительности человечество развивалось далеко не таким мирным путем. Оно боролось, враждовало, страдало. И за этот свой мучительный путь оно найдет вознаграждение в том, что окончательное примирение человечества с самим собою и с миром будет гораздо совершеннее и полнее. Общежитие, устроенное на основе вполне развитой, но покоренной личности, много выше того воображаемого рая, в котором всякая борьба за существование была сделана излишней. Это не значит, однако, что человечество всем обязано борьбе эгоистических инстинктов. Из эгоизма не могли бы развиваться социальные стремления. Последние проявляются уже с самого начала, но в чрезвычайно слабой степени, и они пользуются лишь внешними необходимостями человеческой жизни, как рычагом, сильно облегчающим их собственное поступательное движение. В конце концов слабейшее становится сильнейшим, последнее — первым.

Трем абстрактным элементам человеческой жизни, материальной, интеллектуальной и нравственной силе, соответствуют три душевных свойства: воля, ум и сердце, и затем три формы общежития: государство, церковь, семья. Это не значит, чтобы всякая из указанных частей общества воплощала в себе один только из упомянутых элементов и исключала два других. Части общества, как и само общество, представляют нечто целое и потому, наряду с известным преобладающим в каждой из них элементом, существуют и другие. Так, в семье, например, находят выражение все три стороны, но нравственная преобладает. Таким образом, можно сказать, что семью связывают в одно целое любовь, привязанность; государство — материальная цель, деятельность; человечество — умственная жизнь. И затем как характер и дух семьи зависят от женщины, так характер и склад государства определяются практическими деятельными классами, военными или промышленными, а характер и склад церкви — духовенством. Эти три великие социальные силы должны быть организованы надлежащим образом и поставлены в надлежащие отношения друг к другу. При этом следует руководствоваться двумя принципами. Во-первых, не может быть никакого общества без правительства. «Истинная социальная сила есть результат

более или менее обширной кооперации, находящей себе выражение в каком-либо отдельном органе». Только одна физическая сила, и то в органическом смысле, имеет индивидуальный характер; всякого же рода умственная или нравственная сила, по существу социальная, зависит от кооперации многих. Но сотрудничество многих тогда только становится действительно плодотворным, когда оно имеет центр, к которому тяготеет и который направляет его к определенной цели. Иногда первоначально появляется личность, ставящая себе определенную цель и собирающая под свое знамя силы, необходимые для достижения этой цели. Чаше, однако, великие социальные движения бывают результатом непроизвольного стечения многочисленных частных стремлений, действующих вразброд, пока не явится человек, направляющий их к одному общему центру и связывающий их в одно целое. Но во всех случаях действительная социальная сила получается только тогда, когда корпорация найдет свое сосредоточие и индивидуализируется. Во-вторых, Конт считает всеобщим законом, что высшее должно подчиняться низшему. Органическая жизнь подчинена и ограничена условиями неорганического мира; человек может исполнять свое назначение, только подчиняясь физическим, химическим, физиологическим и другим условиям своего существования. Таким образом, высший может господствовать над низшим, только повинаясь этому последнему. То же самое применимо и к социальной жизни человека. На первом месте у людей стоит необходимость удовлетворения своих материальных потребностей; достигается это при помощи военной, а затем промышленной деятельности, представителям которой и должно принадлежать непосредственное управление общественными делами, не потому, чтобы этого рода деятельность была самая возвышенная, а потому, что она — необходимое условие всякой другой. Моральные и интеллектуальные влияния приходят позже, занимают второе место; они могут лишь смягчить грубую энергию практической жизни. Только действуя этим косвенным путем, они получают действительное значение. Вся сила их в самоотречении, в добровольном отказе от непосредственной власти. Присваивая себе последнюю, они теряют чистоту и перестают руководить людьми. Отсюда сама собой следует необходимость безусловного разделения двух властей — светской и духовной. Исходя из этих положений, Конт с удивительной последовательностью и нисколько не смущаясь действительностью намертывает план общественного устройства в ближайшем будущем, определяет характер и взаимные отношения трех главнейших учреждений: семьи, правительства и жречества.

Семья является первой школой, в которой начинается воспитание человека. Она захватывает человека на самой низшей ступени и поднимает его на самую высшую. Семья состоит из мужа и жены, детей их и родителей мужа. В центре семьи стоит женщина. Духовная власть принадлежит ей, но непосредственное управление домом находится в руках мужчины. Роль женщины состоит в том, чтобы влиять на мужчину советами, руководить его деятельностью, быть воплощением нравственной силы любви, но никоим образом не вмешиваться в непосредственные дела; затем на женщину возлагается еще воспитание детей до четырнадцатилетнего возраста. Для того, чтобы женщина могла всецело отдаться своему призванию, она освобождается от работы и получает средства существования от мужа или от родственников, или наконец от государства. Мать мужа, пока она жива, является таким естественным воплощением внутреннего смысла семьи и ее духовной руководительницей. Отец же его ведет материальные дела семьи и пользуется действительной властью; он отказывается от последней по достижении шестидесяти трех лет и передает ее сыну, а сам сохраняет за собой

только совещательный голос. В образе этих стариков, пользующихся совещательным голосом, находит выражение третий элемент человеческой жизни — умственная сила. Итак, женщина в семье представляет нравственную силу, мужчина — деятельность материальную, старики — умственную, и первая должна господствовать над всеми остальными.

Государство (светская власть), по мысли Конта, получает следующее устройство. Прежде государства носили преимущественно военный характер и подчинение всех, ввиду общей опасности, одному руководительству достигалось сравнительно легко. Теперь же государства получили преимущественно промышленный характер и дело организации общества становится тем затруднительнее, что ясно сознаваемой всеми опасности нет уже в виду и что при крушении старых верований индивидуалистические стремления развиваются на полной свободе. Капиталистам, этим естественным руководителям всякого промышленного общества, часто недостает понимания своих социальных обязанностей. А рабочие или пролетарии, вдохновляемые революционными учениями, утрачивают всякое чувство преданности и подчинения и увлекаются разными утопиями равенства, которые представляют в сущности отрицание разделения труда и сотрудничества, то есть отрицание всякой социальной организации. Выйти из такого состояния общество может, только возвратившись к добровольному подчинению своим естественным руководителям, сознающим свои социальные обязанности, как это было в лучшие времена военного режима. Промышленная и вообще трудовая деятельность перестает быть делом исключительно личным и получает социальный характер. Во главе промышленности становятся богачи — хозяева, они — «начальники или предводители промышленности»: они управляют работами и надзирают за всем ходом дела. Праздным богачам, проводящим жизнь в удовольствиях и удовлетворении своих прихотей, в обществе Конта нет места. Вместе с тем Конт отрицает мелкое землевладение и мелкое производство. Развившееся разделение труда и сотрудничество свободно может расширять свои операции до таких размеров, пока он в силах руководить ими. Таким образом, общество будет состоять только из двух классов — богачей и бедняков. Но богач-предприниматель, как социальный деятель, является ответственным перед общественным мнением за употребление вверенного ему капитала и полученных барышей. Он не может расточать капитал, так как этот последний принадлежит не ему лично, а всему человечеству, и ему только вверяется для употребления на общую пользу. Точно так же и из доходов он пользуется лишь известной частью, определяемой им самим заранее и достаточно значительной для того, чтобы не отбить у предприимчивых людей охоты заниматься таким ответственным и трудным делом. Конечно, все эти обязательства и ответственность чисто нравственного характера. В каком же положении будет рабочий класс? Вознаграждение за труд остается по-прежнему делом полюбовного соглашения между предпринимателем и рабочим. В случае несогласия обе стороны могут прибегать к отказу от работы, стачкам и наконец к посредничеству духовной власти. Но полюбовное соглашение будет определяться уже не конкуренцией на рынке, «а надлежащим распределением продукта сообразно потребностям рабочих, с одной стороны, и потребностям и достоинствам предпринимателя, с другой». Часть материальных благ, приходящихся при этом на долю рабочего, определяется Контом следующим образом: рабочий должен располагать жилищем, состоящим из семи комнат, и пользоваться на правах полной собственности всем, что находится в нем, то есть всеми предметами обычного домашнего обихода. Воспитание и медицинская помощь должны быть организованы даровые. Заработная плата устанавливается двоякого рода: одна

помесячная, неизменная, в 100 франков за 28 дней, другая — понедельная, пропорциональная продуктивности труда, но в среднем дающая около 7 франков за рабочий день. При таких условиях бедняки-рабочие не будут завидовать богачу-предпринимателю, который, хотя пользуется большим материальным достатком, но зато несет на себе гораздо большую нравственную ответственность. Что касается собственно политической организации общества, то она представлялась Конту в довольно простом виде. Современные обширные государства разбиваются на мелкие самоуправляющиеся единицы, величина которых не должна превышать Бельгии или Португалии. Правительственная власть сосредоточивается в руках триумvirата из выдающихся банкиров. Один из этих банкиров заведует иностранными делами, другой — внутренними, третий — финансовыми. Они пользуются диктаторской властью, но вместе с тем не получают никакого вознаграждения за исполнение этих своих обязанностей. Власть на всех ступенях, от высших до низших, переходит по «социократическому наследству». Конт решительно отвергал так называемое выборное начало. Он находил, что всякий, стоящий у власти, а также ведущий промышленное предприятие, должен сам избирать себе преемника из наиболее достойных людей, будут ли это его собственные дети или посторонние лица — все равно. Правительственные проекты и предположения, касающиеся существенных вопросов, заблаговременно опубликовываются во всеобщее сведение и подвергаются обстоятельному обсуждению, в интересах чего устанавливается полная свобода слова, печати и союзов. Отсюда мы видим, как далек был Конт от того, чтобы предоставлять действительную, фактическую власть в руки ученого сословия, как то проектировали некоторые позднейшие позитивисты. Царство ученых людей, педантократию, он ненавидел, можно сказать, и практически, по опыту личной жизни, и теоретически. Он находил, что житейскими делами лучше всего могут управлять те люди, которые стоят непосредственно у этих дел. Естественными представителями таких людей он и считает своих банкиров.

Духовная власть должна быть безусловно отделена от светской. Обе эти власти представляют такую же противоположность, как теория и практика. Теория всегда стремится к универсальности, а практика, напротив, — к частности; теория теряет свое беспристрастие и свободу, поставленная в непосредственное соприкосновение с жизнью, а практика теряет свою энергию и напряженность, попав в сферу отвлеченностей, и т.д. Человечество сделало величайший шаг в своем развитии, когда создало необходимость решительного разделения между теорией и практикой. Духовная власть по своему складу и стремлениям должна совершенно отличаться от светской. Личные интересы тут не могут быть терпимы. Духовенство не располагает ни материальными богатствами, ни политической властью. Духовные лица не могут брать платы за свои сочинения или за уроки, даваемые ими, и т.д. Средства существования они получают в переходный период от добровольных жертвователей, а когда новое общество окончательно организуется — от государства, но в самых скромных размерах. Среди духовных не допускается ни специализации занятий, ни разделения труда. Они должны получать энциклопедическое образование и усвоить всю совокупность положительного знания. Желаящие посвятить себя духовной миссии подвергаются испытанию из семи основных наук, начиная с математики и кончая этикой; кроме того, испытывается еще, само собой разумеется, их нравственная правоспособность посвятить себя служению человечеству. Главное назначение духовенства — влиять на волю людей, видоизменять ее и направлять ко всеобщему благополучию человечества, но отнюдь не предписывать само поведение.

Духовенство развивает сознание, что всякое частное занятие есть собственно общественное дело, что все, чем пользуется данное поколение, добыто продолжительными трудами предшествовавших поколений и что мы не имеем права расточать общечеловеческое наследство, но должны передать его с известным приращением последующим поколениям. Оно проповедует и поддерживает собственным примером религию альтруизма, жизнь для других, подчинение ума сердцу, то есть делает только в более обширной сфере то же дело, которое делает женщина в семье. Понятно поэтому, что воспитание подрастающего поколения составляет дело исключительно духовенства. Как духовная власть не вмешивается в практическую деятельность общества, так светская не может иметь никаких притязаний на воспитание. Конт действительно верил, что верования руководят людьми, что они сильнее всякой внешней материальной силы. Его духовенство, лишенное богатства, власти, всяческого блеска и эффекта, производит небывалый общественный переворот и поддерживает новый, во многих отношениях чрезвычайно удивительный общественный строй, пользуясь единственным средством — воспитанием юношества! На духовенство Конт возлагает также оказание медицинской помощи и подачу всевозможного рода советов относительно вопросов как частной, так и общественной жизни, о чем я упоминал раньше. В особенности же оно должно заботиться о том, чтобы богатые и сильные мира сего исполняли свои нравственные обязанности по отношению к стоящим ниже их. Побудительными к тому средствами в руках духовенства служат: во-первых, частное увещание, во-вторых, публичный выговор и, в-третьих, отлучение. Отлученный богач при сильном и единодушном общественном мнении попадает в чрезвычайно неприятное положение: от него отворачиваются положительно все, и он оказывается вынужденным добывать себе кусок хлеба собственным трудом. Я не стану говорить здесь, что на обязанности духовенства лежит также и отправление культа.

Такова "утопия" Конта относительно грядущего социального строя — того строя, который должен сложиться на основах позитивизма. Я не могу входить здесь в критическую оценку Контова идеального общества ни в целом, ни в частях. Да едва ли читатель и нуждается в какой бы то ни было критике всех этих рассуждений о банкирах в роли правителей, о богачах в роли предводителей промышленности, о жрецах в роли духовных руководителей и т.д. Все это слишком фантастично, а местами прямо нелепо. Как бы странно оно нам ни казалось, не следует упускать из виду, какая идея вдохновляла философа. Разрушительные анархические стремления, развивающиеся все более и более в современном буржуазном обществе, вызвали в нем чрезвычайные опасения. Но он считал невозможным бороться с анархией одними только полицейскими, вообще насильственными мерами. Разрушение можно побороть только созиданием. Против отрицательного учения необходимо выставить положительное. Социально-реформаторские построения Конта интересны как одна из попыток в этом деле, и притом попытка человека, обладавшего громадными историческими и научными познаниями.

Глава VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учение Огюста Конта, позитивизм, — весьма крупное явление в духовной жизни современной Европы. Конт пытался создать всеобщее учение: философское, научное, социальное, религиозное. Едва ли можно указать хоть один сколько-нибудь существенный вопрос из любой сферы, которого он не затронул бы. Естественно поэтому, что он должен был вызвать к себе самое разнообразное отношение. Приведем мнения некоторых писателей и попутно постараемся выяснить, насколько учение Конта в целом и в своих главных частях можно считать принятым или отвергнутым в настоящее время. При этом я обойду молчанием, как не представляющих для нас в данном случае интереса, писателей, стоящих на почве учений, уже поживших и отживающих свое время. Возьмем сначала собственно положительную философию Конта. Наряду с писателями, признающими ее от альфы до омеги, мы встречаем других, относящихся к ней довольно-таки скептически. Так, известный ученый Гексли писал еще в 1869 году:

«Когда я изучал характеристические черты положительной философии, то нашел в ней весьма мало, я могу даже сказать, решительно ничего такого, что имело бы какую-нибудь научную ценность, и взамен того нашел много особенностей, столь же противных самой сущности науки, как и все, что есть противоположного в католическом ультрамонтанстве⁸⁸».

Г. Лесевич, обладающий обширными познаниями относительно движения философской мысли в современной Европе, делает такую оценку Конта в своем последнем сочинении:

«Конт, хоть и угадал, что впредь философия должна строиться на научных основах, но, взявшись за дело, с первого же шага пошел по старой тропе догматизма и вместо системы научной философии дал нам схему наук, в которую едва-едва вкраплены намеки на философский критицизм и которая слишком часто перегибается в наивный реализм, лишаящий ее значительной доли того философского значения, какое она могла бы получить в руках мыслителя, соединяющего в себе с природной силой достодолжную философскую подготовку... Так как, к несчастью, философские знания Огюста Конта были скудны и философское его развитие поэтому стояло на уровне невысоком, то в результате оказалось, что, кинув бессознательно две-три беглых критических заметки, он все свои силы потратил сперва на построение схемы, долженствовавшей при развитии критического начала отойти на второй план, а потом и совсем сбился на бесплодную почву реабилитации мистицизма...»

Наряду с этим Милль говорит, что философия Конта:

«...представляет простое признание традиций всех великих умов науки, открытия которых сделало человечество тем, чем оно является в настоящее время».

⁸⁸ Направление в католицизме, добивающееся неограниченного вмешательства в религиозные и светские дела любого католического государства. — Ред.

Льюис идет еще дальше.

«В "Курсе положительной философии" Конта, — говорит он, — мы находим величайшую по своей глубокой истинности философскую систему, которую когда-либо создавал человеческий ум; некоторые недостатки в деталях, впрочем, совершенно неизбежные, не должны мешать величию целого, и мы не должны забывать, чем мы обязаны великому основателю позитивной системы».

Несмотря, однако, на эти противоречивые заключения, казалось бы, что мысль, положенная Контом в основу своего учения, а именно, что философия должна представлять систематизацию научных обобщений, — вполне правильное утверждение. Но тут мы наталкиваемся на следующие любопытные слова Гексли: «Что же касается его (Конта) философии, — говорит он, — то я отделяюсь от нее, ссылаясь на его собственные слова, переданные мне старым контистом, ныне одним из знаменитых членов французского института Шарлем Робеном: "Философия есть непрерывное усилие человеческого ума достичь покоя, но ей тоже непрерывно мешали последовательные успехи науки. Поэтому философ принужден каждый вечер переделывать синтез своих воззрений, и настанет время, когда у рассудительного человека не будет иной вечерней молитвы"».

Таким образом, стараясь свести философию на науку, не приходим ли к отрицанию и ненужности всякой философии и даже прямо невозможности ее? Едва ли. Может быть, ежедневный прибор научной мысли и заставляет передовых ученых ежедневно же «переделывать синтез своих воззрений». Но что касается обыкновенных смертных, той массы, которая в философии ищет руководящего начала для осмысленной деятельной жизни, то они успевают прожить целую жизнь прежде, чем свет действительно новых научных открытий успеет проникнуть до их сознания. И это не только потому, что «тьма» с трудом уступает свету. Тут и сами качества этого ежедневно возгорающегося света имеют значение. Пока дело происходит в маленьких кабинетах ученых, им может еще казаться необходимым ежедневно переделывать свои воззрения под влиянием ежедневных новых открытий; но как только эти ежедневные открытия начинают усваиваться всей массой мыслящего человечества, так и оказывается, что они сплошь и рядом могут спокойно уживаться с прежними воззрениями, которые всегда бывают (раз это действительно жизненные воззрения) достаточно широки и эластичны, чтобы усвоить и переработать массу ежедневных научных открытий. Философия, как синтез научных воззрений, как система миропонимания, как руководство к осмысленной жизни, — возможна и необходима. Если это так, то заслуга Конта, понявшего, что суть философии вовсе не в критике, и успевшего единичными усилиями своего ума обобщить всю массу современных ему научных знаний (конечно, не без промахов, даже грубых), поистине громадная. Труд его до сих пор остается единственным в этом роде трудом, как продукт работы одного ума. Затем Конт доказал и показал, что философия, стремящаяся не только разрушить старые традиционные верования, но и послужить руководством для положительной творческой деятельности человечества, должна перенести свой центр тяжести в сферу социальных явлений. К этой стороне его философии мы и обратимся теперь. Тут мы наталкиваемся на еще более противоречивые взгляды, чем при оценке Конта как автора собственно «Курса положительной философии». Что же касается, в частности, учения Конта относительно будущего социального строя и того пути, каким следует идти к достижению его, то в этом отношении почти все

писатели, за исключением небольшой кучки последовательных контистов, отказываются следовать за ним.

Наш историк Кареев, делая оценку исторических взглядов Огюста Конта, считает его коренной ошибкой между прочим то, «что он взглянул на человечество не как на совокупность наций, развивающихся по одним законам, а как на нечто единое, в котором отдельные нации играют роль частей, соответствующих разным фазам, совсем как у Гегеля». Затем он находит, что Конт применяет к истории понятие закона «в весьма мало-научном смысле», что «он не умеет отделить в истории необходимое как момент развития от необходимого как такового вследствие случайных причин», что «он не понимает политеизма и односторонне смотрит на религию» и т.д. Но вместе с тем Кареев признает, что Конт «первый сформулировал необходимость изучать социальные явления ради открытия законов, ими управляющих, употребляя слово "закон" в строго научном смысле, и влияние Конта сказывается теперь даже в тех писателях, которые прямо отрекаются от духовного родства с отцом позитивизма».

В данном случае особенно интересно мнение Милля, который сам немало и чрезвычайно плодотворно потрудился над разработкой общественных вопросов и по складу своих политических убеждений резко отличался от Конта.

«В обоих томах, — говорит он относительно двух последних томов "Курса положительной философии", — едва ли найдется хоть одно положение, которое не прибавляло бы какой-либо идеи. Мы видим в этом обозрении величайшее произведение Конта после его обзора наук, в некоторых отношениях первое даже изумительнее последнего. Кто не верит, что из философии истории можно сделать науку, тот, вероятно, отказался бы от своего взгляда, прочитав эти два тома». Однако Милль не считает Конта создателем социологии.

«Кроме исторического анализа, — говорит он ниже, — который во многом следует дополнить, но который, мы думаем, вряд ли может быть, вообще говоря, заменен чем-нибудь подобным, Конт в своей социологии не представляет ничего такого, что не требовало бы переделки». Но «его понимание метода, свойственного этому исследованию, до такой степени вернее и глубже понимания всех его предшественников в этом деле, что составляет эру в разработке социологии... Если о Конте нельзя сказать, что он создал эту науку, то по всей справедливости надо признать, что он первый сделал возможным ее создание. Это — великий подвиг».

Переходя затем к учению Конта о будущем социальном строе, Милль жестоко критикует его воззрения, отдавая, впрочем, должное отдельным блестящим мыслям. Другие писатели идут еще дальше и считают все писания Конта после «Курса положительной философии» прискорбными заблуждениями великого ума, впавшего в непроглядный мистицизм. Стоит, однако, сопоставить эти мнения с полной преданностью, с безграничным восхвалением доктора Робине, написавшего биографию Конта, и других контистов, даже с некоторыми заявлениями Льюиса, чтобы увидеть, какая пропасть разделяет еще людей, когда они берутся за решение нравственных и социальных вопросов. Вообще едва ли настало время для беспристрастной оценки социальных воззрений Конта. Как цельная система, они не могут рассчитывать на реабилитацию когда бы то ни было, но многие отдельные положения, и притом существенные, которые современным людям, не могущим отрешиться от своих буржуазных или исключительно

критических теорий, кажутся неосновательными и нелепыми, могут получить в будущем иную оценку. Когда человечество приступит к осуществлению положительных идеалов общечеловеческого братства, как они мало-помалу вырабатываются вот уже в продолжение целых веков, то оно сумеет лучше оценить попытки отдельных мыслителей, стремившихся выработать основы будущего строя, чем поколения, занятые совершенно иной работой... Даже суровый Гексли замечает, что ему было бы неприятно, если бы читатель вывел из его слов такое заключение, что он не придает никакого значения сочинениям Конта и не питает «симпатии и уважения к людям, которых он (Конт) натолкнул на глубокие размышления об общественных вопросах и на благородную борьбу в пользу общественного обновления».

Приведем еще два заключительных отзыва о Конте. Один принадлежит Литтре, другой — Миллю, то есть людям, больше других потрудившихся над изучением и оценкой произведений великого позитивиста.

«Повторим в кратких словах, — говорит Литтре, — в чем, по нашему мнению, заключаются заслуги Конта. Среди умственной неурядицы, порожденной XVIII веком, он сумел в начале XIX века указать на тот субъективный и фиктивный характер, который свойственен метафизическим теориям; он задумал уничтожить это противоречие между умственным мирозерцанием человека и реальностью и понял, что для достижения этой цели ему необходимо открыть, на основании рационального изучения истории, точные законы развития человеческого, и он открыл их; сделав это важное открытие, он понял необходимость обобщить человеческое знание и обобщил его, подведя все частные науки под одну систему; наконец он понял неразрывную связь, существующую между всеобъемлющей философией и общественным строем, и сделал попытку (хотя и не увенчавшуюся успехом) найти основы рационального устройства человеческого общества. Тот, кто так много потрудился для человеческой мысли, заслуживает в истории человечества почтенное место наряду с величайшими деятелями, вписавшими свое имя в историю человеческой мысли».

«Из всех известных философов, — говорит Милль, — Декарт и Лейбниц представляют наибольшее сходство с Контом. Они были похожи на него и по серьезности умозрения, и по уверенности в себе, хотя в последнем отношении едва ли могут быть поставлены наравне с ним. Они обладали такой же, как и он, необычайной способностью сопоставления и соподчинения. Они обогатили человеческое знание великими истинами и великими идеями о методе. Из всех великих мыслителей они были наиболее последовательными и потому наиболее часто доходившими до нелепостей, так как они не отступали перед выводами — как бы эти выводы ни были противны здравому смыслу, — если только к ним вели первые посылы. Согласно этому, имена указанных философов дошли до нас в связи с великими идеями и замечательнейшими открытиями, но зато и в связи с некоторыми из самых уродливо-диких и самых смешно-нелепых понятий и теорий, какие только когда-либо предлагались людьми мыслящими. Мы считаем Конта столь же великим, как и этих философов, и едва ли более странным, нежели они. Если бы нам нужно было высказать нашу мысль вполне, мы должны были бы поставить его выше этих двух мыслителей, но не по внутренним достоинствам, а потому только, что, обладая равносильной умственной способностью, он действовал при более высоком состоянии человеческого развития».

Итак, осторожный Милль не побоялся сказать, что так называемые нелепости Конта (его мистицизм и т.д.) представляют последовательный вывод из принятых им основных посылок. Все же основные посылки Конта коренятся в той социально-философской системе, которую он изложил в «Курсе положительной философии». Неправильно, следовательно, обвинять Конта, что он одну половину своей жизни посвятил служению светлым началам, а другую — темным силам. Если он в чем виноват, так только в том, что не страшился доводить до логического конца свои выводы и не останавливался перед «нелепостями», противоречащими «здравому смыслу». Но, с другой стороны, неправильно было бы утверждать, что из учения Конта можно сделать только такие выводы, какие сделал он, и никаких иных. Социология (дело идет, само собой понятно, о социологических выводах Конта) — не математика. Тут нередко из одних и тех же основных посылок делаются прямо противоположные выводы. Латинянин по духу и расе, влюбленный в порядок, авторитет, ненавидевший анархию, относившийся с почтением к иерархии, обладавший громадным и удивительно механическим умом и непомерным самомнением, работавший среди сумерек, спустившихся на человечество, и с любовью оглядывавшийся на блестящую эпоху католичества, Конт фатально тяготел к своей религии человечества. Он подобно ядру, по сравнению одного писателя, следовал без остановки по своей траектории, повинаясь механическим законам, пока не достиг намеченной цели с математической точностью. Другие люди, с другими нравственными симпатиями, в другой момент воспользовавшись основными положениями Конта, но не ограничиваясь только ими, придут к другим окончательным выводам.

М. В. Сабина ДЭВИД ЮМ

М. М. Филиппов КАНТ

Е. Соловьев ГЕГЕЛЬ

Э. К. Ватсон ШОПЕНГАУЭР

В. И. Яковенко ОГЮСТ КОНТ

Биографические очерки Ответственный за выпуск Е. В. Стукалин Редакторы С. Б. Васильев, Е. А. Калло, Е. В. Шестакова Художественный редактор В. И. Круговое Технический редактор С. В. Выжевский Корректоры Н. Г. Выжевская, Н. В. Солнцева Дизайн обложки в ООО Издательство «Терция» Художник Стрельцова Е. В. 197227, Санкт-Петербург, а/я 271 ЛР 070384 от 03.04.97. Подписано в печать 25.11.97. Формат 84 x 108 1/32. Бумага типографская. Гарнитура Тайме. Печать высокая. Уч.-изд. л. 31,0. Тираж 10 000 экз. Заказ № 672. «ЛИО Редактор», 190008, С.Петербург, Екатерининский кан., 170 АОЗТ «Глория Лтд», «Кристалл» Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени VII «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати. 198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.